

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

5

---

1993

# НОВЫЙ МИР

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5 (817)

Май, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

### СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ КУРАЕВ — Зеркало Монгачки, роман в стиле криминаль- ной сюиты, в 22 частях, с интродукцией и теоремой о призраках	3
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — Два стихотворения	69
ДИНА РУБИНА — Во вратах Твоих, повесть	73
ИГОРЬ ГУБЕРМАН — Стал каплями российского фольклора, стихи	110
ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ — Сашок. Очерки из наркологии	114
ГДЕ ТЫ УЖЕ НЕ БУДЕШЬ НИКОГДА — Марина Тарасова, Натан Злотников, Борис Сиротин, стихи	154
ЭДУАРД ПУСТЫНИН — Хронология дождей, рассказы; МИХАИЛ БУТОВ — Памяти Севы, самоубийцы. Предисловие Сергея За- лыгина	157
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Богохранимая страна..., стихотворение	185

#### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

СОП ИЗ ИЗБЫ. Вокруг романа Владимира Шарова «До и во время»	186
-------------------------------------------------------------	-----

#### ПУБЛИЦИСТИКА

*Россия, которую мы обретаем...*

Ю. ШРЕЙДЕР — Между молохом и мамоной	190
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ — Национальная идея и личность	205

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА — К истокам «Тихого Дона»	209
---------------------------------------------------------	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА — Дедал и Геркулес, или Несколько рассуждений о пользе и бесполезности литературы 226  
ВИКТОР КАМЯНОВ — Игра на понижение. О репутации «старого искусства» 237

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- М. ТАРТАКОВСКИЙ — «Черный ящик» истории 245  
Р. БАЛАНДИН — Законы природы в жизни общества 251  
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 255  
SUMMARY 256

### **ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА!**

Редакция журнала «Новый мир» объявила конкурс для студентов Литературного института на лучший рассказ или повесть.

Объем рассказа до 48 стр., повести — до 120 стр. машинописного текста.

Срок подачи произведений до 1 октября 1993 г.

Премия 50 000 р. учреждается за *лучшее* произведение.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

### **Господа зарубежные книгоиздатели!**

Призываем вас быть предельно осторожными при заключении контрактов с германской фирмой «Найманис» (г. Сикоев) на издание литературных произведений, опубликованных в «Новом мире». Ставим в известность, что фирма «Найманис» никакими договорами не связана с «Новым миром», эта фирма нанесла ущерб «Новому миру», незаконно представляясь нашим агентом.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

---

---

МИХАИЛ КУРАЕВ

\*

## ЗЕРКАЛО МОНТАЧКИ

*Роман в стиле криминальной сюиты,  
в 22 частях, с интродукцией  
и теоремой о призраках*

— Вы живы? Ну это странно, очень странно, —  
сказал покойник, пожимая плечами.

*М. Загоскин, «Карнавал бесов».*

### *Часть первая*

### ИНТРОДУКЦИЯ

**С**пеша удовлетворить ваше желание, мой невольный друг, относительно преступления, случившегося в дебрях Невского проспекта и отчасти на канале имени Грибоедова, приступаю прямо к делу, отбрасывая мысли, замечания и всяческие рассуждения, коими пытаются насытить сочинения о событиях незначительных и потому нуждающихся в преувеличении.

Стремясь все представить в истинном виде и удержаться на позициях факта, должен сразу предупредить, что выразить преступление наглядно не представляется возможным, поскольку происшествие, близкое к катастрофе, а может быть, таковой и являющееся, содержало в себе все — и недоумения, и тревогу, мгновения отчаяния, тайну, и даже не одну, но не имело, единственно, только вида. По видимости это даже не было и преступление, но только по видимости.

Будучи подвержен влиянию учения об эйдосе в большей мере, чем школе чистого описания, и сознавая этот свой недостаток, предписываю себе как повествователю сдержанность, сухость, сжатость и буквальное следование фактам, как бы они ни были заурядны или сверхъестественны. И никаких объяснений! Всякое объяснение чудовищно; быть может, под тяжестью объяснений и попыток самооправдания оказалась погребенной подлинно художественная литература. Зато весьма соблазнительно было бы взять на себя роль диалектика, но это значит — отобрать у читателя возможность купаться, нырять и плавать в логике противоречий в свое удовольствие, выводить антиномии и вычерчивать в собственном безудержном воображении синтетические сопряжения.

События, подвигнувшие к порогу небытия героев, собравшихся на канале имени Грибоедова, еще никем не описаны, и только это обстоятельство может послужить некоторым оправданием настоящему повествованию, записанному в обжигающей близости к происшествию и потому невольно торопливому и предлагаемому читателю в не вполне совершенном виде, далеко от академической традиции, единственно пригодной для сообщения сведений, по-своему удивительных и превосходящих воображение.

Всякое расследование должно начаться издали, и это не причуды следственного воображения, это желание заключить в круг подлежащих рассмотрению предметов решительно все, что может быть хоть в какой-то мере причастно к совершению преступления.

Наш замечательный век и удивительный народ, переплюнувшие по части невозможных и невероятных событий все века и народы, преподносят настолько причудливые переплетения причин и следствий, что настоящее расследование

может показаться людям, криминально образованным, совершенной несообразностью. Ну что ж, посмотрим!

Желающие могут убедиться в том, что чем дальше мы будем удаляться от места преступления, чем меньше мы будем слушать его участников и чем меньше будем доверять словам пострадавших, которые делают вид, будто ничего не произошло, и даже готовы уверять, что нисколечко они не пострадавшие, тем ближе мы подойдем к истине.

Забавно будет посмотреть, как, собираясь все вместе едва ли не каждый вечер, сообщники будут изо всех сил делать вид, будто они вовсе и не сообщники и что им дела нет друг до друга.

Посмотришь на них год-другой: смиренные, покорные, доверчивые, уступчивые, а поди ж ты!..

### *Часть вторая*

## ЧЕРТИ ПРИНЕСЛИ

Самое характерное в петербургской погоде, самая устойчивая ее черта — это неопределенность, словно она сама себя не знает, и поэтому чаще, чем отчетливый снегопад, туман или дождь, не говоря уже о таком редком госте, как солнце, небо занимает серенькая невнятность, заслоняющая от тусклых глаз горожан и солнце, и звезды, и голубой свод небес во всякое время года.

12 ноября 1961 года ясная в середине дня погода уже с четырех часов стала превращаться в бурную, и прохожие тут же почувствовали снеговое сечение на своих лицах. Снежная погода стала приобретать характер метели. К восьми часам вечера метель гуляла вовсю, и снега навалило гибель.

С тротуаров повымело народ, и только во чреве упорных троллейбусов и автобусов, почти беззвучно летевших сквозь грохот и свист метели, сквозь просвеченный фарами и взбаламученный ветром снег, все претерпевшие граждане, вжимаясь в демисезонную одежду, в китайские плащи да польские пальто, не веря ноябрьскому бурану, твердили про себя на разные лады уверения, что и эта напасть ненадолго и вся зима еще впереди.

Ветер подхватывал снег, завьюживал его прямо на Невском у Гостиного и вдруг, вытянув длинные стремительные пряди, заметью кидался вдоль Перинной, вдоль Думской, будто хотел разом сковырнуть и унести бог знает куда длинный, как ангар, манеж Руска, желая угодить властям, уже приговорившим его к сносу.

А там, наверху, над башней Городской думы, прикрывшись снежной завесой, ветер трепал и тянул старенькие снасти на сохранившейся для утешения привычного глаза мачте зеркального телеграфа, некогда поддерживавшего проблемную связь Зимнего дворца с резиденцией государей в Царском Селе.

Во всем этом белом пляшущем и свистящем безумии лишь черная лента канала сохраняла свое лицо в глубокой каменной раме: снег, прикасаясь к воде, исчезал, вода была спокойна, неподвижна и непроницаема, как ничего не отражающее черное зеркало.

Да, погода была совсем не прелестная. Снежный вихрь порывисто скользил на открытых участках тройного двора, метался между безликими стенами флигелей, вслепую гоняясь за кем-то, то ли от кого-то прячась; ледяная крупа звонко била в окна нижних этажей, выманивая жильцов на улицу.

Наметая длинные, как песчаные дюны, сугробы, перегораживая двор то здесь, то там, метель готовила кому-то западню, расставляла снежные ловушки и вдруг, словно опомнившись, взорвалась нешуточным порывом, сообразив, что и сама попалась, сама запуталась и не может найти выход из лабиринта, замкнутого отвесными стенами двора. В слепом безумии она кинулась в непроглядную темень длинной, как тоннель, подворотни, выскочила на Думскую улицу и через мгновение вернулась с добычей, неся в енежном вихре фигуру, хлопавшую разлетающимися полами пальто и придерживавшую шляпу жестом готового к приветствию человека.

Почти не касаясь земли и не оставляя по себе следа, фигура сделала два круга около освещенных пляшущими фонарями подъездов, и белый смерч бросил упорного путника в дверь под старенький железный козырек над шестым подъездом. Едва дверь захлопнулась, как ветер вцепился в ржавую жезь козырь-

ка и начал стучать с отчаянием капризного ребенка, обманутого хитрыми взрослыми и оставленного в наказание в одиночестве.

Подъезд был грязен, сыр и холоден, лишь банный пар, проникавший из подвала, сообщал лестнице признаки жилья.

Привычка ходить решительно и уверенно по незнакомым домам, по незнакомым лестницам с годами не пропадает, и человек, внесенный вихрем в подъезд, нимало не смущаясь таким способом передвижения, не оставлял впечатления странника, впервые занесенного извилистыми путями судьбы в этот двор, на эту лестницу. Нелюбопытство к окружившим его несвежим стенам объясняется, быть может, тем, что люди, обитающие на достаточно высокой ступени, изредка попадая вниз, умеют не замечать всей пестрой новизны, их окружающей, а видят только то, что им увидеть надо. Борьба со стихией тоже не затронула путника, а вот тревога и грусть, гнездившиеся где-то совсем внутри, едва он перевел дыхание, вновь затенили его решительное лицо куда больше, чем поля непривычной шляпы, присыпанные сухим снегом. Не вынимая рук из косо прорезанных карманов широкого по моде пальто цвета морской волны, он легко двинулся вверх, почти не взглядывая на испещренные звонками и списками жильцов двери на узких площадках первого, второго и третьего этажей. Перед дверью семьдесят второй квартиры человек остановился, что позволило наконец рассмотреть его лицо, молоджавое и значительное. Скользя взглядом по отошедшей дверной планке, путник заметил единственный зуб единственного исправного замка, зацепившийся за противоположную дверную створку, потянул одним пальцем в вязаной перчатке с кожаной отделкой за дверную ручку, но передумал, перевел взгляд на дверные звонки и нажал белую пупочку в деревянной вороночке с пометкой «Окоеву».

Есть смысл приоткрыть высокую дверь в семьдесят второй номер, тем более, что от четырех замков, двух врезных и двух накладных, ключи давно были потеряны, и дверь закрывалась лишь на старенький французский замок, цеплявшийся стальным язычком величиной в ноготь.

Дверь, помимо ключа практически от любого французского и даже не французского замка, открывалась линейкой, металлической или деревянной, мужской расческой, толстой полоской картона и щепкой от эскимо. Таким образом, пространство обитания Аполлинария Ивановича Монтачки и его многолюдного соседства, по сути дела, было открыто для всякого сколько-нибудь любопытного посетителя, но любопытствующих, насколько известно, не было. А нам-то зачем входить? Да попросту нет никакой уверенности, что кто-нибудь из обитателей этой квартиры когда-нибудь сам расскажет про это, а здешние стены не знали заботливой и властной руки хозяина и ремонтировались раз в пять-шесть лет совокупным иждивением жильцов. Стены эти не имели живописного вида, не навевали милых сердцу воспоминаний, не хранили дорогих теней незабвенных предков. Единственно только Гликерия Павловна помнит, когда эти стены были как раз чертогами и палатами, а мать Гликерии Павловны была в услужении у хозяина и по праву эксплуатируемого населения после изгнания царского сатрапа за границу сохранила за собой конуру при кухне размером в двенадцать с половиной метров. Можно было выбрать помещение и побольше, но тогда, в двадцать первом, плохо было с дровами, зато рядом с кухней было сравнительно тепло, а потом как-то незаметно и все комнаты заселились.

Население квартиры составилось из прищельцев, разнородностью своей напоминавших обломки великого разбросанного народа, перемешанного, рассеянного и собранного случайными тропами частных судеб в несколько неожиданном для всех месте. Дом этот не был их домом, и воды Екатерининского канала не баюкали их колыбель, по этим лестницам трепещущая молодость не приводила сюда своих невест к очагам, чтобы представить почтенным батюшке и матушке, не выносили отсюда и гробы изживших свою жизнь стариков. Обращенные в первобытное состояние, характерной чертой которого является готовность к перемещению, к кочевью в любую минуту, они могли подняться и без печали покинуть эти несколько мрачноватые чертоги, чем-то напоминающие вагон. Соединенные лишь по видимости, они жили каждый своей жизнью, утешаясь тем, что и другие живут так же. Они даже толком не страдали и уж тем более не возмущались, потому что тогда возмущаться надо было бы всем. Какие только заблуждения не наводняли квартиру семьдесят два, поскольку свет

небесной истины мог проникнуть в эти коридоры и закоулки лишь в чрезвычайно преломленном виде.

Какая-то неведомая, царящая снаружи сила вдавила их сюда и заставила оцепенеть. Эта же необъяснимая сила и здесь продолжала давить душу и заставляла мозг непрестанно порождать причудливые, а чаще всего совершенно бесхитростные объяснения собственной покорности. Можно было подумать, что они весь свой век собрались прожить, чуждые всяческих приключений, усыпленные обыденностью и погруженные во мглу самоневедения.

Услышав, что в комнате запел звонок, куривший в прихожей хозяин пригасил папиросу и двинулся открывать дверь. Вид у Окоева был такой, будто он только что сполз с постели, не думая и не мечтая принимать гостей: галифе с помочами поверх байковой нижней рубашки да какие-то больничные кожаные тапочки на босу ногу.

Он открыл дверь и замер.

— Ну что, Окоев, не узнаешь? — не дожидаясь, пока хозяин узнает и освободит проход, гость двинулся в жилище.

Окоев отпрянул в сторону, переломившись, затворил распахнутую входную дверь с отлетевшей пружиной и поспешил открыть дверь в свою комнату. Все эти движения были произведены с поразительной легкостью, даже стремительно, чего никак нельзя было ожидать от такого рослого и солидного человека, предназначенного к жизни важной и молчаливой.

Даже в своем домашнем, несколько небрежном обличии Окоев, самой природой предназначенный для сопровождения доверенного ему контингента не только в отдаленных уголках родины, но и за пределами земного существования, нес на себе печать сурового решения.

Гость не спешил войти в распахнутую дверь комнаты. Какой-то особенный воздух, густой, неподвижный и ощутимый не только обонянием, но и доступный для зрения, висел в прихожей и заполнял коридор, коленом уходящий в непроглядную глубину. Нельзя было сказать, что это запах ветхости и неопрятности, и вместе с тем и ветхость и неопрятность примешивались к густому и многообразному дыханию полутемной катакомбы. Жилище ничем не напоминало могильного склепа, но гость отдал бы все-таки предпочтение воздуху подземного кладбища в Печорском монастыре, где недавно побывал в связи с делами предстоящей службы.

Пока гость оглядывался, и на него, в свою очередь, успели бросить взгляд трое показавшихся на кратчайшее мгновение жильцов. Пришельцу, по-видимому, слегка оглушенному уличной бурей, почудилось, что мелькнувшие в коридоре люди двигались беззвучно, словно призраки, появляясь и исчезая бесшумно и невесомо.

Шагнув в жилище Окоева, гость тут же окунулся в запах, не чуждый приятности, производимый, надо думать, тремя флаконами одеколона «Кремль», возвышавшихся в виде Водовзводных башен, выполненных из толстого матового стекла и украшавших комод, обращенный фантазией хозяйки в туалет с трехстворчатым зеркалом.

— Розалия? — кивнул на лежащую на диване женщину гость, не раздеваясь, не вынимая рук из карманов. Кивка, подтверждающего верность предположения, спрашивавший не заметил, поскольку и не собирался поворачивать голову в сторону Окоева.

С полей велюровой шляпы упало несколько капель подтаявшего снега, и это очень шло к скорбному выражению решительного лица.

Розалия заморгала на гостя.

— Не привык я вас смотреть без формы, — повинился несколько уменьшившийся в размерах Окоев. — Как же вы нас нашли?

— Не в бегах, чего тебя искать.

— А мы тут немножко вздремнули, товарищ генерал, — улыбнулась Розалия, будто ее застали вздремнувшей на вахтерке.

— Где ты здесь генерала видишь? Кончился генерал... — ковырнул свою свежую рану гость. — Вот так вот, Розалия Иванна.

Проснувшись Розалия Иванна окончательно улыбнулась, и ее рдеющее румянцем кругловатое лицо в обрамлении разметавшихся черных прядей горело костром на снежной белизне подушки.

На первый взгляд ничего разбойничьего или мифологического в госте не было. В прежние времена человека с таким лицом приняли бы за барина: и нос у него был короткий, но прямой, кожа тугая, но светлая, взгляд строгий, но молодой; а вот то, как поджался Окоев и внутренне вытянулся, говорило о многом.

Через пару минут гость уверенно ступал по бесконечному коридору туда, где в глубине, за изгибами, раздавался приглушенный разнохарактерный звук кухни, подтвержденный терпким запахом пригоревшего лука. Он шел к местам общего пользования, а со стороны складывалось впечатление, будто не Окоев ведет гостя по незнакомому жилищу, а сам гость ведет Окоева и знает, куда.

Прежде чем войти в помещение в тупике коридора, где Окоев поспешил зажечь свет, гость остановился в дверях на кухню, оглядел обширное помещение, ни с кем не здороваясь и никого не замечая, мелко покивал головой, пересчитывая столы и лампочки.

— Вот так живут и а ш и люди, — горько сказал сам себе пришелец и скрылся за дверью, любезно приоткрытой Окоевым.

Разнообразнейшие лица, сошедшиеся на кухне в вечерний час, не сговариваясь, поняли, что а ш и относится не к ним, а исключительно к квартирному Окоеву.

Открывшуюся генералу картину можно было бы увидеть его глазами, но это значит не увидеть ровным счетом ничего. Это сказано не в упрек гостю, уж кто-кто, а он-то умел видеть и видел такое, что и по сию пору скрыто от наших с вами глаз и никогда нам не откроется. Но смысл людского многообразия как раз и заключен в способности смотреть на одинаковые предметы разными глазами, что чрезвычайно полезно с точки зрения познания окружающей нас природы, хотя и затрудняет общение людей друг с другом.

Если гостю не было никакого дела до богатства и разнообразия типов, населяющих в этот час общую кухню, если ему нет дела до поразительной сочности красок и сгущенности композиции, то не один десяток превосходных живописцев нашел бы здесь неисчерпаемый запас сюжетов и моделей на любой вкус и манеру.

Как выразителен Гриша, изогнувшийся над медной раковиной, припавший вытянутыми губами к расхристанной, как старая метла, струе воды! Струя уливает от губ, брызжет на лицо, на ресницы, а он ее ловит, придерживая кран левой рукой.

Короткая стрижка под мальчика, голубые лыжные штаны — неременная деталь домашнего туалета, призванная скрывать природную кривобокость, делают пол Тамары Степанны Сокольниковой несколько неопределенным, что позволяет видеть в ней превосходную модель для фигуры многострадального Иова. В ее лице, обращенном к замершему в дверях гостю, можно было прочесть и кротость, и смирение, и готовность услышать печальную весть о гибели стад, неурожая или иных несчастьях, посланных небом для испытания веры. Поскольку с Тамарой Степанной, учительницей младших классов «Петер шуле», в одной комнате проживали петух и две курицы, тревога за свои стада была для нее постоянной.

Сестры Пойгины являли собой исключительно сюжет для академика: стройные, затянутые в длинные палевые халаты одного фасона и цвета, похожие на двух огромных нездешних птиц, они промывали только что вошедшие в употребление тонкие, как конский волос, итальянские макароны, высоко вздымая белые дымящиеся космы, и отчасти напоминали парок, придиричиво осматривающих поступивший материал, из которого им предстоит пряхть наши судьбы.

Неброского вида дочка лет семнадцати в цветном переднике школьного фасона чистит картофель, в ее белом широковатом лице тоже есть что-то картофельное. Всего несколько лет назад мать, выясняя семейные взаимоотношения, опустила несколько раз сковородник на голову отца и тремя ударами разрушила семью. Дочка выпала в осадок. Она живет теперь сама по себе и с тревогой ждет встречи с судебным исполнителем, готовым свергнуть ее обратно в лоно матери или в лоно отца. Волнистые плечики передника напоминают о том, что вихрь, разметавший семью, еще не улегся и как бы продолжает раскачивать ее легкое тело.

Для мастера, набившего руку на срисовывании мгновенных поз, несомненный интерес представляла бы Маша, Гришина жена и медсестра по специаль-



ности. Сейчас она живо и выразительно заглядывает под дно кастрюльки, регулируя пламя газа, не забывая при этом заметить новое лицо, явившееся в дверном проеме. Мужей у Маши было одиннадцать, если верить Гликерии Павловне, которой сейчас на кухне, к сожалению, нет.

Достойна восхваления в качестве модели для картины «Выходящая из ванны» Екатерина Теофиловна. Она действительно выходит из ванной с головой, обмотанной махровым тюрбаном. Особое внимание следует обратить на левую руку, согнутую в локте и поднятую на высоту груди с чуть раздвинутыми лучиками тонких пальцев. Жест этот предполагает наличие какого-то, пока еще невидимого, препятствия и свидетельствует о готовности его предупредить. Это был обычный жест Екатерины Теофиловны, когда ей приходилось передвигаться по квартире без очков.

По-своему привлекательна и Софья Борисовна, кипящая носовые платки в небольшом красном тазике; привлекателен и забежавший на кухню попрощаться с женой Михаил Семенович, он уже в концертном фраке и черной бабочке над ослепительной белизны пластроном, на ногах черные сукожные боты, сравнительно недавно появившиеся в продаже. Сегодня Михаил Семенович работает в «Квисисане», как он по привычке зовет перестроенный и уже переименованный ресторан, хотя обычно в это время он пребывает за четвертым пультом в группе вторых скрипок филармонического оркестра первого состава.

И совершенно невозможно обойти вниманием рослого и несколько усохшего капитана первого ранга в отставке в его неизменном глухом кителе со стоячим воротником. Он вынес на кухню из холодильника, оборудованного за окном собственной комнаты, две одинаковые кастрюльки и теперь, вялый и грустный, глубокомысленно решает, в какой из них еда для него, а в какой для собаки. Обе кастрюльки чужие, в обеих пища подернута белым застывшим жирком. Задача не из простых, поскольку, сочувствуя его горькому положению, Наталья Николаевна из девяносто шестого номера под видом любви к собакам частенько подкармливала безобидного пьяницу и его дряхлого пса.

Фигура капитана Иванова, разумеется, находка для мастера жанровых сцен, особенно если попросить модель приложить руку к затылку.

Удачно в общее расположение фигур, как всегда, вписался и сам Аполлинарий Иванович, взобравшийся на табурет и уже распахнувший первую раму форточки. Он тянется теперь ко второй, поднявшись на цыпочки и трагически накренив табурет, стремится с общего согласия жильцов выпустить скопившийся на кухне пар. Он и раньше выполнял разнообразнейшие общественные комиссии: от посылки писем и уплаты коммунальных счетов до хлопот о починке газового водогрея. Художнику, далекому от реалистического взгляда на окружающую жизнь, могло бы показаться, что невесомый Аполлинарий Иванович сбирается вместе с паром ускользнуть в форточку.

Достойны внимания не только каждая из описанных и не описанных фигур, и каждые халат, пижама, майка, кофта, капот, но призрак зловещего многословия вынуждает остановиться.

Художник, не чуждый идеям францисканцев, склонный к многофигурным композициям, то есть способный охватить разом все тридцать пять метров нежилой площади, всю кухню, безусловно нашел бы здесь великолепный материал для величественной фрески «Обручение с нищетой».

Что же все-таки могло бы послужить художественной идеей, заветной мыслью, соединяющей все разнообразие, на первый взгляд, несоединимых фигур, обращенных по большей части друг к другу спиной и боком? Что могло бы соединить дюжину превосходных голов мужчин и женщин, почти не замечающих друг друга?

Естественность.

Да, да, естественность, с которой люди способны пребывать в самых противоестественных коллизиях, — вот идея, которая могла бы опьянить мастера и сделать его кисть ключом, открывающим еще одну дверку в тайники жизни.

И надо ли удивляться, что преступление произошло именно здесь? Среди людей, так или иначе махнувших на себя рукой, может случиться черт знает что!

Приписывать обнаружившуюся утром пропажу целиком на счет гостя было бы совершеннейшим преувеличением, хотя он и был птицей большого полета, и, быть может, одно появление человека такого размаха, такого масштаба, таких

возможностей что-то превысило и нарушило зыбкие связи, сообщавшие устойчивость сгустившийся в этих стенах жизни.

Екатерина Теофиловна, женщина твердая и умная, отделенная от Окоевых сравнительно тонкой и как бы временной перегородкой, уплотнявшейся лишь раз в пять лет за счет нового слоя обоев и подклеенных газет, вынужденно присутствовала на задушевной беседе боевых товарищей.

Она попробовала включить радио, но в противоположную стенку тут же ударила старшая Подосинова, мамаша, идущая сегодня в третью смену и по обыкновению перед сменой спавшая. Несколько раз Екатерина Теофиловна выходила в переднюю, где в бывшем стенном шкафу был удобно устроен телефон общего пользования, но говорить по телефону без дела больше семи минут она не умела и возвращалась в свою комнату.

Как птицы, оторванные от неба, не в силах забыть свою песню, свое призвание, так и упрятанные в штатский шеврот воины всегда готовы распахнуть друг перед другом сердца и дать волю рвущейся на простор песне.

— Ты думаешь, мне Лаврентия жалко? Думаешь, жалко? — допытывался за стеной генерал. — Ничуть! Ни вот столько! — и для наглядности показывал по кончику зубцов на вилке. — Как школьник, как мальчишка!.. на такой ерунде. И кто его вокруг пальца обвел, кто, я тебя спрашиваю? Да у них поджилки тряслись, когда они его брали. Маршал называется, не мог этим баранам головы поотрывать. Оторвать и все.

— А что народу скажешь? — не то чтобы оправдывая оплошавшего маршала, но лишь сочувственно, по-женски входя в его положение, спросила Розалия Иванна, и чтобы не показаться слишком серьезной, опустила лоб и заморгала со всей возможной наивностью.

— А ничего говорить не надо. Народ у нас и так все понимает.

— А то же и сказать, что они: заговор, враги, империализм, — огрызнулся на непонятливую жену Окоев.

— Эх, Лаврентий, Лаврентий, — прицеливаясь вилкой в грибок, стонал генерал, — о себе не думал, подумал бы о других. Мне тебя, Окоев, жалко, таких, как ты, жалко, разве это жизнь?

— Я всегда говорила, что с лагерями поспешили, лет пять-шесть надо было еще подержать.

Генерал только молча покивал, а потом обратился к Окоеву:

— Вот увидишь, нам народ еще спасибо скажет. Даром мы хлеб не ели.

— Даром, — вздохнула Розалия Иванна, — когда смена Фанасюка из шахты выходить отказалась, Окоев к ним по четыре раза в день спускался, а теперь подземные — то срезали. Деньги небольшие, обида большая.

— А помнишь этот побег, тяжелейший побег пятьдесят первого года, сто двадцать семь человек ушло? Подумать только, сто двадцать семь, — генерал мотал головой, сам себе не веря. — У меня в кадрах представление на полковника лежало.

— Я в Ялте как раз была, — подумала Розалия Иванна.

С чувством благодарности генерал вспомнил, как Окоев за четыре дня повязал всех беглецов, как говорится, живых и мертвых, и стали вспоминать Ялту, «Ореанду», пляж напротив. Розалия Иванна рассказывала с подобающим смущением, как прямо из палаты перебежала на пляж в одном купальнике и как асфальт обжигал пятки. И на пляже всегда, в самый разгар сезона, было полно места. Мужчины вспоминали прохладный и полупустой ресторан «Ялта» на крыше с зонтиками от солнца, и ресторан «Прибой» на скале над морем, и ресторан «Учан-Су» в горах, и домик Чехова, и дегустации в «Массандре». Все было. Все!

— Я ж к Ялте привыкла, я ж без нее не могу, я ж целый год, как больная, если не съездим. На прошлый год в Ялту поехали, народу — не пропихнуться. Откуда они только повывезли?

Екатерина Теофиловна пошла на кухню, чтобы навести порядок в своем кухонном столе, но порядок, однажды заведенный, не требовал совершенствования. Бесцельно подвигав коробки с крупой, она вернулась к себе.

Розалия Иванна рассказывала, как она чуть не подружилась с Марией Павловной Чеховой, сестрой самого Чехова, которая жила в том же доме, где в старину жил Чехов. «Если б не фотокарточки, не поверишь, все будто сон». Она пошла к комоду, сняла фотокарточку, прикрепленную к краю зеркала, и показала генералу. Это была фотография И. С. Козловского с дарственной

надписью. Бесценный автограф был получен у любимого певца в ту минуту, когда он помогал Марии Павловне обрезать кусты роз; он так смешно отнекивался, показывая перепачканные землей руки, но она была настойчива, так что кроме слов «Несгибаемой Розалии Ивановне...» на карточке сохранились следы, напоминающие отпечатки пальцев.

— Кстати, о музыке,— сказал генерал,— встретил я у вас в Гостином этого... Римского... Корсакова.

— Нелличку учил? — припомнил Окоев.

— Он самый. Ты ж мне его на уроки приводил... — был в памяти неблагодарный потомок Римского-Корсакова, проходивший под той же фамилией и доставлявший на квартиру тогда еще полковника для обучения младшей дочери фортепианному искусству. Теперь же, встреченный в Гостином дворе в отделе верхнего платья, неблагодарный учитель еле признался в давнем знакомстве, забыв о том, что за уроки ему нет-нет да и перепало даже масло и кое-что из теплой одежды.— Мода сейчас пошла — реабилитировать,— генерал поднял рюмку к свету и повертел.— Если партия считает, что так нужно, я только за. Но... Знаешь, сколько за последние пять лет восстановили в партии? — дав Окоеву подумать, генерал зацепил вилкой две шпротинки разом и, минуя свою тарелку, отправил их в рот.— Только подумай, тридцать тысяч! Представляешь? Да реабилитируйте хоть всех, только зачем на нашу работу тень бросать? — Генерал строго посмотрел на притихших супругов, готовый отбить любое возражение. Возражения не услышал и продолжил: — Народ стройки коммунизма называл великими. А чьими руками они воздвигались? Нашими! Фронт работ мы обеспечивали, рабсилу мы обеспечивали, сроки мы обеспечивали. Не так? — возвысил голос гость.

— Вон вы какой молодой, а половина зубов золотые. От хорошей жизни, что ли? — Розалия Иванна на всякий случай улыбнулась.

— Вы не смотрите, что она улыбается,— подстраховал жену Окоев,— по ночам она плачет.

— Слезы что, сердце дрожит. Вы-то где теперь?

— Карпова помнишь?

— С самой лучшей стороны,— сказал Окоев и качнул гордой головой, посылая как бы привет помянутому Карпову.

— В Москву еду. Мне Карпов сказал: «Уцелеешь в партии, пойдешь ко мне замом». Ты-то как?

— Обком Окоеву исключение не утвердил, — не без сдержанной гордости сказала Розалия Иванна.

— Слышал, у Григория Григорьевича в ЦК поддержка хорошая? — уважительно поинтересовался Окоев.

— Да нет у него там никого,— почти раздраженно, как о надоевшем вздоре, обрезал генерал.— Шуметь-то они шумят, а трогать боятся. Вот тебе, Окоев, и вся поддержка. Вон из Чепцова, председателя военной коллегии Верховного суда, хотели клоуна сделать. Не вышло. Да, у Чепцова всегда можно было поучиться.— Во время всего дальнейшего повествования на губах рассказчика плавала озорная улыбка человека, знающего о счастливом конце.— Еврейский комитет помнишь? Антифашистский еврейский комитет? Проходил через военную коллегию, через Чепцова. Это было летом пятьдесят второго, шлепнули там что-то человек двадцать, а тех, что на отсидку пошли, так чуть не в пятьдесят четвертом выпускали, а в пятьдесят пятом и реабилитировали. Видал как! Ну и шум подняли, давай виноватых искать. На Чепцова вешают «фальсификацию следственных материалов». Какая фальсификация? Кому она нужна? Нечего было и фальсифицировать. Было решение Политбюро — весь комитет к расстрелу, двенадцать человек. Одной старухе только пять лет дали, ей чуть не под восемьдесят лет было, медицинский академик, в шестьдесят лет в партию вступала, перед войной. В общем, навалились на Чепцова: пиши объяснение, почему приговорил невинных. Он им пишет — была директива, а те делают вид, что не понимают: «Объясните, почему вы, председатель военной коллегии Верховного суда, нарушали советскую законность?» Он им про директиву, а они ему про законность. Но это же Чепцов! «А я ничего не нарушал!» — «Как так?» — «А вот так. Пожалуйста: «у состава суда возникло сомнение в объективности и полноте расследования, а потому я, Чепцов А. А., лично ходатайствовал о направлении дела на доследование». — «Кто докажет?» — «Пожалуйста. Обращался к Генеральному прокурору Сазонову». Сазонов подтверждает: обращался.

Председателю Верховного суда Волину писал? Писал! Перед Верховным Советом, перед Шверником ходатайствовал? А как же. Секретарю ЦК Пономареву докладывал, председателю КПК Шкирятову докладывал. Все подтверждают: было. И отделался Чепцов А. А. дежурным выговорешником. Жив-здоров, и нос в табаке. Никто его не заложил. Понял? Никто! Чего он тогда требовал, чего ходил, зачем пороги обивал, какое ему «доследование» понадобилось? Да он хотел большое дело раздуть. По Еврейскому комитету проходило всего-то полтора-два человека. Ну, пустил под расстрел два десятка евреев, шуму много, а дельце-то рядовое. А он большого дела хотел, он же до Маленкова дошел, в присутствии Игнатъева и Рюмина просил направить на доследование. А Георгий Максимилианович и разговаривать не стал: «Этим делом Политбюро занималось три раза, выполняйте решение ПБ». Ты понял, зачем я тебе про Чепцова рассказал? — генерал строго смотрел на Окоева, прекрасно знавшего, что на свои вопросы лучше всех знает ответы сам генерал. — Никто Чепцова не выдал. Что вроде бы Швернику тот же Чепцов или Георгию Максимилиановичу? Не понял?

— Он понял,— поспешила ответить за немногословного Окоева Розалия Иванна.

— По глазам вижу, что понял. Без нас хотят! Думают, им кто-то добровольно социализм построил, теперь коммунизм построят. Светлые вершины увидели. Только до них еще народ довести надо, а, Окоев? Ну, ну, пусть попробуют. Это мы знаем, как любые задачи решаются, а они сидят там наверху, болтают и сами в болтовню эту верить начинают. Нельзя народ отпускать, нельзя слабость показывать. Неужели этот кукурузник простых вещей не понимает? Эх, что говорить! Когда меня в райкоме исключали, вышел я с бюро и слышу — за спиной какая-то гнида шепчет: «Кончилось его время». Эх, думаю, дурачок ты дурачок, мое-то, положим, кончилось, да твое не наступило и никогда не наступит.

— А кем теперь Карпов в Москве? — деликатно поинтересовалась Розалия Иванна.

— Место хорошее. Отличное место. Москва. Все блага. Дача. Машина «ЗИМ». Кремлевка у него и у замов. Он председатель Совета по делам Русской православной церкви. Вот так. Ранг высокий, представительный. А попы у нас службу туго знают, слава богу, в страхе божьем воспитаны. Иду к Карпову замом.

В назначенный час наступила ночь, гость ушел, а на следующее утро ни один житель квартиры семьдесят два не смог найти своего отражения в зеркале.

### *Часть третья*

## ПОСЛЕ МЕТЕЛИ. OPORTET HAERESSES ESSE<sup>1</sup>

Последствия визита в квартиру семьдесят два удивительного гостя, призрачного героя едва улегшихся времен, оказались столь неожиданными и труднообъяснимыми с точки зрения естественных наук, что рассчитывать на их помощь в ближайшее время не приходится. Недаром замечено, что дорожащие своей репутацией ученые не стремятся замечать, а тем более рассуждать о фактах, не укладывающихся в систему понятий, которыми они привыкли убеждать нас в своей учености. В связи с этим все непредсказуемое, внезапное, особенно злое, а изредка и счастливое, приходится отнести по ведомству темных, не различных трезвым сознанием сил.

Человеку недальновидному иной раз кажется, что ветер, например, просто закручивает на улице снежные столбы и переносит вихрем взвинченный снег от сугроба к сугробу. Может быть, очень может быть. Но человек дальновидный, задетый таким вихрем по дороге, тут же сядет и совершит крестное знамение. И будет прав по-своему. Вихревые столбы в действительности, особенно снеговые, реже песчаные, известны как широко распространенный способ перемещения нечистой силы; если же столбов несколько, то скорее всего это уже не средство передвижения, а пляска, сопровождающая, как правило, свадьбы чертей и ведьм.

<sup>1</sup> Надлежит ересям быть (лат.).

Замечено, что и поныне нечистая сила не оставила привычку вмешиваться в людские дела, даже когда ее об этом никто не просит.

Жизнь диктует необходимость быть наблюдательными, потому что неведомое, столь активно и трагически вмешивающееся в нашу жизнь и ее направляющее, обозначает себя лишь приметам и признаками.

Взять тех же обитателей квартиры семьдесят два. Захваченные внешними обстоятельствами жизни, в них ощущая смысл и оправдание своего существования, они незаметно для себя все больше и больше уходили во мглу самоневедения, не замечая при этом, что воздух в их жилище стужался все больше и больше и становился благоприятным для всяческой нечисти.

Мы видели, как Монтачка, взобравшись на табурет, открыл форточку и выпустил скопившийся в кухне пар, но со времен Тертуллиана и Афиногора, Минуция и Фирмика Матерна известно, что любимая пища демонов как раз пар и дым приносимых земным кумирам жертв. А пар в тот вечер на кухне был столь многообразен, что мог угодить самому разборчивому бесу. Заметим при этом, что в самый момент открывания форточки Аполлинарий Иванович Монтачка и собравшаяся на кухне публика были отвлечены появившейся в дверях новой фигурой, таким образом, никто не может с уверенностью сказать, был ли использован открывшийся вдруг проход в неблагоприятных для жильцов целях.

К этому надо добавить, что люди сильные и властные, поселись они в квартире семьдесят два, мало чем отличались бы от людей смиренных и слабых, — и те и другие и в самой квартире и за ее пределами руководствовались той государственной дисциплиной, которая сама безропотно подчинялась переменчивым велениям незримых начал.

Магия власти поддерживается обычно огромным количеством обрядов, внушающих непогрешимость, мудрость и неотвратимость, то ли по причине Божьего промысла, то ли в результате действия законов развития природы и общества, силы животворящей и губительной. Остается только удивляться, какая богатая почва для суеверий и предрассудков положена в фундамент доказательства естественности и неотвратимости власти. Наибольшее же количество предрассудков и суеверий призвано оправдать и освятить тайну и непостижимость власти.

Ко времени произошедших событий не только жители злосчастной квартиры, но и подавляющее население великой державы свыклись с тем, что жизнь приводится в движение тайными пружинами и только тайна обеспечивает торжество и победу.

Всеми признается, что избранные, знающие, как обернуть высшую силу на пользу или на вред, должны держаться особо, не смешиваясь с простыми людьми, точно так же, как держались всегда насобицу колдуны, кудесники, ведуны, домовые, водяные, знахари, ведьмы и ведьмаки, взявшие на себя посредничество между таинственными и неукротимыми силами и прочей публикой.

Интересно, что борьба светской, а особенно духовной власти за монополию на посредничество между людьми и высшими силами, борьба, насчитывающая тысячи лет и сотни тысяч жертв, успеха так и не принесла, и подводить итоги злой деятельности колдунов, как считают авторитеты, еще рано.

Сложность решения состоит в том, что наиболее характерной чертой носителей нечистой силы является, как известно, их способность скидываться или, иначе, оборачиваться.

Оборотни, с просвещенной точки зрения, существа мнимые, но, к сожалению, последствия их деятельности бывают уж очень реалистичны и крайне ощутимы, о чем без сомнения может сказать каждый читатель со ссылкой на свой личный опыт и наблюдения.

Если в прежние времена, хотя бы в прошлом веке, когда темный народ в массе своей еще жил в селах и деревнях, сравнительно близко к нерастравленной природе, о н и любили скидываться всяческим зверьем и разнообразной птицей, за исключением, разумеется, коровы и петуха, то наши времена обнаруживают известную новизну в бытовании оборотней. Беспристрастное наблюдение дает массу примеров того, как змеи, вороны, лисы, а особенно козлы и свиньи, запросто принимают человеческое обличье, подчас весьма привлекательное. Надо думать, что наши времена чем-то особенно заманчивы и удобны для деятельности всяческой нечисти, а потому, в отличие от прежних времен,

нет вовсе примеров того, чтобы кто-то из этих скинувшихся свиней, змей и лис обратно принял свое природное обличье.

Вот и ходят они, неотличимо похожие на самых обыкновенных людей, хотя и существуют признаки и приметы, по которым можно распознать, к примеру, ведьмака.

Ведьмаки, как правило, не говеют, и поэтому земля не принимает их после смерти, вот они и ходят уже в ранге упырей, пробавляясь по ночам людской кровью. Однако все не так просто, можно ли считать неговение устойчивой отличительной чертой ведьмака? Нет и еще раз нет. Иначе получится, что великий старец, Благословенный Федор Кузьмич, в миру император Александр Павлович Первый, как известно, не говевший, тоже может попасть под подозрение, а в сочетании с пустой гробницей в Петропавловском соборе и вовсе дать пищу для никому не нужных размышлений.

Проще с ведьмами, их черты и признаки более характерны и устойчивы. Ноги от колен и руки от локтей обычно у них налиты выпитой кровью и потому имеют специфический синий цвет, но не такой, знаете, густой синий, а мягкий, ближе к голубому. Еще проще различить ведьму по своеобразным или, как их еще называют, дьявольским пятнам на теле. Так что если вам случится до такого тела добраться, мой вам совет: со словами «с нами крестная сила!» бегите сломя голову, хотя бы и в другой город. При невозможности бежать или хотя бы возжечь свечу и молиться, зовите Мугай-птицу, зовите птицу Немырь и всегда помните о петухе, это надежно, это проверено.

Рассказы об оборотнях противоречивы и зачастую граничат с неправдоподобием, с полетом фантазии, но в наш ли век удивляться фантастическому и неправдоподобному!

Слава богу, из ученых книг известно, например, что у пересохшего ручья Юр в селе Шигонь ордена Ленина Пензенской области уже третий год из-под моста ночью появляются свинья и гусь и, опровергая бытующее мнение о невозможности среди них товарищества, дружно нападают на людей, в первую очередь подвыпивших. Группа пострадавших составила экспедицию, но, как ни искали в окрестных местах и даже по дворам, найти разбоем живущих животных так и не удалось, в то время как эксцессы продолжаются.

Изобличение нечистой силы сопряжено с известными сложностями. И вербная свеча, и пепел от осиновых дров, и даже рябиновый прут оказываются средствами недостаточными. Есть сильные средства, но отличающиеся большой странностью: молитва на нож, например, вызывающая у н и х неуправляемое желание скверно ругаться. Но это средство скорее предохранительное, как бы превентивное, нежели пригодное для сведения.

Высокоэффективным средством как раз для сведения является первое яйцо от молодой курицы, вещь надежная, оправдавшая себя во многих ситуациях, но, согласитесь, в городских условиях, даже при наличии двух кур и одного петуха у гражданки Сокольниковой, разжиться, подчеркиваю, первым яйцом от молодой курицы было бы делом архисложным, практически невозможным.

Порча, порча по сути — основная форма деятельности нечистой силы.

Исторические формы порчи, насылаемой как на отдельных граждан, так и на целые государства, изучаются скверно, толком не систематизируются, и потому положение, в которое попали обитатели семьдесят второй квартиры, разом лишившиеся своего отражения в зеркалах, надо считать весьма и весьма серьезным.

### *Часть четвертая*

## ПЕРВАЯ МИНУТА

В первую минуту, а длилась она несколько дней, — чуть меньше недели, каждый из обитателей квартиры семьдесят два пережил всю беспределность своего несчастья и ужас безотрадного будущего.

Вставало утро, пробуждались жильцы, оживала надежда.

Именно по утрам прожитая накануне жизнь казалась им просто забвением, сном; кто смело, кто с опаской и осторожностью подходил заново к зеркалу и, бросив взгляд требовательный и убежденный или, напротив, исполненный смирения и ожидания чуда, упирался всеми своими чувствами в пустоту и вновь

погружался в горькую явь. Пустота обрушивалась всей своей безысходной реальностью, и та пошлая, скучная, зауздная действительность, что каждый день открывалась на улице, на набережной, в магазине, в транспорте, казалась чудесной, исполненной смысла и недостижимого достоинства.

Каждый знает, как разлучает нас с беспечным человечеством тернистый вопрос, вдруг поселяющийся в нас и терзающий душу.

Заметим только одну странность: об э т о м они боялись заговорить, каждый, наверное, питал надежду, что э т о случилось только с ним одним или с ней одной.

На кухне легко было заметить, как они оборачивались друг к другу, словно собирались что-то спросить или сказать, но, столкнувшись с глазами, в которых, как в зеркале, стоял тот же самый вопрос, те же самые слова недоумения и растерянности, либо молча отворачивались, либо спрашивали совсем о другом.

Долгие кухонные минуты стали протекать в совершенном молчании, что среди нормальных людей можно считать явным признаком нездоровья, как бы признаком излишней заботы, или, извините, скудоумия. Но раньше-то, раньше за ними такого не водилось!

Будем милосердны к обреченным; вообще нетрудно заметить, что о самом главном люди, как правило, молчат.

Следует ли удивляться тому, что не только о странном недуге, поразившем всех обитателей злосчастной квартиры разом, но и о величайших исторических событиях, равных которым не знала наша многострадальная земля, о событиях, свидетелями, участниками, исполнителями и жертвами которых были все, не только проживавшие в зачумленной катакомбе, но и за ее пределами, в общем-то распространяться не любили.

Взять, к примеру, Гликерию Павловну. Она, с удовольствием и в подробностях говорившая о своей покойной магушке, старейшей жительнице этих стен, никогда не говорила об отце, будто его и не было, хотя фотография гардемарина, не вернувшегося с русско-японской войны, была привычным украшением комнаты бывшей прислуги. Ни сестры Пойгины, ни Екатерина Теофиловна никогда не говорили во всеуслышание о своих родителях и уж тем более о дедах и бабках, у которых, надо думать, уже посмертно было отнято право на жизнь. Ничего не говорил о своей суровой службе в условиях Крайнего Севера скупой на слова Окоев, и вовсе не от недостатка красноречия. Кто знает, может быть, и ему приходилось выполнять ответственные государственные задания, за приглашение участия в которых он давал письменное согласие быть, в свою очередь, сурово наказанным. А его круглолицая говорливая, как весенний скворец, жена Розалия Иванна тоже ведь никогда не говорила, как работала по найму в тех же учреждениях, где нес службу муж. Она никогда не рассказывала о своем богатейшем прошлом контролера за посылками и передачами, а ведь это по-своему редкая и увлекательная профессия. Едва ли не каждая передача, едва ли не каждый кусок мыла в передаче — это загадка, тайна, незримая схватка умов. Понятно хотя бы почему не говорила Анастасия Вячеславовна Шим и ее нервный сын Гаррик о том, как и при каких обстоятельствах исчез с лица земли их муж и отец, автор злосчастной оратории «Шаги на рассвете», не сумевший в свое время расслышать и понять ясную поступь эпохи. Неяркой искрой мелькнула его жизнь, но искра родила пламень, в котором сгорел сам Шим и крупно погорели его родственники. Последнее, что узнала о нем семья, так это то, что он был среди участников конкурса строителей канала имени Москвы на сочинение «Гимна каналармейцев». Конкурс освещался в газетах, где и мелькнула приветным знаком родная фамилия. Казалось, уж чего молчать кривобокой учительнице младших классов Тамаре Степановне Сокольниковой — беды ее были настолько простыми и никого не задевающими, что она, по-видимому, думала, что сама ее походка и невзрачное обличье говорят едва ли не все о ее кривобокой и отчаянной жизни.

Спросите подводника в отставке, славного балтийца и североморца, отчасти даже морского пехотинца, капитана первого ранга Иванова, при каких обстоятельствах и чего ради тащил он волоком по снегу через степь зимой сорок второго года, не из варяг в греки, а из Махачкалы в Таганрог, и не струги расписные, а расчлененные на секции подводные лодки серии «М», умножая американскую деловитость изношенных «ЧТЗ» на русский размах и семижильное упорство костенеющей на степных ветрах слабосильной нестройной команды. Не расскажет, поскольку по пришествии в Таганрог лодки собирать не стали, то ли по

причине отсутствия в водах Азовского и Черного морей надводных военно-морских сил противника, то ли еще из каких глубинных соображений. В общем, высшее начальство всю затею назвало глупостью, и все постарались побыстрее забыть. Не расскажет капитан Иванов, как, командуя подводной лодкой в начале сентября сорок первого, утопил шведский паром, доставлявший нам из Германии через шведов военную оптику в обмен, кажется, на наш марганец. Товарищ Ворошилов, командовавший в те дни Ленинградским фронтом, лично спрашивал за паром у капитана Иванова, ударяя рукоятью безотказного нагана по крышке письменного стола, перед которым, вытянувшись в струнку, стоял подводник. «Прихватил для тоннажа», — искренне повторял Иванов, никогда не говоривший неправду. А может, вы хотите услышать, как, командуя лютой зимой бригадой морской пехоты, Иванов получил пополнение, прибывшее в теплушках в азиатских халатах, хотя и с полотенцами вокруг шеи, но без оружия?

Не расскажет вам этого Иванов, потому что сам уже не верил, что все это было и, главным образом, могло быть.

Каждому есть о чем молчать; одни молчат, потому что страшно, другие — потому что стыдно, третьи — от глухого безразличия к себе и окружающим, четвертые — от душевного косноязычия, пятые — от убеждения в бессмысленности говорения о том, о чем все и так знают...

Стушенное чувство опасности, охватившее всех вначале, стало как-то ослабевать, теснимое выступавшими на первый план бытовыми неудобствами. Ох уж эти бытовые неудобства: маленькие, вьедливые, неотступные, бесконечные, вы способны заслонить собой, скрыть от глаз и умственного взора бедствия похлеще, чем утрата, постигшая всех жильцов.

Спасительное окаянство мелочей, ты примиряешь нас с историей, особенно на крутых поворотах переходных периодов!

Неясность дальнейшего хода истории почему-то всегда порождает и оправдывает разные злодейства и низости; их свет и энергия, многократно преломляясь на пути с самого верха до самого низа, в повседневном обиходе оборачиваются недоброжелательностью, раздражительностью, некоторой озлобленностью и разного рода стервятничеством. Это естественно: одни критерии в оценке «добра» и «зла» покосились, валяются, поставлены под сомнение, а другие еще как бы не утвердились в своих правах, не доказаны, вот тут-то каждый и волен показать, на что он способен. Тут же надо заметить, что тяготы и тревоги переходных моментов порождают ожесточение, которое не может выплеснуться на виновников, их породивших, вот и плещется злое отчаяние то в семейном кругу, то в кругу сослуживцев и уж, конечно, растекается ядовитым кипением в коммунальном общежитии.

И накануне катастрофы квартира жила в сложнейших и напряженнейших межпартийных отношениях, порожденных мечтой о перестройке нескончаемого жилища в две приличные сугубо разделенные квартиры. Чья комната пойдет под новую ванную? Чья комната станет второй уборной? Кто окажется лишним в светлом грядущем? Эти истинные страсти выливались прежде всего в острейшие дискуссии и беспощадные разговоры о плите, залитой прикипевшим варевом, о нарушении устава дежурств и порядке уборки мест общего пользования, в споры за жизненное пространство во прихожей, не функционирующей ванной и на антресолях; введите сюда коэффициент общей раздражительности и умножьте на неизбежные личные антипатии и временные тактические союзы, вот тогда вы получите градус накала чувств, царивших в этих стенах.

Но вот пришла беда, и старинные враги уже по-новому смотрели друг на друга, и не только смотрели, но и могли в любую минуту в коридоре или прихожей в голос или немо спросить: «Ну как?» — призывая соседа оценить готовность жильца предстать перед внешним миром без огрехов во внешности и туалете. Каждый, не признаваясь себе в этом, по мере сил брал на себя роль зеркала.

Да, квартира семьдесят два на канале Грибоедова, быть может, именно благодаря несчастью стала представлять в переходную эпоху начала шестидесятых годов явление исключительное.

Предупредительность и внимание жильцов по отношению друг к другу достигли таких вершин, на которые не поднимаются даже обитатели отдельных квартир, соединенные на добровольных началах общей фамилией или супружескими надеждами на лучшую жизнь.



Тот же Окоев, ходивший по квартире с кротостью пса, хорошо помнящего недавнюю выволочку за переусердие, и удивленный тем, что от него не ждут новых подвигов в рамках закона, запросто мог сказать, стоя у своей кастрюльки и, казалось бы, всецело в нее погруженный, вошедшей на кухню Екатерине Теофиловне: «Шпилька!» — и та, всегда обращенная внутренним взором в то место на планете, где был в данную минуту расположен человек, о котором она думала непрестанно, успевала не только услышать Окоева, но и по мимолетному взгляду понять, откуда валится шпилька. В свою очередь, с такой же легкостью обычного дела и сама Екатерина Теофиловна, только куда деликатнее и не так громко, не по-командирски, могла обратить внимание того же товарища Окоева на выбившуюся из-под кителя со споротыми погонами нижнюю рубашку. Для примера взяты как бы крайние точки квартиры, никогда в прежней жизни между собой не соприкасавшиеся. Казалось, что их взаимная нерасположенность даже не нуждалась в материализации неприязни. То ли гордость, то ли воспитание не позволяли Окоеву унижаться до того, чтобы здороваться с жильцами на кухне.

Что ж говорить о Гликерии Павловне, которая не оставляла своим вниманием наружность Михаила Семеновича задолго до происшествия, хотя и сама жена филармонического скрипача Софья Борисовна с успехом чуть ли не всю жизнь заменяла ему зеркало.

Можно было бы, конечно, порадоваться, что все несчетные обитатели семьдесят второй квартиры, этот маленький ковчег, заповедник надежды, сумели подняться над отчаянием и горечью недобровольно спрессованной жизни, подняться над раздражением обреченных на общую кухню и бесполезную ванную, подняться над случайностями неотвратимых житейских дряг. Жаль только, что пробуждало эти бесценные в человечестве чувства лишь нагрывшее несчастье.

А еще пестрое население квартиры стала роднить то ли естественная в их положении, то ли притворная задумчивость, в которую они вдруг, не сговариваясь, погрузились, отчего приобрели вид загадочный и немножко таинственный, кстати, и в изъявлении учтивости и предупредительности тоже было что-то торопливое, поспешное и как бы тайное.

Тайна всегда была непререкаемым атрибутом и сильнейшим орудием власти.

Известны тайные общества, чьи цели бывали довольно туманны и даже безнравственны, и чем гуще бывал покров таинственности, тем гнуснее, как правило, совершались дела под этим покровом.

Было бы не совсем справедливо утверждать, что лишь новейшие времена окутали жизнь, деятельность, а по большей части и смерть властителей завесой непроницаемой таинственности. Не на этой ли земле правили царицы, открыто имевшие любовников и втайне содержавшие мужей, не здесь ли императрица, замышлявшая против своего супруга, держала в неведении относительно участия в заговоре самых близких своих единомышленников?

Понадобилось не одно столетие и не два, чтобы приучить народонаселение огромной державы к мысли о праве власти на беспредельную таинственность.

Но вот вопрос: стоило ли делать тайну из, в общем-то, замечательного, быть может, даже обогащающего науку происшествия, случившегося 12 ноября на канале Грибоедова?

Здесь каждый может ответить на простой вопрос: а что вы сами станете делать, если однажды утром не увидите себя ни в карманном, ни в туалетном, ни в стенном зеркале? Побегите? Закричите? Станете звать на помощь? Пойдете к знакомым врачам? То-то и оно!

О чем могли подумать пенсионеры — Окоев, например, и Гликерия Павловна — в подобном положении? Идти в собес? Ну отправят в поликлинику, если не куда похуже, задержат пенсию.

Скажи Тамара Степанна Сокольникова, учительница младших классов, о странном своем недуге не директору, с которым за пятнадцать лет работы разговаривала-то всего шесть раз, а хотя бы завучу Мире Георгиевне, женщине вдумчивой, интеллигентной, милой и в высшей степени партийной, — это какую тяжесть взвалить на округлые и несколько покатые плечи завуча?

Честнейший Михаил Семенович попробовал. В преддверии поездки симфонического оркестра в Англию, так и не состоявшейся в тот раз, истомившись душой, невыразимо измучившись, получив три оглушительных замечания от главного дирижера за орехи на репетиции, он подошел в перерыве к партору оркестра кларнету Обуховичу и честно сказал: «Знаете, Сережа, я что-то в зеркале

не отражаюсь». Сережа поднял глаза от кларнета, лежавшего на коленях и разобранного по частям, как охотничье ружье, подождал и спросил: «Это все?», — «Все», — честно признался Михаил Семенович. «Не смешно», — сказал Обухович, демонстрируя глубину и искренность материалистического взгляда на мир, и стал протирать темно-синей бархоточкой и без того сияющие клапаны. Шубкин не стал вносить новые обстоятельства в анкету, хотя, заполняя выездные листы, расписался под обязательством в случае возникающих изменений и дополнений непременно внести и указать. А теперь, пожалуйста: «Не смешно!» — будто в анкету на все восемь страниц только и вносили, что посмешней.

Как-то произвольно тайна угнездилась в мрачноватых стенах, и жители квартиры семьдесят два, не сговариваясь, составили как бы орден или тайное общество.

### Часть пятая

## ГОСТЬ ЖЕЛАННЫЙ

В ночь, предшествовавшую знаменательному утру, в квартире семьдесят два был еще один гость: он пришел поздно вечером, открыв дверь своим ключом, и покинул квартиру среди ночи, так никем и не замеченный.

Это был безраздельный владеец сердца Екатерины Теофиловны.

Не станем вплетать еще один бумажный цветок в бесконечную гирлянду любовных историй, приманивающих доверчивых простаков своей неумеренной откровенностью. За откровенностями было бы резонно обратиться к старшей Подосиновой, в отличие от нас с обостренным вниманием наблюдающей, с одной стороны, супружескую жизнь Гриши и Маши и, с другой стороны, внебрачную жизнь Екатерины Теофиловны, проступающую сквозь непрозрачные, но все-таки тонкие стены двух перегородок, образовавших ее комнату то ли в эпоху реконструкции, то ли в период развернутого строительства социализма по всему фронту, в общем, до войны.

Комната, доставшаяся Екатерине Теофиловне после внезапного и решительного развода и поспешного размена едва приобретенной двухкомнатной кооперативной квартиры, составляла четырнадцать и три десятых квадратных метра и не оставляла особенного простора для вариантов расстановки мебели. Тахта, на которой приходилось спать, могла встать только к окоевой стенке или к стене Подосиновой. Окоевы пребывали дома почти непрерывно, а мать и дочь Подосиновы работали в три смены, в том числе и в ночную, так что правая сторона открывала возможности большего уединения. Тем не менее именно Подосинова-старшая была решительно в курсе всех подробностей жизни гордой соседки и, не испытывая никакой особой симпатии к Равелю, готова была слушать «Болеро», приглушенно звучащее из-за стены, эту любимую долгоиграющую пластинку гостя Екатерины Теофиловны.

Без него «Болеро» в комнате соседки не звучало.

Если Гликерии Павловне кружила голову и доставляла несравненное удовольствие атмосфера тихих сплетен, беззлых интриг и светских пустяков, то бескорыстная душа Подосиновой-старшей утешалась всегда простыми, но достоверными знаниями. В своей родной деревне на собрании женщин-гражданок она засыпала вопросами женорганизаторов: «сколько абортос безвредно для здоровья? влияет ли цвет шерсти коровы на молоко? кто полезней, корова или лошадь?» — так же точно и сейчас, застав Екатерину Теофиловну днем одну на кухне, могла запросто поинтересоваться: «Что это у вас и н т и м н о с т и давно не было?». «Плохо себя чувствую», — отвечала Екатерина Теофиловна, словно признавая, что механическая сближенность совершенно разнородных жизней порождает право на подобного рода знания. «Смотрите, — дружески предупреждала соседка, — они этого не любят!» — «Я тоже не люблю», — сухо говорила Екатерина Теофиловна. «Молчу, молчу, молчу», — запоздало смущалась Подосинова-старшая.

Связь Акибы Ивановича и Екатерины Теофиловны была их сугубо личным делом, и обо всем, как уже сказано, исчерпывающие сведения можно получить у Подосиновой-старшей, а недостающие детали восполнить у Гликерии Павловны.

Сведения, почерпнутые из этих двух незамутненных корыстью источников, вполне могли бы напитать целый роман с откровенностями, служащими, с одной

стороны, украшением разного рода исповедальных и доверительных сочинений, а с другой стороны, свидетельством того, что автор смотрит на жизнь широко открытыми глазами и в современном духе.

При всем при этом будем считаться с тем, что Акиба Иванович и Екатерина Теофиловна имели рутинные представления о стыде и бесстыдстве и в спальню свою посторонних не приглашали, а потому и будут рассматриваться с полным уважением прав личности. Да и надо ли отвлекаться в сторону, изрядно истоптанную, сообщать подробности суть ординарные и, благодаря напору нескромной литературы, общеизвестные. Иное дело зеркало, висевшее на противоположной от тахты стене, укрыться от которого не представлялось возможным, именно оно сообщит нам картину, дающую новый толчок событиям, необъяснимым с точки зрения здравого смысла, бессильного объяснить все большее и большее количество вещей и явлений, ежедневно предстающих перед нашими глазами.

Заядлые любовники в описываемый вечер, вернее уже ночь, поскольку дело было после ухода гостя от Окоевых, включив тусклое бра в изголовье тахты...

Но все по порядку.

Живописать молодое тело Екатерины Теофиловны невозможно, и не из скромности или нехватки красочных слов в словаре, а просто потому, что описывать нечего, зеркало отражало лишь Акибу Ивановича, описывать которого, не разделяя к нему чувств Екатерины Теофиловны, срамно и тошно. Носитель бабьей физиономии и склонного к излишней полноте бабьего же тела на тощеватых ножках отражался в зеркале во всех без исключения подробностях.

Акиба Иванович с остановившимся дыханием стал искать очки и надел их с такой поспешностью, что одна дужка не успела отпрянуть в сторону, и потому очки на носу не держались, соскальзывали, и Акиба Иванович ничего не мог ни разглядеть, ни понять. Зная за возлюбленным привычку смотреть на часы и не давая горькому чувству разлиться и отравить миг счастья, Екатерина Теофиловна в полном самообладании раскрыла дужку очков, укрепила их там, где им положено быть, а сама откинулась и прикрыла глаза. Возлюбленный, не забыв чмокнуть заботливую руку, уставился в зеркало на противоположной стене с тем тревожным вниманием и надеждой, с каким типы вроде Акибы Ивановича пробагают газетные сообщения о награждениях или заглядывают в платажную ведомость, не ища своей фамилии, а обзревают столбцы предназначенных к выплате сумм, отмечают про себя наиболее выдающиеся и только после этого находят свою строку с тем, чтобы испытать чувство обиды или законного торжества.

Поскольку Акиба Иванович был профессиональным безбожником и убежденным атеистом, ему ничего не оставалось, как всегда верить в худшее, он верил и редко ошибался. Не ошибся он и на этот раз.

Он-то знал, кто не отражается в зеркале!

Он смотрел в зеркало, приподнимал очки и опускал, переводил взгляд на Екатерину Теофиловну, лежавшую с закрытыми глазами, снова смотрел в зеркало и даже не искал объяснения случившемуся, поскольку знал, что все явления в природе и обществе рано или поздно будут наукой разъяснены, тем более, что пути к отысканию истины указаны в соответствующих томах собраний сочинений. Необъяснимое же и необъясненное пока чревато неприятностями.

Не удивлось, если окажется, что вы слышали об Акибе Ивановиче много замечательных и восторженных слов, Акиба Иванович умел производить впечатления, в том числе и человека мужественного, особенно когда речь шла об исторических катаклизмах и чужих бедах. У мужественных же людей он заимствовал мягкость и сладкую ласковость, свойственные едва ли не всем, кто знает цену своему золотому сердцу и тяжело переживает слепоту окружающих. Мягкость и сладкая ласковость служат превосходной оболочкой нервности и раздражительности и могут быть широко рекомендованы всем нетерпеливым неудачникам.

Акиба Иванович не без робости коснулся губами прикрытых глаз Екатерины Теофиловны и опять вперился в полупустое зеркало.

Мужество покинуло Акибу Ивановича. Надо было уходить.

— Красота обманчива, но не до такой же степени, — проговорил Акиба Иванович, подтверждая свою неистребимую склонность к метафизическому взгляду на мир.

Увидев открытые глаза Екатерины Теофиловны, сказал изумительно прощательно: «Ты очень красива» — и погасил свет.

Охваченный тревогой, очки снимать не стал, так и лежал в очках голый.

Когда свершается непоправимое, люди ведут себя по-разному, но есть мгновение, есть миг, и подчас довольно продолжительный, самый первый миг, когда непоправимое едва коснулось нас своей неосознанной еще неотвратимостью, еще не успев ничего нарушить во всем порядке предыдущей жизни, но уже окутав наши мысли и чувства пронзительным холодком. В эти мгновения душа, еще не способная к сопротивлению, замершая, погружается в пустоту, лишенная привычной житейской опоры. Это тот самый миг, когда мы не знаем еще ни нужного жеста, ни верного слова, не готовы к поступку и лишь одной надеждой и воображением упираемся, страшась видеть и знать то, что уже стало нашей судьбой.

«Ты хороший... Мне хорошо с тобой...» — чуть слышно проговорила Екатерина Теофиловна, из чего Акиба Иванович понял, что возлюбленная в зеркало не смотрела.

Екатерина Теофиловна, переполненная нежностью, ждала, но Акиба Иванович был уже далеко и в мыслях и в чувствах.

— Хочешь поспать? — сдерживая жаркое дыхание, милосердно прошептала Екатерина Теофиловна, отметив про себя, что возлюбленный на часы не смотрел. Она провела горящими губами по его ушной раковине и стала шептать в ухо какие-то слова, в которых, как у нее водилось, было больше музыки, чем текста.

Акиба Иванович сообразил, что надо отвечать, что молчание становится неприличным, он собрал всю свою силу воли с тем, чтобы не выдать волнения, и произнес с привычной покровительственной нежностью: «Детка моя...» Сказанное подкрепил жестом. «Сказать или не говорить? Зажечь свет? Проверить? Нет уж...» Акиба Иванович своим глазам верить привык. «Очень велик риск. Риск велик». И снова погрузился в тоскливое предчувствие беды.

Со зрением у Екатерины Теофиловны было неважно, но слух ее не обманывал никогда. Она вновь поцеловала Акибу Ивановича в ушную раковину, но уже твердо, как припечатала, и тихо сказала:

— Хочешь уйти? Не мучайся... Все хорошо. Слышишь?

— Я не буду зажигать свет, — выждав приличествующую паузу, в которой можно было упрятать радость от столь неожиданного поворота дела, уже с искренней ласковостью прошептала опущенный на волю Акиба Иванович.

Минуты прощания требовали от Екатерины Теофиловны всякий раз такого самообладания, что без света было даже лучше.

«Грохнулось бы это зеркало», — размечтался, одеваясь, Акиба Иванович.

И почему это нам всегда приходят в голову самые несбыточные способы избавления от беды?

Обычно Акиба Иванович по завершении визита к Екатерине Теофиловне отправлялся среди ночи, как снег на голову, к брату своему Аполлинарию Ивановичу, чья комната была примерно на середине пути к кухне и другим местам общего пользования и в случае перестройки квартиры, кстати, предназначенная под новую кухню. Версия неизбежности столь поздних и отчасти внезапных визитов была раз и навсегда утверждена и принята за истину и близоруким в житейском смысле Аполлинарием, и дальнозоркой во всех отношениях Муркой, чьим мужем в ту пору состоял Акиба Иванович.

Мурка, прельстительная героиня многих романов, принадлежа в нынешнем своем состоянии Акибе Ивановичу, в потенции своей являла общественное достояние и не может быть привлечена к дознанию по бесполезности, как человек, умеющий презирать все зеркала на свете, верящая лишь одному-единственному зеркалу, которое носила то ли в груди, то ли в сердце, в общем, где-то глубоко внутри себя.

Если уж и привлекать Мурку к следствию, так только для того, чтобы извлечь из нее это потаенное зеркало, пребывающее едва ли не в каждом из нас и преумножающее наши заблуждения до невозможности. Но здесь мы сможем постичь лишь подоплеку частного блуда, да и только, в то время как в зеркале Монтачки, кто знает, вдруг и увидит свое отражение блуд общественно-исторический, обретший государственные формы и подвергший искусительному соблазну самую что ни на есть разнообразнейшую публику.

Все знали, что Акиба работает над книгой. «Кива сидит над книгой», — как говорилось в семье. Неутомимый труженик по завершении музейного дня, пользуясь особым доверием руководства музея, оборудовал себе в подвале, на месте ликвидированной в экспозиции «средневековой камеры пыток», скром-

ный кабинетик, к счастью, без телефона, отвлекающего от работы. Увлеченный своим многотрудным делом, он не замечал летящих часов, засиживался допоздна, после чего, естественно, ночевал у брата, живущего рядом, за каналом. Мурка просила предупреждать, если Кива задерживается, и Акиба Иванович с готовностью предупреждал. Об отношениях брата с милой соседкой, учительствовавшей в школе для слепых ребятишек, Аполлинаруй Иванович даже не догадывался.

О брате своем Акиба Иванович всегда отзывался только хорошо: «Хороший человек, но слабый. Ум у него не туда направлен. Так сказать, не имеет собственного направления». Отзывы эти Акиба Иванович произносил только в отсутствие брата, быть может, озабоченный тем, чтобы Аполлинаруй Иванович всегда оставался самим собой.

Сегодня, потрясенный видом полупустого зеркала, Акиба Иванович пролетел по коридору к выходу и, выбегая на лестницу, довольно громко хлопнул входной дверью.

Увидев занесенный снегом двор, не тронутые следами наметы, Акиба Иванович предположил и здесь ловушку. Ровное белое покрывало напомнило ему почему-то пустое зеркало. Он двинулся по снегу, как по белому листу протокола, оглянулся и с удовлетворением обнаружил продавленные его крупными башмаками лунки, они тянулись строго по прямой, без разворотов носков в сторону, будто бы человек шел не по земле, а по досочке или канату.

Неожиданно откуда-то появилась кошка, длинная и плоская, будто она много лет провисела, забытая в шкафу, и вот впервые, уже изнутри высохшая, а снаружи страшно изъеденная молью, вышла погулять, пока никто ее не видит. Кошка взглянула на Акибу Ивановича, сверкнув зеленым глазом, будто свободное такси, предлагая свои услуги. Акиба Иванович вздрогнул, а тут еще то ли сослепу, то ли с перепугу ему показалось, что невесомая кошка не оставляет следов на снегу, отчего его спина покрылась холодной испариной.

Он хотел выскочить по-быстрому на Перинную, но увидел, что железная решетка ворот замкнута дворницкой цепью, два прута были, правда, раздвинуты чьей-то могучей рукой, но протиснуться в них с его комплекцией было невозможно. Он повернул во второй двор в поисках выхода на канал. «Так еще лучше...» подумал Акиба Иванович, хотя обычно уезжал со стоянки у Гостиного, откуда метров на триста к дому было ближе, ровно рубль восемьдесят с копейками, так что водителю можно спокойно дать два рубля, а от Казанского, от стоянки у ресторана «Кавказский», было два десятка, и приходилось или искать мелочь, или давать трешку и потом мучительно выжидать выдаваемую по монетке сдачу. Такие были тогда нравы.

В эти минуты Акиба Иванович вовсе забыл о том, что на свете существуют деньги, здесь ставки были покрупней, совсем по другим счетам. Бежать, бежать, бежать — одно только и гвоздило в голове.

Испуг не на шутку охватил всего Акибу Ивановича.

Как просвещенный безбожник и научный сотрудник Музея истории религии и атеизма, Акиба Иванович твердо знал, что в зеркалах не отражаются... призраки! привидения! и мертвецы!.. И нет на этот счет двух мнений ни среди верующих, ни среди неверующих.

Правило завешивать зеркала в доме, где есть покойник, стоит на особом положении и соблюдается строго как в последней покосившейся избе, так и в Доме Советов в городе Москве, где выставляются для прощания самые дорогие и уважаемые покойники.

Теперь, по роду своих занятий на безбрежной ниве атеизма, Акиба Иванович проник в самые устойчивые и дремучие предрассудки, сопутствующие человечеству на протяжении многих сотен лет. Он метался по занесенным снегом дворам, а в голове бегущей строкой сами собой возникали привычные лекционные слова: «...часто удается проследить связь между приметой, ставшей устойчивым предрассудком, и реальными событиями окружающей человека действительности...». Слова сбивались, путались: «...часто удается не проследить...», «не часто удается проследить...» Натыкаясь на строчки собственных следов на снегу, он их не узнавал, оглядывался, ища кого-то, и слова «удается проследить» казались ему откуда-то упавшими на снег. «Немало предрассудков окружает такой привычный нам предмет, как зеркало...», «Немало окружает...», «Привычный предрассудок...», «Предмет нас окружает...» Слова, стоявшие в памяти и на языке такими прочными рядами, вдруг потеряли устойчивость, заколебались, рассы-

пались, перемешались, лишённые необходимой связи. «Религия пытается мистифицировать...», «Религия ставит себе на службу...» — но вот беда, привычные молитвы атеиста не прогоняли засевший в голове призрак пустого зеркала.

«Не зря, не зря зеркала завешивают... вон оно что...» — билось у него в голове, когда он осматривал металлическую решетку ворот при выходе на канал. Створки тоже были схвачены цепью, но цепь была длинной и висела свободно на манер аксельбанта. Акиба Иванович без особенного труда протиснулся со своим лекторским портфельчиком на волгу и потрусил к Казанскому собору.

Перебежав мост, он по привычке двинулся налево, к служебному входу в собор, но, сделав несколько произвольных шагов, отшатнулся: ему показалось, что собор, бывший местом его прочной службы и фундаментом всех надежд, никогда ничем его не путавший и даже напротив, вдруг вздыбился темным лесом исполосованных ложбинками колонн, каменными клешнями необъятной колоннады придвинулся к проспекту и готов схватить зазевавшегося путника. Он пробежал еще немного, стараясь не смотреть на собор, на колоннаду, но все-таки оглянулся, и облепленные снегом ряды колонн показались ему исполинскими белыми зубами в чудовищно разверстой пасти. Он в ту же минуту представил себе холодную утробу храма борьбы с невежеством и предрассудками и впервые рядом с собором испытал не гордость, а чувство, близкое к страху.

Он бросил взгляд назад, на белую гладь высвеченного приглашенными фонарями проспекта в надежде увидеть хотя бы еще одного пешехода, но проспект поразил его полным безлюдьем, будто умчавшаяся метель унесла с собой и все население города.

Весь покрытый белым, город был неподвижен, безмолвен и даже красив, словно убрался и приготовился к тихой смерти.

На противоположной стороне, за сквером, под сенью одевшегося в белый саван Баркляя де Толли, курились дымком заведенных моторов, словно избы в заметенной снегом деревне, шесть машин с зелеными огоньками. Первым в очереди стоял огромный черный «ЗИМ», за ним маленький «Москвичок» и дальше новенькие «Волги». Акиба Иванович загадал: «если успею к «Москвичу», все будет хорошо». А что «хорошо», и не успел придумать, хотя «хорошо» было бы уже то, что в «Москвиче» брали по десять копеек с километра. В сквере он замедлил бег в надежде на то, что, пока он идет, кто-то возьмет «ЗИМ». Когда до стоянки оставалось совсем ничего, шагов пятьдесят, «Москвич» вдруг мигнул фарами и, круто вывернув из очереди, умчался в черную пасть улицы Плеханова.

«На Московский», — сказал Акиба Иванович, садясь на широкое кожаное сиденье рядом с водителем «ЗИМа».

Жил Акиба Иванович в новом доме на Нарымском проспекте, недавно переименованном в проспект Юрия Гагарина.

След от роскошного автомобиля четко отпечатался на нетронutom снегу. В интересах же следствия, придет час, и взглянем и на другие следы Акибы Ивановича.

### *Часть шестая*

## УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ГОРОД

Фигура Аполлинария Ивановича замечательно подходила к роли кота на пожаре, принятой им безропотно, беспрекословно и поглотившей всю его жизнь без остатка.

Сегодня вы видели его на площадке второго этажа в доме 14-б по улице Некрасова, завтра он уже на Марата, 7, так как на Марата, 5 здание успели снести до появления на свет группы Рыцаревой, а через месяц он безвылазно застревает на Колокольной, 12, в квартире Кузнецова, но не того Кузнецова, не фарфорового, а второго, их было два. А дальше мы видели Аполлинария Ивановича на Саперном, 13, кстати, великолепный адрес, оттуда он перескочил прямым на Джамбула, 7, прихватив по ходу и Джамбула, 13, а мыслями и тревогой вся группа была уже на набережной Кутузова, куда надо было лететь, лететь и лететь...

Влетев по горящему адресу во двор на Джамбула, 7, Монтачка едва не был убит низвергнутой с пятого этажа чугунного литья скульптурной группой непревзойденного Лансере, изображавшей сюжет из русско-турецкой войны, если судить по амуниции на обломках всадников и облачению на обломках коней.

Лансере Рыцарева узнавала даже во прахе. И если бы шутник, выкинувший конную группу в окно, не крикнул для смеха: «Кому надо?!» — чем и привлек внимание искавшего черный ход Монтачки, быть может, это был бы последний удар его судьбы.

На Кировной имени Салтыкова-Щедрина, номер дома устанавливается, вся команда Рыцаревой едва не была прихлопнута одним махом, как гибнут стайки зазевавшихся мух под черной резиновой лепешкой мухобойки.

Не сообразив, что из окна шестого этажа во двор лезет беккеровский, именно беккеровский, как удалось прочитать на обломках, концертный рояль, они едва успели разбежаться в стороны в тесном колодце двора в те считанные минуты, что понадобились роялю, совершив пол-оборота в воздухе, пролететь пятый, четвертый, третий и второй этажи и с истошным, истеричным, вовсе не музыкальным воплем сорвавшихся с колков струн с треском расколотого сухого лакированного дерева и мощным ударом чугунной рамы, завершить свое служение людям. Где-то на третьем этаже, вернее, подлетая к третьему этажу, крышка рояля распахнулась, обнажив страшную металлическую пасть, сверкнувшую бронзой и позолотой. Казалось, что рояль летит вниз вовсе не для того, чтобы прихлопнуть пришельцев, а наоборот, заживо сожрать всех разом.

На крики во двор сбегала вниз разъяренная дворничиха, надо думать, руководившая подготовкой фронта работ на идущем на капитальный ремонт объекте, и, перемежая простые слова с матерными, пояснила, что шлаться и шакалить по расселенным домам строго воспрещается. Не прекращая орать, она ткнула их носом в линиялую дощечку с трафаретной надписью «Ведутся работы», прикрепленную проволочкой к воротам.

Рот у дворничихи был полон металлических зубов и чем-то отдаленно напоминал распахнутый зев летящего вниз рояля.

Далеко не все встречи такого рода были шумными и опасными для жизни. Во дворе на Колокольной они застали томящихся в неге на весеннем солнышке трех мастеров, только что отобедавших и еще не убравших в сторонку бутылки из-под «Билэ мицнэ». От луж во дворе поднимался легкий парок, казалось, лужи тоже отдыхают и покуривают. Четвертый мастер не курил, он стоял над повергнутым на землю витражом в деревянной причудливой раме и, ловко вскидывая среднего калибра ломик, бил цветные стекла, почти не задевая тонкий узорчатый переплет с осыпавшейся окраской под бронзу. Изрядный лестничный витраж, характерный, по определению Рыцаревой, для стиля модерн, заканчивал свое земное существование прямо на глазах влетевших во двор ангелов-хранителей. «Ты что, сволочь, делаешь!» — возопила бесцеремонная Рыцарева, будто у нее не было глаз и она не понимала, чем человек занят. Мастер пропустил грубость мимо ушей и, храня достоинство, мельком взглянув на орущую даму, продолжал тюкать брызгавшие цветными осколками стеклышки. «Ты что, бандит, делаешь?» — продолжала свои расспросы Рыцарева, не решаясь столкнуть мастера с рамы, на которой он прочно стоял. Мастер не отозвался, а его друг и коллега, куривший в вытащенном во двор старом кожаном кресле с высоким гнутым изголовьем и иссеченной чем-то острым обшивкой, серьезно и строго заметил, что ругаться и тем более оскорблять человека нельзя. Крепкое слово Рыцаревой только по видимости не подействовало на человека с ломом, рука у него все-таки дрогнула, ритм сбился, и он дважды промазал, один раз тюкнул в раму с деревянной аппликацией в виде волнующихся водорослей, а во второй раз влупил в уже пробитую дырку, так что цветных брызг не увидел, после чего оставил свое орудие в раме и, бросив недобрый взгляд на истошно орущую бабу, отошел к стене, сдвинул шапку на нос и стал мирно отдыхать.

Пока Рыцарева раненой курицей летала вокруг погромленного витража, гадая, кто перед ней: уничтоженный Сомов или разбитый Врубель, Аполлинарий Иванович стал торопливо и сбивчиво объяснять мастеру причину волнения, дескать, уничтожена бесценная вещь.

Тот, что приструнил Рыцареву и был по природе более склонен к общению, с досадой возразил: «Чего уж там бесценная? Три бутылки красного, и весь разговор. Где вы раньше-то были?» Таким образом дело кончилось взаимным огорчением.

Вообще-то работа частенько шла на грани риска.

К лету, даже ранней весной, в город наезжает несчетное число всевозможных гастролей, но не ищите их имена на театральных и концертных афишах, вы не встретите их и на эстрадах в часы массовых гуляний под девизом «Куем мы

счастья ключи», ежегодно совершаемых ранним летом в ЦПКиО имени С. М. Кирова. Не красуясь в своих выдавших виды неброских нарядах на оживленных улицах и площадях бывшей столицы, эти гастролеры находят себе приют в пустующих домах, ожидающих строителей по несколько месяцев, а то и по году. Вот там этой публики полным-полно.

Не одни только романтики без места жительства, традиционные носители криминальной инфекции, бродят по капиталкам, немало любителей-коллекционеров обшаривают всяческие пепелища, собирая бутылки всех мастей и калибров, разнообразие банки и баночки, кухонную утварь, каминный приклад. Народ посерьезней интересуется оконной и дверной фурнитурой, одному на дачу, другому в деревню, третьему просто про запас. Живы были в ту пору еще и наследники славного, чистого дела петербургских старьевщиков, интересовавшихся исключительно тряпками. В основном же по домам ходили в те давние уже годы люди, твердо знавшие, чего хотят, что ищут — банки так банки, склянки так склянки; это нынче развелось ненасытное племя стервятников, готовых пожитьясь чем угодно и где угодно, умея все обратить в барыш и поживу.

Снятые с электроснабжения, отключенные от воды и отопления, дома остаются домами и всегда могут стать приютом для неприветливых жильцов, а хоть бы и зимой. Свет? Да не нужен им свет, чем меньше света, тем спокойней. Зажигать огонь даже не рекомендуется — на огонь летят дворники, летит милиция, дружинники, весь тот элемент, что по природе своей враждебен ищущим уединения и покоя.

Город, выстоявший под беспощадным натиском морских стихий, не смирившихся с потерей отнятой у них болотистой низины, где холодные балтийские воды привыкли чувствовать себя как дома, город, не знавший ноги захватчика за два с половиной века воинственного стояния на краю отечества, город, сотнями тысяч жизней оплативший все девятьсот дней осады, явивший миру пример мужества и ни с чем не сравнимой стойкости, устало погружался в жизнь внутреннюю, скрытую от поверхностного взгляда новых хозяев и переменчивых властителей, взором и духом устремленных в светлое будущее и потому не умеющих разглядеть тускнеющее настоящее.

Город устал.

Устал противостоять незримому врагу всего живого — времени, неотступно изгрызающему каменные твердыни.

Устали нести бремя неутомонного жительства сменяющихся поколений построенные в прошлом веке здания, по множеству раз латанные и перекроенные, сочащиеся прохудившимися крышами, вымораживающие граждан негрешными печами, пугающие трещинами на лестничных клетках и в стенах.

Семейными стаями, целыми квартирами и поодиночке бесшумно откочевывали из ветшающих каменных громад их обитатели в устроенные по окраинам, почему-то около кладбищ по преимуществу, жилища обменного фонда. Дома пустели; но не окончательно, множество вещей, сработанных на службу не одному поколению и не раз поменявших своих хозяев в бурные годы войн и революций, оставались памятниками уходящей жизни в обезлюдевших квартирах.

Комоды, сундуки, секретеры, бюро, обеденные столы на двадцать персон, альковные кровати, рояли и пианино, уже и за бесценку не принимавшиеся в переполненные комиссионные магазины, недорого доставшиеся своим новым владельцам и без грусти, видимо, покинутые, оставались в безжизненных стенах одни, будто принадлежали больше самим домам, нежели их обитателям.

Спасенный от нашествий врагов и стихий, город стал добычей пока еще мелкого, но безжалостного хищничества, изгрызавшего богатое городское нутро

Юркая фигура Аполлинария Ивановича Монтачки как нельзя более подходила к той роли, что уготовила для него судьба великого города, где он родился, к началу шестидесятых годов, несмотря на нестарые годы, он изрядно облысел, а в надлежащее время предполагал занять достойное место на одном из петербургских кладбищ — на Волковом, Серафимовском или Богословском, где в обилии почивали Монтачки прошедших времен.

Происхождение обоих Монтачек, как юркого Аполлинария Ивановича, так и солидного его младшего брата Акибы Ивановича, как, впрочем, и большинства обитателей квартиры семьдесят два, покрыто мраком неизвестности, да и сами



они не имели привычки особенно засматриваться назад, тем более — в глубь веков, где достоверно гнездились их многочисленные родственники и предки.

По причинам своеобразного расположения плодов в утробе достопочтенной Ксении Владимировны, ставшей матерью двойняшек, Аполлинарий появился на свет первым, что и понудило родителей, а главным образом Акибу Ивановича, настоятельно считать его, Аполлинария, старшим сыном и братом. Акиба Иванович, имевший несчастье оказаться вторым, сумел обнаружить в своем несчастье немалые выгоды и на всю жизнь сохранил за собой это право быть несчастным. По праву младшего он требовал и получал.

Явившийся в мир сорок минут спустя после Аполлинария Ивановича, Акиба Иванович оказался, не в пример первенцу, что довольно странно и отчасти подозрительно, ребенком крупным, сильным, голосистым. Казалось, что за те сорок минут, что Акиба Иванович пробыл в материнской утробе в одиночестве, он сумел собраться на предстоящую жизнь великолепно и основательно, в то время как Аполлинарий Иванович выскочил впопыхах, между прочим, или как бы готовя дорогу для идущего следом, чем в какой-то мере предупредил свою судьбу — судьбу человека подсобного, вроде как промежуточного. Но в этом своем последнем качестве Аполлинарий Иванович вовсе не исключение. История знает не только промежуточных людей, но и целые промежуточные эпохи и поколения.

По воспитанию и каким-то своим наклонностям Аполлинарий Иванович не был предрасположен к работе на заводе, хотя и начал свою трудовую деятельность на «Вибраторе» сразу после восьмого класса. На завод пришлось пойти в связи со смертью отца, прошедшего всю войну и погибшего после войны под трамваем. Обязанности старшего мужчины в доме легли на плечи Аполлинария Ивановича. Среднее образование он завершал в вечерней школе.

Братья-близнецы поприще свое начинали вместе, только в отличие от Акибы Ивановича, с первого захода поступившего на исторический факультет университета, Аполлинарий Иванович не поступил и со второго и только на третий год кое-как зацепился за вечернее отделение, где с большими перерывами тянул обучение, совмещая его с крепостной службой.

Сразу после неудачной попытки попасть в университет для укрепления своих будущих позиций и по настоятельной рекомендации рассудительного младшего брата он направился на поиски работы в самое историческое место города, с которого город, по преданию, и начался, но не на «Петровский» ордена Знак Почета судостроительный завод, устроенный на месте шведской крепости Ниеншанц, а прямо в Петропавловскую крепость.

Город в ту пору уже начали растаскивать, и чтобы не растащили весь бесследно и безвозвратно, в архитектурном секторе музея по воле младшего научного сотрудника Веры Рыцаревой, крепко стоящей на мускулистых ногах, расставленных чуть шире, чем требовало бы изящество, сложилась чрезвычайная команда, взвалившая на себя собою же придуманные обязанности по спасению горящих адресов, то есть домов, шедших на капитальный ремонт, сопряженный, как выяснилось, с тотальным уничтожением среды обитания петербуржцев.

Группа Рыцаревой входила в оставленные дома, производя как можно больше шума, бурно разговаривая, окликая несуществующих помощников на улице; по квартирам, лестницам и коридорам продвигались, стуча, топоча, хлопая дверями. Людям доверчивым и пугливым могло показаться, что идут не трое, а человек пять-шесть, да еще на улице ждет подкрепление. Грохотом и громкими разговорами, как правило, добивались желаемого. Частенько они входили в явно обжитые комнаты, по многим признакам говорившие о том, что обитатели покинули хоромы только что. Случалось наткнуться на непогашенные окурки. Нет, что ни говори, было в этой работе что-то романтическое!

В Столярном переулке, в одной очень неплохой квартире, рядом с ухом Монтачки почти бесшумно пролетел пущенный могучей рукой лом, тут же пробивший коридорную перегородку, впрочем, ценностью не представлявшую. На улице Плеханова Аполлинарий Иванович, не думая о смертельной опасности, пошел на сверкнувший в темноте нож. Фотограф, третье действующее лицо группы, был для боя в этот день непригоден: у него только что родилась дочка и он имел при себе две сетки с продуктами, купленными в «Диете» на Невском в доме Энгельгардта. Рыцарева, шумно шедшая в двух шагах за Монтачкой, то ли с намерением предупредить об опасности, то ли, напротив, взывая к отваге, истошно завопила: «А-п-п-о-л-л-и-и-н-а-а-й-й!» — и Аполлинарий Иванович

ринулся вперед. Он вознес над головой всегда готовый к применению молоток на длинной металлической ручке, кованый, настоящий архитектурный молоток, с фомкой, или «русским ключом», на одном конце и великолепным обушком на другом. Первый удар, надо признать, был неудачным. Аполлинарий Иванович со всего маху умудрился попасть в лицо, задел злодея по левой скуле. От неожиданности бандит нож все-таки выронил и с боевым кличем: «Зарежу, су-у-у-ка!» стал искать свое оружие на полу. Надо ли говорить, что в помещении было не то чтобы сумеречно, но просто темно. Но Монтачка не оплошал и ударил обезоруженного незнакомца прямо по башке, да так удачно, что озорник, грозивший смертью, тут же потерял пыл и кулем рухнул к ногам победителя. «Рвем!» — начальственно и строго распорядилась Рыцарева, будто сделано то самое дело, ради которого они сюда и приходили. Вся команда бросилась бежать, проявив в поисках путей в огромном малоизвестном доме сообразительность, какой не встретишь и у завятых грибников, забредших в чужой лес. Ситуация вообще-то была тупиковая, поскольку шумный инцидент привлек внимание еще каких-то незримых обитателей дома, быть может, людей, близких пострадавшему. Судя по грохоту топчущих ног и лаконичным матерным выражениям, вырвавшимся в связи с неожиданными препятствиями, люди эти стремительно приближались. Все выходы из квартир первого этажа, как и парадные, были закрыты, поэтому пришлось мчаться на второй этаж, через второй этаж лететь во флигель и оттуда черным ходом во второй внутренний двор, где, ориентируясь по расположению ворот на бывшем каретном сарае, искать выход в первый двор, а оттуда — на тихую, изгибающуюся дугой улицу Плеханова, пребывавшую в эту минуту в какой-то зимней истоме под медленно падающими, почти парящими, крупными, как резаная бумага, снежинками.

Жизнью рисковать приходилось, но не так уж и часто, а вот здоровьем постоянно. Разберите камин, наполненный золой и сажей, не говоря уже об изразцовой или фарфоровой печке, пронумеруйте и сложите детали, перетащите на себе, хотя бы и с третьего этажа во двор, дождитесь машины на ветру или под дождем, погрузите, а потом разгрузите все в крепости и подышите хотя бы денек печной пылью. Грязная работа. Даже под платком или шапкой волосы уже через два часа становятся твердыми, поскольку печи раньше ставили на глиняный раствор.

Монтачка под руководством Рыцаревой достиг такой сноровки, что мог с помощью очередного напарника за день снять две печки.

Все упиралось в чисто физическую работу — как таскать и в отсутствие транспорта. Придумывали блоки и канаты, спускали детали в коробах и ящиках, но чаще приходилось таскать на руках замысловатыми ходами из тупиковых квартир. Если была возможность, тут же в ваннах отмачивали изразцы от глины, глина растворялась, уходила, но много материала без глиняной подкладки потом билось. Редчайший случай, чтобы в печи не разбили ни одного изразца, особенно около топки, там они, как правило, все были прогоревшими.

Работали в основном без рукавиц, потому что нужно было чувствовать материал.

Грузовики заказывали за день, а то и за два и за три. То, что складывали в какой-нибудь квартире, поближе к выходу или даже в жэковских подсобках, частенько растаскивалось. Сколько на Марата было пролито пота, пока с четвертого этажа на первый снесли, нигде не помяв, не поцарапав, великолепную медную ванну на львиных лапах, а на следующий день ее утащили буквально из-под носа, за час до прихода машины. Зато повезло в особняке Мордвинова на Театральной площади: благодаря твердости и тонкому стратегическому чутью Рыцаревой здесь удалось спасти две прекрасные люстры и гарнитур из четырех чугунных бра, освещавших парадную лестницу.

Глаз у Рыцаревой был наметан: едут на грузовике по городу, а она замечает, какой дом только начали расселять, а какой уже близок к полному расселению. Списки этих домов, разумеется, в музее были, их полулегально доставали в ГлавАПУ, но списки-то перспективные, на пятилетку вперед. В некоторые дома удавалось забежать, установить контакт, договориться с жильцами, оставить свои позывные, то есть телефон, — дескать, будете выезжать, звоните. Кто-то звонил, кто-то забывал, а кто-то и с самого начала имел на все свои виды и звонить не собирался.

А где же была могущественная инспекция по охране памятников, без разрешения которой в охраняемом доме нельзя ни гвоздь вбить, ни стенку

просверлить? Если уж у них самих целиком пропадали памятники, стоящие под охраной, пропадали вместе с подслеповатыми табличками «Охраняется государством», то как же уследить разбегавшимися глазами за исчезающей городской средой, которую никто не охранял и охранять не собирался.

Чтобы не сложилось такого впечатления, будто Аполлинарий Иванович только и умеет, что бить кованым молотком по черепу человека, быть может, лишь в шутку обещающего зарезать, так вот, чтобы не было такого одностороннего впечатления, надо для примера заглянуть на Колокольную, 15, куда приехали снимать потолки.

Потолки были деревянные, инкрустированные дубовые щиты, клееные, по ним шло выжигание и маркетри. Когда Рыцарева всю эту красоту увидела, у нее глаза задрожали, сказала, что останется ночевать одна в доме и не выйдет из особняка, пока потолки не будут в крепости.

Вот тут-то Аполлинарий Иванович и показал, что не зря ест хлеб.

Маркетри шли из наборного дерева, ценными породами был буквально выписан восхитительный растительный орнамент. Качество работы было изумительное, делала, скорее всего, фабрика «Мельцера» — нынешний «Интурист», угол Карповки и Кировского. Крепятся такие щиты шурупами миллиметров по двести пятьдесят, но каждый шуруп закрыт деревянной пробочкой, а пробочка так подогнана по текстуре дерева, что тончайшим образом вписывалась в рисунок, вот и найди ее! Дом, разумеется, уже был снят с электропитания. Часа три, не меньше, лазал по потолку Аполлинарий Иванович с фонариком, чтобы наострить глаз, изучить рисунок, определить размеры щитов и разгадать код крепления. Тут и для мухи с ее сегментными глазами и способностью жить на потолке и стенах работа могла оказаться не по плечу. Кроме потрясающего зрения, еще и чутье нужно было иметь и понимание руки мастера. Пробочки надо было отковырнуть, и отковырнуть с усилием, поставлены они были, предположительно, навсегда, вот и ковырни, а если это не пробочка, если только показалось? Что тогда? Мало что Рыцарева голову оторвет, так и вещь будет подпорчена и рисунок загублен, это же не пол, это потолок, на нем все видно.

Все тридцать четыре шурупа Аполлинарий Иванович нашел и обнажил без единого промаха, без единой царапины. Именно после Колокольной, 15 исполненная благодарности Рыцарева вцепилась в горло администрации, и к шестидесяти рублям жалованья, получаемым Монтачкой ежемесячно, добавили еще десять, и через четыре месяца, пока решение прошло через инстанции, он стал получать свои законные семьдесят.

В зарплате такой утешения не найдешь, зато работа была интересная.

Бегали от милиции, бегали от уголовников, бегали от жэковских сотрудников. Когда во время фотофиксации, обследования или демонтажа натыкались на дворников или вызванных пугливыми жильцами милиционеров, то приходилось полдня высидывать в конторах и участках на выяснении, теряя драгоценное время. Музейный пропуск мало что разъяснял, в нем не было сказано о том, что музей занимается демонтажом печек, деревянных украшений и металлической фурнитуры. На строго официальную ногу дело еще поставлено не было, шла бесконечная переписка с ГИОПом, согласовывались сферы компетенции, зоны ответственности, разрабатывались положения, исключающие злоупотребления со стороны сотрудников. Милиция, не доверяя сомнительным бумажкам, звонила в дирекцию, выясняя принадлежность задержанных к музею: работают ли такие если да, то имеют ли право собирать и вывозить. Раза три или четыре во время этих самых проверок из домов бесследно исчезало как раз то, за чем приходили, или то, что уже успевали собрать и сложить в ожидании машины. В ответ на горькие сетования о пропажах приходилось слышать одно и то же: «Где же вы раньше-то были?»

Где они были?

Они были там, где рушилась не внесенная в скудные заповедные списки малая архитектура, они были там, где уходил из рук, уходил из-под ног, скрывался из глаз, бесшумно, бесследно, невозвратно уходил в небытие Петербург.

Мечется по городу Монтачка; носится, раскинув руки, готовая прижать к своей крепкой груди и сундуки, и печи, и люстры, и потолки, и ванны, вездесущая Вера Рыцарева, все бы им спасти, да руки коротки.

Но вот вопрос если мелкий житейский прибор растаскивался, разговорывался, сжигался в дворничьих кострах, куда делись, в каком дыму растворились

целые здания и монументы, гостинные дворы, особняки, мосты, садовые решетки, беседки, дворцы, соборы, монастырские подворья, дачи и даже уж вовсе никому не мешавшие тихие загородные рестораны, несущие на своих легких стенах незабвенные тени тех, кто совершил чудо, недоступное и богам, — остановил время, дал ему плоть, образ, имя.

Не сам ли ты все это затеял, ворвавшись в Россию вдруг, в одночасье, ваше высокопревосходительство, ваше великолепие, ваше величество Петербург? Порвал бороды, посрывал кафтанье да охабни с застигнутых врасплох неповоротливых сородичей, надавал подзатыльников, стал всему учить: и как коня запрячь, и как избу ставить, с какой ноги ходить, с какой руки пить, как с женой водиться! Ужо, пришел и твой час! Сам наплодил, сам народил и дал власть тем, кто, не уразумев новой грамоты, но позабыв прежнюю, не стали европейцами, да и россиянами разучились быть, вот и пошли сшибать купола с твоих соборов, пошли корчевать дворцы, сложенные мужиками на мужичьих костях из камней, скрепленных мужицкой кровью и потом.

Держится еще, уцепившись покосившимися крестами за серое небо, Воскресенская церковка у Смоленского кладбища, так-то тебе, модница, вот тебе наше «нарышкинское» барокко, здесь тебе не Версаль, знай свое место, а место твое на кладбище, да и кладбище снесем, стадион построим, как построили уже на месте театра на Офицерской, где блистала госпожа Комиссаржевская.

А тебе, Покровская, что пристроилась в линию домов на улице Боровой, какво тебе стоять без куполов, как без шапки, под нашими ветрами да снегами! Где твоя звонкая, небо проткнувшая колоколенка? То-то! Не туда суздальские мастера лепили свое узорочье, не спасли тебя и кузнецовские, да, да, того самого Кузнецова майолики, все стерто, как вчерашний урок с аспидной доски в приходской школе.

Сергиевскую снесли по делу, снесли вместе с синими куполами, посыпанными золотыми звездами, вместе с алтарем и притворами, места для ГПУ не хватало.

Знаменскую с площади Восстания, хоть и была недурна, убрали — площадь вокзальная, нечего тут церкви делать.

Покровская вроде бы и не мешала никому, и убранство было богатое, как-никак последнее слово самого Старова Ивана Егоровича, да только чем же она лучше других, скovyрнули и получилась площадь Тургенева.

Петропавловскую церковь под охрану государства взяли из почтения, надо думать, к архитектору Захарову Андрею Дмитриевичу, признанному строителю Адмиралтейства; под охрану-то взяли, да так под охраной и снесли!

Введенский собор, говорят, был точно как московский храм Христа Спасителя, разве что поменьше, так в Москве-то взорвали, а мы чем хуже?

Нам и расстрелиевского дворца не жалко, не дорого досталось, не больно и отдасть, враз смахнули со Средней Рогатки, чтобы победная наша «Стамеска» без помех была видна всем, кто едет из Москвы, из Риги да из Киева.

А куда улетела богиня Победы, вознесенная на колонну, собранную в пять поясов из ста сорока пушек, взятых у поганых турок на шпагу? Греть в веках подвигам Измайловского лейб-гвардии полка, давшего не один урок врагу и потомкам! Слава!

Слава?

Да на что нам слава?

Нет славы на войне, где не берут трофеев, не берут пленных, где опьянены одичавшие в безнаказанности ратоборцы лишь одним подвигом: снести и забыть!

«Он взял Париж, он основал лицей...» Вон его из скверика перед Петербургским лицеем, принявшим под свои своды племя младое, незнакомое, гордо шагнувшее в роскошно обустроенное в лицейских стенах профессионально-техническое училище № 73. Этот покоритель Парижа еще и медицине благоволил, больницы учреждал? Вон его из Александровской больницы, вон его из больницы Сюзора, тем паче, что автора второго бюста мы знать не знаем и знать не хотим.

Крепостью стоял Соляной буян, начертанный строгим резцом Тома де Томона, только нет таких крепостей, которые бы перед нами устояли, снесли в одночасье еще и до первой мировой, под вой петербургских обывателей, будто чувявших, что это только начало.

Питомцы военной Генерального штаба академии памятника захотели, и лейб-саперы туда же! Нет вам чести от беспощадных потомков, задумавших такую жизнь устроить, чтобы все сначала, как на ровном месте.

Не все громить да рушить, огню тоже свое отдай!

Сто шестьдесят лет сохли деревянные стены директорского дома, да что дома — дворца, в Ботаническом саду, зато и горел, как порох. Екатерингофский тоже сожгли, придет час, загорится и Юсуповский. С княжеским дворцом Белосельских-Белозерских, что воздвиг на Крестовском острове искуснейший Штакеншнейдер, немцы помогли разобраться: так метко отбомбились, что и восстанавливать было нечего. Цирк «Модерн» вроде сам сгорел, что осталось — на дрова разобрали. Творение Рауш фон Таубенбергера «Дом-сказку» тоже немцы раздолбали, правда, не бомбами, а исключительно снарядами. А Успенскую церковь, по-домашнему — Спас на Сенной, с божьей помощью сами взорвали уже на нашей памяти.

Славно польхал всеми своими деревянными бастионами Петровский дворец на Петровском же острове, легкое творение Антонио Ринальди. В дыму и пламени клубившегося в пригородах и в городе огня растаяли, как не было, шесть памятников злодею-Петру, поставленные ему отдельно за всяческие подвиги и удачи: за то, что лахтинских рыбаков спасал, за то, что плотничал, за то, что пушки лил, и даже за победу над шведским войском под городом Полтавой в день святого Сампсония, и этот смели, — а не мешай трамвайному повороту на улице Братства!

Ну, что там еще осталось, что там еще стоит у нас на пути от беспросветного прошлого к лучезарному никогда?!

### *Часть седьмая*

## ПО СЛЕДАМ ЕКАТЕРИНЫ ТЕОФИЛОВНЫ

Расследуя преступление, связанное так или иначе с зеркалом, прибором оптическим, естественно было бы, в первую очередь, обратить внимание на лица, украшенные очками: на Екатерину Теофиловну и Акибу Ивановича, и держать в близкой примете подводника Иванова, проведшего значительную часть жизни у перископов, биноклей и стереотруб, а также фельдшера Марию Алексеевну, пользовавшуюся у себя в смотровом кабинете зеркальцем с дырочкой.

Что можно сказать о Екатерине Теофиловне, о ее житье-бытье?

Город, лишь по видимости разлинованный и прямолинейный, живущий причудливой и притворной жизнью, и жизнь своих обитателей старался сделать затейливой и не прямой.

Екатерина Теофиловна, стремясь стать безраздельным владением Акибы Ивановича, полтора года назад оставила своего блестящего мужа, оставила в глубоком недоумении относительно разумных причин, способных удовлетворительно объяснить неожиданный и тягостный для него разрыв.

Что за дурацкая привычка искать логических объяснений движениям любви и веры!

Когда началась война и все поехали из Ленинграда, Екатерина Теофиловна спросила маму: «А почему мы не едем?» «Не разрешено», — сказала мама, сходяв перед этим на площадь Урицкого. Но с последними баржами, шедшими под бомбами через шипевшую ледяным салом Ладогу, они все-таки выбрались из города. Ехать через Ладогу было холодно и страшно, Екатерина Теофиловна плакала, прижималась к маме и спрашивала: «Ну почему мы не остались?» «Не разрешили», — привычно отвечала мама. Потом не разрешали вернуться в Ленинград, но, в конечном счете, разрешили; не хотели прописывать по старому адресу, но прописали; правда, по новому, — хотя старая квартира и уцелела, но оказалась занята.

Нет, конечно, не только глубокая внутренняя сосредоточенность все больше и больше отделяла ее от очевидного. В какой-то мере эту прогрессирующую слепоту, а иначе это явление и не может быть названо, следует отнести на счет профессиональной болезни: дело в том, что по роду своих занятий, работая в школе для слепых, она постоянно вынуждена была посредничать между миром видимым и незримым и все вокруг себя и в себе видеть дважды, как бы открытыми и закрытыми глазами.

Первым пострадал от этой ее болезни беззаветный супруг, появившийся в квартире семьдесят два лишь однажды, когда уже в звании бывшего супруга он помогал Екатерине Теофиловне перевезти и расставить мебель, повесить юношеский портрет бабушки, в те годы удивительно напоминавшей саму Екатерину Теофиловну, да повесить большое овальное зеркало в ореховой оправе, выше уже описанное. Особые хлопоты бывшего супруга о зеркалах, как овальном, так и туалетном, которые так любила Екатерина Теофиловна, заставляют нас приглядеться к этому персонажу максимально внимательно, с тем, чтобы подтвердить или отместить падающие на всех подозрения.

Закончив школу на два года раньше Екатерины Теофиловны, но с золотой медалью, он продолжил славную семейную традицию, поступив в морской инженерный корпус имени Дзержинского. И не палаш с кожаным темляком, не золотые якоря на курсантских полупогонах, не врожденная сдержанность и простота манер, сообщающие изящество потомственным русским военным, привлекли в свое время Екатерину Теофиловну. Ясный ум и незаемная интеллигентность более всего отвечали представлениям студентки дефектологического отделения (дефо) о будущем избраннике.

На четвертом курсе училища Сергей Дмитриевич, еще ухаживавший за Екатериной Теофиловной, был призван своим именитым однокурсником на свадьбу в качестве свидетеля бракосочетания с дочерью маршала Советского Союза товарища Булганина.

Эта поездка в Москву окончательно сблизила будущих супругов, так счастливо, без слов понимавших друг друга в обстоятельствах, где хороший тон не позволял даже заглазно комментировать казенный привкус этой свадьбы.

Мебель в полотняных чехлах, не снятых даже ради торжества, безмолвные подавальщицы в передниках и ресторанных крахмальных кокошничках, скованность гостей, в большинстве своем впервые переступивших порог этого дома, — все сообщало свадебному торжеству серьезность и не домашнюю официальность. А вот зашедший поздравить дочурку и грохнуть об пол фужер министр Вооруженных Сил был как раз похож на свадебного маршала в большей степени, чем на счастливого отца или предводителя несметных полчищ от Атлантики до Тихого океана. Екатерина Теофиловна и Сергей Дмитриевич одновременно переглянулись, когда «на счастье» был вдребезги разбит дорогой хрустальный фужер, и прочитали веселые мысли друг друга. Широкий жест маршала имел некую подоплеку, сообщавшую в глазах наблюдательных молодых людей комический оттенок происшествию. Принесение жертвы всегда было свидетельством готовности отца поступиться чем угодно ради счастья своих детей. Но вот беда — в связи с нечаянно кокнутой кем-то тарелкой из немецкого сервиза невеста всех успокоила и сообщила, что посуда на свадьбе не домашняя, а казенная, из ХОЗУ Совмина. Таким образом, и фужер «на счастье» был разбит казенный, символизируя принесение государственных интересов в жертву интересам семейным, что Николаю Алексеевичу не могло прийти в голову.

Екатерине же Теофиловне и Сергею Дмитриевичу, подавившим улыбку, в ту минуту показалось, что они и впредь и всегда будут вот так же, без слов, читать мысли друг друга и смеяться смехом, слышимым ими одними.

Была ли у них в жизни минута большей близости? Не знаю.

На пятом курсе они поженились.

Не прослужив в строю ни одного дня, кроме сборов и военно-морской практики, Сергей Дмитриевич был оставлен при кафедре минно-торпедного оружия и преуспел, обнаружив незаурядные педагогические способности и склонности к кропотливой исследовательской работе. Став ассистентом кафедры, адъюнктом, а затем и преподавателем, правильно понимая и любя военное дело, он требовал отчетливого усвоения сущности предмета и, будучи в этом отношении строг, проявлял полную отзывчивость и сердечность там, где нужна была его помощь. В среду преподавателей училища он вошел с открытой душой доброго отзывчивого товарища и оставался таким во все годы службы.

Люди, побывавшие в их гостеприимном доме, стремились оказывать там вновь, многие даже непроизвольно меняли нрав и повадку, чтобы попасть в тон хозяевам. Посещение их дома подчас оказывало сильное впечатление и на холостяков, видевших завидный пример искреннего семейного очага, а пары семейные, едва распрощавшись, прямо на лестнице, а уж в лифте-то обязательно, спешили указать, кивая на покинутые стены, что можно, оказывается, жить, не тесня, не оскорбляя, не унижая и не тирания друг друга.

Екатерина Теофиловна вызывала к себе интерес магнетический.

Когда она входила в трамвай со своим мужем, человеком не только внешне привлекательным, но и в морской форме, женщины все-таки смотрели на нее, не говоря о мужчинах, как правило, замечавших остановку, где она выходила, будто бы это знание могло что-то приоткрыть, как-то сблизить или хотя бы объяснить ее тайную власть над ними...

Прочь сдержанность! прочь беспристрастность! — эти липовые авторские добродетели. Не каменный, не из стекла и бетона, не из железа и цемента скроен автор, он тоже человек! и помнит, как останавливалось его юное в ту пору сердце, когда на коммунальной кухне, склонившись над огромной медной раковиной с грацией девушки, разбившей кувшин, Екатерина Теофиловна с голубой фарфоровой кружкой в левой, чуть отстраненной руке чистила и без того свои жемчужные зубы. Автор мог бы часами стоять и часами смотреть, как Екатерина Теофиловна поводит щеткой во рту. Движения ее рук, наверно, были сродни движениям виолончелиста или скрипача, извлекающих сокровенные звуки из доверившихся им инструментов, и автор слышал музыку! С тревогой он наблюдал, как матовой пеленой покрывался несравненный ряд зубов, утрачивая в белом кипении форму и блеск, с тайным страхом он ждал, когда золотой зуб, придающий несравненное очарование всей Екатерине Теофиловне, вновь, как солнце, блеснет в окружении сияющих белизной облаков. Автор помнит, как по малолетству был допущен к созерцанию умывания груди, происходившему все на той же кухне в ранний утренний час. С грацией испанской королевы, привыкшей к восхищенным взорам преданных грандов, Екатерина Теофиловна, сложив очки на полочку с мылом и бросив короткий, почти невидящий взгляд на автора, надо думать, погружавшего при этом большой палец в рот, послав ему тень улыбки, продолжала ласковые движения влажных рук по наполненным какой-то волнующей властью округлостям с заманчивыми, как ягоды малины, сосками. Руки Екатерины Теофиловны в эти минуты были руками ваятеля, создающего прекрасные формы, движения были властными, хозяйскими, теми последними жестами-касаниями скульптора, благословляющего свое создание на отдельную и независимую жизнь. Глаза ее были подняты вверх, где был открыт ее вдохновенному взору совершеннейший образец, а руки, послушное продолжение глаз, облекали идеал и грезу в живую плоть. Именно в эти минуты автору дано было узнать, что женская грудь в ее естественном, не стесненном материей, виде и тяжелей, и больше, и прекрасней, чем могло бы подсказать неразбуженное воображение... Но довольно!

Природа тайной власти Екатерины Теофиловны, быть может, была заключена в ее органической интеллигентности.

Сергей Дмитриевич не имел повода для ревности и не знал этой горчайшей приправы любви, всякий раз любясь исподволь, как просто, без примеси кокетства, его жена умела поставить на место преуспевающих на женском поприще бонвиванов, искренне пытающихся узнать резоны, оправдывающие супружескую верность.

Когда в курсантских застольях нетерпеливые бабенки, пользовавшиеся успехом у молодых моряков, самых престижных женихов в послевоенном Ленинграде, выкрикивали тост: «За любовь!», Екатерина Теофиловна прикасалась к вину с тем чувством, с каким поддержала бы тост за Картахену или Вальпараисо, где никогда не бывала, но готова была поверить, что именно там расположено чье-то счастье.

Интересно, кстати, было наблюдать Екатерину Теофиловну на рынке, где неробкие грузины жарко восхищались, кто ее глазами, кто чудными пальцами, кто фигурой, кто тем и другим вместе, и делали ей заманчивые предложения. В ответ они слышали на чистейшем грузинском языке: «Ты вместе со своими помидорами не стоишь мизинца моего самого паршивого любовника!» Смуглый негодник тарачил глаза и, задыхаясь от любопытства, спрашивал: «Откуда знаешь по-грузински?» «Откуда по-русски знаешь?» — почти без акцента спрашивала Екатерина Теофиловна и оставляла гордого сына Кавказа в глубоком ущелье недоумения. Иногда на вопрос: «Почему по-грузински говоришь?» — она отвечала более обстоятельно: «У меня деда в Грузии расстреляли». «Плохой был человек?» — пытался оправдаться за свою державу торговец. «Да нет, обыкновенный генерал», — трогая пальцами хурму или грушу, сообщала Екатерина

Теофиловна. Говорила она неправду, дед ее был генералом необыкновенным, одним из крупнейших специалистов по военной картографии, преподавателем академии Генерального штаба. Обычно о расстрелянных родственниках как-то не принято было говорить, особенно в общественных местах, но деду, можно сказать, повезло, его расстрел не бросал на семью подозрений, не давал оснований предполагать в нем врага Советской власти и уж тем более врага народа. Расстрелян он был без суда и следствия в числе двадцати пяти заложников. Уже арестованный в облаве, без иллюзий оценивая свою участь, он успел из заключения написать бабушке три письма, готовя ее к худшему и отдавая последние распоряжения и советы, как и с кем связаться, чтобы скорей и безопасней добраться до Петрограда. Друзья деда по академии и по службе на Иранском фронте остались друзьями и после того, как звучная фамилия генерала появилась в списке расстрелянных заложников, опубликованном в местной газетке. Бабушка и совершенно юная в ту пору мать Екатерины Теофиловны вернулись в Петроград, откуда были родом, а старшая сестра матери, в ту пору барышня, осталась в Тифлисе, где вскоре вышла замуж за порядочного человека.

Во время войны, выехав в эвакуацию, матушка Екатерины Теофиловны устремилась на Кавказ, и Тбилиси стал прибежищем для бежавших от блокады. Отучившись два с половиной года в грузинской школе, Екатерина Теофиловна без труда овладела обиходным грузинским и, обладая тонким слухом, могла великолепно имитировать базарный темперамент.

Что можно сказать о предках Екатерины Теофиловны?

Ее родословная обширна, ветвиста и во многом была не ясна даже чекистам, арестовавшим перед войной ее отца, командира Красной Армии, успевшего предусмотрительно, почти накануне ареста, развестись с матерью.

Работа с убогими ребятишками, слепорожденными и ставшими инвалидами по зрению, считалась в педагогике еще с довоенных времен делом непрестижным. Милосердие, или, как говорилось в педагогических кругах, с о п л е в ы т и р а н и е, было не в моде, и на дефектологический факультет пединститута шел отсев, то есть те, кто не сумел пробиться на филологию в университет или на полноценные факультеты Герценовского института. Ниже считался только факультет дошкольного воспитания.

Среди случайной публики, заполнившей дефо, Екатерина Теофиловна оказалась вовсе не по призыву души, не потому, что ее способности и знания вызвали огорчения экзаменаторов, более того, завалить на экзамене Екатерину Теофиловну оказалось не так-то и просто. Она сдавала на филфак в университет имени А. А. Жданова, не робяя огромного конкурса. За сочинение, написанное без единой ошибки, снизить можно было только один балл, оправдывая этот жест «неполнотой раскрытия темы». Зато на устном экзамене по литературе и русскому языку абитуриентке с подмоченной анкетой был дан решительный бой.

Первым вопросом в билете шла «вольнолюбивая поэзия Пушкина».

Увидев в комиссии приметное своей внушительной фигурой, стяжавшее славу смелостью и независимостью молодое светило, Екатерина Теофиловна решила отвечать без подготовки, опасаясь, что молодой ученый с хорошей репутацией, если она будет медлить, куда-нибудь денется.

«До Пушкина ни один поэт не был так тесно связан с гражданским и общественным движением...» «А Радищев?» — не глядя на отвечающую, спросило светило, приготовившись скучать и печалиться. «Несопоставимо, — с убеждением сказала вчерашняя школьница, — пушкинская и радищевская эпохи разговаривали на разных языках». «Вот как? — Восходящее светило только что сдало в издательство брошюру к юбилею Радищева. — А Герцен, например, как раз слышал знакомую радищевскую струну и в пушкинских стихах и в «Думах» Рылеева». — «Авторитет — не доказательство. Мне кажется, Пушкину не польстило бы родство с Радищевым». — «Это почему же?» — поинтересовался представитель общественной организации, убежденный в дружеских связях всех прогрессивных людей планеты во все времена. «Вы же помните, что Пушкин называл Радищева преступником?» — «Вы клевете и на Пушкина и на Радищева», — убежденно сказал общественник и строго посмотрел на непроницаемых членов комиссии. «Не хотите признать первенства за Радищевым, — смилостивилось восходящее светило, — согласимся, в конце концов, что Ломоносов зачинатель у нас „витийства гражданского“». — «И в „Слове о полку Игореве“ есть и общественная тема, можно отыскать и „витийство гражданское“, я хочу сказать только одно: нет гражданской поэзии вне гражданского



общества». «С вольнолюбивой поэзией все ясно», — сказал председатель. — «Белинский о „Евгении Онегине“». Только кратко, пожалуйста. Самую суть. Совсем коротко. Слушаем вас». — «Белинский назвал „Евгения Онегина“ энциклопедией русской жизни...» «Что такое энциклопедия?» — спросил старичок с бесстрастным лицом. Екатерина Теофиловна ответила, не скрывая недоумения, ей предложили перейти к третьему вопросу.

Дальше шел разбор предложения из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». «Не надо разбирать предложение», — сказал председатель. — «Разберите хотя бы одно слово. Как там начинается?» — «В полверсте...» — «Вот, вот, „в полверсте“. Пожалуйста». — «„В полверсте“. Существительное. Первое склонение. В дательном падеже...» «Поставьте в именительный падеж», — попросил молодой специалист по Радищеву. «Именительного падежа нет, поскольку...» «Если нет именительного падежа, то какое же это, голубушка, существительное? — скорбно произнес председатель комиссии. — Вы нас огорчили. Неудовлетворительно. И первый вопрос, и последний, и в целом. Есть другие мнения?»

Другое мнение было только у Екатерины Теофиловны, но она еще не верила, что все уже произошло. Она побледнела, поднялась и попыталась увидеть глаза хотя бы одного из членов комиссии.

— Вы не дали мне ответить ни на один вопрос. Ни на один! Я готова ответить перед любой комиссией. Я подаю апелляцию.

— Товарищи, кто готов отвечать? — в голосе председателя было столько тепла и ласки, будто и действительно после досадного инцидента в аудитории остались одни «товарищи».

Чувство потери самой себя, испытанное после злополучного экзамена, вновь посетило ее утром, когда она не увидела своего отражения, подойдя после пробуждения к туалетному прибору красного дерева, доставшемуся ей от бабушки. Не увидела она себя и в овальном зеркале в ореховой раме. Дрянное, ущербное зеркальце в ванной злорадно подтвердило случившееся.

Именно тогда, перед комиссией, когда она пыталась схватить их за руку: «Вы не дали мне ответить ни на один вопрос!» — она почувствовала себя невидимкой или покойницей. Казалось, что эти филологи многие годы проработали в морге и привыкли к тому, что покойники, самые безусловные, самые отпетые, нет-нет да и выкинут какую-нибудь штуку: один вздохнет, да еще так шумно, что у человека волосы с непривычки поднимаются вверх, другой повернется и ляжет поудобней, третий вывалит вдруг язык, четвертый заплачет, много чего придумывают, только привычные ко всему служители вовсе не обращают на эти ужимки никакого внимания, ясно понимая, что все это пустяки, а не признаки жизни. Так же и экзаменаторы в университете имени А. А. Жданова, приведя в исполнение заранее вынесенный приговор, потом вполне равнодушно смотрели на судороги и слезы, смотрели на гримасы своих жертв взором невидящим и бесстрастным и были похожи при этом на слепых. Именно эти лица нет-нет да и вспоминала Екатерина Теофиловна, общаясь уже с настоящими слепыми, чья мимика вот так же скована, черты лица малоподвижны и непроницаемы.

Екатерина Теофиловна апелляцию подала, держала экзамен вторично, уже перед другой комиссией, получила тройку и, не добрав двух баллов для поступления на филфак, могла быть зачислена с этими баллами только в герценовский на дефо. Поглощенная борьбой с несправедливостью, она вовсе не думала о глухих, слепых и немых, не предполагала участвовать в их горестной судьбе, а просто не хотела терять впустую год, убежденная, что на следующий год переведется на полноценную филологию.

С первых же лекций влюбившись в преподавателя зарубежной литературы, читавшего античность и тут же прозванного Екатериной Теофиловной «Агамемнон», она записалась к нему в семинар. Не прилагая усилий кокетства, она заставила обратить на себя внимание. Агамемнон удивился, узнав, что Екатерина Теофиловна — студентка дефо, и высказал готовность оказать ей необходимое содействие в переходе на филфак, несмотря на то, что доброты сообщили ему об авторе прозвища, облетевшего институт.

Когда Розалия Иванна однажды донесла ему: «Знаешь, как слепуха тебя называет? Великий Могол, во как!» — Окоев подумал и сказал: «Уважает».

Первые же занятия по дефектологии произвели на Екатерину Теофиловну, не подозревавшую о существовании такого предмета, впечатление не менее сильное, чем знакомство с Архилохом и Феогнидом из Мегары, любимым поэтом

Ницше, о чем бесстрашно поведал Агамемнон. Да, судьба встречает нас совсем не там, где мы назначали ей свидание.

Все, что она услышала в первых же лекциях о жизни слепых, именно слепых, произвело на неподготовленную душу впечатление, близкое к потрясению. Как само собой разумеющееся, в мире был слепой Гомер, поэт Козлов, героический Николай Островский, глухими в последние годы были Бетховен и Циолковский... Но она никогда не думала о тех, кто рождается глухими и слепыми, теряют зрение или слух в детстве и становятся обреченными на подвиг выживания.

Нет, у слепых глаза не на пальцах, как уверял рассказ из «Родной речи», увидеть они не могут, ни пальцами, ни как-то иначе, но они могут понять. Что же важнее: видеть или понимать?

Ей предстояло передать туда, в темноту, неисчислимые образы предстоящего нашему взору мира. Тут же она призналась себе, что множество предметов и явлений, окружающих ее, она не понимает и затрудняется объяснить, воспринимая их раньше как само собой разумеющиеся и не нуждающиеся в объяснении.

Сделав это маленькое открытие, она призналась себе во внутренней слепоте.

Для незрячего нет очевидности, для нас же, простаков, очевидность едва ли не фундамент нашего мировоззрения и наших заблуждений, на этой самой очевидности покоятся все заповеди выживания: смотри, как люди живут, плетью обуха не перешибешь и т. д. У слепого почти атрофирован механизм подражания, столь важный, едва ли не определяющий в условиях стадного существования. У слепых иммунитет против стадных чувств, стадных представлений, стадных страстей и отношений. Открытия следовали одно за другим.

Новым смыслом и весом наполнились понятия «слепа вера», «слепа любовь», «слепо разум».

А с какой легкостью люди поддаются соблазну очевидности, не в этом ли корень множества тяжких и неисчислимых бед?

Удивило Екатерину Теофиловну и предупреждение преподавателей о том, что в общении с незрячими следует избегать слова слепой. С высокой степенью развития абстрактного мышления, оперирующего емкими понятиями, лишенные зрения люди в понятие слепой вкладывают куда более широкий и глубокий смысл, чем обозначение физической способности или неспособности видеть. Слепота в представлении незрячего — это прежде всего род тупости, ограниченности, замкнутости и даже, скорее, неспособности понять, в большей мере, чем неспособности просто увидеть.

Слепые — урок зрячим?

Когда Екатерина Теофиловна впервые задала себе этот вопрос, она уже понимала, что ответ на него потребует немало времени и сил.

С годами, незаметно для себя, но ощутимо для окружающих, Екатерина Теофиловна в полной мере стала женщиной, сумевшей необыкновенно расширить пространство внутренней свободы, что позволяет ей занять место в немногочисленной когорте людей, не принимающих жизнь размятой и пережеванной из вторых рук.

### *Часть восьмая*

## ПО СЛЕДАМ АКИБЫ ИВАНОВИЧА

Жизнь не застала Акибу Ивановича врасплох, хотя и подошла к нему с самой неожиданной стороны уже в юные годы.

В пору зрелого отрочества Акиба Иванович, оставив позади Аполлинария Ивановича и множество своих сверстников, стал героем дня, героем школы, наглядным примером и образцом для многих горожан, и взрослых в том числе.

Это были времена, когда грозные и всевластные государственные автоинспекторы не были еще ни грозными, ни всевластными и лишь назывались разбойничьим именем «орудовцы». Транспорта было сравнительно мало, работы на улице сравнительно немного, и поэтому масса сил, средств и труда затрачивалась на пропаганду безопасности движения пешеходов.

Борьба за жизнь пешехода на улице была главной темой наглядной агитации во всех крупных городах, и Ленинград не был исключением. Орудовцы адресовали свое слово, свой призыв, свой плакат всем слоям населения. К едва научившимся читать был обращен плакат: «Курица на улице чуть не пропала, потому что курица ходит где попало!» От старших школьников не скрывали суровой правды: «Если хочешь быть живой, не играй на мостовой!», а взрослым преподносился жесткий императив: «При переходе не шути, не будь раззявой, сперва налево посмотри, потом направо!»

Хотя агитплакаты выпускались небольшого размера, на паршивой бумаге, как правило, с тусклой раскраской, зато плакатиков выпускалось очень много. Они расклеивались на рекламных щитах, над окнами в вагонах трамваев, на стендах «Ленгорсправки» и даже на досках с объявлениями о найме на работу.

Ни один человек во всей пионерской организации школы № 38, что на Васильевском острове у Тучкова моста, где учились оба Монтачки, не относился к призыву «будь готов!» так серьезно, искренне и с надеждой, как Акиба Иванович, а судьба не заставила долго ждать.

Воистину счастлив может быть лишь тот, вернее, лишь тот достоин счастья, кто всегда начеку, всегда готов.

Когда в школьном коридоре выстроили пятиклассников и начался обход представителей ОРУДа, большинство детей или не понимали, что происходит, или не придавали этому событию серьезного значения; многие кривлялись, гримасничали, шутили, а вот Акиба Иванович быстро сдернул очки, сунул их в карман гольфиков с пуговкой под коленом, точно таких же, как и у Аполлинария Ивановича, стоявшего через три человека, правда, не в первом, а во втором ряду.

Подслеповатый взгляд Акибы Ивановича показался комиссии исполненным глубокого смысла. «Умный мальчик», «мальчик умный», — громко и дружно загалдели комисионеры, остановившись напротив Акибы Ивановича. Акиба Иванович видел своих испытателей как бы не в фокусе, поэтому ни тени улыбки, ни тени смущения на лице не вызвал даже глумливый шепот вокруг: «Ах, какой мальчик!», «уменький мальчик!» «Очень сдержанный мальчик», — сказал председатель комиссии, и кто-то тут же с охотой подхватил: «Мальчик очень сдержанный». Акибу Ивановича попросили выйти из строя, осмотрели, как призового жеребенка, и шутники примолкли.

Секретарь комиссии в полувоенной форме, обычно раз по пяти спрашивавший: «Ну что, записывать или нет?» — тут просто объявил: «Записываю мальчика», — будто бы он был самым главным и просто ставил остальных в известность о своем решении. Записал все, вплоть до родителей, так как времена были строгие и на плакаты не должны были попасть случайные люди, что могло повлечь большие неприятности прежде всего для членов комиссии.

«Этого на »шестерку», — вдруг проговорил фотограф, самый безмолвный член комиссии, которому уже не раз напоминали, что будет снимать, «кого скажут». А тут вдруг сам объявил будто о принятом им решении. И все в один голос подхватили: «На »шестерку"! На »шестерку"! На »шестерку» он будет смотреться». Вот такое единодушие, будто это Верховный Совет СССР, а не изгрызающаяся в схватках и борениях комиссия ОРУДа. Сверстники в шеренгах стояли, кто прикусив язык, кто открыв рот, и смотрели, как на их глазах приятель, друг, очкарик Кива уносится в другую, неведомую, загадочную жизнь.

Аполлинарий Иванович влетел в эту историю самым неожиданным образом, благодаря событиям огромного масштаба и огромной важности, казалось бы, не имевшим прямого отношения к безопасности пешеходов и борьбе за сохранение их жизней, а в каком-то смысле даже и наоборот.

Но все по порядку.

Когда наступил день съемок, Кива пригласил Полю, сгоравшего от любопытства, помочь ему: мало ли, придется переодеться, куда он денет свои вещи, и вообще. А на самом-то деле Аполлинарий Иванович был нужен Акибе Ивановичу позарез, как воздух, потому что герой «шестерки» не хотел показываться перед комиссией в очках, и Аполлинарий Иванович был необходим для подстраховки. Установку он дал в трамвае, когда ехали на съемки: «Я буду без очков, так что ты смотри». «Угу», — лаконично ответил Аполлинарий Иванович.

Читатели старинных водевилей или любители американских фильмов о счастливом признании непризнанных талантов могут заподозрить заимствование сюжетного поворота, поскольку на съемках вместо отобранного заранее мальчика, предназначенного на роль «мальчика неразумного», был взят в срочном

порядке, без отбора, без конкурса Аполлинарий Иванович. Но это судьба! она участвует как в водевилях, так и в мелодрамах и трагедиях, не очень-то заботясь о разнообразии сюжетов.

В день съемок, буквально накануне, выяснилось, что родитель «мальчика неразумного» оказался не тем, за кого себя выдавал, то есть не «нашим» человеком, в общем, говоря языком тех дней, его взяли. Все радовались, что не успели еще снять «шестерку» и были благодарны судьбе за подвернувшегося под руку Аполлинария Ивановича (историческая необходимость может быть спокойна!), тоже пятиклассника и с проверенными по Акибе Ивановичу родителями.

В результате плакатик получился двусмысленный, братья как бы поменялись на плакатике ролями, оказались перевернутыми, как в зеркале: подслеповатый братец оказался поводырем и наставником остроглазого брата.

Аполлинарий Иванович на плакатике получился очень отчетливо, и слава двинулась за ним по пятам: его дразнили и в школе и во дворе. В трамвае он сразу отыскивал глазами злополучную афишку, потому что случалось, его узнавали, и какой-нибудь наблюдательный дядечка тыкал в него пальцем и объявлял: «Вот такие под колеса и лезут, и гибнут! Ты сюда смотри, это твоя копия под колеса лезет!»

Аполлинарию Ивановичу ничего не оставалось делать, как спрыгивать на ходу с подножки, к чему прибегал лишь в редких, исключительных случаях.

А вот Акиба Иванович торжествовал. Но ко всякому торжеству, ко всякой большой славе примешивается обычно маленькая ложечка дегтя. Случилась такая ложечка и здесь. На плакате Акибу Ивановича без труда распознала только мать, ближайшие родственники узнавали, но сначала, разумеется, Аполлинария Ивановича, а потом уже задавали вопрос: «А этот-то, с пальцем, уж не Кива ли?»

Акиба Иванович создал плакат, плакат создал Акибу Ивановича.

О, если б вы знали это бремя! если б вы знали, как трудно оставаться скромным, когда трехмиллионный город знает тебя в лицо, когда каждый в любую минуту может подойти, посоветоваться, как переходить улицу получше.

Войдя в трамвай, он первым делом искал плакат, если не находил, что бывало довольно часто, тень досады падала на его открытую людям душу, нет, не из тщеславия. Он смотрел в трамвае на своих современников, лишенных благодетельного предостережения, каждый из них мог совершить неверный шаг. В разговорах с мамой он часто подсчитывал, скольким людям, быть может, он спас жизнь и скольким мог бы спасти дополнительно, будь плакат размещен более умело и щедро.

Давно замечено, что ранняя слава, быть может, и самого вздорного характера, необычайно развивает в русском человеке самомнение. И сезон этой славы прошел, и люди о ней забыли, но вкусивший лавров чувствует их терпкий вкус и по прошествии славы живет ею, не давая людской памяти впасть в забвение, и регулярно воскрешает прошлое хотя бы и ироническим, хотя бы и вскользь, хотя бы и с улыбкой, но непременным напоминанием.

Именно в пятом классе этот случай с плакатиком поставил перед Акибой Ивановичем необходимость вести дневник.

Взгляд на самого себя как-то почти бессознательно следовал цели изготовления наглядного пособия в обучении человечества правилам добра, справедливости и заботы о ближнем. Высокие и поучительные мысли о себе Акиба Иванович доверял только дневнику, в книге, над которой он сейчас работал, его лицо не то чтобы растворялось, но обретало черты мудрой бесстрастности.

Когда-нибудь человечество отыщет записки Акибы Ивановича, где рассказано о том, как он попал в подвалы папства и инквизиции, и будет интересно их сравнить с тем, как оно было на самом деле.

Акибе Ивановичу история попадания в подвалы папства и инквизиции рисовалась исполненной чудес и знамений, а для тех, кто знаком с кадровой политикой отдела пропаганды и агитации в одном из апартаментов бывшего особняка князя Горчакова, для тех все будет просто, ясно и обыкновенно, хотя и не лишено некоторого величия.

После окончания истфака Акиба Иванович два года водил экскурсии по Петропавловской крепости и вел счет чужим выгодам и своим обидам, прежде чем руководство дало ему возможность провести по казематам Трубецкого бастиона ответственную группу из епархов самого высшего разбора.

Группа проведена была с блеском.

О томившихся в царских застенках деятелях пролетарского этапа освободительного движения в России он говорил как о родных людях.

Голос его, где надо, был строг и бесстрашен, эта бесстрастность как бы усыпляла слушателей, и вот тут-то он обрушивался на них с такой мощью гражданского пафоса, что всем становилось неловко за свою черствость, за неспособность проникнуться болью тех, кто сознательно шел и претерпел за нас. С обычным успехом прошел доверительный рассказ полушепотом о пытках тишиной и одиночеством. Звонкая ирония пробуждала улыбки на значительных лицах, когда Акиба Иванович заводил речь о моральном превосходстве узников над туповатыми царскими жандармами. Как мудрый лютеранский пастор, он делал глубокие паузы там, где призывал слушателей своими мыслями и чувствами наполнить тишину и мрак карцера, глухого каменного мешка, куда помещались экскурсанты при замкнутых с лязгом дверях и прикрытом деревянным щитом окне ровно на полминуты. За эти тридцать секунд Акиба Иванович давал возможность испытать на себе и пережить все, чем жили и что испытывали долгие годы сотни мужественных борцов за свободу, прошедших за два века через самое страшное узилище в царской России.

Экскурсанты были приятно удивлены многообразием полученных впечатлений и сдержанным артистизмом экскурсовода, о чем была сделана запись в красивой книге благодарностей от почетных посетителей.

К немалому своему удивлению, Акиба Иванович уже через два месяца был приглашен в роскошный особняк князя Горчакова, разбитый на кабинеты, куда стекалась информация обо всех и каждом, где тихо и ответственно осуществлялась на деле кадровая политика.

Жрецы кадровой политики были с Акибой Ивановичем приветливы, внимательны и открытвенны. Устремленность Акибы Ивановича к серьезной научной работе была встречена с пониманием, казалось бы, и в Петропавловской крепости можно заниматься научной работой, но это только на первый взгляд, на второй взгляд выяснялось, что музей состоит в ведомстве Министерства культуры, где научное звание работника не ставится ни в грош, то есть не добавляет ему ни полшुшки к скромнейшей зарплате. Из этого следовало, что научные занятия в сфере Минкультуры не поощрялись и рассматривались как ваше частное дело. Поэтому Акиба Иванович расценил предложение подумать о переходе в музей академического ранга, в Музей истории религии и атеизма АН СССР как знак высокого доверия. На вопрос, как он относится к инквизиции, Акиба Иванович ответил в высшей степени правильно: «С интересом». Это был ответ и ученого, и политика, и дипломата. Так можно было ответить и папе римскому и первому секретарю ЦК.

«Отдел, куда мы хотим вас направить, это форпост нашей борьбы с католицизмом и папством... — Инструктор, проводивший беседу, закурил «Беломор» и вполголоса закончил: — Ватикан сегодня — один из самых опасных и изоциренных международных агентов империализма».

Сиди агент Ватикана хотя бы и в шкафу, в этом самом кабинете, и то он не услышал бы этого доверительного признания, способного обжечь душу.

Акиба Иванович услышал, понял и в должной мере воспламенился.

«Отдел организован давно, — сказал инструктор, оставляя Акибе Ивановичу возможность самому находить связь между его, казалось бы, разбросанными репликами. — Нам нужен в отделе человек, которому бы мы полностью доверяли. Полностью».

В бурных переменах, последовавших в жизни Акибы Ивановича, можно было бы заподозрить действие неведомых и нечистых сил. Зачем? Просто городской комитет партии подготовил и принял на пленуме постановление «О неблагоприятных тенденциях в реализации решений Центрального Комитета по развертыванию и укреплению атеистической пропаганды». Неблагоприятных тенденций было много, но в преодолении одной из них должен был сыграть свою роль Акиба Иванович. И он сыграл. Уже на следующем пленуме, заслушав отчет о выполнении принятого ранее постановления, участники пленума порадовались: «Неблагоприятные тенденции к постарению научных кадров атеистов приостановлены, теперь их надо переломить!» Если удельный вес бойцов с религией, превышающих пенсионный возраст, раньше был 40,7 процента, то теперь свежая кровь, в том числе и Акибы Ивановича, снизила этот процент до 32,6. Более того, Монтачка попал в доклад и персонально, как «инициатор слома порочных стереотипов». «Ориентируясь на таких, как Мон-

тачка, мы обеспечим динамичную систему воспроизводства научных кадров», — сказал докладчик, тот самый, с непроницаемым лицом.

Когда Акиба Иванович попал в подвалы папства и инквизиции в Казанском соборе, он сразу почувствовал и понял, что здесь-то и начнется его хорошая широкая дорога, хотя еще и не понимал, как это делается.

Отдел Западной церкви был ядром и жемчужиной Музея истории религии и атеизма АН СССР.

Все его пять сотрудников вместе с главной хранительницей фондов, пришедшей из разгромленного Музея обороны Ленинграда, встретили Акибу Ивановича с приветливой настороженностью.

Заведующий отделом, беспартийный профессор Гримм, совмещая заведование с преподаванием истории средних веков в университете, даже движением бровей не подал вида, что сознает неполноту своей власти над новым сотрудником и бывшим студентом.

Интересно проходило собеседование, предварившее окончательный перевод Акибы Ивановича из Петропавловской крепости в Казанский собор. Первое же знакомство с местом будущего своего поприща дало Акибе Ивановичу возможность подтвердить справедливость мыслей, услышанных от инструктора в предварительной беседе.

«Да, музей располагает уникальным, бесценным, можно сказать, материалом, да, экспозиция широко и разносторонне представляет историю папства и инквизиции, но, к великому сожалению, носит чересчур академический, пожалуй что и выставочный характер. Не использованы возможности для атеистического заострения экспозиции. Хромает и предметная устойчивость экспозиции, а вместе с тем около сорока процентов материала имеет, по существу, дублирующий характер. Есть концептуальные недоработки. Всей работе отдела: и методико-организационной, и экскурсионно-массовой, можно было бы придать больше боевитости, воинствующей активности, перевести акцент с истории на атеизм».

К концу разговора у Акибы Ивановича была припасена изюминка, почерпнутая на чаепитии во время знакомства с сотрудниками отдела. Они тогда ему со смехом пересказали слова секретаря по пропаганде, бывшего профсоюзника, заглянувшего в музей и оставшегося многим недовольным. Свое недовольство он сформулировал с римской лапидарностью: «Если верующие не бьют ежедневно стекол в вашем музее, значит, вы работаете плохо».

— Надо поставить дело так, я думаю, — сказал Акиба Иванович в конце собеседования, — чтобы верующие каждый день били стекла в музее.

— Знакомьтесь с материалами, фондами, ищите свою тему, — принимая на работу Акибу Ивановича, сказал профессор Гримм.

Свою тему Акиба Иванович нашел вскоре после того, как укрепил на своем рабочем месте, на стене, неплохую копию большой гравюры фламандского иезуита Яна Давида, изображающую дьявола сидящим на корзине с яйцами и на манер курицы высиживающим змеенышей.

А тему нашел Акиба Иванович в «Пионерской правде», в которую Мурка завернула ему с собой завтрак.

Запивая буфетным чаем домашний бутерброд с покупной котлетой, — готовить Мурка не умела и потому не любила, Акиба Иванович заглянул в раздел «Юному натуралисту». Под сводами соборного буфета заметка для пионеров читалась совсем не так, как на свежем воздухе или дома на кухне.

Юннатам рассказывали о существующей закономерности: чем сложнее организм, чем сложнее существо, тем меньше у него плодовитость.

Читателя, вышедшего из пионерского возраста, эти не очень-то свежие новости могли бы оставить равнодушным, но Акиба Иванович жил в обостренном состоянии осмысления роли и места насилия в жизни общества. Впрочем, термин *насилие* был из уголовно-процессуального словаря, а не научного. В науке есть понятие — сила. Понимание природы различных сил, способы пробуждения их к жизни и направленное использование — сердцевина всякой науки. «Партия — направляющая и организующая сила». Сила! Да, да, да! Осмыслена ли эта сила, осознаны ли тенденции ее внутреннего развития? Нет, нет, нет. «Обострение классовой борьбы по мере приближения к социализму и коммунизму» — глубочайше неверный постулат, вынудивший искать врагов, делать врагов, что привело к самоуничтожению этой силы. Но даже этот самоубийственный виток она выдержала и сохранила свою мощь».

Для диссертации Акиба Иванович взял простую, по сути, описательную тему «История иезуитской коллегии в С.-Петербурге», но занимали его предметы куда более серьезные и актуальные. Его занимала власть тайных орденов. Пушкинская мысль о том, что инквизиция была потребностью века, ее отвратительные, так сказать, стороны были не более чем необходимым следствием духа и нравов времени, мысль о том, что история инквизиции еще ждет своего беспристрастного исследователя, все это волновало и приятно обжигало душу, звало к работе, к исследованию и осмыслению.

В короткий срок тайные общества египетских и индийских жрецов, пифагорейцев и орфиков, греческие и римские мистерии, иудейские ессеи и кельтские друиды стали Акибе Ивановичу понятны и близки, как еще не были понятны и близки организации, расположенные в полудне ходьбы. Подобно гимнософистам, он научился говорить загадочными изречениями, но в отличие от гимнософистов, как известно, презиравших смерть, он к здоровью своему относился очень серьезно и, если случался насморк, брал бюллетень на неделю, а Мурка с важностью отвечала по телефону: «Акиба Иванович болен и к телефону не подходит». Как человек с обостренным чувством формы и внешности, Акиба Иванович научился придавать своему лицу английский оттенок, узнав, что именно этот тип лица более всего подходит хранителям важных тайн.

Не отступая от своего девиза: всегда начеку! всегда готов! — он увидел, прикоснувшись к заметке в «Пионерской правде», возможность не только многое понять, но и обосновать ссылками на непререкаемый авторитет природы неотвратимость и жизнеспособность направляющей и организующей силы общества.

«Чем проще организм, тем сильнее он размножается, чем сложнее, тем меньше». «Отлично!»

«Природе, стало быть, нужно сравнительно небольшое, строго ограниченное число сложных организмов».

«Препятствуя бурному размножению, распространению сложных организмов, природа сама себя защищает. Природа саморегулируется, и эта саморегуляция носит защитный, оборонительный, а стало быть, справедливый характер».

«Что такое сложный организм? Это прежде всего активный, интенсивный эксплуататор, потребитель природы. Природа может выдержать лишь ограниченное их число».

«Простейших может быть сколько угодно. Чем «проще» человек, тем больше шансов у него выжить, тем больше прав у него на жизнь».

«Отлично!»

«Где критерий простоты? Вот оно, заветное, стержневое, не зависящее ни от времени, ни от социальных, ни от каких других условий понятие: потребности! У простого человека потребности простейшие, извините за тавтологию. Только это не тавтология, а фундаментальное понятие. Простой человек не хочет знать и не испытывает тоски от незнания. Он не хочет быть «умным». Он живет, не задавая вопросов и вопросиков! Делает, что велят». «Отлично!»

«Но должно же быть у «простого» человека чувство превосходства над «умником», ведь простому человеку оудет доверено о г р а н и ч и в а т ь число «сложных» организмов? Обязательно должно быть чувство превосходства, не нуждающееся в доказательствах, — это вера! Вера заменит простому человеку все. Во что верить, не так уж и важно, важно, чтобы вера стала паролем «простоты». Веришь — живи, не веришь — извини. Ересь рационалистична. Сомнение — это первый шаг отхода от простоты, это первый шаг в число тех, в ком потребность общества ограничена...»

«Всякая религия зиждется на признании властной силы, большей, чем человеческая. И э т а сила больше, чем человеческая. Только не надо ее называть религией, религии себя скомпрометировали. Это вера, вера в идеал, вера в победу, вера в торжество... Эти слова уже сказаны!»

«Власть действует страхом, запрещением и обузданием».

«И у апостолов сказано: „К одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня“». «Исторгать лишь уверовавших».

«Почему и сегодня Ватикан не отказывается ни от костров, ни от казней, ни от одной акции, вызывающей скорбный ужас потомков? Вершилось дело веры! Да, пусть средства были исторически несовершенными, несовершенен человек, несовершенна история, но путь, предначертанный свыше, путь, которым ведет церковь паству к спасению, непререкаемо верный».

«Хотят пересмотреть нашу историю. Ее надо просто увидеть, увидеть всю, без изъятия, такой, какой она была, и на манер Ватикана, не отрекаясь, не каясь, не отказываясь ни от чего, объявить делом нашей веры!»

«Вот вам истина истории! Кто сказал, что истина должна быть утешительной, радостной, счастливой? Истина не обязана быть доброй по отношению к человеку».

«Кровавый хаос исторического процесса выстраивается в ясную линию: и войны, и революции, и то, что называется репрессиями и принуждением, не что иное, как способ утверждения торжества людей с простыми потребностями над «сложными» организмами. А вот и доказательство: народ — движущая сила всех революций, и никогда именно народ не был победителем, не пользовался победными плодами революций».

Акиба Иванович умел загораться той особого рода отвагой, которую позволяют себе люди, пребывающие в убежденности в том, что заслужат одобрение высшего начальства.

Мысль о силе, регулирующей соотношение простых и сложных элементов в обществе, о силе, гарантирующей устойчивость общества, опиралась на столь убедительные доводы, что ей не грозила судьба «физиологических единиц» Спенсера, участь «животных духов» Декарта, «монад» Лейбница, «вечного чуда» Мальбранша и прочих фантомов умозрительной философии.

Мысль вылась легко.

«В церкви не избирают же прихожане пасторов, иерархов, священников, они достигают сана служением, а говоря партийным языком, корпоративной кооптацией. Найдено главное: замкнутые организации, тайные организации — это союзы «сложных организмов», обеспечивающие их выживание! Замкнутость и самовоспроизводство посвященных — это условие внутреннего, стало быть, ненасильственного регулирования возможного и необходимого числа „сложных организмов“».

Он вспомнил дворец с итальянской лестницей из белого мрамора, парадный этаж с приветливыми секретаршами перед большими кабинетами, тихие, бесконечные, длиной в улицу Зодчего Росси, коридоры с красными ковровыми дорожками без единой пылинки и следа от ног, будто бы обитатели этих стен передвигались каким-то особенным образом или законы природы в этих стенах подчинялись какому-то еще более важному и неукоснительному закону. Высокие двери с простыми фамилиями без указания должностей и званий как бы подчеркивали равенство всех перед незримым Высшим. Вызванные для бесед немногие посетители разговаривали совершенно беззвучно, зато нет-нет да и раздавались необидные шуточки и подтрунивание, которыми обменивались молодые перспективные служащие, чувствовавшие себя здесь как дома и не замечавшие посторонних... Он знал, что его место здесь.

Суть же теории Акибы Ивановича сводилась к тому, чтобы постыдное пресмыкательство перед властью сделать религией, подвигом благонравия и добродетели, ну и, естественно, условием выживания.

### *Часть девятая*

## ИВАНОВ МЕЧТАЛ НЕ ОТРАЖАТЬСЯ

Жилище Иванова представляло благодатнейшее поле для исследователей, поскольку сор не то чтобы не выметался вон, а напротив, здесь же куда-то припрятывался, в чем, надо думать, сказывалась привычка подводника не сорить в море, чтобы не обнаружить своего присутствия на позиции.

Комната отставного капитана первого ранга Иванова пустынною и отсутствием украшений более всего напоминала собачью будку, содержалась она в небрежении, близком к неопрятности, и даже тихое пьянство, бывшее здесь в большом ходу, никаких особенных следов не оставляло. Пустая посуда по возможности тут же обменивалась на полную и дома не скапливалась.

Не нуждается в описании картина затоптанного пылью паркетного пола и стен со случайными обоями, оставшимися от дочери, проживавшей здесь вовсе не с блестящим своим супругом, а по разводу переживавшей к мамушке в обмен на отселенного от матери отца.



О мебели стоит сказать отдельно, как и о светильнике, представлявшем собой матовый белый шар наподобие тех, что освещают классы в школах, коридоры в больницах и украшают фонари на Кировском мосту и Невском проспекте. Мебели в комнате было три: очень старый кожаный диван с деревянной панелью-спинкой, к которой когда-то крепились ныне утраченные полочки. Второй мебелью был стол, простой, дешевый, на четырех прямоугольных ножках, он стоял посреди комнаты без скатерти, украшенный лишь несмываемыми пятнами и удручающий своей обнаженностью. Односторчатый платяной шкаф, какие водятся в студенческих общежитиях, остался от дочери; левую его сторону с бельевыми полками отставной капитан и супруг использовал как буфет, центральный отсек — под верхнее и нижнее платье, а выдвигной нижний ящик — исключительно под обувь и головные уборы.

Было в комнате и зеркало, но можно ли его считать мебелью, вот вопрос. Мебельные зеркала бывают, так же как и каминные и туалетные, это бесспорно, но неизвестно, можно ли считать мебелью даже большое зеркало без рамы, если оно стоит, прислоненное к стене на полу.

Когда Алексей Константинович почти случайно заглянул в зеркало, прислоненное к стене слева от входной двери, и не увидел своего отражения, его тут же заинтересовал единственный вопрос: «Как же это она сделала?» Отражался матовый шар под потолком, отражался карниз над окном, удерживавший на многих уцелевших кольцах тяжелую, как театральные занавес, пропитанную пылью портьеру, отражались стены и потолок в трещинах, а хозяин жилища не отражался. Первая мысль, мысль о противнике, была мгновенной, как рефлекс. Врагов у капитана Иванова, кроме жены, Нины Ивановны, на сегодняшний день не осталось, даже дочка, считавшая отца ограниченным и упрямым стариком, враждебных действий не вела и удовлетворялась лишь тихим презрением.

Зеркало было большим, метр на метр, и стояло между дверью и тюфяком, на котором доживала свои долгие дни старая овчарка Дик. Смотрелся в зеркало Алексей Константинович далеко не каждый день.

В годы большого семейного благополучия, когда командир подводной лодки капитан первого ранга Иванов был назначен заместителем начальника конвойной службы Северного флота, жена его, Нина Ивановна, с необычайной резкостью в полненьких ножках с пышными икрами, приобрела множество ценных и хороших вещей: очень неплохую мебель, ковер, немецкий гобелен на портьеру, трофейную посуду и даже американскую стиральную машину, сосредоточив все это богатство в своей трехкомнатной квартире на углу Большой Монетной и Льва Толстого, в сером доме комсостава Балтфлота с прямоугольными колоннами и въезда во двор. Тогда же было приобретено по случаю и квадратное зеркало толстеного стекла с красивым широким фаетом. Предполагалось, что зеркалу будет подобрана или заказана достойная его красоты рама.

При разделе имущества, которым руководила от начала и до конца непримиримая Нина Ивановна, Алексею Константиновичу выпал квадратный метр неподъемной тяжести зеркала, в придачу были сообщены памятные слова: «Смотри на свою рожу. Смотри, во что превратился, может, стыдно станет!» Сначала, оказавшись в пустынной-таки комнате, капитан Иванов, будто следуя совету Нины Ивановны, подходил к зеркалу и подолгу рассматривал себя, пытаясь найти ответ на вопрос: почему других мужиков жены терпят, а от него избавились так болезненно и даже нервно и жена и дочь разом. Ответа в зеркале, как и можно было ожидать, он не нашел, к внешности своей притерпелся, а вскоре и вовсе утратил к ней интерес, ограничиваясь созерцанием своих впалых щек при бритье в ванной.

Зная, что при любом изменении обстановки надо реагировать хладнокровно и не принимать решений, пока ситуация не будет по возможности прояснена, он неверными шагами отправился на кухню, дождался, пока освободится ванная, зашел и взглянул на себя в осыпавшееся по краям туманное зеркало над раковиной. Дело выходило сложнее, чем представлялось в первую минуту: зеркало отражало лишь тазы, лепившиеся на противоположной стенке. Алексей Константинович открыл кран и сильно вымыл лицо в крайне холодной воде, после чего снова посмотрел в зеркало. Оно вполне отчетливо отражало капельки воды, надо думать, расположенные на его лбу, щеках и подбородке, самих же щек и острого подбородка, как, впрочем, и всего лица, в зеркале не было. Алексей Константинович провел рукой по лицу, вспомнив, что умыться не собирался и полотенце с собой не взял: капельки в зеркале пришли в движение

и размазались. В дверь нетерпеливо постучали, надо было освобождать помещение. Он еще раз взглянул в зеркало и капелек не увидел.

Заметив топтавшуюся у дверей Анастасию Вячеславовну Шим, Алексей Константинович уже готов был, как всегда, улыбнуться и извиниться, поздравить с добрым утром, но соседка, почему-то не взглянув на него, проскользнула поспешно в освободившуюся ванную. Жильцов на кухне было немного. Алексей Константинович хотел поделиться своим открытием, чтобы посмеяться вместе, но заметил, что на него никто не смотрит и даже не смотрят друг на друга, словно взаимно надоели или с вечера переругались. Екатерина Теофиловна с непередаваемой грацией чистила картошку, едва касаясь клубня особым острым ножичком с коротким лезвием и удобным деревянным черенком красного цвета. Мадам Сокольникова в своих неизменных голубых шароварах стояла «на товсь» перед кастрюлечкой с молоком на плите, а квартуполномоченный Окоев замер в полководческой позе возле окна и глубокомысленно ковырял спичкой в зубах.

«Да видят ли они меня?» — подумал Алексей Константинович и кашлянул, проведя, так сказать, акустическую локацию. В ответ только Екатерина Теофиловна, с вниманием относившаяся к здоровью одинокого соседа, повела головой.

«Я всегда люблюсь, Екатерина Теофиловна, как вы чистите картошку!» — выговорил Алексей Константинович и для убедительности, согнув руки в локтях, потряхнул сжатыми кулаками. «Просто я не люблю кухонную работу, поэтому стараюсь все делать быстро», — сказала Екатерина Теофиловна, мельком оглянувшись. И правда, в движениях Екатерины Теофиловны не было ни суеты, ни растерянности, ни преувеличенной значительности, с которой иные хозяйки исполняют кухонный наряд; все жесты были точны и необходимы, отсюда и впечатление изящества, грации, какую можно наблюдать у людей, способных соизмерять усилия сообразно цели.

Сокольникова, бросившая ревнивый взгляд в сторону стройной соседки, отвлеклась и упустила молоко.

В окаменевшем Окоеве сверкнула искра жизни, он повернулся в сторону происшествия, подсказал: «Подтирать сразу надо, а то засохнет», — и продолжил ковыряние в зубах.

Алексей Константинович вернулся в комнату, почти обрадованный тем, что большая беда все-таки миновала. Старый командирский инстинкт подсказал: если обстоятельства нельзя предвидеть, прояви выдержку, не давай воли нервам, воздержись от поспешных решений.

Работая над историей 2-го отдельного дивизиона подводных лодок на Черном море или Краснознаменной, ордена Ушакова 1-й степени бригады подводных лодок Северного флота, ученые, склонные к поэтическим и метафорическим сравнениям, обязательно уподобят Алексея Константиновича Иванова, командира «Щ-101» и «Л-32», легендарному Персею.

(Как известно, Персей, посланный добыть голову Горгоны медузы, не мог взглянуть на грозное чудовище прямо. Медуза, так же как и ее сестры, умела одним взглядом все живое обращать в камень. Капитан Иванов с ходового мостика своей субмарины тоже не мог разглядывать напрямую грузные и неповоротливые транспорты без того, чтобы скорые на расправу корабли охранения не превратили его в считанные минуты в тот самый камень, который, единожды булькнув, уйдет на дно.)

Подобно Персею, рассматривавшему медузу в зеркале щита, полученного от Афины, Алексей Константинович, припав лбом к резиновому тубусу перископа в центральном посту, также сквозь систему зеркал единственный из всего экипажа видел, что делается наверху, забывая дышать, когда нос транспорта, того же злосчастного «Оттомаршена», самого крупного на Северном театре, наползает на визирную линию. В отличие от Персея, державшего зеркало щита в своих руках, Алексей Константинович целиком зависел от боцмана Ямщикова, сидевшего на горизонтальных рулях и державшего лодку так, чтобы перископ не зарывался в воду, ослепляя командира, и не высывался безобразно из воды, демаскируя лодку и выдавая противнику позицию. А позицию Иванов умел выбрать отличную: в атаке он любил тупой угол встречи, когда для противника торпеды идут с направления, самого неудобного для наблюдения, правда, угол упреждения при такой атаке нужно было рассчитать с маникюрной точностью. Поправка на возможный огрех предупреждалась залпом из всех шести носовых аппаратов разом, если цель того, естественно, стояла.

Если в торпедной атаке капитан Иванов был почти щеголь, то для нынешнего его обличия, как жителя квартиры семьдесят два, была характерной потерьность, уходящая своими корнями глубоко в военно-морскую практику жильца.

Выйдя в запас с мундиром и пенсией, хотя за склонность к алкогольным напиткам капитана Иванова хотели лишить права на мундир, имея в шкафу и повседневную тужурку и парадно-выходной мундир в отличном виде, с золотыми дубами и шевронами, по неистребимой привычке Алексей Константинович донашивал свои старые кители со стоячими воротничками, удобные, в первую очередь, тем, что в них можно было обходиться без рубашки. Летом маечка, зимой рубашечка нижняя, и китель! В холостой жизни удобно.

Хорошо бы вернуться к злосчастному «Оттомаршену», поскольку не сам транспорт, а, скорее, доклад о его торпедировании сыграл существенную, а может быть, и решающую роль в судьбе Алексея Константиновича. Рассказать об этой самой крупной победе Иванова на Северном театре можно лишь с горьким привкусом досады.

В окружении сильного конвоя «Оттомаршен» и еще четыре транспорта шли в сторону фронта. Иванов обратил внимание, разглядывая конвой в перископ, что самая крупная цель сидит неглубоко: осадка, как при неполном грузе. «Что же это они мне голову морочат, — выбирая основную и запасные цели, подумал Алексей Константинович, — немец порожняком да еще в таком охранении парход гонять не будет, немец умный, немец грамотный, немец бережливый, немец воевать умеет...» Грамотно выбранная позиция позволяла бить торпедами с пистолетной дистанции — пять кабельтовых. Между визирной линией и носом транспорта оставался едва заметный просвет, как тут же в сектор поражения вдвинулся сторожевик охранения, будто хотел принять на себя смертоносный удар, как пишут в художественных отчетах. Ничего такого принимать на себя никто не хотел, и догадайся на сторожевике о лодке, повели бы там себя вполне прозаически.

Команду «Ап-па-ра-а-а-ты-ы...» Алексей Константинович никогда не подкреплял восклицательным знаком, напротив, он подмешивал к этой команде вопросительный оттенок. Иванов знал, что в эту минуту нервы у людей напряжены до такого предела, что от бессмысленно резкого голоса командира может дрогнуть рука торпедиста, рулевого или электрика. Иванов никогда не пускал свой голос, громкий и сильный, на полный ход. Команду «Ап-па-ра-а-а-ты-ы...» можно было бы сравнить с тем хозяйским и вместе с тем успокаивающим поворотом головы дирижера, когда он, постучав палочкой по пюпитру, обводит взглядом весь оркестр, чтобы убедиться в том, что личный состав на местах, у всех в руках штатный инструмент и каждый готов исполнить свой долг! После этого дирижер непременно бросает взгляд на первую строчку известной ему наизусть партитуры и первым сильным жестом сообщает: «Пли!» Вот здесь Алексей Константинович восклицательный знак ставил, иногда и не один, он знал по себе, что высшее напряжение требует и сильной разрядки, его команда освобождала сдавленную энергию, сгустившуюся в тишине, в душах затаившихся матросов, в особой тишине, охватывающей корабль, крадущийся боевым курсом на средних ходах.

После каждого выхода торпеды лодка рвалась из воды, словно ей самой хотелось посмотреть, как торпеда пошла, да как она идет, да попадет ли и что будет дальше. Торпеды выскальзывали одна за другой, а лодка вздрагивала, словно наезжала на ухабы. Мы с вами в эти минуты только бы и думали о том, чтобы один из ухабов не выкинул лодку на поверхность, а Алексей Константинович об этом не думал, хотя «Л-32» тогда еще не была оборудована приспособлением для «беспузырной» стрельбы. Об этом думал боцман Ямщиков, сидя на горизонтальных рулях и ловко, почти не глядя на глубиномер, удерживая лодку под перископом, не давая ей резко подвсплыть.

Алексей Константинович прикинул, что первая торпеда должна достать сторожевик. Так оно и вышло. Бездымный, будто вспышка спички, взрыв охватил корму сторожевика, нос его вздыбился почти вертикально, и убитый корабль стал медленно проваливаться вниз. Алексей Константинович, казалось, видел свои глазами, как вода выдавливает воздух из отсеков, затягивая бессмысленно упирающийся труп корабля в ледяную бездну. Почти одновременно со вспышкой по корпусу лодки ударила взрывная волна, следом за тем

корпус вздрогнул еще два раза: это еще две торпеды из шести выпущенных достали транспорт, ударив его в нос и в район передней надстройки.

В перископ было видно, как транспорт зарылся носом, как его окутал дым, но досмотреть, как мачты и труба уйдут под воду, не мог.

Докладывая на базе командующему, на вопрос, видел ли он сам, как корабль ушел под воду, честно сказал: «Недосмотрел, надо было погружаться». Так и записали чистейших семь тысяч брутто-регистравых тонн, отправленных на дно сурового Баренцева моря 1 февраля 1943 года, как «поврежденные».

— Вы проследили до конца гибель транспорта? — в голосе командующего была почти просьба: семь тысяч брутто-регистравых — это как-никак пятнадцать—семнадцать тысяч тонн водоизмещения.

— Нет, — без колебаний сказал Алексей Константинович, оставив без внимания невысказанную подсказку вице-адмирала. — Это только при колке дров результат сразу виден, товарищ вице-адмирал.

— Отнесем транспорт к разряду поврежденных, — голосом счетовода сказал командующий и откинулся в кресле, решая вопрос: послышалась или не послышалась ему дерзость в ответе спокойного, всегда невозмутимого и немногословного командира.

Зная о победе еще до возвращения лодки в базу, вице-адмирал готов был без колебаний отдать распоряжение готовить представление Иванова к званию Героя, но вот эта реплика про колку дров, оброненная Ивановым совершенно миролюбиво, решила дело. Иванов получил свой очередной орден, а к званию Героя был представлен не менее достойный.

Только через двадцать лет в западногерманской литературе появилось подтверждение факта гибели 1 февраля 1943 года двух кораблей — сторожевика и транспорта «Оттомаршен». А с чем шел и почему имел высокую осадку, так и осталось по сей день невыясненным. Почему немцы до сих пор наводят тень на плетень, непонятно.

Выдержка и немногословие Алексея Константиновича делали его в квартире семьдесят два человеком малозаметным, словно привычка подводника вести как бы потаенный образ жизни стала его второй натурой. В глазах и мнении жильцов Алексея Константинович, если и отражался, то частично, никого не раздражал, не вызывая агрессии и беспокойства, но куда интересней и неожиданней в глазах самого отставного подводника отражалась квартира с длинным коридором, огромной кухней и множеством дверей.

«Ах тесно, какая теснота!» — стонали дамы, населявшие квартиру и постоянно воевавшие за каждый дециметр площади на кухне, в ванной или на антресолях. Для Алексея же Константиновича и коридор, и кухня, и кладовки представлялись пространством просторным и пустынным. Коридор, где, почти не задевая друг друга, могли разминуться два любых человека, кухня, где разом могут собраться чуть ли не все обитатели квартиры, великолепный галлеон, возможность курить где угодно...

Опекавшая Алексея Константиновича соседка из девяносто шестого номера, Наталья Николаевна, много раз предлагала как-то поуютней оборудовать его довольно большую и, в сущности, совершенно пустую комнату, но всякий раз встречала решительные, хотя и с улыбкой высказанные возражения.

Когда заходил разговор о неудобстве жилища, Алексей Константинович не мог взять в толк, о чем говорит эта бесконечно милая и заботливая женщина. Пустота комнаты и была главным ее украшением и богатством, которым совершенно бессознательно дорожил Алексей Константинович, то есть попросту не испытывал никакого неудобства от этой пустоты. Немытое окно, выходящее во двор, давало даже в пасмурную погоду больше света, чем дежурное освещение в прочном корпусе, не говоря уже об аварийном освещении в отсеках. Когда Наталья Николаевна окидывала комнату с продавленным диваном, столом без скатерти, тремя стульями и одностворчатым шкафом с заткнутой бумажкой дверкой и произносила как бы только что пришедшие ей в голову слова: «Какой-то нежилой вид у вас, Алексей Константинович», — сам Алексей Константинович тут же вспоминал второй отсек на лодке, считавшийся жилым, но заполненный запасными торпедами, насосным оборудованием, воздушными и масляными магистралями, приспособлением для перегрузки торпед, ну и конечно в два ряда расположенными подвесными койками, сравнение всегда было в пользу нынешнего жилья. Обитатели квартиры считали своим долгом страдать от скученности, от того, что жизнь все время шла на глазах друг друга. Это на

лодке, рассуждал Алексей Константинович, жизнь идет на людях, а здесь-то: захотел — зашел к себе в комнату и закрыл дверь, можно вообще выходить только для прогулок с Диком.

Если простор и возможность уединения были настоящим богатством Алексея Константиновича, то громадный рыжий овчар с обвислым брюхом, слабыми задними ногами и тусклым взглядом уставшего жить пса был роскошью Алексея Константиновича. Капитан-лейтенант Глинка рассказывал о своем командире лодки, который держал в каюте весь поход муху! Заделал все вентиляционные вводы, чтобы не улетела, запретил приборщику убирать в его каюте и приходил в ярость, если кто-то, постучав и не дождавшись разрешения, пытался открыть дверь. Прежде чем выйти самому, он всегда находил свою спутницу, отгонял на безопасное расстояние и только тогда совершал необходимый маневр, спешно задвигая дверь на место. Так то муха! А здесь у Алексея Константиновича был целый кобель, высотой метр в холке. Он сразу завел себе пса, как только был переведен из бригады подводных лодок в штаб конвойной службы флота. Дик был вторым псом капитана Иванова, первый, Шаман, погиб на глазах Алексея Константиновича на аэродроме в Сафоново: погнался через ВПП, взлетно-посадочную полосу, за какой-то сучкой и не заметил совершавший рулежку «дуглас». Шаман был полной противоположностью Алексею Константиновичу — лихой, азартный, звонкий, увлекающийся, влюбленный в своего хозяина так искренне и бурно, словно боялся, что в короткий век, отпущенный ему, не успеет высказать всю любовь и преданность лучшему из людей на земле.

И что это за тайна? Каким светом отражалась в собачьем сердце душа Алексея Константиновича, по каким приметам и запахам он безошибочно отличал друзей и врагов своего хозяина?

Смерть скорая и легкая от удара шасси в загривок оборвала жизнь Шамана, и он уже никогда не расскажет, почему был готов лаять до белой пены на черной бахромке в уголках пасти при виде начальника службы тыла флота, будто знал, что тот ни разу не сказал об Иванове доброго слова на военном совете. Зато комбрига Колышкина, Героя Советского Союза, уважавшего Иванова за мастерство и выдержку, приветствовал всегда так радостно, что тому приходилось отбиваться от прыгавшего на него четырехпудового пса, не понимавшего скудными собачьими мозгами, почему нельзя лизнуть в лицо настоящего друга своего хозяина. Дик был совсем не похож на Шамана, и, может быть, Алексей Константинович как раз и ценил в нем это — второго Шамана все равно на свете не будет, а быть его копией и напоминать все время, что ты не Шаман, совершенно незачем. Дик со щенячьих лет был немногословен, серьезен и много думал. Даже когда мчался, прижав уши, за брошенной палкой, даже когда бесстрашно кидался в воду и плыл за Алексеем Константиновичем в любой воде — и в пресной и в соленой, когда защищал его от хмельных собутельников, дерзавших поднять руку на хозяина в хмельных перебранках, Дик оставлял впечатление солидного пса. У пивных рундуков, где случалось стоять последние годы Алексею Константиновичу с одряхлевшим псом, люди, не сговариваясь, говорили: «Солидный пес... Такой в обиду не даст». Дик все понимал, поднимал на говорившего благодарные слезящиеся глаза, и взгляд означал только одно: «Я давно бы хотел умереть, но кто останется с ним? Приходится жить дальше...» Дик садился на землю, приваливался к ноге Алексея Константиновича, услышав в свой адрес похвалу, зевал во всю огромную пасть, показывая грозные зубы, которым, видно, сносу нет, и снова начинал думать, как же без него сможет прожить этот беззубый добряк, от высохших ног которого пахнет старостью.

Если и было что-то общее в характере Алексея Константиновича и Дика, так это выдержка. На улице Софьи Перовской, представляющей собой крошечный бульварчик с двумя рядами лип и газонами в самом центре города, никогда не слышали голоса Дика, хотя редкий день высокий старик в кителе и фуражке с золотыми дубами на козырьке не появлялся на углу, где столовка. Отправляясь утром в поход с собакой, он предполагал зайти в столовку и, привязав пса у витрины, съесть кашу. Только почему-то в последнюю минуту оставлять Дика на улице одного он все-таки не решался и заменял завтрак одной-двумя кружками пива, которые можно было получить здесь же, в ларьке, не выпуская из рук сворку. Потом он шел домой, обходил Казанский собор сзади, где, как известно, тоже стоял пивной ларек, и возвращался домой через украшенный грифонами Банковский мостик, полностью доверяя прокладывание курса чутью и памяти Дика. За все время небыстрых прогулок по укромным уголкам центра

бывшей столицы, и в одиночку и с внезапными знакомыми, Дик никогда не выказывал нетерпения, не скулил, не выд, не требовал к себе внимания. Добрые знакомые Иванова иногда протягивали Дику бутерброд с сыром или с яичком и килечкой, но он деликатно отворачивался или показывал желтые дюймовые клыки, если угощавший был назойлив, и только с разрешения Алексея Константиновича проглатывал бутерброд одним махом, после чего облизывался и смотрел с благодарностью вовсе не на дарителя, а на разрешившего принять дар хозяина.

А вот о выдержке капитана Иванова говорит, например, такой эпизод. После того, как «Л-32» удачно сходила на минные постановки в Варангер-фьорд, лодку засекли охотники и стали бомбить. У акустика, насчитавшего сто шестнадцать разрывов бомб, пошла из ушей кровь, и он запел. Командир взял запасную пару наушников и сам, ориентируясь на шум винтов и разрывы, уползал из-под града бомб. Во второй отсек пошла вода, личный состав удалось срочно переправить в первый отсек по верхнему люку для загрузки запасных торпед. Лодка провалилась на тридцать метров ниже предела, предусмотренного конструкцией, и легла на грунт с дифферентом на корму в сорок градусов. Из отсеков стали поступать доклады о повреждениях. Первым командир услышал взволнованный голос рулевого-горизонтальщика: «Что делать? Из строя вышли ограничители носовых рулей!» «А ничего и не надо делать,— раздался по корабельной трансляции спокойный голос командира, будто речь шла о развязавшемся шнурке.— Управляйтесь в основном кормовыми, а носовые переключайте градусы на десять—пятнадцать». Еще не зная, что делается в трюмах, продолжает ли поступать вода, не очень представляя, удастся ли откачать второй отсек, без чего о всплытии не могло быть и речи, капитан Иванов услышал доклад об обеде и на предложение кока покушать, не задумываясь, скомандовал: «Несите!» Он ел любимую гречневую кашу крохотными порциями, больше всего заботясь о том, чтобы удержать горькую, как горелая вата, пищу сначала во рту, потом в желудке. Нужно было в пятый отсек с центрального поста отправить пустую тарелку. «Командир кашу рубает! — разнеслось по отсекам.— Жить будем!» Оглохшие от бомб, задыхающиеся в аккумуляторных испарениях, замерзающие в темноте и холоде аварийных отсеков, они выжили и всплыли ровно через шестнадцать часов. Погибли только двое, да и то на берегу, уже в госпитале. И в сотый раз пересказывая, как удалось уйти с того света, и матросы и офицеры начинали свой рассказ с гречневой каши, съеденной командиром.

Настоящего подводника никогда не покидает ощущение, что его кто-то видит или увидеть очень хочет. Не отражаться, не отражаться ни звуком, ни силуэтом, ни капелькой солярки из топливной цистерны, ни масляным пятном из балластной или заместительной системы, продутой дизельным выхлопом, ни скрипом корпуса подлегшей лодки о коралловый куст, хоть и редко, но попадающийся даже в норвежских фьордах, не отражаться, стать невидимым — это мечта и мольба подводника...

Но ведь подводник еще и человек и материальный объект, а материальному объекту свойственно отражаться. Если взять такое широко бытующее чувство, как любовь, то жажда отражения занимает здесь важное место. Именно в предмете нашего обожания, поклонения и восторга хочется видеть свое бескорыстие, широту, ум и другие свойственные нам таланты. Вот и отставной подводник Иванов, не признаваясь в том самом себе, был настолько покорен и внешностью и манерами Екатерины Теофиловны, что совершенно бессознательно тянулся к ней и находил величайшее сердечное утешение, когда имел возможность увидеть свое отражение в зеркале ее души.

— Сам не заметил, как безобразно состарился,— вдруг докладывал Алексей Константинович своей соседке, стоя у плиты. Любой разговор с Екатериной Теофиловной доставлял ему такое наслаждение, что даже о вещах грустных он говорил с улыбкой.

— Видел вчера актрису Юнгер, в булочной, какая свежесть... а ведь мы ровесники.— Екатерина Теофиловна резонно объясняла, что актеры и актрисы умеют «держат форму» и при плохом самочувствии и при отягощенности прожитыми годами. Иванов улыбался, кивал и не помышлял о возражении. «То, что артисты держат форму, я согласен исключительно, а вот я-то получаю окончательное старье»,— и просительно смотрел на соседку.

Екатерина Теофиловна обращалась с Ивановым с такой короткостью и прямоотой, что ему временами казалось, что он принадлежит ей, такое же чувство

она невольно вызывала и во многих своих слепых учениках. «Может, у меня желчь не отделяется?» — блистал иногда медицинской премудростью, почерпнутой у пивного ларька, Алексей Константинович. «Отделяется, отделяется! По глазам было бы видно», — бросив на него короткий, но внимательный взгляд, констатировала Екатерина Теофиловна. «А может, это уплотнение печени?» — не сдавался подводник и улыбался еще шире. Екатерина Теофиловна вытирала тут же руки о кухонную салфетку и, положив правую ладонь на поясницу отставного капитана, пальпировала его печень пальцами левой руки прямо через китель. «Ну вот еще, придумали. Чуть увеличена, да, а уплотнений нет. Но бережете вы себя плохо». Только этого Иванову и нужно было, он смотрел вокруг победителем. Его поражала и восхищала деятельная доброта Екатерины Теофиловны, чужого ему человека, особенно в сравнении с женой Ниной Ивановой. «Вы мне не нравитесь сегодня», — вдруг заявляла Екатерина Теофиловна. «Грудь болит», — расплывался в благодарности Иванов. Она уходила к себе в комнату и тут же возвращалась: «Вот камфорное масло и вата. Разотрите. Станет легче». «Против тоски никакой градусник не поможет», — принимая лекарство, заискивающе говорил Иванов. «Тоска — тоской, а вату и масло возьмите».

Иванов шел к себе в конуру, показывал Дику свои награды — вату и камфорное масло и говорил, какая прекрасная женщина живет рядом, всего в двух шагах. Дик слышал это уже сто раз. Обычно в этих случаях он поднимался со своего тюфяка, подходил к Иванову и приваливался к его ноге, надо думать, давая понять, что и кроме дамы с быстрым и отрывистым голосом у старика есть еще на кого положиться.

На дочку надежды были плохи, она здесь почти не появлялась, впрочем, появление жены Нины Ивановны, так и не решившей до сих пор, что ей выгодней в рассуждении пенсии — брать развод или не брать, тоже нельзя рассматривать в положительном смысле. Появлялась она здесь скорее всего потому, что просто не знала, куда ей нести свои убеждения в полной ничтожности доставшегося ей супруга. Здесь его хотя бы знали. Чаще всего она и не заглядывала к нему в комнату, а, не раздеваясь, с кошелкой в руках шла на кухню, здоровалась с хорошо знавшими ее соседями, садилась на табурет и начинала жаловаться. Сначала жаловалась на тоску и бессонницу, на стеснение в груди, после чего спрашивала то ли себя, то ли соседей: «Ну почему, почему я не встретила порядочного, образованного человека?» Если во время этих бесед на кухне появлялся сам губитель ее жизни, она могла его и не заметить и продолжала говорить о нем в третьем лице: «Я не должна слушать мое сердце, кто он мне, я не должна приходить, он губит мои силы». Иванов останавливался, слушал немного и, убедившись, что ничего нового в репертуаре не появилось, скрывался у себя в берлоге. Чтобы объяснить невозможность жить вместе, она часто восклицала: «Как я с ним только не умерла?!» — будто ходила вместе в торпедные атаки и на минные постановки в тот же Варангер-фьорд. «У него прекрасный аппетит, — вдруг сообщала Нина Иванна, — нормальный сон, для его лет очень хороший, а главное, нет никаких болей. Я же встаю утром как разбитая, он этого никогда не понимал и не поймет...» Соседи на кухне менялись, уходили одни, приходили другие, но Нина Иванна могла бы, казалось, произносить свои скорбные признания и на пустой кухне.

Так что, если попытаться разглядеть отражение Иванова в зеркале души его супруги, то мы увидим бравого молодца, счастливчика, которому все ни по чем, а несокрушимое здоровье и железные нервы и есть его главный недостаток, куда более злой, чем пристрастие к выпивке.

Алексей Константинович не был погружен в треволения, обычно сопутствующие холостой жизни. В одиноком своем положении он был окружен женским вниманием разного толка: Екатерина Теофиловна вела его здоровье, Наталья Николаевна из девяносто шестого номера не позволяла умереть с голоду, а бывшая жена Нина Иванна с ее регулярными визитами и жалобами делала все, чтобы жизнь отставного мореплавателя не показалась ему раем. Справедливости ради надо сказать, что в подозрительных для Нины Ивановны визитах Натальи Николаевны не было ничего корыстного, и на благодарность Иванова она рассчитывала не больше, чем на благодарность голубей у Казанского собора и кошек во дворе дома двадцать два по каналу Грибоедова, которых тоже подкармливала.

Пропажу своего отражения Алексей Константинович никак не переживал: нету и не надо, а бриться он давно умел на ощупь. Полагая, что он вступил в

возраст, когда его с разных сторон будут атаковать всевозможные болезни и недуги, в том числе и неведомые, он не спешил с ними вступать в схватку и призывать на помощь прежде, чем сумеет увидеть и понять меру грозящего ущерба. От потери отражения урона он пока не видел. Кстати, если бы Алексею Константиновичу пришло в голову вместо того, чтобы бегать от зеркала к зеркалу, просто посмотреть в глаза Дику, он бы увидел себя и, быть может, даже не таким, каков он есть в настоящую минуту, а значительно лучше. Известно, что собаки врать не умеют, хитрить не умеют, и поэтому их используют как передовых гонцов науки.

Из всего сказанного выше можно сделать, конечно, вывод, будто бы Алексей Константинович Иванов жив, но такое заключение будет носить исключительно формальный характер. После того как капитана первого ранга Иванова столкнули с военной орбиты, отселили от семьи и не включили ни в какие другие сообщества и союзы, жизнь его фактически свелась к призрачному существованию, что и разъясняет причину утраченной им способности отражаться в зеркалах. С полным основанием можно допустить, что подобного рода недуги имеют под собой историческую почву и носят социально-эпидемический характер.

### *Часть десятая*

## ПОДОСИНОВА И НЕЧИСТАЯ СИЛА

Хотите знать, откуда берутся колдуны, ведуны, шептуны, ворожеи и знахари?

Из широких народных масс, оттуда же, откуда вербуются кадры крупных партийных работников, духовенства, милиции, всех тех, кто противостоит стихии жизни, стремится внести в нее порядок.

Неведомого в жизни несколько не меньше, чем хорошо известного и предсказуемого.

Одни люди перед лицом неведомого и непредсказуемого как бы пасуют, выжидают, надеются постом и молитвой, упованием на избавителей спастись от напастей, другие же, напротив, способны сосредоточиться и обратить свою духовную и умственную силу на преодоление злосчастий. Именно к этому последнему роду людей всецело принадлежала Подосинова-старшая, Клавдия. Не станем касаться темных сторон ее сознания, потому что там, где для вас, людей ученых и образованных, начинаются мрак и дремучие предрассудки, для самой Подосиновой все было ясно как божий день. Естественно, наставниками и учителями Клавдии были люди такие же неразвитые и необразованные, как и она сама. Среда ее вращения, надо признать, была изрядно пропитана предрассудками. И ничего нет мудреного в том, что простолюдины видят черта и с рожками, и с копытцами, и с крылышками, а вот почему люди образованные, сидя перед телевизором, придерживаются тех же заблуждений, ответить куда трудней.

Говоря простым языком, Подосинова существовала в мифологическом бытии как субъект, не отделяя себя от мифа, а пребывая в его контексте. Там, где скептический ум требует доказательств (вот он — рационализм ереси!), Подосиновой ничего такого вовсе не было нужно, поскольку мифология в доказательствах не нуждается. Убежденная в том, что ведьмы во всем мире летают на березовых метлах, она уже не могла принять в свое сознание тот факт, что ирландские модницы все-таки, как известно, предпочитают бузинный пруттик.

Не увидев своего отражения в зеркале, Клавдия Подосинова испытала чувство, близкое к радости, какую испытывает человек, получающий подтверждение своим ожиданиям, основанным на органическом убеждении.

Научно известно, что чародеи и ведьмы имеют силу лишь там и над теми, кто их боится или слаб духом.

Бабушка Подосиновой-старшей ни секунды не сомневалась в существовании нелепых, с точки зрения Клавы, Индрик-зверя, Стирлим-птицы и Трличь-травы, хотя сама втайне и посмеивалась над рассказами своей бабушки — как уберечься от мертвого змея, который летает ночью и портит девок. И хотя бабушка доверительно сообщала, что сама пострадала от этого змея, как-то не верилось, что спасение надо искать в тележке, запряженной петухом.



Без всяких бабушек Клавдия сама могла объяснить любому природу существования нечистой силы. В науке бытует мнение о том, что дьявол сотворен все-таки Богом, а усомниться в реальности творений Божьих все равно, что усомниться в Нем самом. У Подосиновой было разъяснение и проще и убедительней: Адам народил очень много детей и постеснялся, по зазрил ся, в терминологии Подосиновой, показать их всех Богу; вот те, что остались не предъявленными Отцу небесному и вынужденные скрываться от его лица, жить жизнью потаенной, непризнанной жизнью, и стали нечистой силой. Тайная, скрытая, припрятанная жизнь всегда была враждебна людям, доказательств было хоть бы и поменьше. А скажи ей, что сама-то она живет потаенной, непризнанной жизнью, которую прячут и прячут, она бы приняла вас за крупного богохульника и на всякий случай прибегла бы к оберегу или отреченной молитве.

По убеждениям, вынесенным из Смоленской губернии, Подосинова не имела оснований сомневаться в реальности существования леших, оборотней и домовых-братанушек, вызывающих насмешки у прославленных атеистов. Основания были. В 1928 году она ходила на гумно вечером под Новый год гадать, выйдет она замуж на следующий год или нет. Как и полагается, задрав платье и заголив зад, она надвинулась задом к окну сушила, призывая Овчинника-родимчика внести ясность в интересующий ее вопрос. Ясность была внесена тут же: Овчинник погладил ее по задку мохнатой рукой — верный знак, что и выйдет, и за достаточного мужика. Так и было. Вот если бы голой рукой погладил, тут рассчитывать на зажиточного жениха уже не приходилось, а некоторые товарки Клавдий, простояв перед сушилом с голым задом и поскучав, так ни с чем и уходили. Сами они об этом не очень-то рассказывали, но в деревне тайну сохранить почти невозможно: все друг у дружки на виду.

Подосинов, чью фамилию приняла на Покров Клавдия, был мужик не то чтобы достаточный, но ловкий, и то, что жить будут хорошо, Клавдия не сомневалась. Через год у них в избе уже кричала Валька, были своя лошадь, корова с теленком, овец десяток и кой-какая дворовая мелочь.

Проказы нечистой силы в сельской местности и в крестьянской жизни обнаруживаются с куда большей очевидностью, чем в жизни городской, и, зная около тридцати имен черта, Клавдия первое время удивлялась, живя в городе, тому, что не находит прямых подтверждений обитанию нечистой силы в здешних местах, хотя ей было достоверно известно, что потерпевшие поражение в войне с ангелами Света мятежники, вышедшие из-под воли Царя небесного, летели сорок дней и ночей на землю и, кто где упал, там и остался хозяином. Сведений о том, что нечисть может покинуть края своего приземления, не было.

Останься Клавдия жить в Кривицах, из нее с годами самое малое образовалась бы нешуточная знахарка. При виде ломовой или трепухи, гноевой лихорадки или подтынницы она не впадала в страх, а наполнялась азартным интересом узнать, откуда эта порча пришла, и готова была потрудиться, чтобы ее вывести.

Подосинова, прожив в Ленинграде без малого двадцать пять лет, наслышалась про разную чертовщину в петербургских домах, ей даже показывали беспоконные дома у Калинкина моста, и на Фонтанке, и на Моховой, где нет-нет да и до сих пор дикуются. Узнав о том, сколько неотпетого народа похоронено в ленинградской земле за два с половиной века, Подосинова только удивлялась, в общем-то, спокойной еще жизни в городе, если даже изба, поставленная над схороненным неотпетым покойником, для жизни никогда пригодной не будет, а тут чуть ли не полгорода на костях.

Когда звенели стаканы в буфете, кто-то шумел и гудел ночью в пустом коридоре или, живя еще на Шкапина, она утром обнаруживала в примусе воду вместо керосина, кроме привычной тревоги, она еще удовлетворялась сознанием того, что и эти места не оставлены домовиками, публикой более шаловливой, чем вредной. С доброхотом и братанушкой всегда можно было поладить.

Науке известно, что к излюбленным местам пребывания и совершения пакостей и проказ нечистой силой следует отнести, кроме лесных дебрей и непролазных болот, также и городские трущобы, особенно те, что воздвигнуты на местах болотистых, на трясиных и особенно на заглохших речках. Для Подосиновой Ленинград от Кривиц, места сухого, отличался главным образом не дававшей о себе забыть сыростью. То, как влияет дьявольская сила, укоренившаяся в сырых местах, на хозяйственную и общественную деятельность

человека, пока изучено плохо. Зато Подосинова твердо знала, что против каждой порчи есть свое средство.

Среди тридцати тысяч зарегистрированных покушений на председателей Западной области, куда в ту пору входила вся Смоленщина, в июле 1929 года осталось не то чтобы не раскрытым, но так и не отмщенным нанесение колом двух ударов по спине председателя сельсовета Пестунова в селе Телемошки Клинецовского округа, простиравшего свою власть и на подосиновскую деревню Кривицы. По прошествии ряда лет версии о причинах нанесения колом ударов по спине товарища Пестунова резко разделились. Совершившая преступление Клавдия Подосинова, быть может, и ошибочно, была отнесена в «зажиточные» и тем самым, была лишена права на приобретение муки в кооперативной сельской лавке — хлеб «зажиточным» не продавали, и все это по инициативе Пестунова. Впоследствии было признано: у Пестунова имелись перегибы. А хлеба у Подосиновой до нового урожая, как и у многих, не хватало, и до зачисления в «зажиточные» она могла прикупить муку в лавке. Ловкий муж отправился в бега и на заработки и присылал хоть и небольшие деньги, но регулярные. Клавдия с дочкой были благополучны. Это благополучие прибавило Подосиновой смелости и непокорства, выразившихся в отказе от подписки на третий заем индустриализации и нежелании досрочно сдать сельхозналог. Поэтому, когда деревенское собрание приняло позорную резолюцию против коллективизации и вызова на социалистическое соревнование деревень Коваленки и Зимино, у Пестунова были все основания прижать Подосинову как врага. Поддавшись стихийному чувству, Клавдия прибегла к средству бессмысленному и жестокому: подкараулила хмельного председателя и перетянула его два раза колом по хребтине.

Есть и вторая версия этого поступка, даже более убедительная. Объясняется нанесение ударов колом конфликтом, возникшим между товарищем Пестуновым и гражданкой Подосиновой в связи с взысканием денег по землеустройству. Платить деньги за «землеустройство», в результате которого у нее урезали две десятины земли, а покос отвели на болотах аж под Рожнами, Подосинова не хотела. После совершения преступления против власти Клава велела своей свекрови двор продать, а сама подхватила с Валькой и улизнула от правосудия в Житомир. Через девять дней, помыкавшись в городе, она готова была уже вернуться назад, но специально посланный ее разыскать племянник сказал, что на следующую ночь после ее побега в селе Валуец сгорело гумно, а в Рожнах был ранен сельский активист и также посредством кола. «Кроме моего кола и кольев нету?» — взвилась было несознательная бабенка, но племянник ее оборвал: оказывается, Пестунов, поговорив с раненым товарищем по несчастью, сумел убедить следователя в том, что тут «один почерк». Сноха предложила двор не продавать, как бы отдать ей для шурина, который своего двора не имел, с тем, чтобы по возвращении из бегов Александра, мужа Клавдии, все решить по-мирному.

Александр так и не вернулся, погиб на строительстве доменной печи в Криворожье: упал с лесов насмерть, поэтому Макрида Кирютина без труда подбила Подосинову ехать в Москву. Сама же Кирютина бежала от преследований товарища Лакумова, работавшего в комиссии содействия госкредиту Кардымовского исполкома и записавшего Макриду в «подкулачницы из беднячек» за отказ от самообложения.

В Москве Макрида быстро устроилась куда-то в общежитие и на стройку, а Клавдия с годовалой девочкой месяц мыкалась черт знает где, а в основном — по вокзалам. И насмотрелась всякого и наслушалась, услышала, что вроде в Питере народ добрей, не такой перекатный, как в Москве, и, продав цыганам бирюзовые сережки, уехала в Ленинград, где встретила свою судьбу.

Еще в поезде ей умные люди сразу сказали, что с ребенком место надо искать не в городе, а где-нибудь в дачной местности, за городом, где у людей хозяйство и с жильем не такая скученность. Называли разные места и по Московской дороге, и по Варшавской, и по Витебской, выбирай, что душе угодно. И как шепнул кто-то: «езжай в Лигово», — так она и решила, хотя надо было переезжать на другой вокзал и снова ехать поездом.

Ехала, как Бог вел.

Сошла в Лигово: место красивое, тихое, дачи богатые, сады, народ неторопливый, культурный. Походила, походила, села под деревом, чтобы дать ногам отдохнуть от топтанья, а рукам от Вальки. Вид у нее, надо думать, был

страшненький, если какой-то прохожий спросил ее весело: «Что это ты под одной уселась, может, удавиться хочешь?» «А где ж мне сидеть, если я Подосинова», — сказала Клава, и не разглядевшая, где ее свалила усталость. «Врешь!» — сказал прохожий. «А кто ты такой, чтобы мне тебе врать?» — «Так я тоже Подосинов». Поудивлялись, стали вспоминать родню, но прохожий оказался коренной питерский. Посмеялись. Лиговский Подосинов имел загородный дом в две комнаты и веранду, а работал в Технологическом институте. Дачники от него недавно съехали, дом надо было приводить в порядок, и он позвал к себе на ночь беженку с девочкой.

Жил Подосинов бобылем и имел участок при доме в двенадцать соток, увеличенный недавно за счет земли, прирезанной от соседней богатой дачи бывшего главного кондуктора царского поезда на Варшавской дороге. Теперь дачу занимал знаменитый какой-то кинорежиссер, уступивший часть владения без особенных разговоров. Дом после деревенской избы, пропитанной дворовыми заботами, показался Клаве прямо квартирой, а про сотки она ему сразу сказала: «Что ж ты с землей-то делаешь, а?» «Ничего не делаю». «Неужто больше бурьяну негде расти, как у тебя под окнами? Земля-то у тебя смотри какая, с нее так и прет», — сказала Клавдия, имея в виду пышные, хотя и диковатые заросли.

Через месяц Клавдия стала полной хозяйкой и дома и земли, а той, с которой Подосинов валадался в городе, была дана полная отставка, о чем сам Андрей Сергеич сказал, и стал приезжать с работы из города домой каждый день. Работал он, как уже было сказано, в Технологическом институте — в мастерской жестянщиком.

За первым вечерним чаем, уложив Вальку, Клава спросила для знакомства: «А где у тебя жена?» «Жены у меня больше года не держатся», — сказал Андрей Сергеевич без тени грусти и потер согнутым пальцем щеточку усов, будто сбрасывал крошки.

Андрею Сергеевичу было весело разговаривать с двадцатитрехлетней бабенкой, и он поднял стакан с чаем и объявил сам: «Ну, Клавдия батьковна, с новосельем!» «На сколько дней новоселье?» — подумала про себя Клавдия и тоже подняла стакан с чаем.

Печь топить не стали из-за позднего времени, согрели на керосинке воды в ведре, и Клава вымылась с дороги, спрятавшись под навес у дровяной сараюшки. Спать легли порознь, держал себя Андрей Сергеевич с Клавой, как с сестрой, будто и не баба. Первый раз в жизни Клава спала на настоящей городской оттоманке под шерстяным одеялом, удивлявшим своей тонкостью и радовавшим теплом. Проснулась Клава рано, не было еще и четырех, надо думать, от привычки вставать к корове, и заснуть уже не могла. Полежала, разглядывая в темноте непривычную мебель и стены, круглую печку, обернутую в ребристое крашеное железо, лампу под абажуром, послушала, как тихо похрапывает под боком Валька, и вспомнила: «Новоселье, говоришь? Ну что ж, новоселье так новоселье!» Соскочила с оттоманки, скинула рубашку и, громыхнув чем-то в темной прихожей, выскочила во двор во всей своей молодой наготе.

Андрей Сергеевич спал плохо: то проваливался куда-то, то вдруг снова понимал, что не спит, и уже путал свои беспокойные мысли с коротенькими сюжетами сна. Стуку в прихожей и скрипнувшему под голыми пятками крыльцу не придавал значения — чая было выпито стакана по четыре. В окне мелькнуло что-то белое, хозяин приподнялся и отодвинул край занавески.

Когда Клавдия третий раз обегала нагишом вокруг дома, Андрей Сергеевич посунулся из своей комнаты на веранду и разглядел мелькнувшее молодое тело. Отсвет дальнего уличного фонаря позволил заметить и лицо, круглое и строгое, а губы плясали в быстром шепоте.

Дверь скрипнула, Клава вернулась и легла.

«Фигуристая», — подумал Андрей Сергеевич, поддернул подштанники и закурил оставшуюся от дачников «пушку».

В ворожбе и приворотях Андрей Сергеевич был полным невеждой, но все равно догадался, что после всех мытарств и скитаний темная баба хочет пустить все средства, чтобы поправить свою судьбу. Со слов Клавдии он уже знал всю ее короткую и бурную историю — и про то, как припечатали в «зажиточные», и про «землеустройство», и про смерть Александра. Естественно, не было рассказано только о гаданье на жениха на гумне и про покушение на товарища Пестунова. Да, дела в деревне шли куда, оказывается, трудней, чем виделось

отсюда, из города. «Трудно входит крестьянство в социализм», — лекторскими словами подумал Подосинов. Сам же он курс партии на коллективизацию поддерживал, состоял в профсоюзе, числился пролетарием и на третий заем индустриализации подписался полным окладом не моргнув глазом, поскольку сторонних заработков выходило иной месяц и на полтора оклада плюс дачники. Мысли сами собой от большой политики перекинулись к Клаве. Ему нравилось, что она тоже Подосинова, все равно как уже своя, и что в беде не жмурится, побежденной себя не считает, нравилась ее речь, прямая и чуть насмешливая, и знал, что никому не расскажет, как приютил беженку, а та ночью нагишом бегала вокруг дома, это было уже из его новой жизни, которой он не собирался ни с кем делиться. И простоватое лицо и несколько коротковатые ноги отходили на второй план, когда он думал о Клаве, больше всего его занимала ее манера разговаривать — без охов и вздохов, без намерения разжалобить, и даже полутороговала Валька была при ней совершенно необходимым корешком, без которого бы ей недоставало жизненной прочности.

Через год Клава родила сына, Андрей Сергеевич ходил гордый: «Родила богатыря, пять кило триста!» Клава этой радости не разделяла, и вовсе не потому, что роды были трудные. «Молодец у нас Кланыя, ай да молодец!» — подбрасывал отец на шершавой ладони сынишку и не мог нарадоваться. «Тяжелый он», — грустно сказала Клава. «Богатырь!» — сказал Андрей Сергеевич. «Земля его к себе тянет», — виновато посмотрев на мужа, сказала Клава. «Это деревенских к земле тянет, — не поняв сказанного, возразил Андрей Сергеевич, — а Ванюшка у нас питерский, летчиком будет, смотри, как ему летать нравится! Смотри, как улыбается!» Права оказалась все-таки Клава: не прожив и двух лет, Ванюша умер от какой-то тяжелой болезни головы. Клава к смерти сына была готова и отнеслась как к неизбежному. Андрей Сергеевич, напротив, переживал очень сильно и даже побил ее за бесчувствие.

Снова рожать врачи Клаве отсоветовали.

Новая семья Подосиновых, случись ей попасть в летопись великой войны, без труда могла бы вписать живые полстранички в историю битвы за Ленинград и вторые полстранички в историю оккупации.

С оккупации и надо начать.

Немцы, признаться, удивительный народ: захватили всю Украину, всю Белоруссию, России отхватили кусок аж по Волгу и Кавказ, народу на всей этой земле прорва, больше, чем в самой Германии, выбирай кого хочешь, угоняй куда хочешь, так нет же, выковыривали и угоняли в Германию народ ну прямо из-под стен Ленинграда, вплоть до дачного разезда Лигово и таких же малых, прижавшихся к стенам неприступной цитадели, деревенок и поселочков. Вот что значит порядок! что на Полтавщине или Волыни, то и на расстоянии винтовочного выстрела от Кировского завода.

16 октября под проливным дождем партия в семьдесят шесть человек двинулась строем в Дудергоф, где собирался эшелон для отправки всей этой пригородной публики в Германию. Сначала эшелон стоял в Гатчине, в теплушках было холодно и душно от прелой сырой одежды и промокших вещей. Гатчинскую станцию наши нет-нет да бомбили, поэтому немцы передвинули эшелон ближе к городу, обратно в Дудергоф, оттуда уже благополучно двинулись на Таллин.

Эшелон все-таки разбомбили, но только под Нарвой. Именно это обстоятельство позволило Подосиновым остаться на родине, избежать неволи.

Немцы уцелевших после бомбежки под Нарвой по неизвестным причинам не стали препровождать, как раньше было задумано, в свой фатерланд, а позволили желающим жителям Эстонии разобрать для местного употребления. Возвращавшийся домой по ранению Ян Ренцис, имевший хутор под приграничным с латышами местечке Краби, взял с собой Подосиновых, мать и девочку. Клавдии стоило большого труда и мужества скрыть полученное при бомбежке небольшое ранение в ногу. Прими она сразу же надлежащие меры, может быть, и не пришлось бы хромать всю оставшуюся жизнь. Когда Ренцис подошел к ним, посмотрел, покачал головой и сказал негромко: «Пропадешь. Мой дом пойдем. Дочка возьмем. Пропадет», — Клава сразу доверилась этому спокойному, видно, тоже хлебнувшему немало неизвестному мужчине. Знакомились в поезде, шедшем на Тарту. Ренцис разговаривал так, будто учился русскому языку в детском садике: «Коровка знаешь?» — «Знаю». — «Лаби, лаби... Свинка зна-

ешь?» — «Знаю». — «Лаби. Лошадка знаешь?» — и все в таком духе. В Тарту Клава уже не могла скрыть своего ранения, а Ян не хотел, надо думать, расставаться с работницей, знавшей и свинку и лошадку.

Когда Ян привез на подводе к себе на хутор женщину с дочкой и загипсованной ногой, в семье произошло бурное объяснение. Кричала мать, размахивала руками жена, смеялась сестра Айна, жившая со старшим братом. Ян ходил по двору, словно и не слышал крика, и прикидывал, куда поместить новых своих жильцов. Потом произнес несколько негромких слов, и женщины замолчали. Поместили Подосиновых в теплом срубе на дворе, где под одной крышей была баня, кухня с чугунным чаном в плите для запарки корма скотине и просторная кладовка с небольшим оконцем. Там и отсиделись почти до конца войны мать и дочь, испортив свою анкету позорным пребыванием в оккупации.

Куда проще оказалась судьба Андрея Сергеевича Подосинова, трижды уходившего там же, в Лигово, на сборный пункт в июле месяце сорок первого года и в конечном счете пропавшего без вести.

Когда Подосинов уходил на сборный пункт в третий раз, прощание было каким-то промежуточным — после первых двух прощаний и это казалось не настоящим, не окончательным, поскольку уходил-то недалеко, и кое-кто из лиговских соседей умудрялся еще и домой вырваться или позвонить. Только Андрей Сергеевич ушел и как в воду канул, больше никогда ничего во всю жизнь они друг о друге не узнали. Лишь в сорок шестом, когда Подосинова стала хлопотать для дочки пособие, ей выдали после множества мытарств и запросов невразумительную справку о том, что Подосинов «пропал без вести» в сорок третьем году. Где он был до сорок третьего года и почему с июля сорок первого от него не было вестей, никто разъяснить не хотел. Впрочем, справка оказалась что надо, и свои двести рублей на дочь Подосинова отхлопотала.

Но самое интересное началось, когда Клава вернулась в Лигово в сорок четвертом году, вскоре после освобождения Советской Прибалтики.

Прибыв в Лигово, Подосиновы не без труда отыскивали свою улицу, представлявшую собой открытое на просвет пустынное пространство с обломками разбитых и сожженных домиков. Своего дома они не нашли вовсе — не уцелело ничего совершенно, даже от печки и плиты ни камешка не осталось, только на месте, где стоял курятник да дровяная сараюшка, около которой первый раз мылась Клава, осталась куча сора и какого-то совершенно никуда не употребимого хлама. Соседняя дача главного кондуктора, где жил потом режиссер кино, сгореть-то сгорела, но остались две печи с высокими трубами и груды обгорелого бруса и кусок одной стены. Самое же скверное было то, что через участок Подосиновых уже стали ездить: за три года здесь образовался какой-то новый, безмянный пока что переулок. Десяток двухметровых яблонь, посаженных Клавой в первую же осень, как стала здесь жить, стоявших чуть в стороне от бывшей веранды, проезду машин не мешал, и пока Подосиновы чуть не час топтались на своем пепелище, через участок, нервно сигналив, проехал «студебеккер» и две полуторки. Колея была накатана наискосок, примерно от того места, где была бывшая уборная, на правый угол и через кухню к калитке и дальше на соседний участок, который тоже был пуст.

Подосинова предприняла немалые усилия, чтобы зацепиться все-таки за Лигово: она пошла работать сторожем на железнодорожную станцию, поскольку по увещью ноги выбор работы был несколько ограничен, а там все-таки давали жилье в вагончике. После того как из вагончика стали теснить более необходимые железной дороге специалисты, Клава ухитрилась найти какую-то парализованную тетку, за которой отказалась ухаживать невестка, бывшая жена погибшего на войне сына. Обе Подосиновы поселились в жилище парализованной лиговчанки, в пятнадцатиметровой комнате, составлявшей четверть финского домика, одного из многих, появившихся в проутюженном войной поселке. И все было бы хорошо, но через пять лет, несмотря на безупречный уход и медицинскую помощь, несмотря на все старания и молитвы о продлении жизни, хозяйка переселилась в мир лучший. Объявившаяся откуда ни возьмись невестка прямо на поминках попросила обеих Подосиновых убраться в двадцать четыре часа. Ей ужасно нравились эти слова: «Двадцать четыре часа!» — и она за один вечер повторила их раз двадцать, горячась все больше и больше. «А этих я попрошу в двадцать четыре часа!» «Здесь у меня не приют для погорелых, дам им двадцать четыре часа,

и на все четыре стороны!» «А вас, уважаемые квартиранточки, чтобы в двадцать четыре часа здесь не было!»

Двадцать четыре часа растянулись чуть не на три месяца. Именно в эту пору Валька, вымахавшая в отца выше матери, но, в сущности, совершенно юная, устремилась замуж столь решительно, что Клавдии пришлось прибегнуть к самым строгим и крайним мерам, чтобы удержать дочь от ложного шага. Против замужества Подосинова никогда ничего не имела, но справедливо полагала, что ни лысина, ни рассказы о военно-морском прошлом, ни стальной ряд верхних зубов, сверкавших, как обойма новеньких патронов, не могли особенно пленить ее дочь, на которую в технологическом техникуме легкой промышленности, где она училась, с немалым интересом поглядывали немногочисленные сверстники мужского пола. Подосинова понимала, что шестнадцатиметровая комната в Стрельне составляет, быть может, самое привлекательное качество ветерана Балтфлота и соискателя руки и сердца ее единственной дочери. Что уж там было у нее с ветераном, никто не расскажет, бывало, и по три и по четыре дня не появлялась дома, только однажды пришла домой — в дом, откуда ее с матерью уже второй месяц как гнали взащей, прямо с порога уставилась на мать и, не раздеваясь, произнесла: «Не хочешь — не надо! Но учти, буду теперь у тебя на шею сидеть до тридцати лет».

Поразительно, в минуты высочайшего душевного напряжения в людях открываются пророческие способности — так до тридцати лет она замуж и не вышла, и в первый раз собиралась совершить этот поступок именно сейчас. Всего неделю назад на кухне было объявлено, что заявления поданы и будет регистрация и свадьба.

«Будем гулять! Всех зовем!» — бесстрашно и щедро объявила Клавдия Подосинова на кухне, словно забыв, что в ее двенадцатиметровую комнату шириной чуть больше двусторчатого окна, не только всем гостям, но и жениху-то поместиться некуда.

Так уж вышло, что жилищная площадь, на которой помещалась Клавдия Подосинова в Ленинграде, все время сжималась: после дома в Лигово они с дочкой успели пожить в Дачном, где снимали неплохую комнату в домике с садом на улице III Интернационала, потом получили, наконец, свою комнату во втором дворе на улице Шкапина у Обводного канала на задах Балтийского вокзала; и только после того как Клавдия окончательно устроилась на «Володарку», на углу Мойки и Гороховой удалось выменять шкапинскую, в общем-то, неплохую комнату на двенадцать и семь, почти тринадцать в квартире семьдесят два на канале; жилая площадь как бы сжималась, но существенно сокращалось расстояние до работы и расширялось время суток за счет экономии на дороге, поскольку с канала до «Володарки» десять-двенадцать минут быстрого хода без всякого транспорта.

Рекорд быстроты передвижения до фабрики был установлен позапрошлой осенью — семь минут. Что-то она утром завозилась и, глянув на часы, увидела, что остается меньше пятнадцати минут, — с ее ногой срок критический. Она накинула свою серую коротенькую осеннюю куртку и выскочила во двор. Еще во дворе она заметила, что на нее как-то странно посмотрела дворничиха и захихикали школьники. На набережной она почувствовала, что явно привлекает внимание, кто-то хмыкал, пожилые смотрели с укоризной. Лишь на Банковском мостике она поняла, в чем дело: впопыхах забыла надеть юбку, на ней были только облегающие черные полурейтузики, они-то и подвели. В тугих теплых штанишках юбка почти не чувствовалась, вот она про нее и забыла. «Что делать? Возвращаться?» В это время уже за опоздание под суд не отдавали, но страх перед возможностью опоздания был выше стыда, она надала и, забыв о хромоте и побаливающей ноге, под усмешки и ухмылки спешащих на работу людей за семь минут с секундами домчалась до проходной, как сердце только не выскокило. Дерзость принятого решения — не возвращаться, сообщила ей какую-то совершенно особую отвагу, стыдновато, конечно, было, но к стыду примешивалось еще какое-то чувство, которое она не взялась бы объяснить, чувство волнующее, острое и крайне необходимое, его хотелось бы пережить еще. Рейтузики были почти новые, а фигурка... ну что фигурка — было на что взглянуть. Быть может, подобные чувства испытывала леди Годива, по прихоти графа Ковентри проезжавшая по городу на коне совершенно обнаженной, видевшая пустынные улицы и плотно закрытые окна, быть может, не только с чувством благодарности к горожанам за неучастие в ее унижении. В глубине

сердца, куда и сама заглянуть бы не решилась, надеялась, что не все окна закрыты плотно. Ох уж эти бабы!

Клава первая заговорила о том, о чем вслух никто говорить не решался, и все делали вид, что ничего не произошло. В их напряженном недоумении было что-то неподвижное, они не знали, что делать с этой бедой, и если страдать, то как.

«Вот и анчутка беспятый к нам пожаловал», — ни к кому не обращаясь, стоя вечером у плиты, вдруг сообщила Подосинова.

Все поняли и смолчали, только Вика, дочь-одиночка, от свойственного юности бесстрашия и возрождающегося нигилизма с усмешкой спросила:

— Какой еще анчутка?

— Иди на себя посмотри, и узнаешь, какой. Беспятый, — даже не стала объяснять, почему беспятый, — да потому что вместо пяток копытца.

Все население кухни во время разговора испытало чувство страха и освобождения, в этом признании вслух общей беды была дерзость и смелость хромой женщины, смелости этой позавидовали почти все. Уже второй день соседи ходили, стараясь не смотреть друг на друга. И выражение на лицах было такое, какое бывает у людей, вглядывающихся в непроглядную темень уже как бы и без надежды что-нибудь разглядеть. Страх не было, была грустная задумчивость.

— Сделано крепко и завязано туго, — сказала Клавдия.

— Что говоришь? — смело переспросил Окоев, почувствовав, что Подосинова говорит правильно, то есть непонятно, как и должно быть в загадочных обстоятельствах.

— Кабы в сапоги соломенной подстилки, — сказала Подосинова, сняла с плиты кастрюльку с ручкой и унесла к себе в норку.

Смелость Клавдии Подосиновой объясняется скорее отчаянием: не хватало еще, чтобы на свадьбе был этот «гость» беспятый. Замужество и в ее жизни и, тем более, в жизни Валентины было событием редким, и не хотелось, чтобы «он» крутил здесь хвостом.

Не имея в своем распоряжении других предупредительных мер, от несчастья приходилось оберегаться средствами, осужденными академической наукой.

Борьба с такими явлениями, как сглаз, заговор, напуск и относ, требует постоянной практики, не столько повышающей квалификацию борца, сколько сообщающей решительность, уверенность в достижении цели, которые в любом деле являются безусловным залогом успеха. Решительности Клавдии Подосиновой занимать было негде, и она черпала ее в себе самой, в желании, наконец, добиться счастья для своей дочери, как ей стало известно, уже беременной.

Подосинова знала, что вера обращает в бегство дьявола, и была бесстрашна.

От средств, отличающихся большой странностью, Клава, подумав, вынуждена была отказаться.

Верное дело — это приемы, испытанные в местных условиях.

Ижоры, населявшие наши края в допетровские времена, имели обыкновение в затруднительных жизненных ситуациях жечь, к примеру, живьем белого петуха, произнося при этом подобающие случаю и потребностям времени заклинания.

Подосинова, разумеется, об этом не знала. А ведь у Сокольниковой и петух был, и как раз белый.

«Беса надо отженить, тут молитвой не отщепчешься», — твердо, как решение, произнесла про себя Клавдия. Что она при этом имела в виду, нам, людям образованным, понять совершенно невозможно.

Не всегда понимала Клавдию и ее дочь Валентина, вот уже тридцать лет почти жившая с ней бок о бок, как и обещала.

Трудовой путь Валентины начался очень интересно и неожиданно. После того как она окончила свой техникум, ее по распределению, без всякого знакомства, направили в статуправление на улице Каляева. Статистика, как известно, одна из самых секретных вещей в государстве, поэтому управление было напрямую подчинено Москве, а служащим не разрешалось говорить, где и кем работают. Интересно, что при некоторой подмоченности биографии (находилась в оккупации) верх брало все же происхождение — от рабочего и крестьянки. Валентине доверяли. Впрочем, мужики — кобели, а хоть и в статуправлении, рослая дивчина с чистым независимым лицом обещала быть человеком незаменимым. Там же, в статуправлении, ей предложили пойти в школу милиции, в общем-то, формально, для присвоения звания, но Валентина

поссорилась с начальником и ушла, ушла делопроизводителем в канцелярию Крестов, главной ленинградской тюрьмы на Арсенальной набережной. В Крестах ей нравилось, как и каждому человеку с крутым характером, она свободно ходила на зону и подменяла, если надо, выводных.

Чистая работа в канцелярии большой хорошей тюрьмы очень возвысила Валентину в собственных глазах. «Не хочу вламывать, как ты всю жизнь вламываешь,— гордилась она перед матерью.— Я служащая, а ты работяга». «Я рабочих не презираю,— понимая правоту дочери, отговаривалась мать.— Каждому свое, доченька».

В пору работы в Крестах у Валентины наметился неплохой роман, едва не закончившийся замужеством. Познакомилась с парнем, делавшим через канцелярию запрос о своем севшем приятеле. Парень этот оказался циркачом, чем очень привлек к себе Валентину. Жизнь вокруг него была все время праздничной, легкой, веселой и совсем не похожей на строгую жизнь в тюрьме. Но парню не повезло: упал прямо на представлении, на глазах Валентины, повредил что-то, поехал лечиться в Казахстан, потом еще куда-то и пропал.

Но и в Крестах Валентина долго не проработала, хотя была аккуратной и любила порядок. Уж казалось бы, где может быть больше порядка, чем в тюрьме, а и там не прижилась из-за прямого характера, вот и пришлось из коллектива по преимуществу мужского вдруг окунуться в коллектив исключительно женский. Пошла к матери на «Володарку». Мать не возражала, помогла устроиться, хотя на «Володарке» места всегда были, и редкий день по радио не приглашались «девушки и женщины» на должность мастеров по раскрою тканей, портных, швей-мотористок, термоотделчиц и в отдел технического контроля.

Подосинова-старшая в это время как раз застряла на бесперспективном брючном участке, поскольку пальтовый поток, на котором она неплохо сидела, перевели в Колпино, а пиджачный конвейер был уже плотно забит теми, кто узнал загодя о переводе пальтового потока в пригород.

В брюках вообще-то ничего такого хитрого нет, главное, чтобы не было перекоса по швам, чтобы не был нарушен баланс и швы были стачены ровно и без посадок. Швов-то всего три: седельный, боковой и шаговый. Но Клавдия брюки не любила — уж очень много мелких деталей. Пошив брюк, как известно, разбивался на сто шестнадцать технологических операций, включавших изготовление и сборку двух половинок, шести шлевок, двух карманов боковых, одного заднего, одного часового, двух половинок пояса, гульфика, откоса, корсажа на пояс и внутреннего лея.

Не только дефект ноги, но и характер не позволял Клавдии бегать с места на место, с операции на операцию. Иное дело — Валентина, та, начав термоотделчицей, прошла костюм полностью: и брюки, и пиджак, и даже одно время была на межоперационном контроле.

Второй цех гнал мужской костюм с высоким разрядом. На операциях сидели сдельщицы, выгонявшие по сто двадцать — сто тридцать рублей, а у контролера оклад — пятьдесят шесть. Арон Левенкон из ОТК сказал прямо: «Задерживай все! Ничего не пропускать! Такие деньги гребут, пусть дают качество». Работа показала Валентине интересной, но как только стала делать бабкам и пожилым матерым швеям замечания — неправильно прострочено, шов взят широко, с присадкой или в комок, или рукав назад идет — тут и началось. Но Валентина и сама разговаривала круто: «Мне таких стежков не надо! Ты мне дай один нормальный лацкан!» А ей в ответ: «Говно сопливое, указывает!» А старухи матом крыли, матюки звенели в дамском собрании дай боже, хоть святых выноси, как только Карл Маркс не краснел на портрете, висевшем на участке. В тюрьме она такого не слышала. Несмотря на двойное давление — с одной стороны Левенкон, с другой сдельщицы, держалась Валентина как королева, не произнесла ни одного мата, хотя ее крыли чуть ли не ежедневно. Молча брала заготовку, уносила и распарывала сама, иногда ей помогал пороть мастер. И хотя авторитет ее стремительно поднимался, быть надсмотрщицей ей тоже быстро надоело, и через год она ушла на окончательную утюжку. Милое дело, сама себе хозяйка: расколлот утюжком шов и прессуй, расколлот и прессуй! Утюжок, правда, пять килограммов. Но и это приелось, пошла на осноровку. В осноровке все главное. Неверная осноровка искажает изделие, если фасад плохо смотрится, какой же это пиджак! Сначала проводилось сутюживание холста, придание формы груди, потом вручную наматывали полочку на холст, операция так и называлась — н а м а т ы в а н и е полочки на холст, но перед этим пристегивался клапан и по лекалу



намечали место на полочке, н а м е л я л и, потом пристрачивали клапан и только после этого обтачка и подзор. Осноровка давала больше всего брака, а у Валентины брака не было, вот и просидела она на осноровке до шестидесятого года, пока не закончила без отрыва годовичные курсы и не пошла мастером в двадцать четвертую бригаду.

Замуж Валентина выходила уже мастером, а мать так и сидела на постылых брюках.

### Часть одиннадцатая

#### «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»

Бурная деятельность Аполлинария Ивановича в ИБК была прервана, можно сказать, на взлете, в минуту триумфа, в мгновение сбывшихся надежд.

Сбылись надежды не столько самого Аполлинария Ивановича, сколько его предводительницы Веры Рыцаревой, но и сам Аполлинарий Иванович, не будучи обременен какими-либо собственными надеждами, глубоко проникся радостью небольшого коллектива.

Весной, в начале марта, то есть всего лишь за восемь месяцев до катастрофы, на 2-й Красноармейской они с Рыцаревой нашли клад.

Пока Монтачка потрошил рояль, предаваясь рутинной работе, Рыцарева познакомилась с прорабом, тот с интересом выслушал ее злой и веселый рассказ о своей собачьей жизни. При всем при этом, хоть Рыцарева и сотрудник музея, хоть и на собачьей должности, но все-таки женщина, женщина молодая, излучающая особого рода притягательную энергию, и прораб попросил телефон. «Вы мне свидание хотите назначить или по делу?» — громыхнула хохотом Вера Никитична. «По делу, конечно», — не стал раскрывать своих карт прораб. «Ах, по делу, тогда оба пишите, и крепостной и домашний», — и дала оба телефона.

Через четыре дня в крепости раздался звонок: «Приезжайте».

Приехали.

Два кладоискателя спали рядом с едва початой пятидесятилитровой бутылью, как выяснилось, малиновой наливки. Отпить успели, судя по ободку от первоначального уровня на коротком толстом горлышке, литра полтора, ну два от силы. Бутыль была фасонистой, книзу она сужалась, зато верх был округлым и пышным, как бедра хорошо вызревшей дамы, не от того ли один из уснувших не выпускал бутыль из объятий.

Прораб нашел счастливец по шлангу от замолчавшего компрессора. Оказалось, что рядом с выходом на черную лестницу в квартире восемнадцать на втором этаже, это по третьему подъезду, была капитальнейшим образом замурована кладовка, куда, по всей видимости, прислуга, судя по газетам, не ранее 16 марта 1918 года стащила и замуровала все хозяйское добро. Добра было немало: мешки с постельным бельем, столовое белье, великолепно сохранившиеся меха, посуда из английского фарфора, бронзовые каминные часы в футляре, люстра, столовое серебро, портьеры, два телефонных аппарата в прекрасном состоянии, в общем все, вплоть до пшена, сахара, муки и какао. Больше двадцати бутылок разных вин, в том числе и шампанское. Три бутылки шустовского коньяка были изъяты из спецодежды спавших компрессорщиков.

«Буржуа средней руки», — квалифицировала хозяев Рыцарева, разбирая прекрасные холщовые мешки, не тронутые ни мышами, ни молюю, ни компрессорщиками. Рыцарева помолодела на пять лет. Рыцарева целовала прораба. Прораб целовал Рыцареву. До осуществления мечты — выстроить в музее интерьер «нормальной петербургской квартиры» (люди же понятия не имеют, что это такое!) — оставался один шаг, полшага.

«На столе будет то самое шампанское! На кухне будет то самое пшено!»

Раиса Михайловна Ковина, заместитель директора музея, сначала подставила ножку, а потом крепко ударила в спину. Полшага тоже надо пройти!

— Мы не знаем, что в этой кладовой было, — холодно встретила она восторженный доклад Рыцаревой. — Почему не опечатали, почему не вызвали комиссию?

— Какая комиссия! — счастливо хохотала Рыцарева. — Там пьяные мужики на мешках уснули! Дом без окон, без дверей, стенка в кладовой полностью

разобрана, что там опечатывать? Караул нанимать, пока комиссия соберется? Как вы это реально себе представляете?

— А реально я представляю себе,— парировала Раиса Михайловна,— что вот так, с налету, с кондачка, вы могли не заметить мелкие вещи, представляющие большую ценность, чем весь этот хлам.

— Это хлам? Это — хлам? Это среда! Среда подлинная, живая, тепленькая, из первых рук. Из первых! — взвилась Рыцарева. Она была готова поименовать полным званием каждую обретенную вещь с тщательностью Гомера, описавшего корабли ахейцев. Ковина ее перебила, заметив с начальственной печалью, которая приходит лишь с годами ответственной работы:

— Вы, кажется, нарочно не хотите меня понять. Очень жаль,— и зловеще поджала слегка подкрашенные губы.

— Если вы о драгметаллах...— встрепенулся догадливый по части невысказанных мыслей начальства Аполлинаруй Иванович,— мы бы заметили. Серебро там столовое...

— Оставьте меня с вашим столовым серебром. Комиссионки этим вашим серебром завалены, его уже даром никто не берет,— сказала Ковина почти чистую правду и ушла.

Монтачка был потрясен таким поворотом дела.

Вместо триумфального продвижения к мечте семимильными шагами Вера Никитична стала регулярно ходить в «прокурорский дом» на допросы, как она, в шутку, конечно, называла объяснения с начальством, и писала служебные записки для каких-то отдаленных инстанций, пробужденных к действию непосредственно Раисой Михайловной, решившей наконец-то навести порядок в ИБК.

Аполлинаруй Иванович никогда не видел свою Веру Никитичну в таком яростном отчаянии, сменявшимся приступами глухой апатии от сознания своего бессилия. Слава богу, что в этой ситуации хоть прораб оказался во всех отношениях на высоте, и в общении с ним Вера Никитична получала поддержку и черпала силы для дальнейшей борьбы.

А душой отдыхали только на объектах, когда удавалось вырваться на адреса, хотя времени для работы оставалось не так уж и много.

Аполлинаруй Иванович не удивлялся, если ни с того ни с сего, снимая паркет или перетаскивая с чердака изразцы, куда их сносили с прогоревших или просто переложенных печей, а то и выколачивая тяжелую пыль из своего платка, наглухо, по-крестьянски прикрывавшего голову, Рыцарева вдруг восклицала: «Какая сволочь! Ну какая сволочь!». Аполлинаруй Иванович деликатно не спрашивал, кто.

Однажды Раиса Михайловна встретила Аполлинаруя Ивановича в великокняжеской усыпальнице, сооружении, надо сказать, совсем необязательном, и потому нелепом и обезобразившем совершенный и безупречный рисунок крепости. Кроме останков тринадцати бесконечно дорогих русским сердцам отпрысков Романовых и Лихтербюхштельских, там временно хранились крупные металлические изделия ИБК: ванны, деревянные колонки, фрагменты уличных и лестничных решеток, уличные тумбы, металлические украшения въездов во дворы, в общем, всякая громоздкая всячина, обреченная на исчезновение. Встреча состоялась вскоре после выезда из великокняжеской усыпальницы книгохранилища и, стало быть, еще до въезда м е т а л л а в Меншиков бастион.

— Скажите, Монтачка, как вы, взрослый человек, живете на семьдесят рублей в месяц? Я удивляюсь.

— Я тоже удивляюсь,— искренне сказал Аполлинаруй Иванович,— но ведь больше не платят.

— По-моему, на семьдесят рублей прожить невозможно.

— А как же другие живут? Мы же Минкульт.

— Не знаю, не знаю. Я получаю сто двадцать пять и богачкой себя не чувствую.

Вопрос показался Аполлинарую Ивановичу знаменательным, и он решил, что дело идет к прибавке жалованья. Своим счастливым подозрением он не замедлил поделиться с Верой Никитичной. «Держи карман шире,— четко отрезала Рыцарева.— Она везде говорит, что ты бронзой торгуешь». «Где я бронзой торгую?» — поинтересовался Монтачка. Рыцарева молчала. Только через минуту до Аполлинаруя Ивановича дошел смысл услышанного.— «Где я бронзой торгую?! — вдруг прямо с места заорал мастер.— Где — я — торгую —

бронзой?!» «Там же, где я изразцами и паркетам», — расхохоталась Рыцарева. «Ах, вы тоже торгуете? Я потребуя очную ставку! Пусть она приведет, пусть она покажет, кому я продал бронзу! Пусть покажет!» — «Сиди. Очная ставка!» — махнула рукой Рыцарева. Монтачка затих, как затихает человек, чем-то подавившийся и теперь прислушивающийся к своему нутру, к беде, которая в тебя уже вступила, но еще неизвестно, как повернется. Почувствовав наконец, что жив и что придется жить дальше, он поднял глаза на Веру Никитичну и с осторожностью спросил: «Мы — крепость. Нам ничего не надо. Для чего мы существуем? Мы же город спасаем. Город же растаскивают. И крепость загадили. Во всех сторожевых будках, и на Государевом бастионе, и на Нарышкином, простите, туалет, ступить нельзя. Крепость — это же лицо города. Вера Никитична, или мы не лицо города?» Рыцарева за словом в карман не полезла и ответила грубо и тут же, что-то припомнив, позвонила своему прорабу. Прораба на месте не оказалось, и она расстроилась окончательно, откинула инвентарную книгу, за которой теперь приходилось проводить времени больше, чем по адресам. «Я ей город спасаю, она ж на мне отчеты делает и мне же, сволочь, уголовщину шьет. А-а, пусть подавится, сучара!» «Чем?» — спросил Монтачка. «Печами. Заслонками. Кирпичами. Сажей. К чертовой матери, меня второй год в аспирантуру зовут. Уйду, сяду на острова и через два года буду самый крупный в мире специалист по самым маленьким ленинградским островам. Звучит! Эх, Аполлоний, чует мое собачье сердце: ликвидируют нас с тобой как класс. Вот тебе и не антагонистические противоречия при социализме!

Собирай, Аполлоний, манатки и двигай с Глебом в поле, пока они с нас подписку о невыезде не взяли. Не смотри на меня так грустно. Мне самой выть хочется. Нас все равно разгонят, не мытьем, так катаньем, эта сволочь не успокоится. Она уже и директора и партком запугала. Мы все тащим и тащим, а инвентаризация у нас с тобой запущена. В моих тетрадках все есть, но это же не документ. Что важнее — спасти или записать? У нас же времени нет. Пока мы записываем, все растащат. Что тебе здесь сидеть, только нервы трепать, езжай с Глебом...» — «Забыл сказать, Вера Никитична, прораб ваш звонил». — «Пошел он к черту, — огрызнулась Рыцарева, — что у него?» — «Я спрашивал, он сказал: должен с вами лично переговорить». — «Ну и пошел к черту. Тюряга проклятая! Рви, Аполлоний, на свободу. Сделаю, как в прошлом году, будет от нас командировка. Зарплата, командировочные, полевые плюс премия, хоть подлатаешься». — «А где в этом году Глеб Семеныч копает?» Монтачка уже не первое лето проводил с мужем Веры Никитичны, что позволяло не только расширить кругозор, но и поддержать благосостояние. «Копать будете мало, в основном будете искать. На Онеге надо неолитические стоянки разведать и нанести, не возражаешь?» «Надо так надо», — привычно ответил Аполлинаруй Иванович.

Когда Аполлинаруй Иванович, к полной своей печали, убедился, что его отражение в зеркале отсутствует, ничего не оставалось делать, как искать причину и объяснение случившемуся.

Прежде всего здесь можно было увидеть следствие работы в зеркальной коллекции, куда он перешел с осени, после того, как группу Рыцаревой, как и предвиделось, ликвидировали. И все-таки главную причину, все за то говорило, надо было искать в летних приключениях. Бесследно такая экспедиция пройти не могла.

Онежская экспедиция запомнилась Монтачке крепко, в первую очередь потому, что он должен был дважды утонуть.

В распоряжение экспедиции был отдан списанный, но все еще продолжавший плавать озерно-морской кораблик, бот ни бот, но, по сути дела, патрульный катер по имени «Тулома». Ехидный капитан, размером и вредностью полностью отвечавший своей фамилии Комаров, никогда не подходил к берегу ближе ста-двухсот метров, и для высадки на бесчисленные онежские острова и островки приходилось снаряжать битую-перебитую дюралевою «казанку». «Казанке» полагался мотор, и подвесной мотор на борту был, и был исправен, но ни у кого из пяти членов экспедиции не было прав на вождение, и Комаров был непреклонен, мотор так ни разу и не выдал. Монтачка не успевал выгребать на короткой волне двумя дюралевыми же веслишками, и лодку, тяжело груженную шанцевым инструментом, аппаратурой, дневным припасом, волна легко догоняла сзади и заливала через корму. Каждая высадка на берег в непогоду — что твой новоросский десант, но тонули по-настоящему только два раза.

Глеб Семенович, движимый своим уникальным чутьем, неолитические стоянки находил, их наносили на карту, как правило, без раскопов, ограничиваясь одним шурфованием.

Поражало больше всего то, чего и искать вовсе не надо было: практически на каждом острове они натыкались на эзовские лесоповалы. На островах покрупней красовались целенькие, будто недавно оставленные бараки, огражденные кое-где поврежденной, но еще не успевшей как следует заржаветь колючей проволокой. На каждом большом острове обязательно узкоколейка к причалу на берегу, для вывоза леса с острова.

Казалось, что течение жизни здесь оборвалось вдруг, в один миг, как бывает при стихийных бедствиях, когда люди поднимаются и уходят, прихватив с собой только самое необходимое, что можно унести на себе. На котлопунктах, например, валялась посуда, лежали нетронутыми запасы дров. Неподалеку сохранились землянки, прочные шалаши, где отдыхали, набирались сил и проводили свой досуг вернувшиеся из леса узники.

Но что заставляло сжиматься сердце и теряться в догадках, так это неопи-сваемое количество поваленного и не вывезенного, по сути дела, брошенного леса. На сотни метров шли делянки с поваленными деревьями, не то что не ошкуренные, а даже и с не обрубленными сучьями. Сквозь старую ржавую хвою пробивались новые кусты, образуя непроходимые заросления.

Сильное впечатление произвел на Монтачку овраг, заваленный ошкуренными, голыми бревнами. Казалось, что какие-то великаны носили сюда бревна охапками, беспорядочно сбрасывали, стараясь спрятать следы стихийного бедствия, устроенного преступными человеческими руками.

Стоя над оврагом, над голыми, посережшими под дождем и снегом бревнами, шурфовщик Шахматьев вдруг сказал: «Немцы голых почему-то расстреливали. Мы их из Климовичей так выбили, что они и закопать не успели. Тоже овраг был». «Лес рубят — щепки летят», — угрюмо сказал остроумный топограф Витя. А Глеб Семенович не переставал удивляться, что здесь, в общем-то неплохом климате, вырубки не зарастают, не восстанавливается лес, подрост молодняка шел на редкость медленно, иное дело кустарник — тот буйствовал.

Не первый, да и не последний раз ученый всерьез задумывался над проблемой, которую в два счета мог объяснить любой ээк.

Режим работы предусматривает удобство наблюдения охраной за рабочей зоной, а потому сначала вырубался подсад, а потом уже брались за товарный лес. Вот и получалось, что восстанавливаться было нечему. И никаких проблем! Плановых посадок на сплошной вырубке не велось, это тебе не лесничество!

«Карельская сосна, — тоном экскурсовода сказал топограф Витя, — в неволе не размножается».

(Перекорененные бревенчатые настилы, какие-то вагонетки, мотовозы, платформы с одной буферной тарелкой посредине, остатки каких-то механизмов, краны для погрузки бревен на платформы, построенные тоже из бревен, следы многочисленных костров, все, что они видели, не позволяло опытному ученому, привыкшему по минимальным следам и обломкам восстанавливать давно прошедшую жизнь, связать в логическое единство, представить как живую реальность тот замысел, ту идею, что привела сюда множество людей, поселила и призвала к героическому труду.)

Монтачка не был новичком в полевых экспедициях, с Розовым и Лебедевым он копал в Городце под Лугой, копал с Кирпичниковым на Карельском перешейке поселение, уничтоженное в XIV веке и больше не возрождавшееся, копал в средней полосе, один раз был в раскопе на Донце с профессором Гарутом, крупнейшим специалистом по мамонтам. Вспоминались все эти путешествия обычно с самой лучшей стороны. Так уж устроен человек — худое быстро забывается, а может быть, просто его так много было, да и впереди еще предостаточно, что нет никакого смысла еще и тащить с собой воз худых воспоминаний.

Во время плавания по Онеге в поисках неолитских стоянок человека Монтачка пришел к убеждению в том, что он оказался допущен к наблюдению одной из интимнейших сторон государственного жизнеустройства.

Глядя на все вокруг и не зная, куда деться от тоски, Монтачка вдруг понял, почему их так долго оформляли в эту экспедицию, почему пришлось заполнять подробнейшие анкеты и две недели ждать решения. Вот почему в «Большом доме», прежде чем выдать пропуска на Онегу, с них взяли подписку о неразглашении. Обо всем, что не касается их прямой деятельности, то есть обо всем, что

лежит за пределами интересов и бытования неандертальцев, они письменно поклялись молчать, а в случае разглашения смириться перед суровой ответственностью по закону.

Монтачка действительно не понимал, в чем заключена государственная тайна, которую надо беречь, судя по анкетам, как честь советского человека перед выездом за границу.

Всякий допуск вводит человека в избранный круг, в круг посвященных, и благодарное сердце отвечает на оказанное доверие прежде всего согласием не задавать вопросы.

«Что вы обо всем этом думаете?» — спросил его Глеб Семенович, когда они шли вдвоем через осиротевшую зону. «Я думаю, почему столько леса брошено, почему его никто не вывозит?» — сказал Монтачка и посмотрел на ученого с надеждой услышать одобрение и согласие. «Самое замечательное, — улынулся Глеб Семенович, понимая вопрос как чисто риторический, — что где-то есть и учреждения и сотни людей, которые с легкостью могли бы ответить на этот вопрос».

Однажды Глеба Семеновича и его товарищей вогнал в тупик вагон, пассажирский вагон узкоколейной железной дороги, с выбитыми, разумеется, окнами, оторванными дверями и разоренным нутром. Вагон попался им в глухом лесу, вдали от узкоколейных путей и подобия дорог. «Как вагон мог оказаться здесь, посреди леса?» — вот такой вопрос ставил перед собой ученый. А человек неученый, но побывавший на этих островах и участвовавший в лесозаготовках или работе по найму, ничего не доступного уму в этом вагоне бы не нашел. Начальник лагпункта Ярыгин А. А. велел перетащить вагон в лес, чтобы караульная смена, обеспечивающая режим на производственных участках, на местном языке — «на квадратах», имела человеческие условия для отдыха. Вагон этот, естественно, знал лучшие времена, в нем были и печка, и кухонька, и прекрасные спальные отделения. Доставлялся вагон на участки, то есть на «квадраты», только зимой и только по специально построенному пути. Сначала делалась просека, потом пустыми «санями» накатывалась колея, потом колея заливалась водой, потом вагон ставили на «сани» и по ледяной колее, как по катку, на «раз-два-взяли!» перли этот салон, куда скажут. Сейчас пути кочующего вагона скрылись от глаз как раз из-за молодой кустарниковой поросли на сплошных вырубках. Если бы Глеб Семенович догадался приподнять вагон, по снежку ушедший в мох, он бы увидел под колесами те самые полозья, на которых вагон легко перемещался по лесу.

Зато происхождение настенной надписи в стихах Глеб Семенович объяснил убедительно и довольно быстро, как подлинный жюльверновский инженер. На задней внутренней стенке одного из обширных дощатых сортиров была выжжена увеличительным стеклом каллиграфическая запись: «На стенах гадости писать, увы, мой друг, совсем не ново, но согласишься, е...а мать, что только здесь свобода слова!» Как можно в закрытом помещении, используя солнечный луч, сделать такую запись? После тщательного обследования противоположной, фасадной, стены выяснилось, что ни одна из трех входных дверей, хотя и обращенных на юго-запад, солнечный свет пропускать в глубину не может. Тогда Глеб Семенович показал щель между двумя досками на фасаде и с уверенностью предсказал, что завтра с половины одиннадцатого до одиннадцати часов утра примерно солнечный луч упадет на исторический текст. Пришли проверить, так оно и вышло. Ответ был найден. Оставалось только посчитать, сколько времени понадобилось автору текста, вернее автору записи, для ее исполнения, с учетом количества солнечных дней и размера букв выходило что-то совсем немного, около двух-трех лет. «Им что ж, увеличительные стекла разрешали держать?» — поинтересовался Аполлинарий Иванович. «Очки-то не отбирают», — резонно заметил Шахматев. «Это где как», — сказал второй шурфовщик, по большей части молчавший. Было замечено, что он пользовался особым авторитетом у команды «Тулумы» и даже имел влияние на самого капитана Комарова.

Только по дороге в Ленинград, уже в поезде, когда снова заговорили о неудобствах десанта, об утопленных вещах и оборудовании и стали в который раз удивляться упрямству капитана Комарова, второй шурфовщик пояснил: «А чего ему чалиться? А если люди?» «Какие люди, острова-то пусты», — удивился Глеб Семенович. «А ты знаешь?» — спросил шурфовщик. «Вроде мы никого не видели», — поддержал начальника Витя. «Зато нас хорошо видели», — сказал шурфовщик и не произнес больше ни слова. Всем стало не по себе. Помолчали. «Комаров не давал нам мотора, потому что мы «казанку» на берегу оставляли, приходи любой и бери?» — вполголоса предположил Монтачка. «Ну», — подтвердил шурфовщик. Получалось, что только благодаря страховке остававшейся на

рейде «Тулумы», готовой поднять тревогу, только благодаря осторожности капитана Комарова призраки, населявшие забытые Богом и людьми острова, не обрели плоть.

И еще один летний эпизод вспомнился с тайным страхом после того, как он утвердился в полном отсутствии своего изображения в зеркале.

19 июля они стояли в небольшой бухточке, укрытой лесистым взгорком, у острова Боровой. О том, чтобы спустить «казанку», не могло быть и речи, ветер играл суденышком, как хотел. Команда и вся экспедиция лежали не поднимаясь, вернее, поднимались, но лишь для того, чтобы отдать дань морской болезни. Только Монтачка и Комаров чувствовали себя прилично. Выяснилось, что Аполлинарий Иванович так же, как и капитан Комаров, страдает во время качки повышенным аппетитом, оказывается, есть и такая разновидность известного морского недуга. Общие болезни сближают. Монтачка был приглашен к капитанскому столу в его крошечную каюту на шкафуте. Коротая непогоду, они неторопливо, почти без пауз, шли от завтрака к обеду.

Скорее всего, без надобности, а для того, чтобы произвести впечатление на гостя, разговаривать с которым было, в общем-то, не о чем, капитан достал и разглядывал онежские лоции. Монтачка увидел на карте белое пятно, откровенно белое пятно, где не было даже градусной сетки, не то что обвода глубин и фарватерных штрихов, просто пусто, как типографский брак. Когда такое же пятно появилось еще на одном листе, он ткнул в него пальцем: «Чего это?» Комаров поднял на него глаза и сказал, не разжимая зубов: «Убери руку». «Я думал, белых пятен на картах не осталось. Можем открытие сделать?» — попробовал пошутить Монтачка. «Сунься. Ты откроешь, а тебя закроют. Лет на пятнадцать». — «Ясно. Я ж не спрашиваю, что там. География-то там есть? Широта-долгота, вода-суша». — «Ничего там нет, — убежденно сказал Комаров. — Ничего. Не понял?» — «А вдруг мы туда заплывем?» — «Вдруг туда никто не заплывает». — «Ну вот, с якоря, предположим, нас сорвало и понесло туда». — «Куда?» Монтачка издала показал пальцем на белое пятно в лоции. «А как ты туда попадешь, если места такого на земле нету. Не понял?» — капитан строго посмотрел в глаза Монтачке. «Разве так бывает?» — ожидая, когда же раскроется розыгрыш, поинтересовался Монтачка. «А ты знаешь, что «Тулумы» тоже нет? Не понял? Нет «Тулумы». Два года как списана. Вот мы сидим с тобой, нас качает, а ее нету. Не понял? Вот такая здесь география. И то, что ты это видел, — кивнул на карту, — забудь. Вот так вот!»

Вовсе не из послушания и не из страха забыл Монтачка про эти пятна, но, стоя перед пустым зеркалом и пытаясь найти объяснение невероятному и невозможному, как раз и вспомнилось все, несмотря на подписку и запрет капитана Комарова: и призраки, живущие на островах, и катер, которого как бы и нету, и отсутствующие на земле места, расположенные где-то в Онежском озере.

Скорее всего из сочувствия к слабости человеческой природы, трезво оценивая ее возможности и нагрузки окружающей жизни, восполняя отдельные несовершенства в своем создании, господь Бог устроил мир так, чтобы правда открывалась и приоткрывалась не вдруг, не сразу, не вся и ни в коем случае не всем, а по крохам, сначала пробуя на отдельных людях: выдержат — не выдержат; чаще всего в какой-нибудь иносказательной, аллегорической форме отпускается нам правда, как правило, со смягчающей примесью неправды и в щадящей упаковке сомнений.

Откройся людям вся правда жизни и человеческих отношений разом, кто знает, может быть, и желающих продолжать эту жизнь не останется, за исключением разве отпетой публики, которой все нипочем.

### *Часть двенадцатая*

## ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

А может быть, хватит подозревать людей!

Чуть что произойдет, особенно какое-нибудь событие, попадающее под рубрику преступления, как тут же по привычке начинают искать преступника, совершилось предательство — ищут предателя.

Какая рутина!

При этом надо войти и в положение зеркал, поставить себя на их место.

Что такое, наконец, зеркало? Разъятая плоскость, она втягивает в себя противолежущее пространство, все до мелочей, до черточек и штрихов, но втянутое пространство внутри зеркала мертво, в нем нет своей жизни, это призрак, мы видим мир кажущийся, обманчивый и недостижимый. Не об этом ли думал великий Ян ван Эйк, поместив зеркало, отражающее купальщицу с капельками воды на обнаженном теле.

Внимательно относясь к предмету и проведя все необходимые предварительные исследования, необходимо сказать, что у зеркал может быть множество изъянов и недостатков, они могут насмешничать, ерничать, любезничать, кокетничать, кривляться, быть холодными и безразличными, но единственно, чего им от веку не дано, единственно, чего они не могут, так это лгать.

Кто знает, может быть, оттого, что зеркала оказались не в силах сказать жителям семьдесят второй квартиры всю правду о них, от этого и пропало отражение. Чем говорить полуправду или неправду, зеркала предпочли смолчать. Но и молчание иногда бывает преступным, кто-кто, а мы это хорошо знаем.

Не пора ли оставить людей в покое и пролить свет на мутные мраморные, матовые оксидановые и асбестовые, поблескивающие медные, бронзовые и сияющие серебряные, ртутные и стеклянные поверхности, призванные отражать нас с вами и окружающих нас современников.

Зеркало отражает жизнь, но в эту жизнь нельзя вмешаться, туда нельзя войти, вытереть пыль, передвинуть предметы, утереть слезы, вытереть капельки с тела купальщицы, поднять улавшего, спасти — все это можно только здесь, а там ничего нет, хотя все предметы неотличимо похожи на настоящие, в них нет своей плоти, их плоть осталась здесь, по эту сторону, с нами.

Какая это мука — быть зеркалом! видеть все до мельчайших подробностей, быть свидетелем, которого никто не стыдится, быть наделенным высоким доверием, слышать и видеть сокровенные исповедания тех, кто прибегает к тебе, обращается с надеждой, а подчас и со страхом, и не иметь возможности при всем при этом ни согреть, ни утешить, ни сделать этот мир ни на мгновение лучше и видеть свое горькое предназначение лишь в неспособности лгать.

От маленьких полированных камней до необозримых сверкающих стен небоскребов вот уже пять тысяч лет сопутствуют зеркала человечеству, умножая загадочность доставшегося нам мироздания и служа средством понять самих себя, увидеть свое место в перевернутом мире, поскольку в зеркале все наоборот, правое становится левым, а левое правым.

Ясной и единой точки зрения на зеркала не существует до сих пор. Ничего странного, приходится и так без конца огорчаться и удивляться человеческой неговорчивости в отношении вещей уж, казалось бы, совершенно очевидных. Неявность и неопределенность открывают простор для интуитивных прозрений и косвенных приобретений к невыразимому, если любой предмет принимать как намек, как знак и как символ. О, символ дает упоительную иллюзию понимания жизни. Символ дает возможность увидеть в предмете или событии как бы иную природу, включить их в иные связи, а самому беспечно броситься в мистические волны — лишь бы уплыть; унести от этого реального, слишком реального в своей беспощадности мира, куда угодно, хоть и к черту на рога.

С осторожностью, дабы не угодить в ересь, прикасаясь к столь важному предмету, надо прежде всего сказать, что все, что до сих пор мы знали и слышали о зеркалах, да и сами зеркала, имеющиеся в распоряжении человечества, лишь предуготовление к появлению и постижению Истинного Зеркала, так сказать, окончательного, о котором можно будет с полной определенностью сказать, что это такое.

Окончательное зеркало должно отвечать определению Кристины Шведской, сказавшей, что зеркало — «единственное средство узнать самих себя, которое не льстит и никогда не обманывает». Однако до сих пор не только не существует такого зеркала, но бытует мнение, внедренное в наше сознание основателем новоевропейской физиогномики Джакомо делла Порта, уверявшим еще в XVI веке, что как раз кривое зеркало позволяет с большей определенностью и ясностью выявить сущность человеческой природы. Ну что ж, мы сами видели, как кривые и лукавые зеркала умеют придавать корявой и подлой жизни вполне утешительный вид.

Но допустим, что отражение в честном, порядочном зеркале несет нам истинное знание, да готовы ли мы к восприятию истины, вот в чем вопрос.

В конце концов, истина не так уж таинственна и недоступна, чаще всего она лежит нагая где-нибудь неподалеку, то ли не узнанная, то ли никому не нужная. Такое важное для человечества знание, как знание о шарообразной форме Земли, существовало в глубочайшей древности. Анаксимандр Милетский безбоязненно учил шарообразности Земли, а через две тысячи лет за эти новости можно было попасть на костер.

Истина обретает права лишь тогда, когда выгода от обладания ею становится очевидной и необходимой, до этого она бесправна.

Но повернемся к зеркалу, по возможности не отворачиваясь и от истины.

Даже о самом происхождении зеркал сведения настолько путанные и бездоказательные, что проще было бы сказать, что зеркала были всегда, как всегда была Луна, наше небесное зеркало, успешно употребляемое и поныне как для ночного освещения, так и для верного гадания.

Да, будем смотреть и на себя, но во что смотреться?

Человек отражается во множестве зеркал, и в этом множестве, быть может, и заключена ловушка.

Если два зеркала, поставленные друг против друга, уже распахивают непостижимую для ума бесконечность, что ж говорить о необозримом сонмище зеркал, окружающих человека, да еще и взаимно отражающих друг друга.

Заносчивое человечество привыкло восхищаться собой, смотрясь в зеркала побед и достижений, не умея при этом понять, что все еще находится в предсознательном состоянии и судьбами стран и народов по-прежнему правит непредсказуемая стихия. И сегодня, когда земной шар потрясается и трепещет, наблюдая, как рушится недостроенное гигантское здание разума м и р о у с т р о й с т в а, не самое ли время с надлежащей скромностью увидеть в этой катастрофе признак детского состояния ума, не умеющего проследить и понять связь причин и следствий и чередующего бессознательный страх перед лицом неведомого с ощущением полной как раз безопасности перед лицом враждебных человечеству стихий.

С глубоким уважением относясь к авторитету ученого проницательного и вдохновенного, да, да, к вам, Евгений Васильевич, на ком держатся все зеркала ленинградского Эрмитажа, заверяя вас в готовности беззастенчиво черпать знания из ваших рук и трудов, заявляю о необходимости решительно размежеваться только в одном вопросе — в вопросе о происхождении зеркал, изложив версию безусловно убедительную и подкрепленную фактами.

Не одну сотню лет замалчивалась история мудрого и незлобивого китайского императора, на заре человечества сидевшего на берегу древней китайской реки и чертившего на песке, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней иероглифы, в то время, когда из реки вышла лошадь и поднесла ему в дар зеркало. Один только факт сидения на берегу р е к и делает историю в высшей степени убедительной.

Вспомним-ка, что основу стекла составляет двуокись кремния, добываемого из кварцевого песка особой грануляции и непременно свободного от всяческих примесей и загрязнений. Такого песка никогда не найдете ни на берегу озера, ни тем более на берегу моря. Венецианцы для своих зеркал брали чистейший песок из реки По или завозили его из Истрии, и потому понятно, что если бы император не сидел на берегу реки, никакого зеркала он бы не получил.

Любой самый ортодоксальный материалист согласится с тем, что история лошади с зеркалом столь же реальна, как сон. Великолепно! Сон — это и есть зеркало реальной жизни, к сожалению, пока слишком плохо изученное, быть может, от упорного нежелания некоторых ученых оторвать наконец-то зеркало-сон не столько от постели как таковой, как от постельной узкой проблематики.

Вот истинная история происхождения зеркала! иначе придется признать, что мы получили это чудо из потных рук рабов, смешавших кремний с поташем и натиравших с проклятиями до седьмого пота каменные и металлические поверхности, приводя их к зеркальному блеску.

Вопрос следующий. Откуда взялось зеркало в воде?

Вопрос, несмотря на ехидство, наивный и смехотворный. С таким же ученым видом можно было бы спросить, откуда в воде вода. Вода, по преимуществу вода, да разве еще нагретый воздух являют собой зеркало природы. Вода обладает



свойством зеркальности, и зеркальность никак не отделима от воды. Лошадь же в дар императору отделила это свойство воды и вынесла ему на берег в подарок. Ну что ж, здесь, признаемся, лежит небольшой камешек преткновения в виде вопроса: может ли быть свойство отделено от носителя? Над этим вопросом ломали голову и Сократ и Платон вместе со своими учеными оппонентами и коллегами, но нам ничего ломать не придется: свойство воды, зеркальность, не отделено лошастью, а передано, передано предмету, который стал подарком императору. А передача свойств никем и никогда не ставилась под сомнение и не запрещалась наукой.

Последней же каплей, переполняющей чашу достоверности, составляет факт подарка. Зеркало, не надо этого забывать, — это все-таки предмет роскоши, это украшение. Недаром же первое в истории человечества зеркало было передано в руки императора. Лишь человек, у которого и так есть все, которому принадлежит не только все, что ни есть на Земле, но кое-что и на Небе, может оценить вещь, до сих пор невиданную. Императору пустяк не подаришь. А подарок действительно роскошный: император теперь может видеть себя, может видеть предметы, находящиеся у него за спиной, он может повелеть солнцу светить.

Есть изобретения, мимо которых человечество никак не могло бы пройти: не родился топор, боевой лук или зеркало в одном месте, они непременно появились бы в другом.

Вещи, как мы убедились, дети потребностей.

Мы должны быть благодарны китайцам, связавшим происхождение зеркала с водой и окутавшим происхождение зеркала необходимой загадочностью. А вот греки и римляне, широко освоив зеркало, сделали шаг назад в разгадке зеркала как пророческого символа. Приняв в дар от египтян чудесное изобретение, греки и римляне, включив его широко в свой обиход, очень долго не придавали сколько-нибудь существенного значения мистическим и таинственным свойствам двусмысленного предмета.

Все, что мы видим, все, что нас окружает, да и мы сами — лишь отражение, замутненное случайностями отражение чистых идей.

Да, Платон назвал реальность лишь тенью истины и возвел на пьедестал Идею, истину всего сущего. Но при чем здесь зеркало?

А как же!

Совсем не случайно как раз в пору сомнений и поисков истины за пределами зримого мира появился новый тип зеркал, это уже не отражающий диск с ручкой, это сооружение сложное, с полметра в высоту, на подставке в виде кариатид.

Этих зеркал немного, они очень дороги; самое главное — оно ставится в центре святилища, оно уже не предмет личного обихода, оно — участник общения людей и между собой и с незримым.

Люди подходили к священному предмету, удалялись от него, а оно пребывало в покое, расширяя ритуальное пространство. По краям зеркал грек тут же стал размещать фигурки сирен, пастухов и сфинксов, служивших раньше верой и правдой защите самого грека, а теперь призванных и на защиту его отражения в зеркале.

Среди множества древних преданий следует обратить особое внимание на свидетельство Прокла, заметившего, между прочим, в V веке до нашей эры, что первое зеркало было изготовлено лично Гефестом не для кокетливой и любвеобильной супруги, что было бы естественно, а для Диониса. Если сопоставить это сообщение с широко известным фактом (не для кого не секрет давно, что именно Титаны набросились на маленького Диониса и разорвали его в клочья в тот самый момент, когда он смотрелся в зеркало), то цепочка расследования приведет нас к интереснейшим заключениям.

Зеркало для Титанов было предметом привычным. За много тысяч лет до того, как в Англии появятся охотники, привлекающие бекасов и жаворонков бликующими зеркалами, Титаны сами расставляли зеркала в охотничьих целях на звериных тропах. Пользуясь замешательством, в котором останавливался зверь перед своим изображением, тут-то они и ловили недоумевавшего зверя для удовлетворения своих кровожадных наклонностей. Другое дело история с Дионисом. Разорвав беспечного юношу, Титаны вовсе не совершили акт мести, Дионис им ничего худого не сделал, и не совершили акт грабежа, в общем-то им свойственного, они просто разбили зеркало, которое вроде бы могло стать их трофеем. Все дело в том, что зеркало Гефеста — это особое зеркало, в нем можно видеть не только настоящее, но и прошлое и будущее.

И в этом вся соль!

Титаны, чье прошлое окрашено насилием над отцом, а будущее предательством и бесславным забвением, ревниво и жестоко расправились с тем, кто посмел заглянуть в эти запретные дали.

Пройдут недолгие века, и можно будет увидеть зеркало в руках Гермеса, в руках Афродиты, Афины: например, у входа в Петропавловскую крепость, а потом и в руках Девы Марии, о чем речь особая. При всем при этом предание о зеркале Гефеста, быть может, следует считать апогеем в познании греками смысла и великой роли чудесного и таинственного предмета, перешедшего по праву наследства от богов к людям.

Грек, надо думать, все-таки не хочет погружаться в таинственное, он рассудочен и практичен, он хочет истинной жизни здесь, на земле. Недаром же именно греками отмечен триумф материального, служащего человеку зеркала, — это подвиг Архимеда, спалившего римские корабли, осадившие его родные Сиракузы.

Пусть отец Кирхер сколько угодно изучает расстояние, где могли стоять корабли и где могла быть ближайшая береговая позиция Архимеда, пусть недоверчивый святой отец дает расчет, из которого следует совершенно невозможный и по нынешним временам размер зеркал, пусть. Легенда тоже дорогого стоит!

Предания живучи и даже имеют обратную силу, то есть переносят с легкостью во времена прошедшие то, что было достоянием лишь времен недавних. Иначе как понять рисунок немецкого скульптора Питера Фишера-младшего в эскизе рельефа, призванного украсить здание в Нюрнберге, где он изобразил Сциллу, направляющую на корабль зеркало явно с разрушительными намерениями. Рисунок этот помечен 1514 годом. Или откроем псалтырь королевы Марии, хранящийся в Британском музее, и увидим, что неведомый нам английский художник XIV века тоже изобразил одну из сирен, покушающихся на моряков и корабль, с зеркалом в руках. Подобные же примеры найдем и во флорентийской гравюре, и в изображении св. Христофора, гравированного Джустом Амманом, и во фламандской живописи XVI века, где нимфа, преобращенная согласно христианской концепции, держит зеркало, пытаясь разрушить «Корабль Спасения».

В библейские времена можно было увидеть бассейн с зеркалами, устроенный Моисеем для женщин, сохранилось лишь описание в книге «Исход» в тридцать восьмой главе.

Зеркала опасны тем, что несут в себе внешность истины.

Ложь и правда пользуются одними и теми же словами, и маска благородства, разученная вороватой шельмой, будет служить надежной любой ширмы, столь необходимой служительницам низкого ремесла.

Из сказанного со всей очевидностью следует, что самим зеркалам никогда не выпутаться из всех нагромождений невероятных слухов и предположений, которыми окружен этот лукавый, таящий в себе неразрешимые странности предмет.

Эмблематика зеркал столь многозначна, что способна еще больше запутать и смутить доверчивый, ищущий союза с авторитетом разум.

Как известно, зеркала служат атрибутом осторожности, шепетильности, добродетели, гордости, суетности, роскоши и способны символизировать мягкость, мудрость, терпение, тщеславие, лесть, наблюдательность, шарм, грацию и бог знает что еще.

У Кваррибуса Ороско на одной из эмблем изображен скелет, смотрящийся в зеркало, а внизу девиз: «Он узрел самого себя и пошел дальше», — девиз разъясняется еще и подписью: «Мысль о смерти — истинное зеркало жизни». У Каммерация можно увидеть изображение василиска, смотрящегося в зеркало и погибающего в ужасе от собственного отражения. Но гибельна встреча со своим отражением и для соловья, увидевшего в воде своего соперника, бесстрашно бросившегося на него и нашедшего свою гибель. Так трактует встречу с зеркалом Бошиус.

В сборнике Ролленхагена карлик на ходулях смотрится в зеркало, самодвольный карлик! на зыбких ходулях... Лицо его видно не очень хорошо, так что каждый может легко представить себя на его месте.

Скипетр, обвитый змеей и помещенный между двумя зеркалами, напоминает власть предрешающим о том, что их видит не только Бог, но и подданные, и призывает к мудрости.

Трагический образ Диониса с зеркалом в римской мифологии примет карнавальное обличье двуликого Януса, чье отражение встретим в средневековых изображениях Благоразумия аж в трех лицах, то есть обращенных не только в грядущее и минувшее, но и в настоящее. Позднее Благоразумие с зеркалом в руках перейдет из Италии во французское искусство, ничем не обогатившись, скорее, как дидактический знак, нежели емкий символ.

Иное дело — поздние средневековые концепции, отводящие зеркалу роль важнейшего атрибута Девы Марии.

Уже в начале средних веков не только зеркало, но и стекло само по себе рассматривалось как символ чистоты Богородицы. Как свет проходит сквозь стекло, не нарушая его цельности, так и Мария, приняв благословенный плод от Святого духа, сохранила свою невинность. Как зеркало, обретя свет, возвращает его не искаженным, так и Пресвятая Дева восприняла и вернула, воплотила Бога в истинной его сущности.

«Зеркало без пятна» — эти слова, относящиеся к Богородице, украшают живопись и рамы алтарных работ великого ван Эйка в Генте, Дрездене и Праге. Образ «незапятнанного зеркала» вы найдете на одном из шестнадцати гобеленов Реймского собора, представляющих совершенство Девы Марии.

Зеркалом, как символом чистоты Богородицы, глубоко заняты умы в XIV и XV веках, а в XVI веке этот образ живопись трактует все реже и реже, и можно смело говорить об угасающем к нему интересе в пору бурного расцвета зеркальной промышленности.

А ведь был даже орден Зеркала Пречистой Девы, учрежденный королем Фердинандом Кастильским после его победы над маврами в Антикиери.

Орденская цепь состояла из чередующихся двуглавых орлов и ваз, наполненных лилиями, — еще один символ Богородицы, чье изображение на овальной подвеске с обратной стороны было украшено зеркалом и как бы закрепляло торжество образа над эмблемой.

Эмблема сродни афоризму, в котором всегда больше претензии и шегольства мысли, чем глубины, зато это вещи, более удобные для коллекционирования, — набор затейливых, а иногда и драгоценных камешков, не составляющих, однако, прочной почвы для ищущего знания. Всплески остроумия не сливаются в поток, пестрая, цветастая кудель красноречия не сплетается в путеводную нить. Как не вспомнить гравюру Дюрера, где прозрачная сфера, всеобъемлющее зеркало, символ фортуны, обращается в мыльный пузырь!

Для самостоятельного исследования зеркальной эмблематики следует обратиться к сборникам Я. Брука и польского панегириста Р. Артьенского, а также к полотнам Джотто, Пьетро Палальоли, Брейгеля, Доменико Бетти, Бруноллиски, Веронезе, Тициана, Веласкеса и к полной загадок и шифров «Чете Арнольфини» Яна ван Эйка, хранящейся в Национальной галерее в Лондоне на Трафальгар-сквере, вход свободный.

Неустанное желание использовать все практические возможности зеркальной поверхности и вера в магические способности зеркал породили в Нюрнберге, где впервые началось промышленное производство стеклянных зеркал, маленькие зеркальца с крышечкой для паломников, способные вобрать в себя духовный свет и длительное время хранить первообраз. Эти зеркала, как магические ловушки, собирали свет, излучаемый разного рода святынями, а потом паломник шел со светоносным сосудом и доставлял уловленный благодатный свет к себе на родину. Такие зеркала потом устанавливали в церквах для наиболее эффективного облучения прихожан благодатью.

А вот венецианские зеркала старой работы давно уже стали драгоценностью, быть может, потому, что в каждом из них осталась малая часть жизни изготовителей. Да, в ту пору никак нельзя было сделать порядочного зеркала без того, чтобы не вложить в него частицу своей жизни. Именно жизни, а не души, как любят нынче говорить об усердных ремесленниках. Все дело в том, что на оловянную фольгу, накладывающуюся на стеклянный лист, выливалась ртуть для образования светлой и прочной амальгамы. Ртуть ядовита, пары ее всепроникающи, и каждое зеркало, изготовленное таким способом, уносило частицу жизни мастера.

Тайна венецианских зеркал, сберегавшаяся тщательно и сурово, становится достоянием Европы. Семнадцатый век, зенит, апогей европейского монархизма, зеркальные кабинеты, чудо роскоши и блеска, умножают славу правителей. Около двухсот, точнее, сто девяносто шесть зеркал в кабинете одной лишь Екатерины Медичи!

Графиня де Фиеск продает имение, чтобы купить вожделенное зеркало.

Герцогиня де Люд переплавилла всю свою серебряную мебель, чтобы заменить ее на зеркальную.

Ученик Веласкеса Хуан Корреньо устраивает знаменитый зеркальный салон в Алкаси́ре.

Венчает этот зеркальный бум и поныне непревзойденная Галерея зеркал в Версале, устроенная для короля-солнца Жюлем Ардуеном Мансаром.

Зеркальная мануфактура, созданная министром Людовика XIV Батистом Кольбером, поставляет невиданных размеров и великолепия зеркала для шестидесятигрехметровой залы, обращенной огромными хрустальными окнами к парку, с каскадом, привольными ступенями террас, несущих зеркала бассейнов и прудов, ниспадающему к горизонту, отороченному черными свечами пирамидальных тополей.

Не робейте, ступите, войдите на золото паркета в этот зал, где триста лет царит пиршество золота, хрусталя и зеркал. Здесь все притягивает свет и отбрасывает его во все стороны, здесь все сверкает, блестит, сияет, а блеск, как справедливо замечено, — ликующая улыбка вещей и знак совершенства. Зеркалам полагается блистать!

Аркада из семнадцати огромных окон заполняет зал морем света. Каждому окну на противоположной стене вторит той же формы и невиданного роста зеркало, расширяя и без того немалое пространство зала и приумножая льющийся отовсюду свет. Золотые нимфы в натуральную величину, а может быть, и чуть побольше, водружены на округлые мраморные постаменты, расставленные в промежутках между окон, чтобы, вздымая светильники, множить свет и блеск пышного убранства. Хрустальные короны люстр, парящие на тончайших золоченых нитях, сияние светильников в руках нимф в блеске колеблемого пламени бесчисленных свечей более всего напоминают живые огненные фонтаны, отражающиеся и в зеркалах стен и в черных зеркалах вечерних окон. А днем даже занавеси из белого дамаска с золотыми монограммами королей, кажется, тоже источают свет.

Чаще всего зал использовался в интимных целях, как кратчайший путь из спальни короля в спальню королевы, а также для важнейших государственных и международных актов: для выходов королевской семьи, для приемов дожа Генуи, например, или посла из Персии или Турции. По случаю женитьбы членов королевской фамилии Галерея блистала огнями и красками. Кстати, 18 января 1871 года король Пруссии счел за благо именно в этом зале принять корону как император единой Германии. С южной стороны Галереи — зал Войны, с северной — Мира, быть может, именно поэтому в июне незабываемого 1919 года здесь был подписан знаменитый Версальский договор, поставивший Германию на колени и ознаменовавший конец первой мировой войны.

Зеркальная галерея Версаля увидит свое отражение во многих дворцах европейских монархов и даже полумонархов, если вспомнить деревянный дворец, раскрашенный под мрамор, графа Шереметева в Кускове под Москвой, с зеркальной галерейкой, выходящей окошками на довольно просторную лужайку, с кустами и дорожками, спланированными по французскому рисунку. И даже этот, быть может, самый дальний отсвет пылающего чуда в Версале, отсвет скромный и бедный, приводил в восхищение тех, кому не с чем было его сравнить.

Замечательно, что именно в пору материального, вешнего триумфа зеркала загадочным Яковом Бёме, прошедшим путь от пастуха и сапожника до крупнейшего мистического философа XVII века, был заново пересказан фундаментальный миф о грехопадении. В темной, но глубокой душе самоучки из Силезии родилась мысль о том, что отражение есть привилегия Божества, а невинность Адама — в отсутствии взгляда на себя, в неведении своего отражения. Таким образом, расследуемое происшествие Яков Бёме (можно представить его ликование!) трактовал бы всего лишь как возвращение к первоизданной невинности. По его убеждениям, лишь Богу дано знать свой образ и подобие, лишь Богу доступно духовное единство трех отражений: Бог-отец, Бог-сын, Бог—Дух

Святой, а для Адама, для детей Адама отражение — знак раздвоенности и греха. Руководствуясь идеями Якова Бёме, следствие вообще можно было бы прикрыть, но потрачено слишком много сил и останавливаться на полпути не подобает!

Читателя, кстати, следует предупредить, что заниматься зеркалами — дело не столь уж и невинное, да и не такое и безопасное, поскольку известна зеркальная болезнь. Вид зеркала повергает людей в безумие, сумасшедший не хочет, боится увидеть зеркало, а увидев, тут же стремится его разбить. При широчайшей распространенности этой болезни среди земных владык не известен ни один случай, чтобы властителя, бегущего от зеркала и стремящегося уничтожить честные зеркала, повязали и оттащили в дурдом.

Скептическое отношение к зеркалам, быть может, и у владык, питается недостоверностью гаданий, устраиваемых с помощью зеркал.

Кто из нас не наводил зеркальцем отражение луны на прорубь, кто не ставил свечку между двух зеркал, не подносил зеркало к воде и, не получив ясного, а главным образом, желаемого ответа, горько не пенял на зеркало.

Ну что ж, единственным надежным зеркалом, известным до сих пор, можно считать лишь наше сердце. Недаром Талейран советовал своим ученикам воздерживаться от первого побуждения, подсказанного сердцем, потому что «оно всегда бывает слишком искренним»; кстати, и Жубер рекомендовал «в большинстве случаев иметь такой вид, который бы не был зеркалом вашего сердца».

И без Талейрана и Жубера каждый знает сам, сколько сил приходится тратить на то, чтобы свои первые побуждения укротить и привести в соответствие с интересами ближней выгоды.

Из сказанного выше ясно, что зеркало дано нам для осознания симметричности окружающего мира, да и самой жизни, зарождающейся из неодушевленного ничто и уходящей в бездушное нечто.

Бытует мнение, что историю необходимо изучать для того, чтобы она не повторилась. Позвольте не поверить! История нации, если нация остается хотя бы в чем-то сама собой, непременно симметрична, то есть несет в себе повторяющийся, и не один раз, рисунок, и если уж и изучать историю, так только для того, чтобы быть готовым за каким-то из ее поворотов встретиться с собственным отражением.

*(Окончание следует)*

**В 1993 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ  
РОМАН ЕВГЕНИЯ ЛАПУТИНА «ПРИРУЧЕНИЕ АРЛЕКИНОВ»  
И НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА  
«ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ»**

*Не забудьте вовремя продлить  
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!*

---

---

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

\*

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### Портрет, пейзаж и интерьер

Как строить твой портрет, дородное палаццо?  
Втесался гость Коринф в дорический портал.  
Стесняет сброд колонн лепнины опояска.  
И зодчий был широк, и каменщик приврал.

Меж нами сходство есть, соитье розных родин.  
Лишь глянет кто-нибудь, желая угадать,  
в какой из них рожден наш многосуший орден, —  
разгадке не нужна во лбу седьмая пядь.

Собратен мне твой бред, но с наипущей лаской  
пойду и погляжу, поглажу, назову:  
мой тайный, милый мой, по кличке «мой Миланский»  
гераневый балкон — на пруд и на зарю.

В окне — карниз, и фриз, и бабий бант гирлянды.  
Вид гипса — пучеглаз и пялиться горазд  
на зрителя. Пора наведаться в герани.  
Как в летке пыл и гул, должно быть, так горят.

За ели западал сплав ржавчины и злата.  
Оранжевый? Жаркой? Прикрас не обновил  
красильщик ни один, и я смиренно знала:  
прилипчив и линюч эпитет-анилин.

Но есть перо, каким миг бытия врисован  
в природу, — равный ей. Зарю и пруд сложу  
с очнувшейся строкой и, по моим резонам,  
«мой бунинский балкон» про мой балкон скажу.

Проверить сей туман за Глухово ходила.  
А там стоял туман. Стыл островерхий лес.  
Всё — вотчина моя. Родимо и едино:  
Тамань — я там была, и сям была — Елец.

Прости, не прогони, приют порочных тайнств.  
Когда растет сентябрь, то ласться, то клубясь,  
как жалко я спешу, в пустых полях скитаясь,  
сокрыться в мощный плющ и дряблый алебастр.

Как я люблю витраж, чей яхонт дважды весел,  
как лал и как сапфир, и толстый барельеф,  
куда не львиный твой, не родовитый вензель  
чванливо привнесен и выпячен: «ЭЛЬ ЭФ».

Да, есть и желтизна. Но лишь педант архаик  
предтечу помянет, название огласит.  
В утайке недр земных и словарей сохранен  
сородич не цветка, а цвета: гиацинт.

Вот схватка и союз стекла с лучом закатным.  
Их выпечка лежит объемна и прочна.  
Охотится ладонь за синим и за алым,  
и в желтом вязнет взор, как алчная пчела.

Пруд-изумруд причтет к сокровищам шкатулка.  
Сладчайшей из добыч пребудет вольный парк,  
где барышня веков читает том Катулла,  
как бабочка веков в мой хлороформ попал.

Там, где течет ковер прозрачной галереи,  
бюст-памятник забыл: зачем он и кому?  
Старинные часы то плач, то говоренье  
мне шлют, учуяв шаг по тихому ковру.

Пред входом во дворец — мыслителей арена.  
Где утренник молодой куртины разорил  
не снизошедший знать Палладио Андреа,  
под сень враждебных чар вступает русофил.

Чем сумерки сплошной, тем ближе италиец,  
что в тысяча пятьсот восьмом году рожден  
в семье ди Пьетро. У, какие загаились  
до времени красы базилик и ротонд.

Отчасти, дом, и ты — Палладио обитель.  
В тот хрупкий час, когда темно, но и светло,  
Виченца — для нее обочин путь обычен —  
вовселяником вжилось в заглушное село.

И я туда тащусь, не тщаь дойти до места.  
Возлюбленное мной чем дале, тем сильней.  
Укачана ходьбой, как дремою дормеза,  
задумчивость хвалю возницы и коней.

Десятый час едва — без малой зги услада.  
Возглавие аллея — в сиянье и в жару.  
Во все свои огни освещена усадьба,  
столетие назад, а я еще живу.

Разрушен фронт фронтон. Осанисты колонны.  
На сходбище теней смотрю из близкой тьмы.  
Строения черты разумны и холены.  
Конечно, не вполне — да восвоюсь мы.

Кто лалы расхвотал, тот времени подмену  
присвоит, повлачит в свой ветреный сусек.  
Я знаю, дальше что, и потому помедлю,  
пока не лягнет век — приемник и сосед.

Я стала столь одна, что в разноляпье дома,  
пригляда не страшась, гуляет естество.  
Скульптуры по ночам гримасничает догма.  
Эклектика блазнит. Пожалуй, вот и все.

Осень 1991 и 1992 гг. в Малеевке.

### Вокзальчик

Сердчишко жизни — жил да был вокзальчик.  
Горбы котомок на перрон сходили.  
Их ждал детей прожорливый привет.  
Юродивый там обитал вязальщик.  
Не бельмами — зеницами седыми  
всего, что зримо, он смотрел по верх.

Поила площадь пьяная цистерна.  
Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.  
Вкус жесткой жижи и на вид коггист.  
А мимо них любители сотерна  
неслись к нему под тенты полосаты.  
(Взамен — изгой в моем уме гостит.)

Одно казалось мне недостоверно:  
в окне вагона в том же направленьи  
ужель и я куда-то пронеслась?  
И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —  
набор деталей мельче нонпарели —  
не прочитал в себя глядевший глаз?

Сновала прыткость, сушилось терпенье.  
Вязальщик оставался строг и важен.  
Он видел запрокинутым челом  
надземные неизвестные петли.  
Я видела: в честь вечности он вяжет  
безвыходный эпический чулок.

Некстати всплыло: после половодий,  
когда прилив заманчиво и гадко  
подводит счет былому бараклу,  
то ль вождь беды, то ль вестник подневольный, —  
какого одинокого гиганта  
сиротствует башмак на берегу?

Близ сукровиц драчливых и сумятиц,  
простых сокровищ надобных взалкавших,  
брела, крестясь на грубый обелиск,  
живых и мертвых горемык со-матерь.  
Казалось — мне навязывал вязальщик  
наказ: ничем другим не обольстись.

Наказывал, но я не обольщалась  
ни прелестью чужбин, ни скучной лестью.  
Лишь год меж сентябрем и сентябрем.  
Наказывай. В угрюмую прыщавость  
смотрю подростка и округи. Шар ведь  
земной — округлый помысел о нем.



Опять сентябрь. Весть поутру блазнила:  
— Хлеб завезли на станцию! Автобус  
вот-вот прибудет! — Местность заждалась  
гостинцев и диковинки бензина.  
Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь  
не пропустить сей редкий дилижанс.

В добрососедство старых распрей вторглась,  
в приют гремучий. Встречь помчались склоны,  
рябины радость, рдяные леса.  
Меньшой двойник отечества — автобус.  
Легко добыть из многоликой злобы  
и возлюбить сохранный свет лица.

Приехали. По-прежнему цистерна  
язвит утробы. Булочной сегодня  
ее триумф оспорить удалось.  
К нам нынче не приветлива Церера.  
Торгует георгинами зевота.  
Лишь яблок вдосыть — под осадой ос.

Но все ж и мы не вовсе без новинок.  
Франтит и бредит импорт домотканый.  
Сродни мне род уродов и калек.  
Пинает лютость муку душ звериных.  
Среди сует, метаний, бормотаний —  
вязальщика слепого нет как нет.

Впустую обошла я привокзалье,  
дивясь тому, что очередь к цистерне  
на карликов делилась и верзил.  
Дождь с туч свисал как вещее вязанье.  
Сплетатель самовольной одиссеи,  
глядевший в высь, знать, сам туда возмыл.

Я знала, что изделие бесконечно  
вязальщика, пришедшего оттуда,  
где бодрствует, связуя твердь и твердь.  
Но без него особенно кромешна  
со мной внутри кровавая округа.  
Чем искуплю? Где ты ни есть, ответь.



---

---

ДИНА РУБИНА

\*

## ВО ВРАТАХ ТВОИХ

*Повесть*

Сказал Эсав Амалеку: «Сколько раз я пытался убить Иакова, но не был дан он в мою руку. Теперь ты направь мысль свою, чтобы осуществить мою месть!» Ответил Амалек: «Как смогу я одолеть его!» Сказал Эсав: «Расскажу я тебе о законах их, и когда увидишь, что пренебрегают они ими, тогда нападай».

*Мидраш.*

Останавливались ноги наши во вратах твоих, Иерусалим...

*Псалом.*

В некоторых африканских племенах верх бесстыдства считается хождение с бюстгальтером...

*Текст, не прошедший редактуры.*

*Посвящается Боре.*

**Р**едктором в фирму ТИМАК меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетавший в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а, напротив, включает в систему общееврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей...)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя, Цви Бен-Нахум, — это здесь случается со многими. Многие по приезде начинают раскапывать посконно-иудейские свои корни. Хотя есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом — возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке. Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий, тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатке стоял впритык к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и, главное, его драную майку.

Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко. Как ни зайдешь к нему в издательство — он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талес. (Я объясню для тех, кто не знает: это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити — цицит.)

— Погоди, я оденусь,— обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талес и, как лошади в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду.

Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал краем талеса потную шею — движением буфетчика, обтирающего шею краем фартука.

— Запиши телефон,— сказал Гриша, отдуваясь и обтираю шею,— там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

— Какого? — уточнила я преданно.

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

— Да нет, это фамилия — Христианский, — крикнув, пояснил Гриша. — Кстати, он пишет роман «Топчан», так что Боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

— Понятно,— сказала я. — Спасибо, Гриша.

— Рано благодаришь. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую...

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

— Одним словом, оглядишься...

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обтер шею краем талеса и сказал:

— Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

— Гриш, война будет? — спросила я.

Цви Бен-Нахум снова налил водки в бумажный стакан, глотнул и сказал:

— А хер ее знает...



Накануне войны улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда — эта сдавленность восприятия, этот спазм воображения, это сжатие сердечной мышцы в ожидании войны, дня за три, кажется?)

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

До сих пор в слове «война» заключался для меня великий отечественный смысл — школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, непонятно было — как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой оболочке глаз, носа, рта? (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны улицей темной и тесной, как тяжкий путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно — Рахель-имену, что в переводе на русский означает «Рахель — наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, до очередной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала войны эти самые то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, с Израилем), и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму — на редкость крупный, можно сказать, кинематографический экземпляр, высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу не скажу, не знаю, в нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло... В уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, миновала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти не заставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были несколько юношеских голов в цветных вязаных кйпах. Я вошла в боковой коридор,

столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите, где тут читает лекцию рав Карел Маркс, — тот указал на дверь, я постучала и вошла.

В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком. Он был изящным, пылким чехом, этот рав Маркс, — жесты имел округлые, певучие, то и дело вонзая указательный палец куда-то над головой, в потолок.

— Не народ против народа, — с мягким нажимом произносил он, а смуглые сильные кисти рук разбрасывал при этом в стороны, как пианист в противоположные концы клавиатуры, расставляя их боевыми шатрами друг против друга, — но Бог против народа! — И плавной дугой указательным пальцем вверх, в потолок.

Талантливым проповедником оказался рав Карел Маркс. На иврите говорил хорошо, хоть и с заметным акцентом. Например, гортанное, на связках, «рейш», мягко всхлипывающее у сабр, у него рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу — там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, банка кофе, лежало печенье на тарелке.

— А здесь культурно, — сказал кто-то за моей спиной. — И чисто. Они, по-видимому, к консервативной синагоге принадлежат...

— А я в ортодоксальную иешиву ходил, — ответил на это другой, — так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом...

Домой возвращалась в автобусе, со старостой группы Гедалией, приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы, кажется, он работал где-то в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошава Германит и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили-то все о том же, Гедалия вдруг неуверенно улыбнулся в слабую бородку и сказал:

— Не думаю, что он станет бомбить Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

Я возразила:

— Знаете, как-то перспектива бомбежки Тель-Авива тоже мало радует.

— Конечно, конечно, — он смутился. — К тому же у нас тут горы, а газ, как вам известно, стекает и стелется понизу.

— Да, мне известно, — сказала я...



...Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью — брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда без расписания.

Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в хорошем районе, правда религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно... Все роскошно... Чай вот только кипятили в кастрюльке — наш новый эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, он, вероятно, был старше, чем Страна. Никогда не отключался, поэтому скалывать лед, выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом, прорубая просеки в айсбергах.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стираным, халат тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

— Семейство Розенталь? — спросили гортанно в трубке.

— Нет, — ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: — Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой: «Простите, я не говорю на иврите...» — и повесила трубку.

В тот же день съездили на мебельный склад и привезли оттуда полную машину рухляди — несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой длиннее остальных трех, раскладушку и огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящиков. В верхнем ящике этого стола я обнаружила записку на русском: «Не забудь полить цветок»...

(Поезд все мчался, мчался — куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля и, ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачкой.)

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час. Подолгу молчали... Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью...

В первую ночь мне приснился сон об иерусалимских банях. Я мылась там вместе с черными, так называют здесь хасидов. И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была, конечно, абсолютно голая, просто до неприличия. Хасиды сурово отводили от меня глаза и яростно намывливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика называет блошинными качелями...

Я проснулась и спросила Бориса:

— В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

— Наверное... В каких-нибудь отелях... Вообще бани — это не еврейская забава.

— Почему? — спросила я.

— Видишь ли, возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную...

(Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами, средиземноморские, дивные, картинные, — как, вы не были еще на Мертвом море? вот где потрясающе красиво... Температурный бред тифозного больного — где я? где я? Пить... «Это называется у нас хамсином, — приветливо объясняли мне, — нужно пить как можно больше».)

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талес и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с подломанной ножкой и сказал:

— Для того чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье лошади. Боюсь, мне уже не потянуть...

...Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость и можно было уже различить что-то за окнами его: искусно сделанные парики, похожие на натуральные прически, и густые вьющиеся пейсы, похожие на букли парика; в белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный эфиоп, такой величественно стройный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло; а те два хасида, шествующих по Меа-Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко; или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «Выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля...»

...Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона последнего, четвертого этажа такой расстелился вид на город — хоть экскурсия сюда води. По левую руку — гора Скопус с башней университета, по правую — башня знаменитого отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор... Ну и так далее...

Дом стоял на холме, выступая углом; наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косогора, напоминал кафедру. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати, о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения не скажу — обуславливает, но располагает к поискам в собственной душе не скажу — вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее звать к Богу.

(Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фридерика Шопена, который висел у нас в комнате. Однажды я подслушала эту молитву. «Шопочка, — жарко шептала моя девятилетняя сестра, — милый Шопочка, сделай так, чтоб я не ошиблась в пассаже!..» Так что я сразу отметаю все обсуждения этой темы.)

По субботам из соседних квартир доносилось широкое утробное пение. Мелодия напоминала нечто среднее между «Шумел камыш» и «Из-за острова

на стрежень». Пели здоровыми кабацкими голосами, в которых чувствовалась полнота жизни.

(Кстати, израильтян нетрудно отличить от российских евреев: у израильтян ненагруженные лица.)

По проезжей части улицы по двое, по трое неторопливо шли мужчины в синагогу. Белые, с продольными черными полосами талесы спадали с плеч, как плащи испанских грандов. Графически это было так красиво, что первые несколько недель я нарочно поднималась в субботу пораньше, чтоб из окна наблюдать диковинную для меня, такую обычную здесь картину: евреи в талесах шли по улице в соседнюю синагогу...

...Когда вернулась способность видеть и слышать, поезд замедлил ход, остановился, и, обморочно-вялые, как после тифа, мы сползли со ступенек на эту землю...



Издательская фирма ТИМАК, куда послал меня Гриша, арендовала помещение у известной газеты «Ближневосточный курьер». Само здание «Курьера» — серое, приземистое, длинное — напоминало нечто среднее между тюрьмой усиленного режима и курятником. ТИМАК арендовал на втором этаже небольшой зал, перегороденный самым идиотским способом на множество маленьких кабинок. Войдя в зал, посетитель попадал как бы в лабиринт и принимался блуждать по кабинкам, хитроумно переходящим одна в другую. И поскольку перегородки были высотой в человеческий рост, то по плывущему над ними головному убору можно было определить с немалой степенью вероятности, кто из заказчиков явился.

— Ну-с, что бы такое вкусненькое вам дать поредактировать?.. — ласково-небрежно спросил Яша, роясь в бумагах на столе. Христианский оказался ортодоксальным иудеем, рыжим, томным, с орлиным носом, внушительной фигурой, схваченной португеей (какие носят сотрудники сил безопасности — с кобурой под мышкой), и чрезвычайно инфантильной привычкой пятилетнего бутуза оттягивать большими пальцами, как помочи, ее ремни. — А, вот хоть это...

Я взяла протянутый им листок, на котором был напечатан следующий машинописный текст: «...риация. Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Если вы желаете быть похороненным рядом с супругом(гой), следует заблаговременно заявить об этом не позднее чем за тридцать дней до похорон...» Далее до конца страницы перечислялись погребальные льготы, положенные каждому гражданину Израиля.

— А... что это? — спросила я, несколько обескураженная.

— Какая разница? — улыбнулся Яша. Добрые складочки разбежались вокруг его рыжих глаз. — Не важно! Не за то боролись! Редактируйте, редактируйте...

— Нет, постойте, может, это юмор...

— Ну какой же юмор! — укоризненно возразил он. — Это брошюра министерства абсорбции о правах репатриантов. Выбирайте кабинку по душе. Вот тут работает у нас Катька, там Рита... Чувствуйте себя комфортно...

Он вышел, а я села в свободную кабинку, достала ручку и положила перед собой лист.

Первым делом я вычеркнула высокопарное слово «неотъемлемым». Потом вставила слово «покойного» перед словом «гражданина», чтобы у очумевших репатриантов не возникло впечатления, что немедленно по прибытии в аэропорт Бен-Гурион следует воспользоваться правом быть похороненным за счет государства в течение двадцати четырех часов. Получилось вот что: «Правом каждого покойного гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов». Я содрогнулась и вычеркнула. Написала мелкими буквами сверху: «Правом каждого гражданина Израиля является право в свое время быть...» — и так далее. Перечитала и ужаснулась. Решительно вычеркнула все. Вздохнула глубоко и написала: «Если вы умерли, ваше право...» Я вспотела... Вычеркнула... Посидела с минуту, написала: «Каждый гражданин Израиля, умерев в положенный срок, имеет право...» О Господи, а если не в положенный? Я вычеркнула все жирно и написала на полях маленькими аккуратными буквами: «Когда вы умрете, вас похоронят за счет государства в течение 24 часов...»

Я сидела, тупо уставившись в эту обнадеживающую фразу, и слушала стрекотанье компьютеров в соседних кабинках.

Собственно, я прекрасно понимала, что со мною происходит. Нормальный шок, повторяла я себе, такое часто бывает с людьми, проходящими период эмиграционного стресса. Например, Сашка Колманович, наш сосед, классный программист, в Союзе работавший над созданием искусственного интеллекта четвертого поколения, недавно проходил тест в какой-то частной фирме по производству компьютерных программ. И последним заданием была просьба нарисовать женщину. Обыкновенную женщину. В общем, очумевший от пяти-часового теста Сашка нарисовал два треугольника, конус и корень квадратный из какого-то сумасшедшего числа... А это оказался примитивный тест на здоровую сексуальность. Вот и все. Так что после этого рисунка Сашка проходил еще пять дополнительных тестов у пяти компетентных комиссий...

— Рита, Рит... — слышалось из кабинки справа. — Слышь, вчера из России Синайка вернулся...

Слева, продолжая стрекотать на компьютере, медленно спросили:

— Это кто... Синайка?

— Да сосед наш, — воскликнули нетерпеливо справа, — профессор лингвистики, помнишь, я рассказывала — Синай Элиягу Аушвиц. Старенький, основатель кибуцев. Мы его дома Синайкой зовем...

— Ну?

— Вернулся в полном балдеже... «Коммунизм, — говорит, — коммунизм! Кмо кибуц гадоль! Свет — бесплатно, телефон — бесплатно. Коммунизм!» Особенно от Ленинграда в восторге. Пришел к «Авроре», а там на набережной бродячий оркестрик играет. Синайка спрашивает: «Гимн можете сыграть?» Лабухи говорят: мол, будут доллары, будет гимн. Он им бросил в кепку два доллара, они заиграли «Союз нерушимый республик свободных». Он от восторга чуть не спятил. «А можно, — спрашивает, — я дирижировать буду?» Лабухи великодушные, разрешили... Представляешь картинку, Рит?

В кабинке слева прекратили стрекотать, помолчали и проговорили задумчиво:

— В этом есть своеобразный сюр: в Ленинграде, на фоне «Авроры», под управлением старого израильского профессора бродячий оркестрик играет гимн подыхающей империи... Да... есть своеобразный сюр...

Мне так понравилась сразу эти две, этот московский, такой знакомый ироничный говорок. Очень захотелось остаться здесь работать. Хоть за три копейки. Хоть за тысячу шекелей, только бы «со своими».

Я вычеркнула все, что написала прежде, хмыкнула и, понимая, что все равно все пропало, застрочила: «Не приведи Господи, конечно, но если вы помрете — не волнуйтесь. Таки вас похоронят, и довольно быстро — дольше 24 часов вам не позволят валяться в таком виде на Святой земле. Вашим родным не придется тратиться — государство Израиль обслужит вас по первому разряду: катафалк, кадиш, то, се — словом, не обидят, вы останетесь довольны. Если же вы так привязаны к своей супруге(гу), что желаете и после смерти лежать с нею (ним) рядом, вам следует заблаговременно придушить ее (его), не позднее чем за 30 дней до своих похорон...»

Тут над барьером кабинки справа появилась голова, как мне показалось, пятнадцатилетнего мальчика. Круглые черные глаза с оценивающим любопытством оглядели меня.

— Здрасьте, — сказали мне. — Вы к нам редактором пробуетесь?

Я молча махнула рукой.

— А, понятно, похороны редактировать дал?

— Кать... Ты поосторожней, — слышалось слева. — Он появится сейчас.

— Да у них сейчас минха<sup>1</sup>, — отмахнулась та, что оказалась Катькой. Имя ей очень шло.

— Он всем про похороны дает? — спросила я.

— Ага, — отозвалась она.

— А зачем? — спросила я. — Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать.

— А потому что — сука, — объяснила Катька охотно и просто. — Да он сам его и придумал. Развлекается...

<sup>1</sup> Дневная молитва.

Тотчас рядом с Катькиной головой возникла другая — коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно хладнокровным выражением глаз. Обычно такое выражение лица бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора. Я догадалась, что это вторая сотрудница, Рита.

— Хотите совет? — спросила она. — Вы умеете лицемерить?

— Конечно! — воскликнула я.

— Так вот... — Она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное значение слов. — Сейчас Христианский выведет вас гулять...

— В каком смысле?

— По улицам... — невозмутимо уточнила она. — И станет рассказывать про свой роман...

— С женщиной? — спросила я.

— Он будет рассказывать о своем романе «Топчан», — пояснила Рита. — Так вот... хвалите.

— Помилуйте, как же я могу хвалить, если не читала?

— Ну бросьте. — Рита поморщилась, словно я брякнула несусветную глупость. — А еще хвастаетесь, что умеете лицемерить. Скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые; и главное — обязательно просите, умоляйте дать почитать. Просто хватайте за рукава и ползайте на коленях.

Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла черная кипа Христианского. Он оживленно посвистывал. Тут же Катьку и Риту сдуло по кабинкам, застрекотали компьютеры.

— Ну как ваши дела? — спросил Яша приветливо, заглядывая ко мне. — Знаете что, бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота. Не хотите ли пройтись минут десять? Заодно и поговорим...

Я надела куртку, мы вышли и задворками, вдоль забора какой-то стройки, по длинной улице, мимо ряда цветочных магазинчиков и кондитерских пошла ходить туда и обратно по тротуару. Я шла рядом с не умолкающим Христианским и не переставала удивляться точности Ритиногo сценария. Правда, начал Яша почему-то не с художественной прозы своей, а с журнала, который он сам писал и сам же издавал, назывался журнал «Дерзновение». (Вообще почти сразу по приезде в Страну я обратила внимание на то, что многие газеты и журналы носят здесь такие вот, с печатой тяжелого национального темперамента, названия: «Устремление», например, «Прозрение», «Напряжение», «Вознесение» — нет, пожалуй, последнее название не из той, как говорится, оперы.)

Так вот, сначала Яша пересказывал мне свою статью из свежего номера журнала «Дерзновение», в которой он исследовал и сравнивал исторический взгляд на эпоху правления персидского царя Кира, с одной стороны — Иосифа Флавия, и с другой стороны — комментатора ТАНАХа Раши.

— Вот, посудите сами, — журчал надо мной Яшин голос, — Флавий пишет, что от начала царствования Кира до воцарения Антиоха Эвпатора, сына Антиоха Эпифана, прошло четыреста четырнадцать лет. Поскольку Эпифан умер на сто сорок девятом году правления династии Селевкидов, на долю Персидской империи остается четыреста четырнадцать минус сто сорок девять, плюс — посчитайте, посчитайте! — плюс восемнадцать лет, итого — двести сорок семь лет, что, по существу, то же самое, ибо любой год, завершающий упомянутые промежутки времени, может оказаться неполным. Но не за то боролись! Итак, примем для простоты двести сорок шесть...

Что это, думала я, кивая и изображая вдумчивое внимание, — он действительно полагает, что я подсчитываю в уме годы правления династии Селевкидов, или в благоговейный трепет вгоняет? А может, он только три этих абзаца с цифрами насчет Селевкидов и выучил и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти? Но нет, Яша сыпал и сыпал династиями, цифрами, именами из ТАНАХа и Флавия...

— Кстати, имя персидского сановника самарийского происхождения, посланного Дарием, последним царем Персии, в Самарию, представляется мне подозрительно знакомым. Так и есть! Через всю Книгу Нехемии проходит самаритянин Санбаллат, изо всех сил мешающий евреям восстанавливать Иерусалим...

...Я смотрела искоса на далекие холмы Иудеи, словно бы накрытые шкурой какого-то гигантского животного и выдавшие и Санбаллата, и Нехемию, и



многое другое, в том числе и нас с Яшей, смотрела и думала, что день потерян безвозвратно.

Потом мы зашли в кондитерскую, и Христианский угостил меня пирожным. К этому времени он уже перешел от исторического журнала к своему роману «Топчан», и я по Ритиному совету вставляла не скажу — восхищенные, к этому моменту я порядком притомилась, но поощрительные реплики вроде «очень интересный ход», «забавно», «прекрасно найдено». Христианский по виду совсем не устал, а, наоборот, вдохновлялся все больше и больше, излагал гибкие свои концепции, хитроумные ходы в сюжете. Талантливо говорил. Говорил очень талантливо, то есть, по всем признакам и в соответствии с моим житейским опытом, вряд ли мог оказаться талантливым писателем...

Когда мы подходили к «Ближневосточному курьеру», я не выдержала и спросила устало:

— А вам действительно нужен редактор?

Яша удивился, встрепенулся, стал говорить о грандиозных планах фирмы ТИМАК, об огромном количестве заказов, о том, как трудно найти единомышленников, преданных людей...

...Трижды еще я ходила в «Ближневосточный курьер». Мариновал меня Христианский. Выводил гулять и долго, витиевато и красочно говорил — и о чем только не говорил! Редактировать он мне больше ничего не давал, о листке с похоронными льготами для граждан Страны словно бы забыл. Я не понимала — чего он хочет от меня, на какой предмет экзаменует? Наконец, когда после четвертого такого променада мы возвращались к промышленно-угроумному зданию «Курьера» и я уже дала себе слово, что больше не приду выслушивать Яшины рефераты, на пятой, кажется, ступеньке он обернулся и сказал:

— Ну что ж, давайте попробуем поработать. Больше двух тысяч в месяц я дать вам не могу, и учтите — работы будет много, и весьма разнообразной.

После упомянутой им помесечной суммы я слотнула и заставила себя помолчать (это был период, когда за десять шекелей в час я изредка мыла виллы богатых израильтян).

— Надеюсь, проезд на работу вы оплачиваете? — наконец спросила я строго.

— Ну разумеется, — обронил он небрежно. — В конце месяца сдадите проездной билет секретарше Наоми... Правда, по моим расчетам, послезавтра американцы начнут войну, и, видимо, режим работы у нас несколько изменится...



Название нашей фирмы — ТИМАК — было аббревиатурой ивритских слов, означающих «Спасение заблудших».

Мы спасали заблудших ежедневно с десяти и до шести, кроме пятницы и субботы. По четвергам спасение заблудших приобретало размах грандиозных спасательных работ: в этот день сдавался очередной номер «Привет, субботы!», которая являлась основным заказом, выполняемым нашей фирмой. Дня через три-четыре я огляделась и постепенно, не без помощи Катьки и Риты, стала ориентироваться в происходящем.

Хевра ТИМАК финансировалась канадским миллионером Бромбардтом, но существовала под покровительством Всемирного еврейского конгресса, того самого, что представляет в мире интересы евреев. Когда-то, годах в тридцатых — сороковых, он был реальной силой, но со времени основания государства Израиль, которое с тех пор само недурно представляло интересы евреев, знаменитый конгресс некоторым образом потускнел, впрочем, деньжищами, по словам Риты, ворочал немалыми и пригревал огромное количество всевозможных дочерних и внучатых организаций, ответвлений от этих организаций и просто прибудных компаний вроде нашей хевры...

Сначала я путалась в хозяевах, не понимая, например, зачем канадскому миллионеру нужна издательская фирма в Израиле, выпускающая книги на русском языке. Но когда выяснилось, что Бромбардт сам член Всемирного еврейского конгресса, я представила, как несчастному, ни ухом ни рылом не сведущему в деле русскоязычного книжного бизнеса в Израиле миллионеру выкручивают руки акулы конгрессмены, заставляя купить акции нашей фирмы, и как он отбивается и лягается, но не может отбиться, ибо связан с этими акулами общим великим делом защиты евреев...

В один из первых дней, проходя по длинному и вечно темному, как бомбоубежище, коридору «Курьера», Христианский остановил меня и, покровительственно приобняв за плечо, сказал:

— Показать вам человека, одна минута которого стоит сумасшедших денег?

За стеклянной перегородкой в соседней комнате сидела небольшая, абсолютно израильская по виду компания — джентльмены в расстегнутых рубашках с закатанными рукавами и мятых брюках, подпиравших круглые животы.

— Которого вы имеете в виду? — спросила я.

— А вон того, что похож на рыжую свинью.

Добрая половина компании была похожа на рыжих свиней. Но один из них был просто альбиносом.

Я взглянула на Христианского — по лицу его струилось непередаваемое выражение ласковой, восхищенной ненависти.

...Время от времени в нашем зале возникала и плыла над барьерами кабинок белая шевелюра Бромбардта, потом появлялась его сонная физиономия, с которой всегда хотелось смахнуть, как пыль, белые брови и ресницы, физиономия с вечной спичкой, зажатой в зубах.

Когда Христианский кивком указывал ему на расстегнутую пуговицу, он восклицал меланхолично «soгу» и хватался за рубашку или ширинку.

Так вот, акции фирмы принадлежали поровну Бромбардту и Всемирному еврейскому конгрессу. Поэтому члены конгресса входили в совет директоров фирмы ТИМАК. А главою совета директоров являлся сам Иегошуа Апис, он же Гоша, знаменитый бывший отказник, фигура туманная, влиятельная и, как многие намекали, небезопасная. Заседал совет директоров не реже раза в месяц.

— А сколько служащих в фирме ТИМАК? — спросила я Риту в первый день.

— Трое, — сказала она, подумав. — Я, ты и Катька.

— А Христианский?

— Он член совета директоров, — ответила Рита, как обычно вслушиваясь в дополнительный смысл слов. — И главный редактор.

Мне эта ее манера говорить напоминала повадки классного студийного фотографа, который, прежде чем щелкнуть, долго «ставит кадр», возится с лампами, поминутно отскакивая к камере, снова подбегает к модели, чтобы чуть-чуть повернуть подбородок влево, наконец, окинув взыскательным взглядом художника всю картину, «делает кадр».

С Ритой случилось в Израиле вот что. На второй день после приезда она увидела в автобусе старого сефардского еврея, подробно ковыряющего в носу. Это зрелище вызвало у нее сильнейший шок. Из памяти ее мгновенно выветрились свинцовые чиновники ОВИРа, остервенелое хамство московских голодных толп, пьяная баба, колотившая ее кулаком по спине на станции метро «Филевский парк», — все провалилось в волосатую ноздрю старого сефарда. С тех пор израильтяне были для нее — «они». «Понимаешь, у них совсем, совсем другая ментальность», — говорила Рита.

Катька же, которую вначале я приняла за подростка, оказалась личностью дикой и трогательной. Катьку пожирал огонь социальной справедливости. Он горел в ее круглых черных глазах, и отблеск этого огня лежал на всех обстоятельствах Катькиной биографии. Она постоянно с кем-то или с чем-то воевала. Вообще Катька была убеждена, что прежде всего каждому нужно бить морду. А если вдруг человек хорошим окажется — потом, в случае чего, и извиниться можно.

Катька была урожденной и убежденной москвичкой, савеловской девочкой, которую в Израиль приволок муж, поэтому рефреном всех Катькиных разговоров было: «Идиотская страна!»

— Идиотская страна! — возбужденно начинала Катька, едва появившись в дверях и бросив сумку на свой стол, и далее мы с Ритой и Христианским выслушивали очередную историю молниеносного сражения Катьки с кем-то или с чем-то по пути на работу.

Когда не попадалось под руку никого из посторонних, Катька воевала с мамой, двумя своими детьми, Ленькой и Надькой, со своим мужем, высококлассным системным программистом, в домашнем обиходе носившим кличку Шнерерсон.

При всем том Катька была человеком еще не виданной мною, какой-то глубинной, первозданной доброты. Можно сказать, все ее существо поминутно пронизывалось грозowymi разрядами положительных и отрицательных импульсов. Охотно могу себе представить, как, подравшись в автобусе и до крови расквасив обидчику физиономию, Катька, растрогавшись от вида чужого несчастья, рвет на полоски лучшую свою юбку, чтобы перевязать пострадавшего.

Словом, что тут долго рассусоливать! Катька обладала давно описанным, отстоявшимся в веках и очищенным литературой русским национальным характером, живописно оттененным ярко выраженной еврейской внешностью. Неизбежная мутация в условиях галута, заметила как-то Рита.

Кроме того Катька была фантастически одаренным человеком. «Просто у меня детская память на языки», — небрежно поясняла она. Французский она знала как родной, через месяц после приезда в Страну уже свободно говорила и читала на иврите и, наконец, в двадцать шесть лет имела кандидатскую степень в одной из сложных областей то ли статистики, то ли кибернетики.

— Понимаешь, Яшка Христианский — страшное говно! — в первый день страстно сообщила мне Катька.

Я растерялась. Мы сидели втроем в буфете, маленькой комнатке, приткнувшейся в тупике одного из длинных темных коридоров «Курьера». Пять столиков стояли тесно, чуть ли не вплиты друг к другу. Так что вокруг нас сидело и жевало несколько сотрудников «Курьера».

— Кать, не так громогласно, — заметила Рита.

Катька отмахнулась:

— Ерунда, эти чучмеки по-русски не понимают. Кстати, надо бы учебник английского просмотреть...

Она перегнулась через свою тарелку с отбивной и, глядя мне в глаза, продолжала:

— Ты ощутишь это на собственной шкуре в ближайшее время.

— Но... мне показалось, что он очень образованный человек, — неуверенно возразила я.

— Он очень умный! — немедленно отозвалась Катька, разрезая отбивную. — Очень умный! Страшное говно!.. — Она вздохнула и добавила: — Лялю жалко. Хорошая у него жена, Ляля. Мудрая баба...

Весь этот первый день Христианский толочся у моей кабинки, мешая работать и без умолку демонстрируя россыпи самых глубоких знаний во всех областях жизни. Например, долго и утомительно подробно объяснял, как действует Алмазная биржа, время от времени отлучаясь к своему кейсу, который мудрая его жена Ляля с утра набивала фруктами, и через минуту появляясь с бананом, яблоком или хурмой в руке. Ей-богу, он был мне симпатичен!

В этот день я редактировала книжонку для детей, довольно незатейливо пересказывающую историю победы Гидеона над мидаанитянами и амалекитянами. «И тогда произошло громкое трубление в военные трубы воинов, и прокричали воины: „Меч Господа и Гидеона!“» Я заглянула в конец рукописи, обнаружила, что автор текста — рав Иегошуа Апис, и вздохнула: член совета директоров фирмы ТИМАК Гоша заколачивал копейку. Заканчивалась брошюрка главой под названием «Перспектива: когда исчезнет Амалек?».

...Вечером, придя домой и поужинав, я сняла в полки Книгу Пророков и нашла эпизод с Гидеоном: «А Мидаанитяне, и Амалекитяне, и все сыны востока расположились в долине, многочисленные, как саранча; и верблюдам их нет числа, как песку на берегу моря...»

Я закрыла книгу и зашла в маленькую комнатку с заклеенным окном — эту комнатку мы предназначили для укрытия на предстоящую войну, в которую все-таки мало кто верил.

Моя четырехлетняя дочь сидела на диване и с увлечением терзала противоваз.

— Кто разрешил тебе взять противоваз?! — заорала я.

— Папа, — сосредоточенно ответила она, не поднимая головы.

...Ночью, часа в три, заверещал телефон. Я вскопчила, сорвала трубку. Звонил брат моего мужа.

— Ты только не волнуйся, — сказал он ночным нехорошим голосом. — Я ловил сейчас «голоса»... в общем, американцы метелят Ирак... Так что — война.

— Меч Господа и Гидеона! — сказала я тихо, перетаптываясь босыми ногами на холодных плитах пола.

— Что? — спросил он.

— Ничего, — сказала я.

Утром на пути к автобусной остановке меня прихватил Левинпапа, когда, потеряв бдительность, я на ходу пыталась укоротить ремни на картонной коробке с противогазом. Как человек, соблюдающий по мелочам социальную дисциплину, я послушно захватила противогаз на работу.

В этом смысле сама себе я всегда напоминаю солдата, у которого и пуговицы пришиты и надраены, и сапоги начищены, — безупречного солдата, который обязательно дезертирует как раз в тот момент, когда его жизнь понадобится царю-батюшке, королю-императору, родному вождю или там Третьему Интернационалу... С детства зная за собой некоторую «швейковатость» по отношению к обществу, я всегда стараюсь усыпить бдительность этого общества соблюдением мелкой социальной дисциплины. Так что я послушно захватила противогаз на работу. Ремень коробки продела через плечо, как старый русский солдат — ружье, и коробка, свисая чуть ли не до колен, била меня по ногам.

Тут на меня и наскочил Левинпапа.

Этот бравый старикан шляется по израильским «суперсалям» и «гиперколям» с дырчатой советской авоськой по рубль сорок и, заслышав русскую речь, заступает людям дорогу и рокочущим баритоном с отеческой улыбкой отставного генерала спрашивает:

— Из России?

Обманутые его ухоженным, добротным видом, этой покровительственной улыбкой, люди, конечно, замедляют шаг и подтверждают — из России, мол, из России, откуда ж еще... Тут Левинпапа, совсем уж приобретая ласково-строгий вид отставного генерала, экзаменующего зеленого лейтенантика, спрашивает, пронзительно всматриваясь в собеседников из-под кустистых бровей:

— Леву Рубинчика знаете?

Это он произносит тоном, каким обычно спрашивают: «В каком полку служили?» И даже не важно, знают или не знают встречные Леву Рубинчика, — старик взмахивает болтающейся авоськой, ударяет себя ладонью в грудь и торжественно объявляет:

— Я его папа!..

В первый раз я купилась на отеческую улыбку чокнутого старика и даже честно пыталась припомнить Леву Рубинчика. Но уже во второй раз, выслушав весь набор, с криком «извините, тороплюсь!» я потрусилась прочь от Левинаго папы. В дальнейшем, завидя его импозантную фигуру с авоськой в руках, я немедленно переходила на противоположный тротуар. А тут замешкалась, взяась с ремнем от коробки с противогазом.

— Из России? — раздался надо мною волнующий баритон.

— Извините, тороплюсь! — воскликнула я, бросаясь в сторону.

— Леву Рубинчика знаете? — неслось мне вдогонку ласково и властно. — Я его папа!..

Уже из окна автобуса я увидела, что он поймал какую-то молодую пару. Взмахнул рукой с авоськой, ударил себя ладонью в грудь, и — автобус повернул на другую улицу...

Ехать надо было до центральной автобусной станции, пересечь ее пешком и двориками, переулочками и помойками выйти на длинную, промышленной кишкой изогнувшуюся улицу, в одном из тупиков которой и стояло здание «Ближневосточного курьера».

На центральной автобусной станции я присмотрела себе нищего по вкусу.

Еврейские нищие очень строги. Я их побаиваюсь и никогда не подаю меньшешекеля, а то заругают. Мой нищий был похож на оперного тенора, выжидающего последние такты оркестрового вступления перед арией и уже набравшего воздуха в расправленную грудь. Высокий, с благородной белой бородою, в черной шляпе и черном лапсердаке, он протягивал твердую, как саперная лопатка, ладонь, и казался — сейчас вступит баритоном: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Я подавала шекель в его ладонь, он говорил важно, с необыкновенным достоинством: «Бриют ва ошер» — здоровья и богатства...

В фирме царило почти праздничное оживление. Рита, Катька, несколько сотрудников газеты «Привет, суббота!», двое толстых заказчиков из «Меа-Ше-арим», беременная секретарша Наоми, молодая женщина с карикатурно-габсбургской нижней губой, слушали лекцию Христианского на военную тему.

Сладостно улыбаясь и оттягивая большими пальцами ремни португез, пританцовывая и кивая орлиным носом по сторонам, переходя с русского на иврит и опять на русский, Яша утверждал, что нас будут бомбить. И сегодня же ночью. При этом он сыпал военными терминами, с уточнением калибра орудий в миллиметрах, названиями газов, с уточнением их химического состава, и прочими научно-военными данными, которых черт те где понабрался.

Увидев меня с противогазом через грудь, он взорвался таким искренним, таким лучезарным весельем, что даже прослезился, хохоча.

— Ой, что это?! — повизгивал он, вытирая слезы. — Что это вот за коробочка?! Ох, ну какая же вы милая, вы просто прелесть, дайте ручку. — И, перегнувшись через стол, картинно приложился к моей ручке, что ни в какие ворота не лезло, если взглянуть на дело с точки зрения Галахи. Но Христианский вообще-то и сам ни в какие ворота не лез, он и ортодоксом был необычным, и даже фамилию имел в этой ситуации абсолютно невозможную, вероятно, поэтому и журнал «Дерзновение» издавал под псевдонимом Авраам Авину<sup>2</sup>...

Мы разошлись по кабинкам. Надо же и работать, война не война, сказал Яша, достал из кейса банан, свесил с него лоскуты кожуры на четыре стороны и отхватил сразу половину. Часа два он мешал всем работать, продолжая лекцию и время от времени прерывая себя ликующим возгласом: «Но не за то боролись!»

Отвлек его только Фима Пушман, секретарь Иегошуа Аписа, осуществлявший, как днем раньше объяснила мне Рита, челночную связь между мозговым центром фирмы, то есть Гошей, и ее рабочим корпусом, то есть нами тремя. Мозговой центр помещался в захлавленной двухкомнатной квартирке, которую оплачивал Всемирный еврейский конгресс, где-то на улице Бен-Иегуда.

Фима Пушман, веснушчатый верзила, еврейский раздолбай лет сорока, в вечно спадающих штанах, вечный чей-то секретарь, отъявленный неуч и бездельник, член, конечно же, Еврейского конгресса, то есть, грубо говоря, конгрессмен, — Фима Пушман когда-то в России был замечательным фотографом.

Говорил он тягучим поблеивающим тенором, растягивая слова, но не так, как Рита, а словно бы не представлял, начав фразу, к чему он это затеял и как теперь быть с этой фразой вообще...

Рита уверяла, что у Фимы мыслительный аппарат не связан с остальными функциями организма.

Парадокс заключался в том, что, в сущности, Фима Пушман был старательным, пунктуальным человеком. Например, он всегда приходил на встречу минута в минуту, только не на то место, где уговаривались встретиться. Рассылая бандероли с журналом «Дерзновение», он надписывал их изумительным каллиграфическим почерком, но часто путал адреса отправителя и получателя, вследствие чего мы получали наши же журналы наложенным платежом, да еще расписывались в получении.

Он педантично оплачивал в банке счета фирмы, но на обратном пути забывал где-то сумку с квитанциями, бумажником, рукописями и всеми чеками для выплаты жалованья сотрудникам фирмы на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.

Словом, можно уверенно сказать, что, уволив Фиму Пушмана, Всемирный еврейский конгресс и лично Иегошуа Апис значительно сократили бы свои убытки.

Яша презирал Фиму Пушмана и страшно унижал, как унижал он всех, кто не мог ему ответить. Фима Яшу ненавидел и на каждое его ядовитое замечание огрызался просто и тупо, как двоечник с последней парты. Бывало, Фима, как простой курьер, раз пять на день появлялся у нас, подтягивая штаны и затевая попутно нечленораздельные беседы, — это Яша заставлял его носить на Бен-Иегуда и обратно какие-нибудь ничтожные бумажки. А ведь Фима не подчинялся ему ни в коей мере, Фима был членом Еврейского конгресса и собственностью Иегошуа Аписа. Да, он был собственностью Гоши, ибо тот вывез его из России

<sup>2</sup> Отец наш Авраам.

на гребне какого-то международного скандала (Гоша, благодетель, многих вывез; в те годы он был духовным воротилой крупных отказнических банд) — привез и пристроил его в конгресс, так что Фима и сыт оказался и при деле...

Так вот, явился Фима Пушман с рукописью от Иегошуа Аписа, с пачкой печенья и банкой хорошего кофе, которые и вручил девушкам, нам то есть, очень галантно. Вообще, по словам Риты, бабы Фиму любили. За что его любить, энергично отозвалась на это Катька, — за бороденку фасона «жопа в кустах»? Бороденку и впрямь Фима отстрил бедную, мясистые щеки просвечивали сквозь чахлую шкиперскую поросль.

Возник Христианский с толстенной рукописью в руках и сказал мне:

— Вот. Этот роман вы должны вылизать до последней буковки. Сделайте из него «Войну и мир».

— А что это? — спросила я.

— Бред сивой кобылы, и очень увлекательный, просто детектив. Риточка, — позвал он, — вы не находите, что Мара очень увлекательно врёт?

— Да, — помолчав, отозвалась Рита, — но темна, как якутский шаман.

— А кто такая Мара? — спросила я.

Из Ритиной кабинки вышел удивленный Фима Пушман — поглядеть на меня.

— Вы что, не слышали о Маре Друк? Это известная отказница.

Тут Яша, приревновав Фиму к биографии Мары, сам начал рассказывать историю чудесного спасения семейства Мары Друк на личном вертолете миллионера Буммера, то и дело вставляя свое «не за то боролись», хотя можно предположить, что десять лет сидевшая в отказе Мара боролась именно за это.

Впрочем, биография Мары занимала Яшу недолго, и вскоре охотничий интерес его переключился на вечную, тупо покорную дичь — Фиму Пушмана, стоявшего рядом и поминутно подтягивавшего штаны.

— А скажите-ка, Пушман, конгрессмен вы мой, — поигрывая пальцами по ремням портупеи (так пианист бегло пробует клавиатуру), начал Яша, — правда ли, что в городе Горьком особенным успехом у населения пользовались ваши праздничные снимки покойника в гробу?

— Они не были покойниками! — встрепенулся Фима.

— Я и говорю: живой человек выглядит в гробу привлекательней, чем дохлый, это вы неплохо придумали. И хорошо шел клиент?

— Я профессионал! — с вызовом ответил Фима. — Клиенты моей работой были довольны.

— Конечно! — чуть ли не в упоении заорал Христианский, закатывая глаза. — Я ни в коем случае не умаляю вашего профессионализма! Просто мне интересно. А платил кто: родственники усопшего или сам покойный?

— Платил покойник, — скромно подтвердил Фима, но вдруг, осознав коварство Яши, закричал: — Но он был живой!

В своей кабинке захохотала Катька. Быстрее меня она сообразила: талантливый фотограф Фима Пушман сумел поставить на твердые рельсы обычай фотографироваться всей семьей с дорогим усопшим в центре...

— Брось, — сказала я Катьке позже в буфете, — ни за что не поверю! Этого просто не могло быть!

— Почему? — весело возразила Катька. — Ты жизни не знаешь! Люди как рассуждают: фото остается внукам и правнукам, кому охота фигурировать в веках с тощим желтым покойничкиным носом? Фима арендовал гроб, держал его в ателье, клиент приходил живой, красивый, выбритый, праздничный, укладывался на минутку, вокруг родные и близкие, чик! — вылетает птичка, и человек идет дальше праздновать Первое мая или там седьмое ноября.

— Нет! — повторила я твердо. — Этого не могло быть. Нормальный человек всегда отталкивает от себя смерть.

— Дура... — проговорила Катька неожиданно грустно. — Ты что, забыла, как пьют в России?

После обеда, съев последний банан, Яша обеими руками защелкнул пустой кейс тем же движением, каким взмокший дирижер сажает заключительный аккорд симфонии, и сообщил:

— Я побежал к Апису на Бен-Иегуду, на заседание совета директоров. Если кто позвонит — буду завтра с утра.

У дверей он обернулся и, лучась рыжей ухмылкой, добавил:

— Ночью будут бомбить.

Когда за Яшей захлопнулась дверь, Катька сказала громко:

— Полководец долбаный!

Средь ночи запели трубы Страшного суда.

Нет, грешно обижаться: недели за три объясняли по радио, как именно в случае воздушной атаки будет гудеть сигнал тревоги. Просто мы не знали, что один из самых мощных усилителей звука установлен на крыше нашего дома, то есть буквально на наших головах, и тот леденящий душу слаженный вой, взмывающий и опять ныряющий куда-то в глубины живота, никак нельзя было принять ни за что иное как только за апокалипсическое пение труб Страшного суда.

Я осталась лежать, совершенно распластанная этим воем. Выскочил из соседней комнаты Борис, крикнул: «Что ты валяешься?! Немедленно в комнату!» — поднял на руки оглушенную со сна дочь и понес в наше убежище.

Там уже метался возбужденный и, кажется, ужасно довольный всем происходящим наш пятнадцатилетний балбес. Поддергивая спадающие, на слабой резинке, трусы, он то хватал коробки с противогазами, то бросался на кухню за ножницами.

Когда Борис закрыл дверь и принялся заклеивать щели клейкой лентой, сын с воплем: «Салфетки забыли!!!» — стал рваться наружу, так что в конце концов для успокоения пришлось дать ему по шее. Путаясь в резиновых завязочках, надевали специфически воняющие противогазы. Руки у меня тряслись, как в последней стадии Паркинсона. Борис отобрал у меня противогаз и стал натягивать его мне на голову, рывкая: «Подбородок в выемку! Подбородок, я сказал, в выемку!» По радио передавали нежные песни. Я думаю, их подобрали заранее. «В будущем году мы сядем с тобой на балконе, — пел вольный женский голос, — и станем считать перелетных птиц... Вот увидишь, как все будет прекрасно в будущем году...»

Дочь позволила натянуть на себя противогаз, но когда увидела наши страшные крокодильи рожи, заплакала и стала срывать с себя маску.

— Доченька, смотри! — крикнул отец и принялся отплясывать, задирая ноги, кивая рылом противогаза и виляя задом. Подскочил ко мне, схватил, поволок по комнате в каком-то дурацком танго.

— Я хочу в туалет, — сказала я, трясясь неумной какой-то тряской.

— Это от страха, ничего, — сказал он и крепко прижал меня к груди. — Дети, быстренько отвернулись, мама сядет на ведро.

Тут завывла сирена, но по-другому — ровным утробным воем.

— Отбой!! — заорал сын.

По радио объявили, что можно снять противогазы и выйти из загерметизированных помещений. В большой комнате надрывался телефон. Борис содрал с двери клейкую ленту, я выскочила и бросилась к аппарату.

— Семейство Розенталь? — вежливо осведомились на иврите.

— Нет, нет, — задыхаясь, ответила я, — вы опять ошиблись номером.

— Да-да-да! Ну конечно! Противогаз, герметизированная комната, клейкая лента... Господи, какая же вы прелесть! Я умилен, умилен... Дайте ручку...

— Ну а вы-то сами, Яша, — заметила Рита из своей кабинки, — вы, конечно, гуляли под ракетным обстрелом, подставив лицо прохладному ветру?..

— Конечно, гулял, — невозмутимо отозвался Христианский. — Я и собаку взял и детей — с условием, чтобы тепло оделись.

Перебивая друг друга, стали обсуждать прошедшую ночь: Катька жаловалась, что «этот идиот Шнеерсон» нарочно загерметизировал кухню, чтобы жрать во время воздушных атак; строили предположения о ходе войны — в утренних новостях передавали невероятные какие-то сводки потерь иракского диктатора. Американцы победоносно бомбили...

— Ерунда, — заметил Христианский лениво, — американцы никогда не были хорошими войками. Вот увидите, скоро выяснится, что все эти сводки — фикция.

— Что — фикция?! Что — фикция?! — насканивала на него Катька. — Разбомбленные танки — фикция?!

— Конечно,— шурясь, отвечал Яша,— в конце концов выяснится, что и танки ненастоящие, и война ненастоящая, и вообще — американцы оставят еще эту рожу у власти, так, надают по заднице для остротки, ну водопровод разбомбят, который он починит в три месяца...

В моей кабинке за моим компьютером сидел молодой человек в свитере такого люминесцентно-зеленого цвета, что на лицо и руки его падал мощный цветовой отблеск. Среди культурных слоев населения города Фастова такой цвет называется «сочный». Бледно-зелеными казались его прыщавая физиономия, усы щеткой, бесхозно валяющийся на краю уха чуб.

— Здравствуйте,— сказала я.

Он не ответил и даже не повернул головы, продолжая тыкать зеленым пальцем в клавиатуру компьютера.

Я зашла к Христианскому и сказала:

— Яша, там, за моим компьютером, сидит какой-то глухонемой утопленник. Где мне сегодня работать?

Он расхохотался и крикнул:

— Хаим, ты опять с дамами не здороваешься? — И мне: — Ну что с ним делать? Не умеет он, не умеет. Не обращайтесь внимания. Не за то боролись. Это наш реб Хаим...

До обеда почти не работали, возбужденный Яша сбегал и приволок откуда-то из недр «Ближневосточного курьера» затрепанную карту Ближнего Востока и, согнав всех нас в свою кабинку, расстелив карту на полу, совсем заморочил нам головы, подробно объясняя ход событий, оперируя при этом абсолютно неведомыми нам военными терминами и другой изнурительной чепухой.

В обеденный перерыв я, Катька и Рита спустились в буфет перекусить, и там обстоятельнее, чем обычно, потому что ей пришлось еще прожевывать кусочки шницеля, Рита объяснила все о реб Хаиме, который, по ее словам, украшал «этот питомник ублюдков». Так вот, в Союзе до отъезда реб Хаим был...

— Известный отказник,— почти машинально вставила я.

— Да куда ему — известный! — поморщилась Рита.— Сидел в отказе, да, прибил к Гоше. Когда наконец приперся сюда, в Израиль, радетьель Гоша подобрал его и пристроил в ТИМАК. Но поскольку Хаим ничего — ни-че-го! — не умеет делать, то он просто получает чек в конце месяца. Как персональный пенсионер.

— За что? — удивилась я.

— Ну как тебе сказать...

— За то, что раз в неделю клеит конверты,— вставила Катька,— как алкоголик в ЛТП. (Рядом с ее тарелкой лежал самоучитель английского, в который она время от времени заглядывала.)

— Какие конверты?

— А по углам у нас — видела? — валяются пачки журнала «Дерзновение». Фирма рассылает их по разным адресам. Просветительская деятельность Гоши...

По словам Риты, еще полгода назад, до того, как Бромбардт раскошелился на это помещение в «Курьере», фирма ТИМАК теснилась в квартирке на Бен-Иегуда, где сейчас помещается мозговой центр. И вот там реб Хаим работал — он исполнял должность, которую можно бы назвать «мужик в доме». То есть его использовали, когда нужно было забить гвоздь или винтить лампочку. Рита уже тогда избегала обращаться к Хаиму, потому что Хаим был хам. Она подходила к раву Иегошуа Апису и говорила: «Гоша, велите Хаиму купить скрепки и туалетную бумагу». Тогда Гоша послушно писал на листке «Реб Хаим! Убедительно прошу вас приобрести до завтра скрепки и несколько рулонов туалетной бумаги (мягкой). С уважением — рав Иегошуа Апис». И Рита булавкой припиливала записку на видном месте.

Но Яша, как ни странно, Хаима любит и очень ему покровительствует. И это действительно странно, если учесть, что такое чучело, как Хаим, в сущности, идеальная жертва для Яшиных утех...

— Кстати,— продолжала Рита, осторожно оглядываясь на вдумчиво жующих вокруг сотрудников «Курьера»,— ты знаешь, что у Яши есть роман «Топчан», где в середине идет развернутая страниц на десять сцена полового акта? Так вот. Ничего более занудного в жизни мне читать не приходилось... Да скоро сама прочтешь,— добавила она,— Яша уже намекнул мне, что даст набирать этот роман.



— Как?! — поразились я.— В рабочее время?

Катка, которая давно с нетерпением ждала обещанной сцены полового акта, посмотрела на меня с сожалением и сказала:

— Ой, ну с тобой совсем неинтересно разговаривать...

...После обеда к нам забежала Сима Клецкин из «Ближневосточного курьера». Она жила в Стране уже лет пятнадцать, десять из которых проработала в «Курьере», в отделе объявлений. Когда-то в Москве Сима одевалась у одной портнихи с нашей Ритой, они и здесь приятельствовались.

— Девочки! — выпалила Сима испуганно-весело.— У вас, говорят, редактор новый — не оставьте в беде!

— А что такое? — спросила Рита.

— Да тут текст объявления отредактировать надо.— Вид у нее по-прежнему был странно возбужденным.— Мы вообще-то объявления не редактируем, но тут случай особый.

— А много там текста? — спросила я.

— Да нет,— хохотнув, словно подавившись, сказала она,— одна фраза.— И протянула мне тетрадный лист.

— А что это за слово тут, первое, не могу понять? — спросила я.

Катка вскочила из-за компьютера и заглянула в листок, уперев острый подбородок в мое плечо.

— Вот это — «Ебу...»?

— Ты что, придуриваешься? — спросила Катка.

— Вы не там ударение ставите,— каким-то торжественным тоном поправила Сима.— Он дает объявление о том, что он ... всех подряд за пятьдесят шекелей.

— Кого... всех? — растерянно спросила я.

— Так дорого,— заметила Рита меланхолично, продолжая набирать текст.— Израильяне это делают бесплатно...

— Постойте,— сказала я,— может быть, это какая-то аллегория?.. Может, имеется в виду израильская демократия?..

— Какая там аллегория! — воскликнула Сима.— Вы бы посмотрели на его лицо!

— А при чем тут лицо? — возразила Катка, а Рита добавила, что в этом деле уж вот именно с лица воды не пить.

— Я говорю — даже по лицу заметно, что он сильно есть хочет. Коренастый такой, небольшого роста, ничего особенного. Смотрит на пачку печенья у меня на столе и слюну сглатывает... Я его, конечно, угостила. Говорю: а зачем вы даете объявление в англоязычную газету, вам придется еще перевод с русского оплачивать, почему бы вам не обратиться в русскую прессу? А он говорит: да вы что, откуда у репатриантов деньги — пользоваться моими услугами!

— Вот она, продажная израильская пресса! — сказала Катка с напором.— Идиотская страна! У нас в России приди он с таким объявлением в «Комсомольскую правду», его бы...

— У нас в России,— перебила ее Сима,— и без объявлений всех нас... За что я его выгоню? Он заплатил большую часть своего разового заработка...

— Ладно,— сказала я,— дайте мне сосредоточиться. Сложный текст.

— Да уж, это тебе не пасхальная Агада,— встала Рита.

«Трахую всех за пятьдесят шекелей»? — задумалась я. Нет, грубо... «Пересплю с каждым»? — нет, это вульгарно и неточно.. «Обладаю недюжинными достоинствами в области...»

В это время хлопнула дверь, и над барьерами поплыла черная кипа Христианского.

— Что за сборище в рабочее время? — поинтересовался Яша, вытирая большую оранжевую хурму мятым носовым платком.

Выслушав наши туманные объяснения, придвинул к себе листок, громко надкусил хурму, сочно зажевал...

— О чем тут думать,— сказал он, хмыкнув.— Дайте ручку!

И, склонившись над листком так, что остался виден лишь орлиный нос под черной кипой, быстро набросал своим ужасным почерком: «Профессионал высокого класса удовлетворяет любое желание каждого — недорого, пятьдесят шекелей». Выпрямился, поправил съехавшую набок кипу и сказал победно:

— Учитесь!.. Впрочем, не за то боролись...

Примерно раз в неделю появлялась и бродила меж кабинками с пасущимся видом беременная секретарша Наоми с чудовищной габсбургской нижней губой, похожая одновременно на Филиппа IV, короля Испании с портрета Веласкеса, и на жеребую кобылу с тяжелым задом. Так что, если напрячь воображение, Наоми можно было представить Габсбургом верхом на жеребой кобыле.

До сих пор обязанности секретарши фирмы ТИМАК представляются мне неясными. Знаю только одно: раз в месяц Наоми собирала у нас использованные проездные билеты и возвращала наличными.

В этот раз Рита проездной потеряла, о чем с расстроенным видом поведала Наоми. Та пожевала губой, как кобыла, пробующая свежее сено, и сказала:

— Ну, принеси проездной мужа.

— У нас с мужем разные фамилии,— сказала Рита огорченно.

— Ничего,— успокоила ее Наоми,— мы же все о нем знаем...

Рита немедленно позвонила домой и выяснила, что муж уже выбросил утром использованный проездной.

— А можно проездной соседа? — с надеждой спросила Рита.

— Нет,— строго сказала Наоми.— Соседа мы не знаем.

Полагая, что вопрос исчерпан, мы разбрелись по компьютерам — работать. Побродив вокруг нас, шевеля боками, Наоми вдвинула огромный живот к Рите в кабинку.

— Знаешь что,— предложила она,— поди купи что-нибудь на сумму проездного. Фирма тебе вернет деньги, вроде ты для фирмы закупила. Принесешь только чек из магазина.

Ужасно обрадованные, мы в обеденный перерыв побежали в соседний супермаркет покупать товару на стоимость Ритино проездного.

Выяснилось, что без всего, в сущности, обойтись можно, крутая нужда в доме лишь в мужских трусах, так как на мужа и взрослом Ритином сыне трусы просто горят, не напасешься, ну и что греха таить — это ж не рубашка, что на виду, вечно на этом сэкономишь...

Словом, мы выбрали несколько пар чудесных трусов праздничных расцветок. Рита взяла в кассе чек, посмотрела и ахнула.

— Все, девочки,— сказала она,— накрылись мои деньги. Тут они пишут наименование товара...

Чек она все-таки несмело подсунула Наоми, но, как человек порядочный, предупредила:

— Наверно, все напрасно, Наоми. Здесь написано, что я купила трусы.

— Гам зее лэх,— невозмутимо заметила Наоми, забирая чек. («И это сойдет».)

— А разве фирма ТИМАК нуждается в мужских трусах? — удивилась я.

Наоми глянула на меня с поистине королевским достоинством и ответила:

— Фирме ТИМАК все пригодится. К тому же Пурим приближается. Спишем это как подарок сотрудникам к празднику.

В этот день к нам заглянула Сима Клецкин из «Курьера». Добрая душа, она всегда помнила о нас в случае чего. На этот раз случай подвернулся купить недорого фирменные кружки, которые «Курьер» заказал специально для своих сотрудников.

— Давай тащи,— велела Катька,— а то пьем чай черт знает из каких лоханок.

Кружки оказались замечательно вместительными, белыми, с черным газетным шрифтом. Снизу вверх кружку опоясывала по спирали надпись «Ближневосточный курьер», и вокруг — мелко-мелко — тексты из статей. Я взгляделась в одно из названий: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров...»

В один из этих дней, вечером, на узкой улочке за рынком Махане Иегуда меня накрыла сирена воздушной тревоги. Впечатление было, что город взвыл от неожиданной боли. Побежали люди, натывая друг на друга, раскрывая на ходу коробки с противогазами.

Я остановилась у какого-то пустого лотка, раскрыла коробку, натянула противогаз, как всегда с трудом прилаживая подбородок в специальную выемку, и поскольку во всех инструкциях велено было забегать в ближайший дом, я забежала — это оказалось здание полиции...

В небольшом помещении уже сидели несколько человек в противогазах. Я поздоровалась. Дежурный полицейский за пультом кивнул куда-то в сторону свободных стульев, я прошла и села.

— И так она рыдала, слушай, как будто ребенок у нее умирает...— рассказывал кто-то у меня за спиной.— Ну, я, конечно, выкатил машину из гаража, погрузил на заднее сиденье этого пса и повез к ветеринару. В субботу! А что было делать? Эти русские так привязаны к своим животным...

Время от времени раздавались звонки, дежурный поднимал трубку, говорил успокаивающим голосом. Я не подозревала, как много людей во время воздушных налетов звонят в полицию.

Пульт был рядом, и слышны были голоса звонящих.

— Полиция, слушай, у нас тут сейчас бабахнуло, в Неве-Якове! — крикнул ошалевший мужской голос.

Дежурный вздохнул:

— Ладно, мотек, не бойся. Направляю к тебе воинские подразделения... Бабахнуло...— презрительно повторил он, положив трубку.— В голове у него бабахнуло...— Помолчал и добавил:— В штанах у него бабахнуло...

Минуты через три тот опять позвонил. Извинялся. Говорил, что задремал и со сна ему, видно, почудилось.

Полицейский вдруг подмигнул мне и сказал:

— Подожди, не клади трубку! — И, пощелкав кнопками на пульте, стал громко командовать, наклоняясь к лежащей трубке: — Внимание! Всем боевым частям, пехоте, десанту, танкам, авиации и подводным лодкам, направляющимся в сектор Неве-Яков, — отбой! Это был только сон...

Несколько человек засмеялись, и кое-кто снял противогазы. Я тоже сняла. Похоже, здесь не стоило соблюдать социальную дисциплину по мелочам.

— Из России? — послышалось вдруг рядом. Слева от меня оказался Левин-папа с авоськой в руке. Мне захотелось опять надеть противогаз.

— Из России,— вздохнув, подтвердила я покорно.

— Леву Рубинчика знаете? — поигрывая бровями, словно поощряя меня к положительному ответу, спросил он.

— Знаю,— сказала я.— Вы — его папа.

Он запнулся на мгновение, потом радостно закивал, взмахнул авоськой.

— Правильно!

Ровным заводским гудком прогудел сигнал отбоя. Люди поднялись со стульев, стали складывать в коробки противогазы. Зазвонил телефон на пульте.

— Нет! — ответил в трубку дежурный.— Нет, мотек, это полиция, а не семейство Розенталь.

Показалось, подумала я на пороге. С моим-то колченогим ивритом...



Между тем ежедневно я редактировала эпохальное повествование отказницы Мары Друк под названием «Соленая правда жизни», то есть первую часть романа страниц на триста пятьдесят. Остальное Мара дописывала. И дописывала, кажется, быстрее, чем я редактировала.

Раз в три-четыре дня она — полная брюнетка с шелковистыми, блестящими, нежно вьющимися по скулам бакенбардами — являлась со свежей порцией этой бесстыдной фантазмагории, в которой действовали: нечистая сила и божественное провидение, благородный гинеколог, тайно распространяющий среди пациентов запрещенную литературу по иудаизму, агенты КГБ, сексоты, двое очаровательных Мариных детей, хасидские падики с того света, вампиры, проститутки, экстрасенсы, адвентисты седьмого дня, ведьмы, дирижер симфонического оркестра города Черновцы, сволочи дворники и хамки продавщицы, антисемиты, антисемиты, антисемиты, наконец — насильник-еврей, пошадивший Мару в купе поезда, как только узнал, что и она еврейка, хотя к той минуте успел уже расстегнуть брюки... В повествовании дальше не говорилось о том, застегнул ли он их опять, и получалось, что всю последующую страстную исповедь о своей загубленной жизни еврей-насильник рассказывает со спущенными штанами. Поэтому я позволила себе порезвиться. После слов: «Как, неужели ты — еврейка?!» (не признать в Маре с первого взгляда еврейку из Черновиц мог только слепоглухой) — я не колеблясь встала: «...воскликнул он пораженно, мускулистой рукою решительно застегивая брюки».

Над всем романом реяла архангелоподобная фигура Иегошуа Аписа, по роли своей в Мариной биографии сравнимая лишь с фигурой Моисея, выводящего евреев из Египта.

Будни фирмы ТИМАК напоминали мне вяло ползущий вверх эскалатор метро или вращающийся круг сцены, когда перед тобой выныривает и проплывает мимо множество забавных масок. Фирма не брезговала ничем: брала заказы на издание религиозных книг и брошюр, министерских инструкций, романов и рассказов нескольких сумасшедших графоманов, делала газету враждебной нам общины реформистского иудаизма, сборник рецептов лекарственных трав и пособие по эротике под названием «Как повысить удовольствие». Дополнительным заказом проходила книга рава Иегошуа Аписа «Радость обрезания».

Но, конечно, основным источником нашего существования была «Привет, суббота!», выходящая на иврите, — твердый еженедельный заказ, оплачиваемый Бромбардтом, хотя акции газетки принадлежали Всемирному еврейскому конгрессу.

Материалы для религиозной «Привет, суббота!» готовили несколько журналистов-израильтян, публика веселая, энергичная, по виду — далекая от кошерной кухни. Но возглавлял их рав Элиягу Пурис — маленький, изящный человек с мягким лукавым юмором. Ходил он в полной амуниции хасида: черная шляпа, черный лапсердак — и висящие двумя витыми кудрями длинные пейсы, которые он, работая, завязывал на макушке и закреплял заколкой автоматическим, каким-то российски-бабьим жестом, а поверх нахлобучивал кипу. Рав Элиягу Пурис был отцом одиннадцати дочерей и единственного, последненького сына, после которого, как говорил сам, «уже можно прикрыть лавочку».

Он был одинаково приветлив со всеми нами, но Катюку — она, будучи графиком, имела непосредственное отношение к выпуску газетки — особо привечал. Например, переезжая на новую квартиру, подарил ей обеденный стол и шесть стульев. Забирая мебель, Катюка впервые увидела всех одиннадцать дочерей рава Пуриса, поголовно отменных красоток — шатенок, блондинок, рыженьких, как на подбор изящных, хрупких, в отца, — и годовалого сына, толстощекого любимчика, которого сестры не спускали с рук.

— Рав Элиягу, — сказала она на следующий день, — мне так понравились твои дочери!

— Можешь взять себе парочку, я не замечу, — мгновенно отозвался на это рав Пурис.

Часто он приходил в наш закуток поболтать о жизни, и когда сильно встряхивал головой, на грудь его падала то одна, то другая тощая пейса, которую он потом закалывал на макушке тем жестом, каким русская прачка закалывает в узел распавшиеся пряди волос. Нас он называл шутливо — русская мафия...

С утра, часиков обычно с восьми, Яша Христианский уже сидел в своей кабинке главного редактора. Собственно, Яше не было нужды являться в фирму так рано, но Ляля, мудрая женщина, сказала однажды Рите: «А что ему дома делать? Детей гонять и... груши околачивать? Пусть работает». Она сама привозила его в старом мощном «форде-пикапе», который и Ляля, и Яша, и все мы называли танком. Крепко помятый в дорожных передрыгах, танк пер по любым кодобинам. Яша уверял, что купленному когда-то за три тысячи шекелей танку нет цены и что он, Яша, не променяет его ни на какие «вольво»-«мерседесы».

Так что с восьми Яша сидел уже за компьютером «АБМ» и, правя ивритский текст газеты «Привет, суббота!», на русском в это же время разговаривал с каким-нибудь заказчиком, переминающимся рядом. Время от времени он поднимал телефонную трубку и отвечал что-то на английском. Это впечатляло. Впрочем, в Израиле каждый второй знает три, а то и больше языков. Но Христианский и иврит и английский знал блестяще. Он и русский знал. Вообще он был гений.

Работая по своим кабинкам, мы частенько оказывались молчаливыми свидетелями страшных его издевательств над беззащитными заказчиками. Начиная эскекуцию он, как правило, необыкновенно приветливо и даже ласково. Невзначай вызывал профессию собеседника и мягко, постепенно, как прекрасный саксофонист наращивает звучание саксофона, принимался унижать достоинство

заказчика — уточню, и это очень важно, профессиональное достоинство — так изощренно и на первый взгляд невинно, что человек поначалу даже и не отдавал себе отчета, почему портится у него настроение, почему хочется немедленно начистить рыжую рожу этому милому господину в черной кипе и вообще отчего это хочется уйти отсюда поскорее и никогда больше не возвращаться. Спыхватывался он и обнаруживал, что над ним издевались, как правило, уже на улице. Хотя бывали случаи, что Христианский доигрывался.

По свидетельству Риты, так случилось, когда однажды в фирму забрел по какому-то делу один выдающийся программист, знаменитый сотрудник калифорнийской фирмы «Apple», получавший там бешеные деньги, и Яша принялся за свое, пританцовывая, виляя задом и кивая орлиным носом перед онемевшим от такой наглости американцем. Впрочем, американец довольно быстро очухался, и когда Яша договорился до того, что небрежно предложил кое в чем помочь коллеге, поскольку подозревает, что тот в своем деле «давно зашел в тупик, и не мудрено, потому что профессиональное мышление у многих так называемых программистов хромает», коллега схватил Яшу обеими руками за ремни портупей и основательно встряхнул раза три. Португеза скрипела, добавила Катька, как мачта гибнущего в бурю парусника. Не удивлюсь, если Ляле пришлось зашивать ее цыганской иглой...

Но такое случалось крайне редко. Обычно резвился Яша совершенно безнаказанно.

Каждые два-три часа мы делали перерыв на чай. Включался в сеть серо-голубой электрический чайник Всемирного еврейского конгресса, изумительный чайник, напоминающий лайнер, готовый взлететь, и Рита заботливо готовила Яше чай, как он любит — крепкий, без сахара, в личную его кошерную чашку с тремя голубыми цветочками. Христианский в эти минуты размякал и пускался в мечты на тему «когда мы вольемся в „Курьер“». Состоять в штате «Курьера» означало получать жалованье на порядок выше, и не только жалованье, а многое такое, о существовании чего вообще не подозревают свежие эмигранты из России. Главное же, это означало повышение социального статуса, ибо знаменитый «Ближневосточный курьер» — это вам не хевра ТИМАК с ее паршивой газетенкой «Привет, суббота!».

Дело было в том, что многие крупные газеты на иврите уже выпускали «русскую страницу»: в Стране за последние год-полтора расширился русский рынок и издатель спешили его освоить. Конечно, думал об этом и главный редактор «Курьера» — блистательный журналист и седовласый супермен Иегуда Кронин. Яша уверял, что Кронин положил глаз именно на него, Яшу, и время от времени бегал встречаться с Иегудой Кронином. Правда, с этих встреч он возвращался несколько озабоченный, туманный, но не сломленный, нет, и по-прежнему булькающий надеждой. Так что все свои бредовые мечты Яша начинал обычно фразой: «Когда мы вольемся в «Курьер»...»

Неудачи он переживал, как ребенок. Жаль, я поняла это слишком поздно, когда уже и сердца на него не держала, но в течение тех нескольких недель, призрачных, странных недель моей жизни, Яша вызывал во мне такое зудящее раздражение, что спускать ему даже самые невинные его забавы казалось нестерпимым. Странное дело, его постоянно хотелось отшлепать. Он вызывал неудержимое желание применить к нему именно физическое наказание...

Однажды, когда все мирно сидели по своим кабинкам и работали, Яша вдруг окликнул меня и сказал:

— Все-таки прелестная какая мелодия эта ария Керубино, вы не находите? — И опять засвистел «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...».

— Это ария Фигаро, — поправила я машинально, ибо в тот момент все силы моего истощенного интеллекта были устремлены на борьбу с Марой Друк. Одну из глав своей диалогии она назвала «Затычка в рот не усмирят мысли», и в тот момент я пыталась как-то облагородить это название.

Яша издал свой носовой смешок и проговорил приветливо:

— Я вижу, Мара действует на вас угнетающе. Каждый школьник знает, что это ария Керубино...

Стыдно признаться — кровь бросилась мне в голову, я ощутила удушающий спазм ненависти, да-да, именно нешуточной ненависти, повторяю, мне стыдно в этом признаться, если учесть, что действие происходит во время войны, когда воистину проклятый враг чуть ли не ежедневно унижает всех нас, загоняя в

клетки, заставляя натягивать на лица унижительную мерзость — противогаз. Я вскочила и вышла из своей кабинки.

— Послушайте, Яша, — проговорила я, безуспешно пытаюсь казаться спокойной, — если вот уж именно вам не изменяет ваша гениальная память, я имею высшее музыкальное образование. Не советую вам копать меня в этой области. Смиритесь с тем, что в чем-то я компетентнее вас.

— Ах да-а! Выс-с-шее образование! — любовно жмурясь, ответил он. — Да-да, советский диплом, основы коммунизма-с... А я вот готов сию минуту заключить с вами пари, что эта мелодия, — он опять посвистал очень приятным, точным, переливчатым свистом, — не что иное, как ария Керубино. Заодно вы пополните ваше выс-с-шее образование!

— Хорошо, спорим, — согласилась я кротко, внутренне стекленея и позванивая от нехорошего азарта.

— На сто шекелей? — спросил он насмешливо.

— Нет, — сказала я. — Сто шекелей я вам даю, если вы правы. Если же выиграю я, то в присутствии Иегуды Кронины я отхлещу вас по физиономии рукописью Мары Друк:

— Что-что? — удивился он.

— Отхлещу по мордасам Марой Друк, — тихо и жестко повторила я с бьющимся сердцем, — перед Иегудой Кронином. Потом вливайтесь в «Курьер» с начищенной физиономией. Идет?

Видимо, его обескуражило и даже слегка испугало выражение моего обычно лояльного лица. И насторожила рукопись Мары в качестве орудия наказания.

— Ладно, я проверю, — пробормотал он.

— Как, вам уже расхотелось спорить? — ядовито поинтересовалась я.

— Я должен проверить, — сумрачно бросил он, глядя на дисплей.

Я ушла в свою кабинку, села за рукопись и долго еще, наверное, минут сорок, не могла работать, напевая про себя — тьфу! — «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...».

Приближался Пурим. Американцы с тяжелой педантичностью бомбили Ирак. Ирак с такой же педантичностью посылал «скады» на Израиль. Диктатор сидел в одном из своих бункеров. Светские евреи недоумевали: что себе думает Мосад?.. Религиозные евреи только улыбались: они знали, что в таких случаях думает себе Он накануне Пурима. Между тем под псевдонимом Авраам Авину Яша написал и издал третий номер журнала «Дерзновение». Толстые пачки журнала лежали повсюду — на столах, под столами, штабелями вдоль стен. Иногда мы присаживались на них вместо стульев. Раз в неделю приходил персональный пенсионер фирмы реб Хаим, клеил из грубой бумаги конверты и раскладывал по ним экземпляры журнала. Отправлять эти пакеты было обязанностью Фимы Пушмана, конгрессмена и секретаря. Фиме же нельзя было поручать ничего. Бывало, попросишь его сбежать на угол купить что-нибудь съестное, например шуарму, — он побежит и купит, но сдачу забудет и шуарму уронит. Так что к нему, как и к Христианскому, постоянно хотелось применить физическое воздействие.

(Вообще никогда мне не хотелось так часто кого-то бить, как за время работы в фирме ТИМАК. Почему-то на это время у меня ослабли все остальные коммуникативные функции и окрепло только саднящее иступленное желание дать наотмашь по морде — то Фиме, то Хаиму, то Христианскому, то миллионеру Бромбарду с расстегнутой ширинкой, то толстому заказчику из «Меа-Шеарим». То есть в разнузданном своем воображении я, можно сказать, совершенно распустила руки. Да и подсознание в эти недели вытворяло черт знает что: чуть ли не каждую ночь я с упоением избивала Аписа. Рав Иегошуа Апис, которого я и в глаза-то не видела, ускользал, менял лица, зловеще хохотал и вообще был омерзителен. Само собой разумеется, в четвертом акте ружье должно было выстрелить.)

— Послушайте, Фима, — однажды спросила я, — а по каким, собственно, адресам рассылается журнал «Дерзновение»?

Фима с пачкой конвертов в руках, уже готовый к выходу, остановился, словно впервые задумался над этим вопросом, и наконец сказал:

— Ну... людям... разным. В России тоже... Кстати, можем и вашим близким послать... Это бесплатно... Гуманитарная деятельность... Есть у вас друзья в России, которые интересуются еврейской историей?

— Видите ли, Фима,— замаялась я,— те, кто интересовался еврейской историей, уже уехали в Израиль. Остались в основном те, кто интересуется русской историей...

— Ничего, ничего, им тоже не помешает! — Он оживился, и по всему было видно, что не угас еще в нем могучий дар уговаривать живых людей фотографироваться на могильные памятники.

Я живо представила себе кое-кого из моих друзей, всю жизнь борющихся со своим еврейством, как с застарелым триппером. Представила, как почему-то ранним зимним утром одному из них звонит в дверь почтальон в телогрейке и вручает заказную бандероль из страны, при имени которой мой друг всегда морщился.

Представила, как, заспанный и ошалевший, в тапочках на босу ногу, он в прихожей судорожно распечатывает пакет, достает журнал, раскрывает его и натывается на такой, например, абзац: «На двенадцатом году царствования Ахаза, царя Иудеи, Гошеа, сын Эли, стал царём над Израилем в Шомроне и правил девять лет... На третьем году царствования Гошеа, сына Эли, царя Израиля, воцарился Хизкия, сын Ахаза, царя Иудеи...» — и как потом на кухне, взбудораженный и злой, он курит у окна, из которого открывается вид на автостоянку «Бутырские тополя», нервно потирая небритые щеки и крупный, с горбинкой нос...

— Нет, Фима,— сказала я,— оставим в покое моих российских друзей...

— Приближаемся...— шепотом сообщала мне Рита, набиравшая роман Христианского «Топчан», — неуклонно приближаемся к половому акту...

Вечером мне позвонил Гедалия, староста группы на занятиях рава Карела Маркса.

— Приходите завтра в семь,— сказал он.— Рав Карел проводит занятия, несмотря на военное время.

— А какая тема завтра? — спросила я.

— Точно не знаю, извините, мне еще многих надо обзвонить...

Между тем над фирмой ТИМАК потянуло зябким холодком. Что-то случилось. Что-то сдвинулось, накренилось, съехал какой-то рычажок.

Христианский стал чаще убегать на заседания совета директоров фирмы, подолгу нервно и отрывисто говорил с кем-то по телефону, переходя с русского на иврит, а Гоша Апис звонил в фирму все реже, словно бы отошел от дел, и все это выглядело так, что Яша брошен Аписом на произвол жесткой издательской судьбы.

Являлся несколько раз миллионер Бромбардт в расстегнутой на все пуговицы рубашке, со спичкой в зубах, всех подозревающий и всем недовольный. Отзывал в сторону Христианского и долго выяснял отношения. Миллионер, сказала на это Катька, зубочистки купить не может...

Христианский нервничал, много и возбужденно говорил об отделении нашей группы от фирмы, кажется, испортил отношения с Гошей и больше почему-то не заикался о присоединении к «Ближневосточному курьеру» — очевидно, блистательный Иегуда Кронин недвусмысленно послал его к чертям. Получалось, что мы не за то боролись, а вот за что — было пока неясно нам троим. Все мы ждали светлого будущего; непонятно только — откуда.

Рита, как самый умный и самый старший сотрудник фирмы, кое-что знала, но не объясняла нам, а только намекала.

Однажды, когда в обеденный перерыв мы потягивали кофе из увесистых чашек фирмы «Ближневосточный курьер», Рита шепотом поведала, что Иегошуа, Апис наш, оказывается, не одну фирму уже основал и пережил. Фирмы его сгорают, компаньоны разоряются, а Гоша, как птица Феникс, возрождается из их пепла.

— Ну и что? — спросила я.

Катька переглянулась с Ритой и сказала:

— За что я тебя люблю, дуру: чистый ты человек в бухгалтерском деле...

Оглянувшись вокруг, Рита шепотом же посоветовала нам сидеть тише воды и ниже травы, потому что Гоша человек в высшей степени опасный...

Катька кивнула с посвященным видом, я же, будучи действительно чистым и даже девственным человеком в области бухгалтерского учета, ничего не поняв, отхлебнула кофе из чашки и, поставив ее на стол, машинально прочла опоясывающую чашку вязь: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров...»

Вечером после работы с противогазом на боку я поехала через весь город на занятия рава Карела. Как и в прошлый раз, с трудом отыскав улицу Рахель-имену, я долго бродила в темноте по стройке, выискивая проход в переулочек, и когда наконец вышла к дворцу мавританской архитектуры и увидела мощную, прямую, словно декорационную, пальму у фонтана, то минут пять стояла и смотрела, как волнуются и трепещут ее листья под театрально ярким светом из окон дворца. Потом взбежала по внешней, полукругом, лестнице на второй этаж и толкнула дверь.

Я опять немного опоздала. Пробралась к свободному стулу возле Гедалии и села.

Рав Карел, красивый, изяшный, рокошущий и поющий, был сегодня в ударе.

— «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили вы из Египта. Как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех ослабевших, а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога...»

Я наклонилась к Гедалии и прошептала:

— А что, рав Карел повторяет «Первую битву с Амалеком»? Мы ведь уже прошли это...

— Видите ли,— шепотом ответил мне Гедалия,— много свежего народу на курс привалило, и рав Маркс счел целесообразным повторить лекцию... Это отрывок из Второзакония...

— «И вот, когда успокоит тебя Господь, Бог твой, от всех врагов твоих со всех сторон,— гремел голос рава Карела,— на земле, которую Господь Бог твой даст тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь...»

Этой ночью трижды выла сирена. Трижды вскакивали, тащились в наше убежище, заклеивали дверную щель, неработанным уже движением натягивали противогазы.

Ныло под ложечкой. Почему-то казалось: на этот раз — все, «скад» с газовой боеголовкой, и непременно в конце концов на Иерусалим, и уж как раз мы тут, на горе, на верхнем этаже. К тому же в этот раз случилось то, что давно должно было произойти: в кастрюльке для чая, поставленной на газ еще до тревоги, выкипела вода, кастрюлька обуглилась, повалил дым. Мы же были хорошо защищены противогАЗами и не чувяли ничего. Выскочили в черный дым, в чад и ужас соседей. Вопли, кашель, ругань, проветривание комнат до утра и так далее. Под утро задремали одетыми.

Утром я поплелась на работу, где у меня стали складываться довольно натянутые отношения с Христианским.

Дело в том, что накануне самым скандальным образом обнаружилось, что я вовсе не дамочка, набитая соломой.

Нафискалила Катька, которая вдруг, сведя воедино имя мое и фамилию, спросила на всякий случай — а не та ли я, чьи рассказы и повести читала она в мятежной своей юности там-то и там-то? Как же, как же, особенно ей запомнилась та повесть — помнишь? — где баба рождает от другого... так даже читала в метро и редела до станции «Орехово», потому что как раз в том году тоже подумывала бросить Шнеерсона... Я кисло подтвердила, что — да, было-было, имело место... У Яши сделалось такое сладкое лицо, что сразу стало очевидно — в фирме ТИМАК я не жилец... Минут десять спустя Яша попросил у меня на проверку редактуру очередной брошюры Иегошуа Аписа на тему Исхода из Египта. Исправил «проснулся» на «пробудился», «Ты давал нам все необходимое» на «Ты снабжал нас всем необходимым» и, мурлыкая и оттягивая большими пальцами ремни портупей, ласково посоветовал учиться чувству слова, хотя уж что там — на нет и суда нет, а жаль: писатель писателем, но ведь и русский язык знать надо...

Я поняла, что Яша вышел на тропу войны.



После работы я решила заехать к Грише Сапожникову — посоветоваться. Тот, как обычно, сидел у себя в комнатенке в драной майке, отдувался и правил какую-то рукопись.

— Погоди, я оденусь. — Он потянулся к малому талесу, висящему на гвоздике.

— Да ладно, не суетись, — сказала я. — Лучше посоветуй, как быть.

Гриша все-таки надел талес и с чувством исполненного долга почесал голое, поросшее кудрявыми кустиками плечо.

— Что, — спросил он, — допек?

— Допек, — грустно подтвердила я.

Деловым движением вынув из стола бутылку водки, Гриша распечатал ее и налил себе в бумажный стакан.

— Произведения почитать просила? — строго спросил он.

— Просила.

— Давал?

— Нет...

— Значит, бездарно просила! — заволновался Гриша. — Не настойчиво, не истово! Я же учил тебя, дуру!

Я кивнула, виновато понурясь. Гриша помолчал, подумал...

— У него есть роман, «Топчан»... — задумчиво проговорил он.

— Знаю...

— Так там в середине — огромная сцена...

— Да, — сказала я.

Мы помолчали.

И тут взвыла сирена.

— Мамашу его!.. — проворчал Цви Бен-Нахум, выдвигая нижний ящик стола и, крихтя, вынимая оттуда противогаз в чем-то липком, вероятно в коньяке, с налипшими на стекла крошками. — Саддам, бля, — продолжал он, талесом обтирая противогаз, — так буфетчик вытирает половник, перед тем как окунуть его в кастрюлю со шами. — Смотри, как бесится!.. Ну ничего... До Пурима Амалеку беситься... До Пурима осталось...

Мы сидели в противогазах друг против друга в этой крошечной комнатке... Уже не было страшно... Одна только безнадежная усталость и странное ощущение нескончаемости этой, в общем-то, короткой войны.

Гриша налил водки в стакан и, подняв противогаз за рыло так, что тот застрял у него на лбу, как стетоскоп, выпил залпом.

— И какого хрена ты ходишь с умным видом! — вспылил вдруг Цви Бен-Нахум. — Я же учил тебя: ты дамочка, дамочка, набитая соломой! А ты ходишь... со своим лицом!

— Гриша, — сказала я гудящим в противогазе голосом, — гори оно все огнем, если и здесь нельзя ходить со своим лицом. Тогда уже можно поворачивать в Зимбабве.

Загудел сигнал отбоя. Я аккуратно сняла противогаз, сложила в коробку, затынула ремешки.

— Налей и мне водки, Гриша, — попросила я.

Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Подожди, я помолюсь и отвезу тебя в Рамот... Ты выглядишь, как дохлая корова.

Гриша жил сразу в нескольких местах, вернее, ему негде было жить совсем. Будучи, как многие пьющие люди, человеком редкостного благородства, он оставил бывшей жене и детям квартиру в центре Иерусалима, за которую до сих пор выплачивал банку долг — чуть ли не половину своей зарплаты. Сам же скитался по семьям друзей. Впрочем, был у него и некий угол, куда он мог забиться в случае тоски и запоя, — бомбоубежище в одном из домов Рамота. Довольно чистое и, в общем-то, уютное логово с раковиной и унитазом, Гриша лишь раскладушку поставил и приволок плетеную этажерку для книг.

— Разреши, я домой позвоню, — попросила я, — успокою своих...

Пока Гриша молился в уголке, я набрала номер своего телефона. Долго не соединялось, потом долго не подходили. Наконец сняли трубку.

— Боря, это я...

— Нет-нет, — ответил незнакомый бас на иврите, — вы ошиблись. Это семейство Розенталь.

У меня возникла обморочная пустота в области солнечного сплетения, нечто вроде космической черной дыры, в которую со свистом втягиваются внутренности. Я бросила трубку.

Гриша в уголке проборматывал слова молитвы, наконец сказал «амен» и стал надевать рубашку.

— Ну, поехали?

Он был одним из самых гениальных водителей, какие встречались мне в жизни. Доехать он мог в любом состоянии, даже когда плохо помнил, куда и зачем едет. При этом машина была послушна его нетвердой руке, как умная лошадь своему тяжело раненному хозяину. При всей своей осторожности я не боялась садиться к Грише в машину. Но Гриша, мнительный, как все алкаши, никогда не забывал добавить: «В моей машине ты в абсолютной безопасности».

Мы вышли на темную улицу, где у тротуара притулился старый Гришин рыдван, всегда забитый какими-то пыльными тряпками, пустыми, катающимися под ногами бутылками, старыми газетами и непарными носками, которые Гриша переодевал во время дождя. Мокрые он развешивал на спинках сидений. Они высыхали до следующего дождя.

Гриша открыл дверцу, и я села вперед, предварительно отпихнув ногой пустую бутылку из-под пива «Маккаби».

— Пристегни ремень,— сказал Цви Бен-Нахум,— а то полицейские, суки, остановят.

Минут десять мы ехали молча. Когда, словно вынырнув из-за черного леса, взбежал по горам желто-голубыми дрожащими огнями Рамот, Гриша сказал:

— И запомни: Яша далеко не самый отвратительный тип в этой шарашке. Есть по-настоящему опасный человек, от которого действительно надо держаться подальше.

— Ты имеешь в виду Гошу Аписа? — спросила я. — Да я его ни разу в глаза не видала.

— Вот и прекрасно. И сиди там, пока тебя не выгнали. Все равно этой конторе не суждена долгая жизнь.

— Почему? — живо спросила я.

— Потому что она — детище Аписа.— Он помолчал.— А рав Иегошуа, как Сатурн, пожирает своих детей...

Гриша притормозил возле моего подъезда. Я отстегнула привязной ремень и сняла с колен неизвестно откуда взявшийся Гришин носок с идилической дыркой на пятке, которую хотелось немедленно заштопать.

— Спасибо, Гришенька,— сказала я, перед тем как выйти из машины.

— Будь здорова, корова, — ответил он растроганно.— Видишь, я говорил тебе: в моей машине ты в абсолютной безопасности.— И, искоса взглянув на меня, добавил:— В любом смысле...



— Приближаемся! — время от времени возбужденно шептала мне Рита.— Неуклонно приближаемся к половому акту...

Но приблизиться вплотную к половому акту в романе «Топчан» так и не получилось, потому что как раз в эти дни фирма пошла свистеть. Это чисто ивритское выражение, и я с особым удовольствием калькирую его на русский наш ненасытный до нового язык, потому что выражение это вызывает у меня следующую ассоциацию: так детский шарик, вырвавшись из рук надувавшего его человека, начинает как живой метаться по комнате, со свистом выпуская воздух, пока не затихнет где-нибудь под столом безжизненным лоскутом.

Так вот, контора пошла свистеть. И если развить ассоциацию, можно добавить, что Иегошуа Апис, без усталости надувавший фирму в течение трех лет, собственной рукою вытащил затычку, благодаря которой до сих пор фирма ТИМАК держалась в довольно округлом состоянии. Короче: рав Иегошуа Апис продал газетку «Привет, суббота!» — главный заказ, на котором существовала фирма.

Собственно, рабочее утро в тот день, как пишут в таких случаях, не предвещало... Как обычно, проходя автобусной станцией, я подала шекель моему нищему, как обычно, он пожелал мне здоровья и богатства.

В своей кабинке я в который раз застала реб Хаима, тычущего в клавиатуру компьютера то одним, то другим бледно-зеленым указательным пальцем. Физи-

ономия над люминесцентно-травяным свитером имела необыкновенно важное выражение всплывающего со дна утопленника. В который раз я машинально поздоровалась, хотя уже прекрасно знала, что с Хаимом здороваться — против ветра плевать. Я поздоровалась, он не ответил, я осталась в дурах. И как обычно, разозлившись, сказала:

— Будьте любезны, подите куда-нибудь вон!

Он поднялся и, колеблясь, как водоросль, ушел в кабинку к Яше. Минут сорок я невольно слушала их архитектурные разработки на тему остекления балкона в квартире Хаима.

— Вот смотри, — увлеченно говорил Яша, — здесь — дверь. Так? Если перенести стенку сюда, до этого места, то ты имеешь выход в коридор отсюда. Но не за то боролась. Предлагаю выгородить кладовку, вот так...

В это время в зал вкатилась крошечная, в половину человеческого роста, женщина с папкой в руках. Искала она, очевидно, Яшу. Сквозь проем кабинки я видела, как указал ей на нас сотрудник «Привет, субботы!». Заказчица покатила в нашу сторону, заглянула робко в Яшину кабинку и вдруг вскричала на весь зал удивительно звучным, наполненным, я бы даже сказала, оперным контрольтю:

— А эта гнида что тут делает?!

И не успели мы понять, что происходит, как они уже дрались с реб Хаимом, обнявшись для религиозного издательства довольно-таки тесно.

Все бросились разнимать, отдирая тощего реб Хаима от воинственной карлицы, мы с Катькой выволокли наконец бурно дышащую женщину в коридор, где она нам и поведала, обмахиваясь папкой, что это вторая уже с утра драка ее с реб Хаимом, а первая произошла недалеко отсюда, у телефонного автомата, где реб Хаим бесконечно долго нудил по телефону, не пуская ее сказать два слова папе, чтобы тот проверил, «или выключен газ». Когда вконец возмущенная женщина спросила, «или есть у него совесть, эта гнида зеленая, закрыв ото так ладонью трубку, высокомерно заявляет: „А вы сидели в отказе, были в лагерях?“» Так что, слово за слово, ну она и вцепилась в его свитер и давай колошматить...

— Вот это вы напрасно, — заметила Катька, — это такая страна идиотская, что обозвать можно как угодно и кого угодно, хоть члена кнессета, хоть главу правительства, но когда руки распускают — этого здесь не любят...

— А что вы принесли? — спросила я, кивнув на рукопись.

— Да роман это папин, воспоминания о гражданской войне. — Она махнула рукой. — Нет, я, где эта гнида сидит, туда не отдам!

Вернувшись в зал, я застала грандиозный скандал между равом Пурисом, редактором «Привет, субботы!», и бледным Христианским.

— Ты для меня — ноль, понимаешь, ничто! — кричал рав Пурис как раз в тот момент, когда я вошла. Он употребил для этого ивритское слово «клум», по-моему, означавшее больше, чем ничто, больше, чем ноль, — в какой-то степени это слово имело оттенок чудовищной, космической пустоты.

Рав Пурис, маленький и изящный, как разгневанная примадонна, много чего еще кричал на иврите, употребляя незнакомые мне, по-видимому, идиоматические выражения. Пейсы его развязались на затылке и упали на грудь, как рассыпавшиеся пряди спившейся прачки.

Христианский же... Удивительная вещь: Яша выглядел подавленным. Сделав унижение ближнего одним из самых острых, самых сладостных своих развлечений, сам он так и не научился с достоинством сносить унижение. В сущности, Яша оказался совершенно незащищенным человеком.

И тогда из своей кабинки выскочила Катька, российская савеловская девочка, одержимая еврейской жадной социальной справедливости, — мутант, неизбежный в условиях галута.

— Ты чего орешь? — негромко спросила она рава Элиягу Пуриса на хорошем иврите. — Чего ты пасть свою раззявил? При чем тут Яша к вашей вонючей газетенке? Тебе же сказано — Апис вас продал, никого не спрашивал. При чем тут Яша?

Рав Элиягу рванул с лица очки и, тыча ими в Катькину сторону, совсем уж неразборчиво для моего бездарного уха закричал что-то о засилье русской мафии. У Катьки дрогнуло лицо.

— Держите меня! — сверкая глазами, приказала она тихо по-русски. — Ой, вот теперь крепко меня держите, чтоб я ему пейсы не выдрала.

Мы с Ритой навалились на нее справа и слева, затащили в Ритину кабинку, и, пока растерянные сотрудники «Привет, субботы!» собирали вещи и расходились по домам, она, сверкая глазами, переругивалась с равом Пурисом, то и дело порываясь сбросить нас с Ритой и идти выдирать тому пейсы.

Наконец мы остались вчетвером — Хаим смылся куда-то еще в начале скандала. Рита включила наш чудесный электрический чайник, похожий на взмывающий в небо лайнер, и, когда он закипел, сама заварила всем чай, Яше — отдельно в его кошерную чашку, как он любит: два пакетика, без сахара.

— Печенья бы хорошего, — мечтательно пробормотала Рита, — что-то забыл нас Всемирный еврейский конгресс...

Христианский на это промолчал.

— Бедный рав Элиягу, — сказала вдруг Катька. — Здорово я ему нахамила?

— Еще бы, — заметила Рита. — Это уж как водится у тебя. Человек работу потерял, у него одних дочерей одиннадцать штук...

— Хорошо, что вы меня держали, — вздохнула Катька. — Ничего, я извинюсь перед ним... Черт, здесь с человеком и помириться как следует невозможно. Ни тебе обнять, ни поцеловать...

— А знаете что, господа? — встрепенулся вдруг Яша. — Это даже хорошо, что от нас отшелушилась «Привет, суббота!». И без нее мы прекрасно можем существовать.

— На чем же? — спросила я ядовито. — На дилогии Мары Друк «Соленая правда жизни»? Кстати, вчера она принесла еще сто восемьдесят страниц, вследствие чего дилогия плавно переползла в трилогию.

— На здоровье! — довольно отозвался Христианский. — Она за это заплатит, она уже внесла задаток... Нет-нет, говорю вам, господа, — мы еще выплывем. А «Сохнут» с его великолепными брошюрами о таможенных правилах? А сборник советов по эротике? Это золотая жила! К тому же мы издаем редчайший по тематике журнал «Дерзновение». Не пора ли перевести его издание на коммерческие рельсы?

Он вдохновлялся все больше и больше, щурился, кивал орлиным носом по сторонам.

— Да что нам Гоша, что нам, в конце концов, перепады настроений Еврейского конгресса! Не за то боролись! У нас остался Бромбардт, в конце концов, а старик Бромбардт, ей-богу, не чужд филантропии!

— Кто не чужд филантропии? — холодно переспросила Катька. — Миллионер, который зубочистку купить жадится? Не забывайте, что заказы из «Сохнута» и прочих зланных мест добывал Апис как знатный отказник. Не тешьте себя иллюзиями, гос-по-да, — саркастически подчеркнула она, — мы больше нерентабельны, а Бромбардт, выкладывающий из кармана две тысячи долларов в месяц за аренду помещения, он, конечно, скотина, но не дурак, я подозреваю.

После этой скептической тирады мы с Ритой пригорюнились, как-то сразу припомнив, что Катька-то наша степень имеет в одной из сложных областей не то статистики, не то кибернетики...

— Чепуха, — заметил Яша небрежно, — придется прочесть тебе пару лекций на тему издательского бизнеса. Сомневаюсь, правда, что ты способна воспринять хоть десятую часть. Но, голубушка, надо же пытаться развивать свои мыслительные возможности...



Назавтра стало известно, что Бромбардт (наш старик Бромбардт, не чуждый филантропии) отказывается платить за помещение. То есть он, возможно, готов платить и дальше, но только в том случае, если компаньон его Иегошуа Апис вместе с главным редактором хевры Христианским представят подробный отчет о проделанной работе — в днях, наименованиях заказов и суммах, полученных от заказчиков.

И прочая социалистическая бредень, откомментировал Яша. Все утро он гоношился, закатывал долгие тирады на темные для меня бухгалтерские темы и нервно оттягивал ремни португепи большими пальцами.

— Яш, да представь ты ему, суке, отчет! — вспыхнула Катька. — Давай быстренько набросаем! Пусть подавится.

— Ты не в курсе! — зашипел на нее Яша. — И не лезь, ради бога, в это дело!

К полудню выяснилось, что исчез Апис. То есть сначала он был где-то тут, но найти его не представлялось никакой возможности. К вечеру стало известно, что рав Иегошуа Апис вылетел в Лондон по делам Всемирного еврейского конгресса.

— Так,— тяжело обронил Христианский. Весь день он был молчалив и выглядел потрясенным настолько, что по ошибке выпил чаю не из своей кошерной чашки, а из Катькиной, белой, с надписью «Ближневосточный курьер». Сиротливым и одиноким остался Яша Христианский стоять на юру, и все наши попытки взбодрить его оставались безуспешными.

Вечером мне позвонила Рита.

— Да не может он представить никакого отчета,— сказала она,— как ты не понимаешь! Половина заказов проходила вне всякого учета...

— Как это? — тупо спросила я.

— Да так. Заказы добывал Апис. Он же стряпал текст на нужную тему, ты, милая моя, придавала этому бреду пристойные очертания, я набирала, Катька разгоняла на компьютере...

Я молчала, пытаясь постичь смысл ее слов.

— Погоди-ка,— сказала я наконец,— получается, мы занимались преступной деятельностью?

— Да,— сказала Рита просто и мужественно,— но все равно мы — честные люди...



Дня два еще мы старательно изображали издательскую деятельность. Рита вяло набирала роман «Топчан», неуклонно приближаясь к сцене полового акта, я редактировала трилогию Мары Друк, те новые сто восемьдесят страниц, которые она принесла два дня назад.

Новая часть Мариной эпопеи содержала совсем уж фантастические подробности: полет валькирий по ночному небу города Черновцы, буквы Священного Писания, вспыхивающие на стене над головой секретарши ЖЭКа, благородные американцы, производящие на дому операцию по обрезанию крайней плоти всем желающим, жокеи, скаковые лошади, прогулочные катера, антисемиты, антисемиты и прочая, прочая, прочая...

Кроме того по заказу Медицинского фонда врачей — выходцев из России — я завершала редактуру сборника «Народные средства лечения». Сидела, уставившись в главу «Помощь при удушении»: «Осторожно обрежьте веревку, ремень или платок, при помощи которого несчастный удушился. Придерживая затылок, вынесите тело на свежий воздух, приложите к пяткам горчичники и поставьте несчастному клизму с солью и мылом...»

Несколько раз приходила беременная секретарша Наоми, прохаживалась по залу, как унылая лошадь по скошенному пастбищу...

Катька откровенно слонялась без дела. (Посмотрев самоучитель английского, она недели за две прочла со словарем два романа Агаты Кристи, после чего сразу переключилась на Стейнбека.)

— Чего ты там царапаешь? — спрашивала она меня. — Брось! Все равно завтра срок уплаты за аренду зала. Бромбардт требует отчета, Яшка отчета не представит. Бромбардт не заплатит. «Курьер» вышибет нас отсюда — и будет прав. Потом ты напишешь повесть «Конец фирмы ТИМАК». Мы все там будем фигурировать...

Яша метался. Грузный, томный, в португее сотрудника госбезопасности, с кобурой под мышкой, он срывался среди дня и мчался выяснять отношения то в совет директоров, к тому времени окончательно распавшийся, то в какие-то другие конторы. Всплыла фигура, до сих пор сокрытая от наших взоров, — адвокат фирмы ТИМАК Шрага Бедакер. Он тоже требовал отчета о деятельности хевры, ибо неожиданно обнаружилось, что из оборота фирмы каким-то образом выпали триста тысяч долларов. Сумма не маленькая, хладнокровно заметила на это Рита.

— Гад! — мрачно проговорила Катька. — Он подставил Яшу и смылся! — И с чисто русской обреченностью добавила: — Яша сядет...

— А неплохо б ему посидеть,— с неожиданной мстительностью в голосе сказала Рита. — А Катька у нас баба сердобольная, будет передачи носить.

— Чего здесь носить,— возразила Катька,— в этой идиотской стране преступников кормят, как у нас шахтеров в санаториях.

К вечеру появился Христианский, осунувшийся, с воспаленными красными глазами, с торчащим носом. На Яшу было больно смотреть. По всему видать было, что душа его рвалась в рай, а ноги — в полицию.

— Апис не звонил? — спросил он.

— Откуда? — спросила я. — Из палаты лордов?

— Знали бы вы, господа... — Он не договорил, махнул рукой.

— Знаем, знаем, — с суровой прямотой сказала Катька. — Давай я чайку тебе налью. Где там твоя долбаная чашка?..

В этот момент появился завхоз «Ближневосточного курьера» и объявил, что опечатывает помещение. А если хевра ТИМАК хочет вывезти свое оборудование, то нам следует поторопиться: на все про все он готов дать три часа.

Мы заметались, как ошпаренные тараканы. Первым делом я схватила чайник Всемирного еврейского конгресса и папку с рукописью Мары Друк «Соленая правда жизни».

Христианский воскликнул:

— Эвакуируйте журналы! — указывая на штабеля журнала «Дерзновение», лежащие повсюду. — Имейте в виду, это библиографическая редкость! Это паритет! Растащат!!

— Кому они, на фиг, сдались, — сказала Катька. — Выбросить могут, это да.

Мы принялись вытаскивать в коридор пачки «Дерзновения».

— Пойдите! — сказала Рита. — Бред какой-то. Чем мы заняты? Надо вывозить компьютеры! Яша, что вы бегаєте? Позвоните Ляле, чтоб приехала на танке. Перевезем все в контору на Бен-Иегуду.

— И позвоните этому раздолбаю Пушману! — закричал Христианский. — Пусть приходит стулья свои таскать! Секретарь, конгрессмен, мать его...

Через полчаса приехала Ляля на танке, прискакал ошалевший Фима Пушман, и эвакуация имущества фирмы ТИМАК началась полным ходом.

В разгар спасательных работ появился заказчик из «Меа-Шеарим» — толстый, бородатый, из тех, кто носит талес поверх шубы, пейсы, закрученные штопором, просились в бутылку — и стал требовать, чтобы Яша закончил заказанную им брошюру о значении шабата.

Яше ничего не оставалось делать как сесть за не вынесенный еще компьютер доделывать брошюру. Толстый заказчик уселся в проходе между кабинками на собственность Еврейского конгресса — стул, подлежащий выносу, — и, задумчиво наматывая на указательный палец локон пейсы, стерег Яшу, чтоб тот не смылся.

— Яша, — спросила я на бегу, — куда деть Мару?

— А пошла б она к черр-рр-тям собачьим! — прыгнул Христианский.

И в эту минуту взвыла сирена воздушной тревоги — последней воздушной тревоги за эту войну.

Я надела противогаз и, схватив в обе руки пачки «Дерзновения», побежала к выходу. Из-за ограниченного обзора в противогазе я опрокинула толстого заказчика из «Меа-Шеарим» и повалилась сверху, запутавшись в его пейсах и мягкой бороде. Он пытался стряхнуть меня с не меньшим омерзением и ужасом, чем если б ему на спину упал с потолка тарантул.

Конгрессмен Фима Пушман старался поднять нас, тем самым совершенно запутав ситуацию. Мы барахтались в узком проходе между кабинками, среди рассыпанных пачек «Дерзновения», сирена выла, заказчик страшно ругался, проклиная фирму, Яшу, Еврейский конгресс, правительство Израиля и меня с моим противогазом.

И тут в зал влетел миллионер Бромбардт, красный, как все альбиносы в минуты потрясений, с розовыми глазами и расстегнутой ширинкой.

— Стоять!! — заорал он по-английски. — Не смей!! Грабеж!! Оборудование фирмы наполовину оплачено мной! Я подам в суд на ваш чертов Еврейский конгресс!

И дальше уже я плохо понимала, потому что Христианский в ответ тоже закричал что-то по-английски, и тоже что-то насчет суда и адвоката.

Бывающий в пыли заказчик из «Меа-Шеарим» закричал, что Яша обязан закончить брошюру о значении шабата, иначе он не отдаст деньги из рук в руки, как договаривались, а будет оформлять заказ путем официального договора.

Услышав о деньгах из рук в руки, Бромбардт совсем обезумел и завопил: «Так вот что я оплачивал столько месяцев!» — дальше все происходило, как в примитивных дерганных фильмах дочаплинской эпохи. Бромбардт, схватив под-

вернувшуюся ему под руку папку с трилогией Мары Друк, изо всей силы огрел Христианского, орудя трилогией как лопатой.

Христианский пал на карачки, как резанная жертвенная корова во дворе Храма. Слетевшая с головы его черная кипа совершила плавный полукруг наподобие бумеранга. Бромбардт размахнулся еще раз, но тут очнувшаяся Катька с криком: «Он убьет его!!!» — налетела на миллионера, вырвала из рук его трилогию и запустила ее в выбегавшего из зала Бромбардта. Тяжело кувыркаясь, полетела по залу папка с трилогией Мары Друк «Соленая правда жизни», роняя листы, как убитая птица — перья... Тут не мешает заметить, что к этой минуте на шум сбжалось изрядно сотрудников «Курьера» и над их небольшой толпой реяла серебристая седина блистательного Иегуды Кронина.

То, что сочинению Мары Друк нашлось применение, в точности соответствующее тому, что родилось в моем раздраженном воображении, поразило меня необычайно. Я увидела в этом руку божественного провидения и с сожалением подумала, что уж если этому суждено было свершиться, то лучше бы в свое время Яше заключить со мной то пари, насчет арии Фигаро, потому как у меня рука все-таки куда легче Бромбардтовой.

— Соберите Мару! — строго приказал Христианский, поднимаясь и отряхивая колени. — Вы с ума сошли, немедленно соберите Мару, она внесла задаток!

Катька, агрессивная, как разносчица кружек в пивном баре, пошла грудью на публику, приговаривая: «Очистить помещение! Давай-давай, вали, тут не цирк...»

Пушман подал Христианскому кипу, тот отряхнул ее, надел и вновь уселся за брошюру о значении шабата.

Когда наконец заказчик ушел и все мы остались в своем интимном кругу, когда было вынесено все, что можно и должно было вынести, и загружено в танк, Христианский проговорил, томно тронув кобуру под сердцем:

— Считайте, этому типу сегодня повезло. Я мог его изувечить. Просто жаль старика. — После чего он обернулся ко мне и добавил: — А вы, радость моя, можете снять противогаз. Как в том анекдоте. — И хозяйским глазом окинув помещение, сказал: — Ну... Кажется, все... Пушман, конгрессмен вы мой, сколько чашек вы раскокали, трудясь?

— Ерунда, нисколько, — встрепенулся Фима, — три.

— Хорошо, Бромбардт оплатит...

В эту минуту открылась дверь и перед нами, уже измученными событиями дня, появился рассыльный с двумя увесистыми пачками бандеролей, отправленных Фимой по адресам. Христианский застонал и схватился за голову. Фима смутился и пробормотал:

— Странно, неужели я перепутал адреса?

— Распишитесь кто-нибудь, — плачущим голосом попросил Яша. — Пушман, когда-нибудь я пристрелю вас, идиотина!

С улицы поднялась Ляля доложить, что все погружено, стулья привязаны сверху и можно ехать в мозговой центр фирмы на Бен-Иегуда.

Мы спустились на улицу, и тут выяснилось, что для меня в машине нет места, а главное — нет во мне никакой необходимости.

— Можете идти домой, — разрешил Яша устало, уже сидя в машине рядом с Лялей, — рабочий день окончен. И ради Бога, что вы обнимаете весь вечер этот чайник?

— Ах да, — спохватилась я, — вот, возьмите. — И пыталась всучить Христианскому чайник через окно.

— Берите его себе, — сказал Христианский, — и дело с концом.

— Но как же... Ведь это собственность Всемирного еврейского конгресса...

— Берите, берите, — перебил меня Яша. — Не за то боролись. Еврейский конгресс не обеднеет. Кроме того подозреваю, что Бромбардт всем нам не выплатит жалованья, а уж вам тем более, я ведь так и не успел подписать с вами договора. Считайте, что вы честно заработали этот жалкий чайник... Собственно, красная цена всей вашей деятельности...

Танк взрыкнул, развернулся и медленно попер вверх по переулку. Навстречу ему, петляя, ехал мужик на велосипеде. Через всю грудь у него, как лента ордена Почетного Легиона, висела собачья цепь, замкнутая увесистым замком.

Я повернулась и, прижимая к груди чайник, пошла привычной уже дорогой мимо центральной автобусной станции.

Мой нищий — издалека высокий, статный — приставал к прохожим, тыча им в бока, как саперной лопаткой, протянутой твердой ладонью. Я подошла и положила в эту негнушающую ладонь один из двух оставшихся у меня шекелей.

— Бриют ва ошер, — торжественно, как всегда, пожелал он.

— У тебя дети есть? — спросила я вдруг с идиотской сентиментальной улыбкой.

Нищий взметнул мохнатую бровь (так на окне утром взлетает триса), внимательно оглядел меня с макушки до пят и отдельно проговорил:

— Если ты думаешь, что за твой паршивый шекель я должен задницу тебе целовать, то ты ошиблась.

(«Все правильно, — сказала мне Рита дня через два. — Ты пыталась вовлечь его во внеслужебные контакты, он тебя отбрил. Пойми, у них совершенно другая ментальность. Его дело протягивать руку, твое — класть в нее шекель. При чем тут дети? Что за сентименты русской литературы!.. Но если это сильно тебя мучает, могу успокоить: его дети привозят папу по утрам на «ситроене» на место работы, а вечером увозят с выручкой...»)

Утром следующего дня, попивая кофе из чашки «Ближневосточный курьер», я просматривала газету и рассеянно слушала радио.

До Пурима оставались считанные дни, войну торопливо сворачивала чья-то невидимая могучая воля. Это было заметно даже тем, кто вообще ничего не понимал в происходящих событиях: иракцы десятками тысяч сдавались в плен с неприличной поспешностью. Создавалось впечатление, что Амалек сам торопится завершить драму к Пуриму.

«Вчера, — продолжал диктор, — выступая на заседании Всемирного еврейского конгресса, Ицхак Шамир заметил...»

«Бедные, — подумала я, любовно поглядывая на ворованный чайник, — как же они заседают там, без чая...»

Во дворе заиграла шарманочная мелодия «Сказок венского леса». Это приехала машина с мороженым. Я развернула газету на странице объявлений. Я всегда с жадной надеждой просматривала эти страницы, лелея безумную мечту о том, что где-то кому-то, возможно, нужен на небольшую ставку русскоязычный литератор. «Ищу душевную, серьезную с целью передачи дома в наследство. Семьдесят, в хорошем состоянии». Я вздохнула и отложила газету.

Позвонила Рита.

— Катька считает, — сказала она, — что мы должны подать на фирму в суд. И это справедливо.

— Ой, — я отхлебнула из чашки кофе, — какой еще суд, я не умею... Меня вчера даже нищий обидел.

— От тебя ничего и не требуется. Только присутствовать и кивать. Вместо подписи можешь поставить крестик. В общем, в двенадцать мы ждем тебя на углу Абарбанель, возле цветочного лотка.

— Ты веришь, что нам заплатят?

— Конечно! — уверенно сказала Рита. — Ровно за три дня до суда. Здесьние мошенники не любят судиться... — Она вздохнула и вдруг проговорила совсем другим голосом: — Знаешь, иногда он напоминает мне одного из тех сумасшедших коллекционеров, которые уже не могут остановиться в своей страсти, даже когда какой-нибудь экспонат коллекции и не очень нужен или совсем не нужен... — Она помолчала. — Ну скажи, зачем ему нужна была фирма ТИМАК?

— Ну... — Я задумчиво повертела на колене пустую чашку «Ближневосточный курьер» и в который раз машинально прочла: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров...»

Пока Рита с Катькой заполняли бланк заявления и препирались о чем-то с чиновницей, я шаталась по пустому коридору здания суда, потягивая через соломинку воду из бутылочки. Начинаясь весна, время хамсинов, требовалось много пить, и мне уже не казались странными эти бутылочки с минеральной водой повсюду — в транспорте, в магазинах, на улицах. Пить, много пить — единственное спасение от здешнего суховея.



За столом в коридоре сидела грудастая истица. В мочке каждого уха у нее просверлено было по три дырки, и оттуда гроздьями свисали сокровища Али-Бабы. Она терпеливо пыталась заполнить бланк заявления, широко разведя мощные колени в цветных мужских бермудах. Распирая ширинку, как тесто из кастрюли, лез белопенный живот.

— Помоги мне написать! — приветливо улыбаясь, сказала она мне.

В иврите часто употребляют повелительное наклонение. Это не означает хамства.

— Извини,— сказала я,— я недостаточно хорошо умею писать...

— С ума сойти,— заметила она.— А по виду ты грамотная. Дай-ка хлебнуть воды из твоей бутылки, что-то горло пересохло.

Я вспомнила коронную Ритину фразу насчет «их» ментальности и подарила грудастой истице всю бутылку.

Суд нам назначили через два месяца.

Мы вышли на улицу. На остановке автобуса стоял старый араб в куфие — белоснежном платке, перетянутом вокруг головы толстым двойным шнуром. На нем была серая рубаха до пят, похожая на женское платье, пропыленные ботинки и на плечах обыкновенный мужской пиджак.

— Идиотская страна, понимаешь,— сказала Катька,— страна бездарных чиновников. Должны были снять с нашего счета в банке сто семьдесят шекелей за Надькин садик, ошиблись, приписали лишний ноль, сняли тысячу семсот.. Теперь мы в глубоком минусе, жрать нечего, пока разберутся, то да се, можно с голоду подохнуть... Надо идти полы мыть...— Она добавила безучастно: — Я повешусь... Я просто повешусь...

Подошел автобус. Я протиснулась в самый конец, где на длинном сплошном сиденье маячили свободное место. Спотыкаясь о сложенные коляски, солдатские баулы, кошелки, я пробралась в конец и плюхнулась между молодой парочкой израильтян слева и пожилой четой совсем свежих (судя по разговору) и очумелых еще репатриантов справа.

Мальчик-солдат слева, видно, возвращался домой на субботнюю побывку. Он сидел в полной амуниции, с автоматом, вокруг сильной загорелой шеи — пропотовший шнурок с личным номером, в ногах — длинный, плотно набитый баул. Девочка принарядилась. Встречала его, наверное, на автобусной станции, готовилась к встрече — прическа, отглаженная блузочка, отполированные ногти. А он устал. Он смертельно устал. Минуты три они тихо переговаривались, потом он задремал. Сидел, клевал носом.

— Глянь, какой лес! — сказала по-русски старуха справа. — Прямо среди города...

— Не забудь, что все деревья здесь саженные, — отозвался муж.

Девочке надоело так сидеть. Ее влюбленность, с утра, по-видимому, подогреваемая ожиданием, не давала ей покоя. Она тихо погладила своего мальчика по руке. Он вздрогнул, инстинктивно сжал автомат и вскинул голову. Она улынулась ему успокаивающе, и он опять прикрыл глаза, задремал...

— Ничего,— проговорил старик справа,— лет через десять здесь привьется наша культура...

Старуха кивала, перебирая крупные янтарные бусы на морщинистой шее.

Девочка слева опять осторожно потянулась рукой к своему мальчику. Вот дурища, подумала я, искоса наблюдая за этой сценкой, ну дай человеку поспать, он же вымотан, как пес... Она дотянулась ладошкой до его автомата и вороватым движением нежно погладила приклад в его руке...

— Война кончилась!! Точно в Пурим!!

Меня разбудили вопли сына. Он прыгал по комнате — тощий, в трусах на слабой резинке, подпрыгивал, пытаясь рукой достать потолок.

По радио передавали подробности капитуляции Ирака. Я поднялась и поплелась в ванную.

— Хаг sameax!!<sup>3</sup> — заорал сын мне вслед.

— Ура!! — отозвался отец со своего дивана.— Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит.

<sup>3</sup> Веселого праздника!!

— Противогазы порезать?! — радостно спросил балбес.

— Я тебе порежу... Сложи аккуратно в коробки и поставь на антресоли до следующей войны.

Зазвонил телефон. Это был Гедалиа, староста группы с занятий рава Карела Маркса.

— Хаг sameах! — торопливо проговорил он. — Я обзваниваю всех, чтобы сообщить: сегодня вечером состоятся занятия. Приходите обязательно!.. Рав Маркс специально приурочил лекцию к празднику.

— А... тема?

— Простите, я должен многих обзвонить... У меня нет ни минуты...

Я вышла на балкон. Внизу по травянистому косогору бегали соседские ребяташки, с утра уже наряженные в карнавальные костюмы, — две девочки лет десяти, обе в костюмах царицы Эстер, одна в ярко-красном, с позолотой, другая в белом, юбки длинные, пышные, на головах позолоченные короны. Бегали с упительным визгом, приподнимая пальчиками подолы юбок. За ними гнался мальчик лет восьми в костюме старика Мордехая — чалма на голове, расшитый цветами кафтан. Он безостановочно трещал пластиковой трещоткой, какими вечером в синагоге дети будут трещать во время чтения «Свитка Эстер» каждый раз при упоминании злодея Амана, потомка Амалека... Еще одна яркая группка визжащей мелкоты, волоча по косогору противогазы, наперебой подражала вою сирены.

Впереди на горизонте штрихом обозначалась на фоне голубого утреннего неба башня университета на горе Скопус. «Гар-а-Цофим, — мысленно проговорила я, обнаруживая, что мне уже привычно называть это место именно так, — Гар-а-Цофим»...

Светлый Иерусалим медленно закипал ликованием двухтысячелетнего праздника.

Центр города был уже запружен карнавальной толпой, шелушащейся серпантинном, сверкающей фольгой, прыскающей струйками конфетти.

На углу улицы Короля Георга трое музыкантов — скрипка, флейта и аккордеон — залихватски бацали тоскливо-сладкую мелодию песни бессарабских евреев, вокруг плясали. В небольшом кругу плясал грузный пожилой дядька в маске Саддама Хусейна с присобаченными к ней кудрявыми пейсами и очень толстая тетка в костюме божьей коровки. Автобусы еще ходили, то и дело застревая посреди толпы.

Продираясь сквозь кипящую водоворотами людскую кашу, я вдруг увидела, как в дверях еще открытой «Оптики» мелькнул люминесцентно-травяной свитер, над воротом которого колыхнулась зеленовато-призрачная физиономия. Почудилось, подумала я, наверное, это один из тех страшных человекообразных манекенов, от которых я шарахаюсь по сей день.

(Забегая вперед скажу, что мне не привиделось. После крушения фирмы ТИМАК могущественный Гоша Апис выволок из-под обломков своих людей. Хаима, например, он пристроил в солидную «Оптику» на улице Яффо, где тот протирает бархаткой запылившиеся стекла очков. Тут возникает у меня банальная ассоциация с понятием «непыльная работка», но я удержусь. Реб Хаим, пожизненный пенсионер государства Израиль, любую работу работает тяжело. Так что пошлая ирония тут неуместна.)

Словом, я опять опоздала на занятия. Виногато улыбнувшись раву Карелу, проскользнула на свободный стул рядом с Гедалией.

Сегодня рав Карел был особенно в ударе. Он не сидел даже, а возбужденно прохаживался от окна к своему креслу. Руки его с большими смуглыми певучими кистями ни минуты не знали покоя.

— Что читаем мы? «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим. И сказал Моисей Иегошуа: выбери нам мужей и поиди сразись с Амалеком. Завтра я буду стоять на вершине холма с посохом Божиим в руке моей. И сделал Иегошуа, как сказал ему Моисей... а Моисей, Аарон и Хур взойшли на вершину холма. И было, как поднимет Моисей руку свою, одолевал Израиль, и как опустит руку свою, одолевал Амалек...»

Отказываясь верить ушам своим, я наклонилась к Гедалие и спросила шепотом:

— Гедалиа, неужели мы все еще не можем закрыть тему войны с Амалеком?

— Ничего удивительного! — живо откликнулся тот. — Рав Карел решил повторить тему, так как сегодня мы празднуем двойную победу над Амалеком!

— Значит ли это, что поднятые или опущенные руки Моисея выигрывали или проигрывали войну? — страстно вопрошал рав Карел и сам отвечал: — Нет, но это значит, что если Израиль обращает взоры свои к Небу и подчиняет сердце Богу, то он побеждает Амалека, если же нет — падает перед ним...

Он вдруг умолк, несколько раз быстро прошелся от окна к креслу и обратно, потом обернулся к нам и сказал:

— Вероятно, многим из вас кажется странным, что я так упорно возвращаюсь к теме войны с Амалеком? Но это очень важная тема, и с течением жизни здесь, именно здесь вы это поймете... — Он опять умолк, остановился, встряхнул головой и продолжал: — Дело в том, что Амалек — нечто большее, чем какая-то конкретная группа людей, чем национальность или народ... Это взбесившийся человек, променявший свой божественный лик на гримасу сатаны...

...— Боюсь, придется брать такси,— вздыхал Гедалия, когда после занятия мы с ним пробирались в бурлящей толпе.— А ведь надо еще успеть к чтению «Мегилат Эстер»...— С шегольской вельветовой его кепки свисали три витые ленточки серпантина, плечи были усеяны кружочками конфетти.

Мимо проходила стайка гогочущих подростков с огромными воздушными шарами и плакатом, на котором в ужасно непристойной позе был изображен иракский диктатор. У самих подростков самым неприличным образом были подвязаны противогазы, ими были, так сказать, опоясаны чресла. Один из подростков, чуть старше моего сына, проходя прыснул в меня из баллончика какой-то сверкучей дрянью, впрочем, безобидной (скатываясь, она не оставляла следов на одежде), второй захрюкал и сказал громко: «Меирке, это довольно пожилая девочка», — а третий добавил: «Извини, ба...»

— Паразит,— сказал Гедалия, стряхивая с моего плеча конфетти.— Вот и мой сейчас где-то шляется...

Отовсюду неслась музыка. Она то грохотала тяжелым роком, то вилась бессарабской рыдающе-гикающей мелодией, то приседала гармоникой — тумбалалайкой,— то завывала витиеватой, горловой восточной песней.

Две девушки в костюмах ангелов — одна хорошенькая, другая толстая и некрасивая — стояли перед закрытыми дверями магазина дамского белья и, закатывая глаза, посылали толпе какие-то пассы. У хорошенькой одно из крыльев было помято и криво висело — очевидно, кто-то из парней уже слегка прижал этого ангела в порыве раскаяния.

На углу улиц Штрауса и Меа-Шеарим прямо перед нами вынырнула процессия с факелами: дети лет десяти-двенадцати. Они несли носилки с балдахинном, под которым важно восседал мальчик в костюме царицы Эстер. Впереди носилок шли двое мальчиков в костюмах первосвященников — один в белом, другой в черном облачении. Они торжественно несли перед собой факелы и что-то пели довольно бодро, хотя и несколько однообразно.

— Можете не сомневаться,— сказал Гедалия, когда мы проводили взглядом процессию,— той песенке, что они пели, добрых пара тысконок лет...— Он скосил на меня глаза и спросил: — Отчего вы невеселы?

— Я потеряла работу.

— Это достаточно грустно, и все-таки сегодня нужно веселиться... Помните, за несколько дней до начала войны мы с вами возвращались с занятий и вы были так напряжены и взвинчены тяжелым ожиданием... А сегодня! Посмотрите на эту толпу — нельзя бояться. Нельзя бояться, нужно только верить... А рав Карел... может быть, он кажется вам чудачком, но знаете, у него есть причины напирать на эту надоевшую вам тему войны с Амалеком... Две войны, знаете, знаменитое танковое сражение на Голанах, вы, вероятно, слышали или читали, там мало кто уцелел... Ох, извините, такси... Будьте здоровы!

Уже из окна машины он крикнул мне:

— Хаг sameax!

Такси медленно поплыло в волнах толпы...

А я долго еще брела в текущей толпе, задирая голову на расцветающие розово-бордово-зеленые клубни салюта и без конца повторяя себе: ну вот ты среди своего народа... и что же?..

Назавтра праздник продолжал грохотать, стрелять фейерверками, искриться бенгальскими огнями, плясать в карнавальных водоворотях.

Утром мои собрались гулять.

— А ты разве не идешь с нами? — спросил Борис.

— Сделайте одолжение, оставьте меня на один день в покое...

— Грубая ты, — сказал сын.

— Я безработная, — сказала я. — Все безработные грубые. Им не перед кем выслуживаться.

Они долго наряжались, дети нацепили маски, выщygанили у меня десять шекелей, наконец ушли.

Как только за ними захлопнулась дверь, позвонила Катька. Говорила в обычной своей манере — правду в лицо.

— Ужаснее всего, что не заплатили тебе, — сказала она. — Я просто ночами не сплю из-за тебя. Мы-то с Риткой не пропадем, мы толковые... А ты ж ничего, кроме своих рассказов, не умеешь... Ты с голоду сдохнешь...

— Не переживай, — ласково сказала я. — Ты-то как?

— Да что я! — воскликнула она по-прежнему расстроено. — Я завтра на работу выхожу.

— Ой, Катька! — обрадовалась я. — Ты устроилась?! Куда?

— Я-то тебе скажу, так ты ж, дура, и не поймешь... В общем, меня взяли по моей специальности в Банк Израиля... Ты знаешь, что это такое? Молчи, — перебила она сразу, — не знаешь. Это не рядовые банки, которые твои башли туда-сюда перекачивают, это экономический мозг страны... Я в России мечтала работать в такой же конторе, но меня не взяли, потому что я там была евреем.

— Ка-атька!.. — повторяла я. — Ой, Ка-атька...

— Положили для начала четыре тыщи в месяц, и рука устала подписывать в договоре разные бланки: машину они оплачивают, командировки за границу, долларовый счет открывают, ну и прочая бодяга... Идиотская страна!.. Так вот учти, — сказала она строго, — мы тут посоветовались со Шнеерсоном и решили отстегивать тебе тыщу в месяц...

Я засмеялась и сказала:

— Катька! Я так тебя люблю. Не переживай, я не пропаду. Меня давно зовут убирать виллу соседний старичок с чудным именем Ави Бардугу.

— Не ходи, — сказала Катька, — человек с фамилией Бардугу обязательно станет за задницу хватать... А знаешь, — она оживилась, — я на днях зашла в мозговой центр фирмы, на Бен-Иегуду. Проходила мимо — дай, думаа, зайду... Представляешь, сидит за компьютером наш Яшка, одинокий, грустный, нос повесил, кругом грязь, бумажки какие-то валяются, обертки от вафель... Знаешь, все-таки он милый, наш Яшка... Ну, я взяла веник и стала подметать. Подметаю, а он рассказывает, как к нему приходили консультироваться из одной крупной фирмы, то, се... Ну, ты его знаешь... Я молчу, подметаю... О Гоше он помалкивает, но думаю: не зря он там сидит, Гоша его из скандала вытащил — может, решил, что Яшка еще пригодится... Кстати, Христианский сейчас сам открывает издательскую фирму. Сам будет набирать, сам издавать... Я спрашиваю — где заказы достанешь? Да у меня есть уже крупный заказ, говорит, — трилогия Мары Друк, сейчас она дописала еще четыреста страниц и переименовала ее в сагу. Так что Яшка всю жизнь будет издавать сагу «Соленая правда жизни»...

После разговора с Катькой я стала думать о Яше Христианском и распалила себя почти до состояния нежного сострадания. Тогда я решила позвонить ему. Подняла трубку мудрая Ляля.

— Здравствуйте, Ляля, — сказала я. — Что поделывает Яша?

— Яша ушел в милуим<sup>4</sup>, — проговорила Ляля трагическим тоном, и это прозвучало как «Яша ушел в монастырь...».

Позвонили в дверь, я открыла. На лестничной площадке стоял человек в маске, в красном, жестко торчащем в стороны парике. У ног его в плетеной корзине шевелились, дышали, подрагивали влажными лепестками розы неестественно прекрасного персикового цвета.

— Хаг sameах! — сказал он, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и протягивая мне какую-то квитанцию. — Вот тут распишись.

— В чем дело? — спросила я, не в силах оторвать глаз от этих роз. — Что это? — И механически расписалась.

— Это твой мотек тебе послал, — сказал рассыльный, отдавая мне копию квитанции.

<sup>4</sup> Краткосрочная служба резервистов, от нескольких дней до трех месяцев.

Я представила, сколько может стоить эта корзина и сколько дней (три? пять?) можно жить на эти деньги, и задохнулась.

— Он что — спятил?! — крикнула я по-русски. (Рассыльный сбегал уже вниз.) — Я работу потеряла!! — заорала я не в силах сдержаться.

— Хаг sameах! — крикнул опять рассыльный снизу...

Я подняла корзину, из которой тяжелой, избыточно-сладкой волной ударил в лицо мне запах роз, и зашла в квартиру. Бушевавшей во мне злобы хватило бы для успешной деятельности небольшой группы террористов.

Несколько минут я металась по комнате, терзая ворот свитера и рыдающим голосом выкрикивая достаточно оскорбительные и стародавние обвинения в адрес моего мужа. Потом наконец обмякла и увидела, что до сих пор сжимаю в кулаке копию квитанции. Развернула ее и — о, этот проклятый, естественный для ребенка и такой мучительный для сорокалетнего человека процесс узнавания букв другого языка и складывания их в слова — прочла наконец адрес, наш, да, и имя получателя: Шо-ша-на Ро-зен-таль...

Прежде чем я что-то поняла, я успела еще со старательностью тупого ученика прочесть приписку на обороте квитанции: «Роза моего сердца, хоть мы расстались год назад...» Я охнула, выскочила на балкон в дурацкой надежде, что рассыльный еще не уехал, как будто он мог стоять под балконом и пережить мою получасовую истерику. Потом вернулась в комнату и аккуратно поставила чужую корзину с цветами повыше, на шкаф.

И в эту минуту я вдруг ощутила — тут принято писать «всем существом», но точнее сказать «всем телом», — всем телом я ощутила, что меня-то, в сущности, нет... Так, болтается нечто в пространстве этой страны, этого города, этой чужой квартиры с чужим телефоном, в которой как бы продолжают жить реальные люди с реальной фамилией Розенталь... Мне вдруг с безжалостной ясностью стало очевидно, что это пространство отторгает меня.

И вот тогда впервые за все эти месяцы эмиграции, войны, тягучих ночных сирен, безденежья и крушения идиотских надежд, — повторяю, впервые меня потряс настоящий ужас такой разрывающей силы, что на секунду я физически ощутила, как рука некоего вселенского хирурга вынимает, вытаскивает, высвобождает мою парализованную бездонным ужасом душу из никчемного обмякшего тела...

Долго звонил телефон. Наконец я сняла трубку.

— Дорогая моя! — с чувством проговорил пьяный теплый баритон Гриши Сапожникова. — Дорогая моя, я звоню, чтобы поздравить тебя с нашим великим, нашим радостным праздником Избавления! — По интонациям его одинокого даже в трубке голоса чувствовалось, что Цви Бен-Нахум уже набрался, как Всевышний ему велел. — И в этот день, дорогая моя, в этот необъятно прекрасный день... — он поднял голос до высот проповеди, — когда Господь опять отпиздил Амалека!..

В этом месте голос его сорвался, и мы одновременно заплакали в трубки. Наверное, он сидел один в своем бомбоубежище и ему, как и мне, некого было стыдиться.

— Тебе есть где спать сегодня? — спросила я растроганно. — Приходи к нам спать

— Спасибо, не беспокойся, — сказал он, судя по звукам, высмаркиваясь. — На сегодня меня берет к себе семья Мары Друк...

И добавил после крошечной паузы:

— Ничего... Все наладится... Все наладится, к чертовой матери...

Я вышла на балкон. Внизу по зеленому косогору бродил бешеный Левинпапа в противогазе. Я узнала его по дырчатой авоське в руке. Он поднял противогазью харю и крикнул мне приятным баритоном:

— Из России?

— Леву Рубинчика знаете? — продолжила я, перегнувшись через перила.

Он растерялся было, но тут же встрепенулся и крикнул радостно:

— Я его па-а-апа!!

И в который раз опускающееся куда-то за наш дом солнце залило диковато-розовым светом белый камень домов, и вся гигантская панорама города заскользила, понеслась под теньми сквозных бегущих облаков.

Дальше темнел зелеными склонами рамотский лес, торчала башня отеля «Хилтон», левее на горизонте округло лежала Масличная гора с карандашиком монастыря. А дальше — взгляд нащупывал нежно синеющую туманную кромку Иорданских гор...

И я почувствовала минуту, ту самую интимную минуту, когда у д о б н о о б р а т и т ь с я...

Я проглотила слюну и заискивающе пробормотала куда-то в сторону Иорданских гор:

— Господи!..

И замолчала. Собственно, мне нечего было Ему сказать. Суетливо объяснять ситуацию, которую Он сам вроде бы прекрасно должен видеть? Как профессиональный литератор я знала, что подобные вещи недопустимы. Поэтому только вздохнула и повторила:

— Господи! Вот такие дела...

Вдруг вспомнила, как из окна автобуса Тель-Авив — Иерусалим я увидела паровозик, к которому был прицеплен один-единственный вагон, казавшийся с моста игрушечным, и как этот смешной состав бойко мчал по рельсам.

— Господи,— проговорила я.— Ты вывел меня из гигантской державы, по которой днем и ночью грохотали огромные поезда. Ты привел меня в свою землю... Неужели Ты позволишь моим детям голодать?

«Ну, это, положим, ты врешь,— возразил кто-то внутри меня.— Дети, положим, не голодают...»

— Это я вру, Господи!! — торопливо перебила я себя.— Дети не голодают... а просто... просто... дай заработать!

«О!» — произнес кто-то внутри меня удовлетворенно, и я сама почувствовала, что это «о!» — то, что надо, что это по крайней мере честно.

— Дай заработать! — повторила я страстно, и мне уже было плевать, как я выгляжу: я стояла пред Ним прозрачна, как стеклышко, со своей собачьей тоской, дешевыми просьбами и украденным чайником Всемирного еврейского конгресса.— Слышишь, дай заработать! Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-а-ать!!!



Я забыла сказать, что из окна моей съемной квартиры видно кладбище на холме Гиват-Шауль.

Холм Гиват-Шауль кажется меловым от памятников — множества белых, крошечных отсюда кубиков, полукруглыми рядами опоясавших его. А вокруг над поросшими густым хвойным лесом холмами вздымается бело-розовый зубчатый венец Иерусалима. Так уж расстелено пространство здесь, в Иудейских горах, что в ясную погоду — а она довольно часто здесь ясная — видны даже очень далекие холмы. Отсюда — странный оптический эффект, благодаря которому возникает ощущение необъятности этой, в сущности, очень маленькой земли... Одной из самых маленьких земель на свете...

Словом, из моего окна видно кладбище, где когда-нибудь я буду лежать.

Ну что ж, «похоронена в Иерусалиме» — это звучит нарядно.

Это красиво, черт возьми!

Это вполне карнавално.

Иерусалим. 1992.



---

---

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

\*

## СТАЛ КАПЛЯМИ РОССИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА

\* \* \*

Жена меня ласкает иногда  
словами утешенья и привета,  
что столько написал ты — не беда,  
беда, что напечатать хочешь это.

\* \* \*

Я взял табак, сложил белье —  
к чему ненужные печали?  
Сбылось пророчество мое,  
и в дверь однажды постучали.

\* \* \*

Здравствуй, друг, я живу хорошо,  
здесь дают и обед, и десерт;  
извини, написал бы еще,  
но уже я заклеил конверт.

\* \* \*

Вчера сосед по нарам взрезал вены;  
он смерти не искал и был в себе,  
он просто очень жаждал перемены  
в своей остановившейся судьбе.

\* \* \*

Поскольку предан я мечтам,  
то я сижу в тюрьме не весь,  
а часть витает где-то там,  
и только часть ютится здесь.

\* \* \*

Становится вдруг зябко и паскудно,  
и чувство это некуда мне деть;  
стоять за убеждения нетрудно,  
значительно трудней за них сидеть.

\* \* \*

Все дороги России — беспутные,  
все команды в России — пожарные,  
все эпохи российские — смутные,  
все надежды ее — лучезарные.

\* \* \*

Занятия, что прерваны тюрьмой,  
скатились бы к бесплодным разговорам,  
но женщины, не познанные мной,  
стоят передо мной живым укором.

\* \* \*

Когда уходил я, приятель по нарам,  
угрюмый охотник, таежный медведь,  
— Послушай,— сказал мне,— сидел ты недаром,  
не так одиноко мне было сидеть.

\* \* \*

Ночью мне приснился стук в окошко.  
Быстрым был короткий мой прыжок.  
Это банку лапой сбила кошка.  
Слава Богу — рукопись не сжег.

\* \* \*

В безумных лет летящей череде  
дух тяжело без общенья голодает;  
поэту надо жить в своей среде:  
он ей питается, она его съедает.

\* \* \*

Новые во мне рождает чувства  
древняя крестьянская стезя:  
хоть красивей роза, чем капуста,  
розу квасить на зиму нельзя.

\* \* \*

На закате, в суете скоротечной  
искра света вдруг нечаянно брызги —  
возникает в нас от женщины встречной  
ощущение непрожитой жизни.

\* \* \*

Я вырос, научился говорить,  
стал каплями российского фольклора  
и, чтобы не пришли благодарить,  
бегу, не дожидаясь прокурора.

\* \* \*

Знаю с ясностью откровения,  
что мне выбрать и предпочесть.  
Хлеб изгнания. Сок забвения.  
Одиночество, осень, честь.



\* \* \*

Бросая свой дом как пожарище —  
куда вы, евреи, куда?  
Заходят в контору товарищи,  
выходят — уже господ.

\* \* \*

Я Россию часто вспоминаю,  
думая о давнем дорогом,  
я другой такой страны не знаю,  
где так вольно, смирно и кругом.

\* \* \*

Я тем, что жив и пью вино,  
свою победу торжествую:  
я мыслил, следовательно, но  
я существую.

\* \* \*

Мне одна догадка душу точит,  
вижу ее правильность везде:  
каждый, кто живет не там, где хочет,  
вреден окружающей среде.

\* \* \*

Чисто элегическое духа опущение  
мы в конце недели рюмкой лечим,  
истинно трагическое мироощущение  
требует бутылки каждый вечер.

\* \* \*

Жаркой пищи поглощение  
вкупе с огненной водой —  
мой любимый вид общения  
с окружающей средой.

\* \* \*

Мужчина должен жить не суетясь,  
а мудрому предавшись разгильдяйству,  
чтоб женщина, с работы возвратясь,  
спокойно отдыхала по хозяйству.

\* \* \*

Я не спорю — он духом не нищий.  
Очень развит, начитан, умен.  
Но вкушая духовную пищу,  
омерзительно чавкает он.

\* \* \*

Что угодно с неподдельным огнем  
я отстаиваю в споре крутом,  
ибо, только настояв на своем,  
понимаю, что стоял не на том.

\* \* \*

Летят года, остатки сладки,  
и грех печалиться.  
Как жизнь твоя? Она в порядке,  
она кончается.

\* \* \*

Какой бы на земле ни шел разбой  
и кровью проливалась благодать —  
Ты, Господи, не бойся, я с Тобой,  
за все Тебя смогу я оправдать.

\* \* \*

Сделать зубы мечтал я давно —  
обаяние сразу удвоя,  
я ковбоя сыграл бы в кино,  
а возможно, и лошадь ковбоя.

\* \* \*

Эта мысль давно меня терзает,  
учит ее в школе пятый класс:  
в мире ничего не исчезает;  
кроме нас, ребята, кроме нас.

\* \* \*

У старости душа настороже;  
еще я в силах жить и в силах петь,  
еще всего хочу я, но уже —  
слабее, чем хотелось бы хотеть.

\* \* \*

Наступила в душе моей фаза  
упрощения жизненной драмы:  
я у дамы боюсь не отказа,  
а боюсь я согласия дамы.

\* \* \*

Стихи мои в забвении утонут,  
хоть вовсе их пишу не для того,  
но если никого они не тронут,  
то жалко не меня, а никого.



---

---

## ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВИЧ

\*

### САШОК

*Очерки из наркологии*

**П**ил две недели. Нормально пил, как обычно с получки. И морда на работе привычная для начальства, и дело шло. Но у товарищей семьи, а я продолжал дома, благо квартира отдельная. Появлялись люди, пили, исчезали, только Серега неизменно встречал меня со смены, будто сам во вторую выходил. А последние пять дней при мне неотлучно, днюет и ночует. С утра, в половине шестого, снарядил его за водкой. Самому ни рукой, ни ногой не двинуть. Тело тряпочное, голова чугунная.

Ни свет ни заря является Надюха. Через стенку слышно, как она спозаранку разобъяснялась с благоверным. Я ей открыл и снова под одеяло. Ни на что глаза не смотрят, скорей бы Серега возвращался... Она достала из-за пазухи начатую бутылку водки. Налила в стакан, поднесла. Выпил. На столе несколько корявых корешков хрена. Один надкусанный, кто-то грыз. Хрен два дня назад принес Тахир и еще зеленых помидоров, кислых, больше на овощной базе взять было нечего.

— Закусывай,— сказал я, когда она тоже выпила.— И не говори после, что у Гришки ни хрена нету.

— Я побуду у тебя. Не могу я с этим козлом в одной комнате.

Допили. По лицу и телу пошла испарина, ожил. Физически ожил, когда ничего не надо, кроме выпить, бабы и пожрать.

— Забыл, когда жрал.

— Я принесу картошек. И рыба у меня есть соленая. Пусть Серега сварит, хоть в мундирах.

— Серега пошел на мокрое дело.

— Заслал. Присосался он к тебе. Его не выгони — год может здесь.

Она села на край тахты и повела рассказ о первом муже, о сыне... Лицо ее, как пишут в романах, хранило следы красоты замечательной. Но фигурка дощечкой, с обвислыми грудями и тонкими ногами. Надломленной дощечкой...

Я не вязался с местными дамочками, но теперь потянуло к ней.

— А Сережка...

Да руки разве слушаются... Звонок — дело другое. Она одернула юбку и открыла Сереге. Он поставил две бутылки на стол и сбросил на диван куртку. Надя сбегала к себе, принесла банку морского салата и соленую рыбину. Выпили.

— Мой дрыхнет, скот. Что вчера выделявал... Серега, ты бы хоть домой показался.

— А кто меня ждет? — Он осоловело посмотрел на нас.— Ладно, сейчас отвалю.

Мне уже было все равно, уйдет он или останется. И есть расхотелось. Лег на тахту. Звонок. Надькин мужик. Я слушал их ругань, как постылую передачу по телевизору, когда лень встать и выключить.

—...Понимаешь, Гриш, какая сука! Сошлись — замучила абортми. Такая тварь, ей через стенку покажи — забеременеет.

— От тебя? Скот! — Она побелела от злости.— Ты ж неспособный!

→ А сейчас, гадюка, спилась! И что творит! Водку ворует...

— Заткнись, козел вонючий! — Голос у нее сорвался на рев.

Сейчас сцепятся... В рукопашных схватках она ему не уступала.

— Кончайте! — прикрикнул я, отвернулся к стене и уснул...

Растолкал меня Серега где-то уже к обеду. Посередине комнаты стоял Гришка из соседнего подъезда. В засаленной телогрейке и кирзовых сапогах. Понятно.

— Тезка, вставай, хорош дрыхнуть! — сказал он и, подморгнув мне, поставил на стол бутылку, жидкость в ней желтовато мутнела.

Я поднялся, выпил налитый стакан, зубы сами собой скрипнули. Их тоже перекосоротило. Больно страшна даже для нас. Емкость ноль семь, получилось еще по полстакана. Через минуту я стал здоров и бодр, а Гришка и явился веселый. Он достал из кармана пару флаконов одеколона.

— А вот это!

В самом начале противоалкогольной бестолочи я навалился со всеми на парфюмерию, ну не стало ничего другого. Не пошла она мне. Начал болеть весь, все тело. Тогда и зарекся: или водку, или ничего.

— Отпадает, — сказал я решительно. — У меня отпадает.

Они молча оделись и ушли. Наверное, к Сереге. На меня вновь навалилась усталая одурь.

Навязчиво тянулась мысль, которая была совсем ни к чему, но я не мог ее от себя отогнать, прервать хотя бы... Мне ясно виделось, как Гришкина жена кидает ему телогрейку и сапоги. Она всегда его так обмундировывает, стоит ему уйти в запой. Мне уже ничего не хотелось, ни пить, ни есть, кроме одного — чтобы не звонили, не звонили, не звонили...

Проснулся от длинных звонков. Открыл. Женька. Говорит, по делу. Не могу сообразить, по какому. Наконец дошло — надо идти за справкой. Бытовая травма. Да если разобраться, так оно и есть. Раньше этой лазейкой не пользовался. Работа при любом положении. А уже за полгода второй раз... Для Женьки в резерве четвертак и литр водки. Он был навеселе, обычное его состояние. Бутылку мы раздавили, вторую оставили на потом. Звонок. Открываю — двое. Мужик незнакомый и ненашенского вида. Второй — Олег, тоже не особо свойский.

Олег прошел в комнату, смахнул со стола, отнес газету с мусором на кухню, вынул из принесенного пакета две бутылки водки, белый батон и порядочный кус вареной колбасы. Не люблю, когда у меня в квартире хозяйничают... Я ждал у дверей.

— Григорий, артист по машинам, Никитич. — Олег подморгнул мне.

Никитич вежливо, на вы, объяснил, что покупает машину, надо посмотреть.

— Сколько прошла? — спросил я. — Где стояла? Ударена не была?

Впрочем, это все как раз и надо было выяснять мне. Никитич обыкновенный чайник. Поможет. Записал его телефон. Сели пить. Никитич ограничился стопкой. Видать, гусь, с положением, имеет доступ к харчам. Из новых уже гусей, молод, в куртке, обходительный, без спеси. Но и старые были предупредительны, пока клиенты.

Олег окосел быстро, начали они с Женькой сводить старые счета. Сцепились. Катались по полу, Женька нацелился откусить Олегу нос, тот увернулся, Женька отхватил ему кусок уха. Олег схватил с пола часть откусанного уха, завернул по-быстрому в платочек и, окровавленный, побежал в поликлинику. Там, мол, пришьют, если с этим делом не тянуть...

— Откусываешь, а не глотаешь, — укорил я Женьку и, повернувшись к Никитичу, добавил: — Тверское у-шу.

Никитич странно скосил глаза, буркнул и опрометью выскочил из комнаты.

— Чего ты всякую погань к себе пускаешь? — спросил Женька. — Сколько ему давали, знаешь? Пятишник. А отсидел сколько? Трешник. И работает от ментовской по магазинам, сигнализация его... Доходит? Мы все сфотографированы там.

Пусть ведут досье, если им заниматься нечем, безразлично подумал я. Сказал равнодушно:

— Значит, сейчас будут гости.

— Не посмеет, паскуда. За ним такое водится... И он знает, что я в курсе.

— А я не хочу быть в курсе.

С Женьки еще не сошло воодушевление:

— Пускаешь к себе без разбора...

Вот этого я не выносил никогда — поучений.

— А ко мне все, понял? Все! Лезут, когда запью.

Не от него первого слышу, и каждый убежден, что именно его я должен пить, а остальных гнать.

— Не обижайся, Гришка, ты ж, как бульдозер, пашешь, а пропиваешь с кем попада.

— Мне нужна справка! — заорал я неожиданно для себя.

Он смутился и сник как-то, съёжился.

— Ладно. — Мне стало жалко его. — Никогда не лезь в мои дела. Умойся. Придем — допьём.

Через дом от нашего он нырнул в подъезд, а я ходил по тротуару и ждал. Долго ждал. Замерз в пальтишке, начало меня колотить. Собирался купить теплую куртку с полочки, да где они продаются...

Зажглись фонари — редкие, тусклые, вполнакала. Над городом зависла темная, гнетущая мгла. С голых веток капало. Снизу, от раскисшего снега, несло пронзительной сыростью... Навалилась такая тоска, прямо физически давит, не продохнуть. Казалось, отовсюду тянет гибелью и безнадежностью... Мог бы плакать — заплакал.

Подошел Женька, отдал назад деньги.

— Сейчас не может. Через два дня только. Но зато больничный на неделю. Готовь стольник.

— Больничный уже криминал. Оплачивается. У нас иногда проверяют.

— Сделает чисто, не ты первый.

— Не нравится мне это. Ладно, идем. Дома еще пара склянок осталась.

Трофейная, после твоей битвы, и моя.

— Я Вальку позову?

С женой они живут дружно. И пьют вместе.

— Нет. На сегодня мне впечатлений достаточно.

— Мы с нею тихо.

— Нет. Садись со мной, пей. Или бери бутылку и мотай.

— Так я тоже не могу, Гриша.

Мы пили вдвоем. Я забыл, что у него нельзя ничего спрашивать, когда он окосевши, замучает подробностями и ссылками на источники... На вопрос: «Как дела?» — он долго рассказывал.

—...И вот, понимаешь, ну до чего же все организовано паскудно. Гноят добро на миллионы, воруют не меньше, а виноватых нет. Стоит рабочему выпить — тут с ходу и судьи и прокуроры, целые комиссии — и на всю катушку. Один проступок — шесть наказаний... Не хочу работать бесплатно. Семь месяцев трудовой у них лежит, не показываюсь. Подрабатываю у кооператоров. Проголял — да черт с тобой! Не заплатят — и все. А платят неплохо, подумаешь, гулять ли...

Когда пришел участковый, мы оба были хороши. Смутно помню:

— Мне тунеядцы надоели, проститутки, малолетки, но ты же здоровый мужик. Предупреждаю — определю. Блатхату устроил. В твои ли годы восьмерки выкидывать?

Он увел Женьку.

В темноте страшное пробуждение. И сразу навалилась тоска черная, будто стояла рядом и ждала, гнетом придавила... Провал в мыслях, когда из прошлого не высечь ни одной светлой искры, когда настоящее — как грязная мокрая вата, не облокотиться. Снова предчувствия какой-то гибели ужасной — всех и всего...

Жалко, что баранку бросил, порой жалко. Ткнулся в автослесаря. За шофером срок ходит, но срок один. А тут три начальника пасут и водитель четвертый, кому делаешь, дышит тебе в затылок. И всем срочно, всем сегодня надо. С одного старья снимаешь старье, на другое ставишь. Везде рухлядь, все как грызуны поточили... Теперь участковый обозначил. Но не то, не то страшно. Немоощь. Ослабла внутренняя пружина. Нет пружины той, чтобы отвалиться, откиснуть в ванне — и как штык.

И жизнь какая-то... Теснота, куда ни сунься... На островах бы какой, хоть на Новую Землю. Так там атом взрывают.

Пустота, безвоздушное пространство, и ты в нем — нагой...

За окном стало сереть. И тут идея завилыла хвостиком и показалась соломинкой вначале, но проступала все явственнее и явственнее. За нее можно было ухватиться уже как за бревно, такой существенной она вдруг нарисовалась в воображении. Я закурил. На столе тускло светились бутылки. Если все порожние, значит, мне гибель, а если хоть в одной осталось похмелиться... Это

были уже живые соображения, игра с самим собой, я знал уже, что мне делать. Со всех бутылок набралось больше стакана... Выживем! На лечение.

Мысль не нова. Заносил было уже ногу для последнего шага, но отдергивал, как перед пропастью. Сейчас у меня отчаяние холодное. Редко, но примеры есть — завязывали, кто шел охотой, а не загоняли. Надо — вошью. Оттуда вышел: на работе и везде я «торпедоносец». Плотников уже шесть лет так ходит. И отлично себя чувствует. Все, все! Больше не думать, остальное додумаю там... О, стакан, да еще по края, — символическая точка и возможность побриться...

В девять ноль-ноль я сидел в приемной районного нарколога. Народ уже был, пришлось занять очередь. Меня удивило: примерно половина пришла парами. Дружные семьи — вместе пить и на пару лечиться. Чтобы унять легкое волнение, я немного подумал в направлении семейной жизни... Потом попробовал представить себе нарколога. Наверное, суконная физиономия... Да сюда нашего вахтера, дядю Гималая, посади — и того скривит от таких пациентов.

Когда я вошел, за столом сидела дамочка средних лет, в шкафу, забитом папками, копалась другая. Обе девочки что надо... и спокойнее, товарищ, спокойнее...

— Вы у нас впервые или уже лечились?

— Впервые, доктор, до сего времени обходился народными средствами.

Ее строго сдвинутые тонкие бровки чуть дернулись.

— На стационар? Или походите к нам?

— Стационар.

— Прогуляли много?

— Ко всему прочему и это тоже. — Я вздохнул.

— Галлюцинации бывают?

— Слуховые, по ночам. То на кухне ходят, то музыка... А может, и в самом деле у соседа, стены сами знаете какие...

— Хорошо. У вас все-таки возраст и вы к нам впервые. Понимаете, вы должны дать подписку, в случае срыва — принудительное лечение. Вы твердо решили?

— Я, доктор, редко когда решаю, но твердо. Последний рычаг, аварийный.

— Приходите с женой.

— У меня нет жены.

Ага, так вот почему сюда парами.

— А мать?

Обе женщины смотрели на меня внимательно.

— Роднее профсоюза, доктор, никого.

— Что ж вы так... Ваш адрес?

Бумага у нее под рукой казалась мне приговором. Я, который превыше всего ставил свою независимость, незаметно оказался в ловушке, по доброй воле сую голову черт-те куда...

— Вы уж, доктор, направьте старика где потише. Я не буйный. На моторном заводе, говорят, нашего брата тысяч семь душ.

— Я вас в хороший стационар. На шинный. Там всего три отделения по сто человек. Распишитесь.

С охапкой постельного белья вошел в палату.

«Постельные принадлежности»... От свежести простынь и наволочек с темными расплывчатыми штампами на них потягивало казенным холодком.

У окна стоял мужик примерно моих лет. Остальные были на работе.

— Привет, — бросил я на ходу.

Он повернул голову в мою сторону и, пока я застилал койку, смотрел не отрываясь. Меня уже трудно смутить взглядом, но впечатление тяжеловатое — от его темной фигуры на фоне окна, приземистой и чуть сгорбленной, от пристального взгляда. Я выпрямился и тоже уставился на него. Он отвернулся, но не к окну, а к стене и так же долго смотрел на стену, пока я укладывал в тумбочке и разбирал свое нехитрое хозяйство. Тумбочка на двоих. Он подошел, добродушно хмыкнул: «Сосед...» Взял сигарету из пачки в верхнем ящике, спички и вышел.

Вот я и на месте. В первый раз за всю свою жизнь отправился в рейс, где наконец-то спешить некуда. Нет гона.

Когда приволокся сдаваться наркологам, сестра померила давление — двести сорок. Спросила: «Не падал, когда шел? Если бы упал — не встал». Значит,

падают и не встают. Может, в самом деле пришло время? А то ткнулся бы на работе в мотор башкой — и готово.

Благодаря давлению мне не сделали укол сульфо. Видел, как других корезило после него, — в палате, которую называют пересылкой. В ней оклемаешься, пройдешь врачей, а потом растасовывают по палатам — и на работу. Вошел в норму я за три дня, может, оттого, что видел: другим тяжелее моего — и физически и обстоятельства, по рассказам, у них сложнее.

Шли на обследование к невропатологу, сосед по койке предупредил:

— Скажи, что у тебя было сотрясение мозгов, тогда не назначат рыгальку.

— Это что?

— Видишь кабинетик? Садят в ряд десять человек, перед каждым умывальник. Дают полстакана поила — рыбий жир, еще там компоненты, пакость всякая. Пей! Потом водяры полстакана — и пошло тебя драть. Слезы ручьем, рев на все голоса. Десять заходов.

— У меня было сотрясение мозгов в аварии.

— Это хорошо.

Он объяснил, что таблетки, которые нам сейчас дают, полезные, они очищают печень и весь организм. Он различал их по размеру, цвету, на вкус, знал мудреные названия, которые не то что запомнить, а повторить за ним я не всегда мог. «Вот тетурам пить ни в коем случае не следует. Действует на все, и на жилу тоже, раньше его давали миллиграммы, а сейчас на граммы вес идет». Я подумал, что на воле он работает медбратом, оказалось, нет — такелажник с горпогруза. Просто проходит уже не первый курс. Он охотно съедал и мою порцию таблеток. Я отродясь никаких не пил и здесь не собирався, поэтому предложил свои на четыре месяца вперед, вместе с тетурамом. Он возразил, что с этим дальше будет довольно трудно: принимают под присмотром, а тетурам сестра чуть не сама в рот кладет...

И вот я в палате, где мне предстоит прожить четыре месяца.

Я осмотрелся. Фанерная перегородка — не до потолка — образовывала прихожую. По одну сторону прохода холодильник, стол и два стула, по другую шкаф для одежды и личных вещей. В самой палате напротив входа широкое окно. Вдоль двух глухих стен по семь коек, аккуратно заправленных, с треугольничками полотенец. В торце каждой койки стул. Я неприхотлив, и обстановка, скажем прямо, понравилась. Рассчитывал на худшее (сколько раз меня выручала привычка рассчитывать на худшее). В тумбочке тоже навел порядок, как в дорогу: бритвенный прибор, мыльница, щетка зубная с тюбиком пасты, зеркала, ножнички. Все в аккуратном замшевом футляре. Там и рашпиль для зачистки ногтей, я им никогда не пользовался, но он давно там. Наборчик — память одной из бывших возлюбленных... Невольно вздохнулось. Лишнего ничего не положено, и уж конечно одеколон. Чего-то все-таки не хватает... Не взял почитать. Я не заядлый чтец, чтобы глотать тексты каждую свободную минуту и на ходу. Для книги мне нужно время. Хорошо бы здесь перечитать «Войну и мир». Да и толстые журналы сейчас весьма любопытны... Гладкую поверхность льда взрывают произведения минувшего, которые хоронили властолюбивые тупицы, думали — навсегда.

Хотя я и не могу сказать вслед Горькому, что все лучшее у меня из книг, но что жизнь без книг была бы вполнину хуже — это верно. Кстати, в Горьком я всегда чувствовал налет книжности, мне интереснее прошлые бытописатели. Ну что, например, такое — «Бывшие люди»? Почему — «бывшие»? Пока человек жив, он не бывший. Человек — хитрое приспособление (вот для чего только?). Надюха с мужем сейчас, наверное, шагают в кино под ручку, пропившись и не имея под боком такого соседа, как я. После запоев они живут сплоченно.

Вошел староста. Оказалось, тоже сосед. Староста всего этажа. Его койка крайняя у окна. Тумбочка на одного. Он сказал, что пойду работать сегодня в ночь — «вот с Сашком на пару». Кивнул на соседнюю со мной койку, но с другой стороны. Значит, тот — Сашок, а староста — Володя, с ласковой фамилией Маничкин... Вспомнилось название деревеньки в глуши центральной России — Маничкин Хутор. Давненько было, забросила туда на несколько недель шоферская судьба...

Стал прибывать народ с работы. Есть знакомые по пьяному делу. И хорошие знакомые. Встретил станочника с мехмастерских.

— Познаешь, брат, обидка у меня. На кого, не знаю. На первопопавшего, кто попадет, убью дико, — сказал он неожиданно.

— Я тоже. Только я — самого себя. Так бы и саданулся своей тыквой об угольной раз.

— Лег сюда. Боязнь прошла, а злость осталась. А то людей боялся. Я уж с тобой делюсь как со старым приятелем.

— Здесь ни разу не клюнул?.. Значит, не от водки.

— Не от водки. Хочу убить. Наваждение. Все мне кажется — на меня нападают, а я убиваю. Падаль, которая меня обидела, оскорбила. Понимаю, что чертовщина, но ничего сделать не могу. В транспорте кто-то об спину трется — ненавижу... — Глаза его тускловато мутились...

— Выйдешь — запьешь?

— Нет! — сказал негромко, но с ожесточением.— Назло! Вершителям! Которые нас и так скрутят, и эдак, и уж не знают, как выкрутить. То цены, то со сколько́ продавать. То открыли спекуляцию. Вот им! Не буду — и все!

— Скучно совсем не пивши.

— Ничего, зато за мой счет никто веселиться не будет.

— Будут... Мне бы через четыре месяца твою ярость против водяры.

Он, впрочем, быстро остыл.

— Не вздумай здесь принять.

— Затем и лег.

— Да, братан, держись. Тут два раза погоришь — и с ходу... Упаси тебя Бог на двушник в ЛТП. Приезжают менты, судят для проформы — и сквозняком, без захода домой. Помнишь, я у тебя полтора года назад ночевал несколько ночей? Спасался... Меня уже тогда могли замести. Пронесло. Сейчас тоже. С участковым уладил. Пришел к нему, принес пару «сибирской». Говорит: «Хватит, больше не могу, иди добровольно на шинный». Водку, конечно, взял... Таблетки, Гриша, не пей никакие тут... В подъезде живет косматый пес, отдавай ему. Его колотит с утра, пока не нажрется лекарств. Вот так и тебя будет от их таблеток.— Он засмеялся.

Навстречу быстро шла сестра. Он не уступил дорогу и, по-моему, умышленно зацепил ее плечом.

— Сверлихин! Ты меня чуть не сшиб!

Настроение его моментально изменилось, как и лицо, показалось, что короткие волосы встали дыбом.

— Приспособились! — Он остановился и смотрел ей вслед.— Получают полторы ставки за вредность, будто мы сумасшедшие! Отпуск полтора месяца и на пенсию раньше. А какая работа? Палаты и то мы прибираем, называется дежурный по палате.

— Ну, это можно.

— Была одна стерва. Таблетку пьешь — в рот заглядывает, чтобы разжевал. С ужина опоздал — отмечает. Ночью лазила по палатам — обнюхивала спящих, от кого разит. Так Совой и звали. Не один дружбан ушел из-за нее в ЛТП. Пакостная душонка. С такими всем плохо, и начальству. Аннушка, наша заводчеленину, отдалась от нее... После того как прокатились шумки по ЛТП, и нам слабину дали. Слышал небось, как ЛТП бастовал? Сломали ворота — и к обкому... Перемены. До этого у нас зарплату половинили. Шинники, сборщики по пятьсот выгоняют — половинили. Сейчас на наркологию отчисляют сорок процентов и кормят лучше. Смотришь, на ужин иногда и яичко подкинут...

Уже три недели как я по вечерам смотрю из окна наркологии. В перспективе улиц знакомые дома, магазины... Но теперь я смотрю на них с высоты пятого этажа (этаж третий, но здание старой постройки, и три — как сейчас пять). Смотрю с высоты, и хочется добавить: из-за решетки, — но это была бы неправда, зарешечена только форточка (решетка частая, вернее, сетка, чтобы не пролез фуфырик).

Троллейбусник, молодой парнишка:

— Оглобли скинул, Любка на три ходки вперед отметила. Напарник ждал с тремя пузырями, ну и давай. Опосля еще три красных съели...

Другой постарше:

— Начальник спрашивает: «Ну как с женой, уладил?» Нормально, говорю, разошлись.

Еще постарше, почти старый:

— Все это от недостатков, ребята. Когда мы были сыты, в достатке? Потому и звереем потихоньку. Чтобы вот так просто к соседу зайти, чайку попить... Да



что ты! Все равно что в клетку к тигру войти. Базарим, что при том было хорошо, при этом плохо... Да никогда не было хорошо. А только хуже и хуже.

— За четыре дня, что был в санатории, ничего не помню. Главная врачаха двадцать шесть бутылок в коридор порожних выставила и всех четверых отправила. Да еще телегу на работу. Запомнил тока, что вороны там белые, на море. От солнца небось выгорели.

Слышал, что в тюрьме люди скрытны. Но там стукачей много и сидят по разным статьям, а мы все по одной. Однако никто не спрашивает и здесь. Такт свой тоже. И школа — половина прошла зоны...

Я снова дома, в полузаконной самоволке. Смотрю на кровать. Сколько раз подыхал на ней с похмелья. И хотелось умереть по-настоящему. Только не собачьей смертью, не в петле...

Читал однажды старинные заговоры. Мать заговаривает чадо от всяких напастей и бед: от ножа, бердыша, худого человека, дурного глаза и т. п. И «от смерти напрасной»... Хорошо бы умереть по делу. До старости-то все равно не дотянуть, да и нет резона.

Малость очухался. Уходят крайности. Например, завязать и не пить до пенсии (пять лет, кто их гарантирует?). Чтобы быть здоровым человеком, надо твердо знать, чего нельзя делать. Все знают...

И все-таки хорошо, что я вырвал себя из пьяного мешка, пусть на время. А там посмотрим. К покою тянет. Просто жить. Но и покой надо заработать. Даровой покой — покойник...

Гнал, гнал — и вдруг стоп. Спешить некуда. Что-то вроде капремонта.

Неделю работал с Сашком в ночь. Ноги подкашивались, руки повисли плетью. В первую ночь чуть не упал, а гад конвейер прет и прет платы сырой резины. От подбородка чуть не до колен — длины. На весь расклад рук — ширины. И миллиметров сорок толщины. Надо класть, а вернее, укладывать на тележку. Под конец смены помогал Сашок. Он на неделю раньше занялся этим, а глядя на него, можно подумать — всю жизнь. И не потел.

— У меня на работе, — сказал он, — жарче. А у тебя дурь еще выходит.

Мне казалось, выходит из меня не дурь, а дух последний... Если не в работе — Сашок смотрится замордованным. А тут как заводной. Вроде проснулась в нем внутренняя сила — то ли забитая, то ли забытая...

Я же от физической работы отвык, умелец. После смены не мог уснуть. Только закрою глаза: конвейер чертов выплывает откуда-то с платами резины...

— Сашок, смотрю я на братву — тихие, смиренные и умные. А ну как сюда несколько ящиков водяры и выпустить нас на улицу?

Смеясь, Сашок горбился, помахивал рукой. Смеется будто из-под какого-то груза, который придавливает его еще больше — за смех.

Володя Маничкин умница. Бывший военный инженер, работает наладчиком. Правдоискатель и, конечно, политик. Легко его представляю мальчишкой. (Сашка вот так и не могу вообразить подростком.)

Володя по вечерам вел разговоры с товарищем, который располагался в привилегированном месте, в углу. И звали углового товарища Фаворитом — последнюю неделю каждого месяца заведующая отпускала его на основную работу. Он там пропадал сутками. В конце месяца, как водится, завалы, а он бригадир, и, видать, толковый, раз так нуждаются. Лет сорока, лыс, сморщен и лицо истинно заводское, землистого оттенка, но энергичное, и глаза темно-темно-синие, живые очень, красивые. Он пока единственный, кого я встретил, прошел честно курс и выкушал весь предназначенный ему тетурам. Фаворит негодовал против глупости нашей жизни, так она его возмущала. Глупость сверху донизу. На выступление деятеля, который призывал к борьбе с преступностью, чтобы весь народ, рабочий класс кинулись ловить и выявлять: «Неужели непонятно? Что я могу сделать? Если судья судит и боится: даст семь лет — они через два года придут и семью вырежут?» Не щадил и себя: «До чего же дурья голова! По двадцать часов неделю вкальваем, даем, наконец, план, кидают нам гроши от заработанного, и те мы пропиваем. Мало того что государство берет в пятьдесят раз дороже, чем водяра стоит, еще вдвойне переплачиваем спекулянтам. Боже мой, до чего же мы дураки!..»

Они с Маничкиным обменивались газетами.

Фаворит выписался.

А Володя с прессой насел на меня. Соглашался с Плехановым, что центризм сожрал партию, с Герценом, что коммунизм в России — это самодержавие

наоборот, с Толстым — что, по Марксу, будут властвовать распорядители работ, развращенные властью хуже прежних, потому что внове... И многое еще. Его обрадовало, что я тоже настроен критически, хотя что здесь удивительного? Я не встречал ни одного, нигде и никогда, кто был бы настроен иначе.

— Давно баранку бросил? — спросил Володя.

— Лет семь. Как права отобрали. Слесарю. В машинах собаку съел и свои зубы. Видишь, железные? Паяю, от кислоты вывалились.

— Там и железные вывалются, — добродушно заметил Сашок. — Я отгружаю на хлебозаводе, и нормально. Хлебушко.

— Прилипают что-нибудь?

— Да. Особенно когда на загородные хлебовозки. У тебя халтурок-то небось навалом.

— А что толку? Все туда же — на горло.

— На хрена тебе резину кидать? — сказал Володя. — Переходи к нам в ремонтники. Три сотни. По ремонту и наладке. Сумеешь. Дома два раза в неделю будешь.

— Да я вроде уже втягиваюсь...

Через день меня перевели в мастерские. И сразу удача: бригадир — мой старый приятель Вадим.

Отношение с сестрами. Свету зовут Кривоногой. Говорят, злая. Порой — да, ее синие глазки леденеют. А иногда очень даже привлекательные. Я ей высказал свое впечатление о ее глазах. Хорошо покалякали. Раньше она работала в женской наркологии. По сравнению с нами — «девки черти, а работа ад».

Но отношение контингента к персоналу (администрации), как и везде. Есть несколько лизунов, которые роятся у дежурного стола, около сестер. А большинство не роняет себя. Сестры держатся более лояльно. Понятно, их работа. Мы, выпивохи, здесь не пивши становимся сами собой — народ независимый. Нам еще далеко не всякий нравится. Меня такое устраивает. А то поговорил со Светой — и мне уже кажется, чем-то ей обязан. Раз такой обязательный — разговоры прекратить.

И вот еще. Володя Маничкин тоже не мирится с дураками. По его словам, и жены его дуры. Что первая, что вторая. Я согласился с ним, а он со мной — не стоит пытаться счастья в третий раз.

Мне с ним интересно — это по правому борту. По левому — Сашок, с ним мне спокойно.

Хорошо. Жить можно.

Тружусь в одну смену. Приладилась к станкам, ничего хитрого. На сборке легковых покрышек и камер одни девчонки. Все приезжие, деревенские. Все матери-одиночки. Ясно. Мужик жену на такую работу не пустит, не должен пускать. Мало того тяжелая и жара — еще нервы. Станки старые, летят то и дело. А платят с выработки. Клянут порядки. В выражениях не стесняются, откровенны на все темы.

Вадим, мой бригадир, уже около трех лет как завязал. Прошел через наркологию. До семисот получает. Бригада берет в цеху еще работу, дополнительную, на подряд. Сейчас меняют сетку под верхним конвейером. Молодые хотят отделиться от пенсионеров. У пенсионеров отменили потолок, с пенсией хватает, гнать особо некуда.

Каждую субботу Вадим мне делает служебную записку: «В связи с производственной необходимостью...» — и т. д. По ней Аннушка меня отпускает на «работу» как ремонтника, и я отпраляюсь, куда мне заблагорассудится. «Только чтоб не подводить, а то случилось», — предупредил мастер, мальчишка совсем, недавно из техникума (при заводе), симпатичный характером. Были бы мысли выжрать, я бы сам не пошел.

С кланом объяснился, клан держит нейтралитет

Маничкин поколесил по Союзу. Командировки по военным объектам, море спирта. К тому же он спортсмен, играл в ручной мяч. Говорит, есть даже термин «бросок Маничкина». Поездил и с командой. Рассказывает и о прочих вещах...

— Глупо мы живем, пропивая и потные свои деньги, и свои жизни. А если взять в общем? Умно? Восемьдесят процентов труда общества, лучших умов на военку! На убийство. И это передовые страны называется... А теперь порезать на металлолом. Наша пьяная дурь недалеко ушла от общего умопомешательства.

Мы хоть не кровожадные... Черт с ним, пусть на металлолом, если бы завязали на этом.

Знает радиотехнику. Он мне, например, объяснил телевизор. Как из ничего, из невидимости — и вдруг изображение, да еще и цветное. Ну, радио понятно... Хотя и тут не все. Оказывается, есть техника, которая наш с ним разговор может подслушать за квартал отсюда — без проводов, жучков и тому подобного.

Он встает раньше всех и потихоньку делает гимнастику в своем углу. Играет железной болванкой. Ходит кругами перед завтраком и после ужина по пять кварталов. Сложен соответственно. Вообще симпатяга, глаза умные, седина в короткой стрижке, очки идут ему.

— Обидно до зубовного скрежета, кто делал жизнь, а кто ею руководит. Как народ сразу распознал — за Советы, но без коммунистов... Думенко, Миронов, Котовский, Фрунзе, Камо и тысячи других, которые по простоте душевной верили, что делают правое дело, их убрали с ходу. А позже до остальных дошло. У Чапаева семья, отец с матерью, вымерли голодной смертью...

В таком духе говорит долго...

Я рассказал о своей коdle. Свои в доску пропойцы. Знают в квартале все. Могут помочь с работой, с подработкой, сделать справку. И конечно, в любое время достать выпить. В крайнем случае в долг. Пропасть с голоду и с похмелья своему не дадут. Знают милицию — настолько, чтобы не попадаться. Есть знатоки в литературе, политике, садоводстве. Воры и проститутки? Это другое. Хотя в клане есть женщины. Они, можно сказать, завскаса. По части выпивки они энергичнее и настойчивее. Но у каждой свои проблемы. С детьми, особенно взрослыми, с бывшими или настоящими мужьями. Есть и парами, таким легче, как и везде вдвоем.

— Скажи ты, — удивился Володя, — не знал о таких кланах.

Он, возможно, в силу своей спортивной природы имеет крайние взгляды. Тоже возмущается, как Фаворит, но только по каждому поводу: «Даже красота наша и мозги уплывают за границу!» Ну какая это красота? Какие наши мозги? Если они уплывают... Болото сколько засосало — красивых, тяжеловесных, не мотыльков... Впрочем, мой сосед по подъезду (механик, может все — от сварки до токарных работ, — трое ребят) хочет списаться с американским фермером. «А что, — поддакнул я, думая, что он шутит, — там же в трудовых не лепят статью, один выгнал, к другому подался». «Механизмы моя стихия, — сказал он серьезно, — может, он меня уважать станет, почему я буду свиной?»

Для меня многое не новость, а для Володи открытие. Да и то сказать, путешествовали мы в разных плоскостях. Однако я не возражаю Володе, да и никому.

Должен отметить, наша братия более чувствительна к политике, чем рабочие на заводе, хотя и там разговоров достаточно. Мы нервнее, я бы сказал. Как бы очнувшись...

Наэлектризованы все политикой до предела. Сейчас малость отлипли от телевизора, приелась трепотня, и обнажились личины ораторов. Вчера, например, один профессор рассказывал — о себе, о семье... У него сын двадцати трех лет, «пишет сценарии». Что он может написать? Но такой же чей-то сынок-режиссер поставит фильм, актеры такие же. Папаши протолкнут...

«Кубанские казаки» — вранье. Тогда жили страшно. А смотришь с удовольствием. Какие лица у актеров крестьянские, как играют! Все-таки были таланты из народа, то есть действительно таланты, и проходили школу настоящих актеров. Сегодняшнее искусство выродилось в сынках и дочках (только ли искусство?). Фильм по сценарию о крестьянах, а играют цацы закормленные, размалеванные, хилые духом.

Проговорили весь вечер. Вспоминали Черкасова, Тарасову, Кадочникова, Крючкова, Алейникова, Андреева. А после них какой-то провал, упущенность, несовершенство, невысказанность. Прореха. Что-то такое, что должно было произвести искусство, ушло в разговоры, в образование, в песок. Послушать — мастеров много. Грамотные, всё знают, спорят... А здания нет. Так, сараи или финские домики... «Леонов», — заметил Сашок. «Кинуто на ветер, ахнуто по-таковски, — сказал Володя. — Хуже, чем пропито».

Пришли мы к выводу, что наши актеры (не сынки, а талантливые) несчастные люди. По работе надо играть лживую схему. Тогда — героя. Теперь — бандитов и проституток.

— Я воевал, думал — колхозов не будет, — откликнулся дядя Мирон. — Всю жизнь, суки, мучили и смерти покойной не дадут. Добра мне уже не увидеть.

— Эллочка-людоедочка, — зло сказал Володя. — Всю культуру и искусство низвели до ее уровня.

— То есть до своего, каков был у них.

— Вот именно. Людоеды. А сейчас выкормыши называют народ «дети Шарикова». По Булгакову чешут, а самого растоптали... Кто такой Шариков? Балалаечник с собачьим сердцем. За стакан играл кому угодно в кабаке. Так же эти, которые сейчас элиту из себя корчат, ломаются, как сдобные сухари в лоханке. Их отцы на своих балалайках пели дифирамбы всем — кому от страха, кому за обедки со стола. Прятались от войны...

— Сейчас они балалайки перестроили.

— Все равно купишь фраера за иностранную банку консервов или шмотку. От дешевки и есть дешевка.

Мне вспомнились «Свадьба» по Чехову, «Медведь», «Бесприданница». Тогда в актерах было что-то, сейчас пропавшее бесследно. Если уж барыня, то барыня, мужик мужиком смотрел... Одним словом, мастерство. И во всем видна была хватка мастера, коли уж мастер выносил свою работу на суд людской... Я немножко захватил. Помню соседа дядю Федю, как сапоги ладно тачал офицерам на заказ, сейчас бы их назвали сувенирами. А бабушка мой каждую духовку мастерил для себя будто.

У меня бывали в жизни минуты проклятий. Клял не знал кого, но знал за что.

Но в общем-то я очарованный странник. Дорога, просторы, моторчик тянет и тянет, интересного попутчика посадишь. Ну а уж тем более попутчицу. Редко, но случалось с продолжением — завернешь в гости на ночевку...

После удачного рейса или трудноватой работенки, хоть правой, хоть левой, но приходит же конец работе и всему, что с ней связано... Хорошо.

Хорошо на природе.

Еще десять лет назад горел во мне, временами пылал прямо-таки, огонь надежды и предчувствий чего-то радостного, непременно должного произойти в моей судьбе. Этот огонь и делал меня подвижным.

Мечты, фантазии на личные темы — самые сильные наркотики в моей жизни. И странно, с угасанием сил они не тускнеют, только горизонт их сужается. И пусть я всегда относился с насмешкой к себе такому, но, видимо, человек мечтает все же о возможном...

Тяжело ощущать и тускло думать, что жизнь позади. Та жизнь, которая могла бы случиться.

Стоп! Стоп!.. А сколько твоих товарищей не дожили до твоих лет? Свернули себе шею в авариях, захлебнулись водкой, сгнули по пьяному делу в лагерях... Грешно радоваться «той грустной радостью, что ты остался жив». В том-то и дело, что не радуясь...

Сгонял на работу. Получил кое-какие денежки, по сегодняшним расходам моим на три месяца хватит. Заплатил за квартиру, получил талончики на харчи (водочные подарил соседям). Надо сестренку проведать... Вот и все мои заботы. Никому не должен. Хорошо.

Поговорил на работе со мной Макарыч по-человечески («подлечись» и т. п.) — и мне уже охота у него работать. Такая натура. Слабость к людям...

Кажется удачным, что удалился в эту обитель. Везде люди. Что-то пугалось в голове... Да. Пусть и не очень нас притесняют, но собраны мы здесь принудительно (жизнь заставила — значит, не по охоте). Распорядок: Бесплезность своей воли. Воля отдыхает. И не ездить на работу распятым в автобусе.

Мы столуемся вчетвером. С нами Гена. Здесь он работает на кухне, а на воле — в кооперативе. Смешлив и неплохой парень. Ухватистый, исхитряется ночью (в столовой по суткам) варить из костей холодец, вкусный, с приправами.

Я прикупаю в цеховом буфете. Сашок два раза приносит с работы в выходной сахарку, масла сливочного, булочек. Володя носит из дому (он заскакивает домой через день), Гена таскает из столовой. Аппетит у всех хороший. Что очень ценно — Гена достает чай. Мы не чифирим, но здесь все пьют чай. На работе в цеху стоит куб, заваривают по три раза за смену, девочки тоже. Возможно, тяга к чаю связана как-то с вредностью, которой на заводе хватает. По стажу идет вредность, все получают молоко, но привозят его с большими переборами.

Я всегда энергичнее делаю другим. Попросят — пожалуйста! А для себя откладываю на потом. Может, и правильно? Потом многое отпадает и оказывается необязательным. Удивляет способность человека собраться, сжаться в кулак в положении критическом, когда припечет по-настоящему, и башка тогда удивительно правильно варит... Но это между прочим, а так моей доверчивостью иногда пользуются. А то и вообще вляпаешься. Сосватал как-то одну пару — оба мне стали врагами. Одной матери устроил сына к себе на работу, а он у нас спился. Другие по сей день работают, а для нее я «враг номер один». Непрошеное добро добром не ворочается. Похмели раз-другой товарища — привыкает. Не похмелишь — обижается. Я не могу считаться по мелочам. Убрал со стола раз, другой, третий... привыкли. Так и надо. Только Сашок хватает у меня тряпку. Поставил товарищей на место. По очереди. Получилось резко, чуть не развалилась компания. Это я к тому привел, что жиллся окончательно, вошел в узкую колею, раз до таких мелочей доходит дело.

По-моему, один из инстинктов человека здорового — тяга к работе. То ли врожденная, то ли привитая со времен еще диких. По себе знаю: раз есть сила, мощь — надо ей применение. Лишний раз убеждаюсь, глядя на Вадима. Как он осмысленно устраивает ежедневно работу бригады, сам тянет за двоих. Да и знает, за что работает (перешли на подряд, но все побаиваются, что срежут заработок).

Помню, он у меня кантовался. Пили несколько дней. Пришел Колька с бойни (сейчас сидит), принес мясо. Начали варить. Пьяный Вадим достал из кастрюли только закипевшее мясо и грыз его. Рот, щеки и подбородок были в крови. Оголодал...

Мой напарник, наладчик (талоны на молоко отдаю ему, двое детишек), прошел через наркологию тоже. Поддает. Каждое утро предлагает мне стакан. Убеждает, что к вечеру никакого запаха. С полочки спал на антресолях в мастерской, у вентилятора. Шум там и грохот от мотора адский, вылез весь в пылюке, как черт.

После ужина (ужинаю раньше, но прихожу в расположение позже, сразу приучил к этому сестер — ремонтная работа) я гуляю по улицам. Выбрал маршрут. Два магазина, третий — книжный (купил роман Клычкова), далее пустырек — и к железнодорожному мосту. Там я сделал открытие. Пирамидальные тополя. Топольки. Высадил их, наверное, какой-то южный человек. Здесь они, конечно, не то, что в степных просторах — маяками, здесь они наравне с другими деревьями. Не климат. Ветви их тянутся кверху, стелются, жмутся к стволу, как бы защищая его от вьюг. (Мне они напомнили камеру на одной из окраин отечества, куда нас с напарником кинули шерлоки холмсы районного значения, заподозрив в контрабанде. Был страшный холод. Мы грелись, прижавшись спинами друг к другу, поочередно обхватывая себя руками за грудь, живот, голяшки. Когда нас выпустили, полдня не могли отогреться в натопленной кабине, в пути.) Но эти топольки мне напомнили и другое. Южные мощные деревья у предгорий, вечер, имя женщины... Сейчас так же село солнце только что. Но не в ущелье, как там, а в щель между жилых махин. У топольков морозом сшибло мелкие веточки. На юге они гуще, кустом вокруг ствола, создают тень посреди сжигающих лучей солнца. Мудрое дерево. Глупых деревьев нет, у них всего ровно столько, сколько необходимо, лишь плодов в избытке.

Я стал проведывать топольки ежедневно.

Частенько, возвращаясь с работы, делал круг, чтобы пройти мимо заброшенного болотца, по случайности сохранившегося островком дикой зелени. С цветущими все лето прямыми алыми бодылками иван-чая.

Сейчас стоит не поймешь что. Зима сдалась какой-то гнили. Вместо законных холодов — грязь и смрад, из нор всякая нечисть вылазит. Уже третья зима такая. Говорят, парниковый период на Земле. Раз период, значит, дальше будет еще какие-то. Ясно, не лучше.

Я пожаловался Сашку на погоду и лег на койку. Сашок ответил, что, по приметам старух (у него соседка старуха, кухня на двоих), зима должна быть морозной.

— Какие шас приметы? — отозвался дядя Мирон. — Небо разорвали, все в дырах.

Сашок усмехнулся:

— Приметы и те нарушили. Была примета: попа встретишь — плохо будет. Сейчас никто попа не встречает, а всем плохо...

Смотрели фильм по телевизору. Там для контраста среди современной, разодетой публики идет красноармеец в буденовке, запыленной шинельке, с оклунком за спиной... «С субботника пришел», — заметил Сашок. Меня весь вечер подергивал изнутри смех. Он подмечает юмор жизни, а это иное, чем юмор слов.

Здесь каждый старается что-то иметь домашнее или от близкого человека. Некоторые принципиально ходят в своем, щеголяют в спортивных костюмах. Мы с Сашком носим казенное. «Свое побережем», — сказал я. «Да, — согласился он, — не пускают на улицу в пижамах, я бы на работу в ней ходил».

Он продолжает кидать резину с транспортера в три смены. Я ему предложил слесарить. Можно было устроить перевод. В ответ он махнул рукой: какая разница? — и остался там же. Он не назойлив, в друзья не набивается.

Из его скупых рассказов, да и по нем видно, что он моего типа — не алкоголик, а пропойца. Алкоголиком можно быть скрытым. Их немало среди шишек (говорят, их лечат в отдельной больнице, двадцать три дня — и готов). Алкоголики не могут без водки. Или ежедневно, или периодически запой. А для нас выпить есть — пьем, нет — не надо. Но если пить, то вволю.

Мы, пропойцы, пропили все в жизни. Я никогда не был без денег (и на колесах и по слесарке — халтурки) и при деньгах никогда не был. Спускал все. Нравится мне похмелять, пусть незнакомых, покалякать... Но у нас одна положительная черта: мы всегда работаем.

Как угодил Сашок? Выяснил. Упрятала старуха соседка.

Проскочила еще неделя.

В противоположном углу от нас интересный парень. Даже с виду. Борода. Вещ заросший шерстью — грудь, руки (лет тридцати пяти, с высоты моего возраста все кажутся парнями да девчонками). Монтажник. Здесь подметает цех — и доволен. Сосед у него мужичок постарше, маленького роста, но забияка. Обоих зовут Петями. Они друг друга — Тёхами, тезками, значит. Называют их Тёха-бородатый и Тёха-маленький, а проще — Борода и Маленький. Тёхе-маленькому это не нравится, он себя таковым признавать не хочет. Рассказывает:

— Сосед у меня каратист. Говорит: когда бьет, то обязательно кричит, привычка. А я говорю: когда бью — кричит тот, кого бью. Но один раз я попал на настоящего. Паренек шуплый, с дипломатом. «Не ругайтесь», — вежливо так говорит. «Выйдем?» — говорю. «Выйдем», — говорит. Вышли. Дождик прошел, скользко. Нас трое. Те двое такие же почти амбалы, как я... — Тут он втягивает грудь и подает вперед плечи, изображая амбала; мы уже хохочем, но наш смех его не смущает. — Я только намерился стукнуть... смотрю — лежу в луже и ем грязь. Два остальных кореша тоже. Чем, гад, ударил? Неделю все болело от кадыка до колен.

Считать себя амбалом, пожалуй, единственная слабость Тёхи-маленького. Ни с какой другой стороны его не возьмешь. Он часто сбивается на политику. С первого высказывания — не припомню, к чему, — врзал:

— От нашей страны коммунистической и Бог отказался. Он наслал на людей СПИД нечисть подобрать, проститутток и гомиков. А у нас СПИД младенцев поражает и здоровых. Привели всех к нищете и уродству. Коммунисты, вперед! За долларами! Депутатов купили с ходу... Говорят, они за день сжирают стадо коров. Где уж тут до Бога...

Но на божьего человека он не походит.

Тёхи между собой в постоянной перебранке.

— Тебе полотенцем обмотаться — вылитый душман. На афганскую границу бы пленных разменивать.

— Правильно говорят: мал клоп, а вонюч, — не уступал Борода.

— Мал золотник, да дорог, большая фигура, а дура. Ты здесь шлангом прикидываешься. В партии состоял, разводил ля-ля тополя, тары-бары шаровары, потом к демократам переметнулся... Ну что твои демократы?! Смотришь, худенький такой живчик-говорунук, а как поставили на должность, через полгода ряшка в телевизор не вмещается... Демократ. А моей теще за городом талоны — триста грамм муки и триста макарон на месяц. Вдова солдатская, после войны троих на ноги поставила. Да еще в Совете обманули старуху, талоны на водку и курево не дали. Пошел доказывать, на меня акт составили... И моду взяли! В отставку! Выходит, я развалил предприятие, нагреб себе, все растащили, люди по миру пошли, а я по собственному желанию ухожу, демократически!

Они уже объявили себя господами. Раньше в биографиях под батраков и рабочих хилияли. Были начальники и казнокрады, стали господами. Да и вправду — какие они нам товарищи? Кидали нам только понты.

— Что ты надрываешься,— сказал ему Сашок,— побереги себя, язва будет. Не умирает же твоя теща. Тебя переживет.

— После войны Англия тоже была на краю голода,— заметил Володя.— Паек у всех был одинаковый. Народ знал, что наравне со всеми принц съедает тоже одно яйцо в день.

— Да они готовы всю Россию голодом поморить, чтобы самим хоть сколько удержаться. Увидите! Другие республики отделились, а на ваньку сядут плотно, и все долги на Россию, и вся шелупонь союзная осядет здесь. Ворон ворону глаз не выклюет.

— Зашел в угловой магазин,— сказал дядя Мирон,— пусто, один кисель в пачках. Погулял, думаю: дай-ка кисельку возьму... Хренушки. Разобрали. Говорят, налетели с вещмешками. На самогонку небось.

— Нет, хорошо! — засмеялся Тёха-маленький, глаза его горели холодным весельем.— Еще, еще надо хуже, чтобы до нас, чертей толстокожих, дошло. Мы еще живем хорошо, не жалуемся.— Он прошелся по комнате, стал у окна спиной ко всем и продолжал спокойным голосом: — На работу пришла какая-то плюгавая харя оттудова и давай напрямую агитировать против Ельцина. Я не собирался идти голосовать вообще. А тут думаю: нет! Вот как раз теперь-то именно я пойду и проголосую за этого человека. И бабу потащил.

Тёхи знали давно, работали когда-то вместе, потому друг с другом не церемонились. Обычно ребята здесь между собой сдержанны и уважительны. Маленький цеплялся ко всем, но с бочка, не так в лоб, как с приятелем. Просматривает газету всегда шумно...

— Во! Вот это хорошо! Вот это мне нравится. Читайте! Местные князья из грязи поехали на пикник, нажрались... Отлично! Лодки перевернулись, все на дно вместе с шалавами, один только выплыл...— Маленький потер руки от удовольствия.— Жаль, что выплыл. Всех бы их туда... Ишь ты! Зимой на лодках их катать! Ловкачи! Вчера секретарь, сегодня демократ, но в том же кабинете... Маничкин вот им верит. Да пойми ты: черту хвост отруби — он все одно чертом останется. Ну выкинул он красную книжку... Себя-то не выкинешь.

Проворотов, мужик степенный и молчаливый, в прихожей за столом пил чай. Аккуратно убрал со стола, прошел к окну и сказал:

— Куда бы ни схоронил, баба найдет.

— А я уже несколько лет заботы не знаю,— сразу откликнулся Маленький.— Оттырил денюжку — и ей в пальто. Зимой — в плащ. Летом — в зимнее. В своем искать не станет. Холостякам лафа, прятать не надо. Как, Сашок?

Сашок только губами дернулся. Выпивши он боялся домой показываться. Трезвый стоит на кухне, и то старуха придирается: «Что стоишь?»

Гена, наш четвертый столовщик, при разговорах о женах всегда как-то напряженно молчит. Гена взял жену с ребенком, вырастил, устроил в техникум. Жена им командует. Вдвоем с дочкой поколачивают пьяненького. А то и в милицию сдают. Ни разу здесь не провела. Уродуется для нее в кооперативе. Есть машина, в квартире дорогая мебель, деньги на книжке на жену. Она его убила: в случае чего, достанется сыну родному от первой жены.

Проворотова, всегда сдержанного, неожиданно прорвало... Заговорил... В командировке влюбился. Очень хорошая женщина, приветливая и любовь у нее к нему великая. Он бросает семью, разменивает квартиру, тащит ее сюда. Тут она ему показала за три года кузькину мать. «Главное, слова не дает сказать. Я спокойный, но стоит сказать одно слово, взрывается и понесла. Как только меня не обзывает. Я отродясь такого не слышал. Здесь отдыхаю. Помню колхозных поросят... Кинут ему чего, он хватает — и ходу, чтобы самому сожрать. Взял ее почти что из хлева. Вот эти несчастенькие, бедненькие... им как урвать — и все. Если у них урвал такой же, их это не обижает, это по-ихнему. Зато они очень хорошо чувствуют слабость тех, кто побогаче, по сильнее. Которые, кстати, им сочувствуют и верят им. Но сколько им добра ни делай, хорошим не будешь. Им уже плохо, что ты делаешь, что ты лучше их. Они ленивы, неряшливы. Они добры на чужое добро, осуждают жадность, когда сами нищие. Жалость к ним никогда не прощают... Ты хоть пропади, лишь бы им было хорошо. А им никогда хорошо не будет, потому что кому-то все равно лучше. Гребут только под себя

и вечно нищие... Они до тебя не станут подниматься, а всеми силами будут стараться тебя опустить до них...

Он начал о жене, а ярость его перешла на кого-то — на «их».

— Ну ты-то что собираешься делать? — перебил его Маленький.

— Не знаю. Хоть беги куда глаза глядят. Дети не простят, что бросил, хоть и взрослые. Я и сам себя не прощу.

— Думал ландыши нюхать, а оказалось — крапиву, — зло засмеялся Маленький. — Не хочу, чтобы меня сильно любили. От большой любви к народу половину его истребили. Да так, что самых дубов выкорчевали, а на их месте лопухи выросли.

Нам с Сашком стало скучно. Переговариваемся потихоньку. Он вспомнил покойную жену. Схоронил — и потерял душу. Обманывал ее всю дорогу, деньги прятал и другие фокусы: то зарплату потерял, то милиция отобрала. Купил духи ей однажды на день рождения, дешевенькие, «Пиковую даму», — как она обрадовалась...

— И чего себе не прощу, что воровать-то от такой было грех. Подыхаю — последний трояк отдаст: иди похмелись. А то еще и займет. Такой пьяни такие жены хорошие попадают...

— Плохие живут с хорошими.

Сашок согласился и пошел курить. Я тормознулся, пусть покурит один. Подсел Проворотов:

— Понимаешь, она меня перессорила с соседями. У нее нет такой вот жалости к людям, снисходительности. Она жалеет только себя. Я и ее как-то понимаю, когда один, ну, мол, ладно, балаболка, а как вместе — скандал. Тут мне стало ясно, тут я обдумался. Она хочет комнатой завладеть. Узнала дорогу в милицию... Когда от них пришла телега на работу, начальство увидишь, что я хулиган. Пробовал учить. Никакого проку. Это ж по породе идет...

— Первую-то, наверное, добром вспоминаешь?

— Тоже не мед, но жили. Понимаешь, внуки у нас рано пошли, нам по сорок лет было. Я внуков люблю, сейчас скучаю очень по ним, но та, кроме них, ничего признать не стала. На меня «дед» да «дед». И ничего больше. Не хватало, говорила, чтобы бабкой забеременеть... Но эта! Понимаешь, хорошему человеку везде неплохо, а таким плохо всегда... если кому-то хорошо. Понимаешь?

Пошел курить и он.

Да, «кому-то хорошо — ей плохо. Понимаешь?». Понимаю, к моему огорчению. Сидит такое и во мне, и придавливаю я это в себе всю дорогу. И мне думается: вот перевернут жизнь, будут снова явно богатые, а ведь не от них самая опасность и недоразумения грядущие... Конечно, попервах сломят себе шеи многие, остальные зацепятся, самые свирепые. Где-то во втором, третьем поколении прорежется у них человеческое: совесть, достоинство, меценатство и т. п. Но сквознячком будет тянуть, закашляет общество снова от «мне плохо, а почему ему хорошо?». И отчего это так у нас развито? От вековой бедности средней полосы, что ли? Бывало, завернешь левака кому-то на юге или на западе необъятного СССР, там народ посторонний, как увидит, с улицы уходит, старики с лавочек... А тут привез — сразу сбегаются: «Чего привез? А где взял?» И коммунисты не тем взяли, что рай на земле обещали — никто не верил да и не знал толком, что это такое, — главное: равенство. Хоть плохо, но всем, а другим, за кордоном, еще хуже... Потому и горим, что любим такое.

В прессе и по телевидению разоблачают, громят. Крушат словесами. Володя Маничкин книги оставил. Перешел полностью на газеты. Набрасывается как на пищу и глотает. Настроение его — в зависимости от статьи или речи по телевизору. Однако в колебаниях одно неизменно: искание истины и правды. Мы с Сашком уже переспелые фрукты, треснувшие, ударившись о землю, а его разрывает изнутри. Мы с Сашком из племени «чтоб сказку сделать былью» (так мало встречаю годков довоенного рождения). Как и сказал однажды Сашок: «Мы сталинской выделки: „Молчи, Феня, греха будет мене“». Хотя я, признаться, никогда особенно не молчал. Наоборот, раньше говорил больше, чем сейчас, когда заговорили все. И все-таки не зря, наверное, Володя сказал: «Вы с Сашком похожи друг на друга, как две капли перцовки». Чего-то уже не переломишь в себе, не сдвинешь.

Меня вызвали на выход — кто-то пришел. Я не пошевелился, подумал — розыгрыш... Действительно вызывали. Иду в приемную — сестра Галя!



— Какими судьбами, сестричка? Как нашла?

— Звоню, звоню... Позавчера прихожу домой — под дверью талоны и записка. Испугалась: что такое наркология? Поехала к твоим соседям — в ЛТП, говорят. Боже мой! Встретился один из твоих приятелей у подъезда, пьяный, наговорил ужасов про лечение и дал этот адрес.

Я благодарен судьбе, что у меня есть сестра. Хоть и троюродная или даже далее того. Наши деды были братьями.

Галя глубоко верующий человек. Это осложняло ее жизнь — она никогда не скрывала своих убеждений. Кто с убеждениями, тем было тесно всегда. Их не лишили тринадцатой зарплаты, как нас, пьющую братию, не отлавливали на улицах с целью обобрать и утрамбовать выпрезители, наркологию, ЛТП... Но система хитра. Впрочем, давить особой хитрости не надо, а кого как — дело техники...

Сейчас толпа шарашнулась в другую сторону, нательные кресты вешают чуть ли не поверх пальто. В бассейне, по телевизору, голые бабы плавают со свечами, расппевают церковные гимны... Сволочь всегда остается сволочью, при любой моде. Да и вообще... Старое как просто не воротись. Вера возвращается с кощунством, торговля — с разбоем, земля — в неумелые руки, свобода слова — половодьем, с мусором и грязью...

Раньше Гале было тяжело среди сослуживцев. Да к этому добавить работу в ОТК на заводе с ее-то честным характером... Однако я не помню ее унылой.

Жизнь ее шла нескладно. В молодости большие надежды на будущее. Красива — даже снималась в кино, талантлива — в детстве хорошо рисовала. С фантазией. Первый муж — капитан дальнего плавания, спился, и быстро. Разошлись, детей не было, а была операция, после которой ей сказали: детей не ждать. Второй муж — инженер. Она к этому времени окончила институт и уже приобщилась к религии. Она мне говорила: видение было. Мужу нужны были дети, а не молитвы, ушел к другой. Через семнадцать лет пришел смертельно больной. Просил прощения и чтобы похоронила по-христиански. Хоронили его две жены. На памятнике с одного угла звезда пятиконечная, с другого крест. Портрет его завис между двумя символами. Она всегда занята. В отпуск ездит по монастырям. Жертвует на богоугодные дела, и, наверное, немало, живет и наряжается скромно. К любовным утехам холодна. Или, вернее, сердце ее занято духовной жизнью. И хотя я с некоторым подозрением относился к ее затворничеству, во всяком случае, всегда по телефону предупреждал о своем приходе, сейчас я ее понимаю. Мое сердце настолько же пусто.

Переложил из сумки в холодильник передачу, оделся, пошел проводить. Зашли в кафе «Мороженое». Взял мороженого и кофе.

— Я буду приходить к тебе каждую неделю. Можно?

— Нет, конечно. Я сыт, а всякое внимание излишнее мне обременительно. Ты же знаешь. Я привык к волчьей жизни.

Но раз-другой пусть навестит — как лишить ее удовольствия в благодеянии? В первую же субботу закажет молебен. Я должен в этот день мысленно обратиться к Богу...

— Хорошо хоть не панихиду.

Ее лицо приняло скорбное выражение.

— Помолись о всех нас, несчастных. Или хотя бы об одном отделении.

«Все-таки падши и... Все-таки смотришь, сестрица, с приступочки в яму...»

— Извини.— Я взял ее за руку.— Знаешь, у меня меняется отношение ко многому. Годы смиряют и меня. Тело вроде свое уже отрабатывает, а дух жив и неспокоен.

— Гриша, я знаю, мне мама рассказывала... Твоя мама была очень верующий человек. Она тебя два раза крестила. Первый раз у обновленца, потом у старого батюшки, которого вскорости замучили.

— Я это знаю.

— Она там молит за тебя. У тебя один путь спасения, одно упование... как и у всякого.

— Я знаю. Сколько раз я обустривался внешне, наводил вокруг себя порядок, но весь кавардак от внутреннего неустройства.

— Прими истину в сердце. Гриша, покаяйся.

— Покаюсь — Бог простит, а я прошу себя? Хоть он и Бог, да как на него спихнуть свою прошлую жизнь? Нечестно как-то...

Галя пишет иконы. Но медленно, в год одну... Давно уже ее духовный отец, благочинный какой-то не здешней церкви, то ли благословил, то ли рукоположил ее на писание икон. Пожаловалась: плохо с красками. Пообещал помочь. Она написала, какие надо.

— Гриша, жениться не думаешь?

Я покачал головой.

— Я знаю одну замечательную женщину. Хорошая.

— Со мною станет плохой.

Галя наклонилась, глядя в стол.

— Будешь продолжать жить в блуде...

— Какой-то мудрец сказал: лучше встретить в лесу голодную медведицу и поиметь с нею дело (Галя болезненно сморщилась), чем жить со сварливой женой. Ну а где в этом возрасте я найду не сварливую?

— Про сварливую сказал царь Соломон.

— Вот видишь, мы с Соломоном пришли к одним выводам. Товарищ, кажется, тоже имел немало женщин...

— Оставь этот тон.

— Все, все. Помнишь, я женился?

— Но ты же пил!

— У меня была одна жена всю жизнь — моя воля. Я не встретил женщины, ради которой поступил бы своей волей или бы она уважала мою волю... Судьба — довольно хмурая дамочка.

— Ты бы мог иметь детей.

— Может, где-то и есть.

Она достала из сумочки поветшалую книгу, в старинном переплете.

— Перед сном я хоть страничку да прочту. «Жития святых». Возьми.

— Не могу. Тут иноки другого сорта — сопрут.

Галя рывком прижала книгу к груди и положила обратно.

— Тогда возьми это. — Она протянула крестик на тесемочке.

Я положил его в нагрудный карман. Дома у меня в уголку в серванте, где книги, ее иконка Спасителя и молитва, переписанная ею.

Она соблюдает все посты, и весь образ жизни у нее другой... На четыре года она моложе меня, а кажется — на все десять. Конечно, непросто ей блюсти одиночество — с такой внешностью; уже здесь, в кафе, я перехватил пару алчных мужских взглядов. Говорят: хорошо сохранилась. Когда есть что сохранять, так оно сохранится. Но в каштановой косе, накрученной под полушалком, частые сединки. Лучики морщинок в углах карих прозрачных глаз... А главное, еще дальше отошла от мирского, уже темы ее разговоров. Милый мой родственничек...

После отбоя я долго не мог уснуть. Перед глазами стояло ночное небо, когда я летел на самолете к морю. Выпало место у иллюминатора. На земле огни и огни, мелкие, как блошки, без перерыва. Земля не отдыхает. Мутно-желтые, мелкие по сравнению с крупными, яркими, ясными звездами. Голубоватые, ядреные и как бы живые звезды над желтыми скопищами городов. Обрез земли дугой, так явственно почувствовал ее круглость, малость...

И здесь в окошко на меня смотрит звездочка с темного неба. Сознание расширяется, углубляется до космоса, чувствуешь свою крохотность... Да, я один во вселенной природы и людей. Комочек плоти, и если этот комочек лишит воли, которая должна выразить мою сущность, тогда совсем глупо и ни к чему...

Галя не зря сказала: «Тяжело живешь». Прошлое тяжело (грязью с падениями), глубоко (грехами и пороками), чтобы так просто взять и отмежеваться, переродиться. Галя духовность в своей чистоте легковесна, чтобы приняла ее моя изуродованная душа. Как в натруженные, растянутые в жилах руки положить что-то легкое, пух... Да и потом, как-то никогда не приходило мне в голову спастись самому. Но с годами стал замечать свою слепоту, глухоту... Замкнутость пространства разрывается. Временами стал так чувствовать связь с прошлым, будто жил когда-то. И такая же осязаемая связь с будущим, когда меня уже не будет, прямо чувствую свое присутствие там.

И в смерти что-то есть таинственное, не только темнота и прах. В основном люди не боятся смерти (не говоря о таких отряхах, как мы). Люди веселы, неминуемый конец никого не гнетет. И большинство умирает людьми. Ведь если бы прах и только прах, натворил бы каждый перед смертью черт-те чего. А то — как будто будет продолжение. Как-то не так люди живут все же, как бы не насовсем смерть. И боятся не так чтобы очень ее, не так чтобы смертельно...

Сейчас к телевизору стали допускать священников поговорить с народом. Заметил — Сашок слушает внимательно. «Интересно?» «Да, слушать приятно, — ответил он. — У батюшки глаза умные. Не то что у этих балабонов — бу-бу-бу-бу. Одно и то же, дятлы».

Да и Божья мораль ближе духу народа, у которого нет ни самоуверенности, ни похвальбы. Все эти «дадим!», «перевыполним!», «перегоним!», не говоря о «сметем!» и «ликвидируем!», в сущности своей противоестественны. У нас если что-то хорошо, удалось, скромно говорят: «Слава Богу, не хуже, чем у людей». Так говорили раньше, по крайней мере когда бывало хорошо. Удивительное свойство народа — быть смиренным, не будучи смирным.

Привычка к отвлеченным рассуждениям у меня смолоду. К этому располагали бесконечная дорога и уединенность кабины. Но в молодости одно, а к старости другое. Случаются моменты, когда хочется обратиться к кому-то высшему, пусть без ответа...

Мысли мои текли под песни Высоцкого и других бардов. Тёха-бородатый принес магнитофон, весь вечер ставили кассеты (молодец, любитель, японская аппаратура). Пришли люди из других палат, сестры.

Высоцкий как-то не вмещается в одно слово «бард». По смыслу песен, по их звучанию он на голову и на тон выше своих товарищей и последователей, конечно. Шукшин и Высоцкий двумя метеоритами мелькнули на нашем темном небосклоне. В плотные слои они вторглись, сгорели быстро, не дотянули до разреженной атмосферы... Не видно на Руси конца этому. Шукшин, такой писатель и актер, скитался по вокзалам и общагам без прописки, а хатку подсунули такую, что сочинял в туалете...

Однако завершились мои отвлеченные и чистые размышления помыслими самими что ни на есть греховными. Я позвонил приятельнице, договорился о свидании на субботу. От мужского общества у меня начались застойные явления: апатия, занудливые мысли и беспокоящие сновидения.

Но до субботы я не дотянул. Стоит мыслям дать такое направление — и они погнались. На второй день после обеда мы с нею были уже у меня на квартире. Несмотря на то, что я перед этим делал капитальную уборку и поддерживал порядок, не принимая гостей, она что-то переставила, протерла, приготовила обед, и квартирка моя холостяцкая приняла веселенький вид, запахло даже уютом. Полдня провел почти в семейной обстановке. Выяснил для себя, что соскучился по всему этому и другому. Потом мы с нею гуляли. Она без конца рассказывала о детях и внуках... Ну не все ли равно о ком?

У нее две замужние дочери. Как она их однажды несла: «Проститутки, давалки несчастные...» Далее даже и не так, а почище... Девчонки смиренные, стоят опустивши головы... А там кто их разберет, но я больше туда ходить не стал.

Хорошо, что она ими так занята. Внучатами. Поэтому, естественно, у нее снисхождение ко мне, что я ценю больше всего. Другие, бывало, вопьются в тебя когтями и ну переделывать на свой лад, как бы ты им был удобнее. И уж, конечно, никакой тебе твоей воли. А воля есть воля. Но... «простим, где нас горько обидели и по их и по нашей вине».

Договорились на субботу. Встретились утречком (я же пошел на работу), оказалось, она взяла билеты на представление гипнотизера. У нас были свои сеансы гипноза, я от них отказался. Старушка врач, говорят, от водки не отваживала, но засыпали у нее дружно. «Ваши конечности тяжелеют, они теплые» «Особенно средняя», — заметил Сашок и был отлучен от метода как не поддающийся внушению.

Заезжий шарлатан вызвал на сцену с полсотни желающих и начал творить с ними чудеса. Выделывал со спящими что хотел (впрочем, некоторых отослал со сцены), хорошо хоть в рамках приличия. Часть спала в зале на своих местах. А я все-таки сомневался, громко, вызывающе хохотал, ухмылялся... К концу представления (оно длилось без перерыва часа четыре), когда спящие выспались (могли бы и дома поспать бесплатно), этот подлец гипнотизер взглянул на меня строго, кинул в мою сторону пальцем: «Вон, в третьем ряду...» Что дальше, я не расслышал, но несомненно какую-то подлость... Через пять минут я заворочался, смеяться охота отпала, сказал, что опаздываю, и выбежал из зала... Хорошо по пути оказался туалет.

Вот сейчас дома малость оклемался. Со мною такого не бывало. Прямо мистика какая-то.

Мы с Сашком управлялись с домашней снедью. Была Галя (я ей посоветовал сходить на гипнотизера, она чуть не перекрестилась — «демонское»). Мимо нас прошел вновь подселенный товарищ, косясь на стол с харчами. Сашок посмотрел на меня, но и без его взгляда было понятно. Пригласили — отказывается. За плечи я усадил его рядом с Сашком. Он ел и рассказывал, как недавно ездил в Смоленскую область, помогал сестре баню ставить, питался домашним. Он был постарше нас, хромал на одну ногу, и сильно.

— Я случайно сюда попал.

— Все случайно, — заметил Сашок. — Живешь и то случайно...

— Я не особо пьющий. Так чтобы запоями — не страдаю. А потом, сейчас же она кусается, выпивка... Совсем сбесились, обнаглели. Пользуются тем, что в магазинах шаром покати... «Тройнушка» по восемь рублей с рук, «пингвин» — пять, а «Розовой воды» я и с рук не видал...

Мы переглянулись с Сашком.

— Хата отдельная? — спросил Сашок.

— Старуха-подселенка. Или я у нее подселенец, не поймешь.

— Шипит?

— Какой... Она сама поддает, не просыхает.

— Ну тебе больше повезло, чем Сашку, — сказал я.

У Семена оказалось в курилке немало приятелей. Один худощавый, подвижной и сразу какой-то... сразу свой человек.

— Сеня, я шестой раз ложусь. Плохо, что нигде не числюсь на работе, теперь не выпустят, пока не устроюсь.

— Все шесть раз в этом заведении? — спросил я.

— Не. Тут первый раз. Хреновая. В домино и то Аннушка не позволяет. Говорят, она врачом на зоне раньше работала. Вполне — глаза желтые, как у рыси. Она мне сказала: вас поставить в ряд и через одного из пулемета. Из всех больниц самое лучшее — дурдом. Что ты! Оттуда выходишь, как снова на свет народился. Процедуры водные и всякие, души разные, кислородные коктейли... Чего? Не! Не вместе. Дураки отдельно. Следующий раз, ребята, старайтесь всеми силами в дурдом. Трудно туда пролезть, зато там хорошо. Сеня, мне у тебя надо кое-чего притырить на хате...

— Можно.

Далее он подробно объяснил кое-какие трюки, чтобы следующим заходом нам попасть в психушку. Что такой заход будет, он ни капли не сомневался...

— Сеня! — Он вполтину, если не больше, моложе Сени. — А Филимон! Смотрю — лосьон и то водой разводит, ой безмозглый...

Мяничкин пришел поздно. Мечтает купить дочке компьютер (родилась от второй жены, когда ему было под сорок, фотокарточка у него в тумбочке в верхнем ящике, очень с ним схожа). Он после работы разгружает иногда вагоны с сажей. Работа не так тяжелая, как пыльная, мешки бумажные, есть рваные.

— Сажа вьетнамская, белая, но нанюхался вдоволь. Под душем, думал, кожу сотру, в поры вьелась.

— Господи! — охнул Тёха-маленький. — Сажу из-за моря возим... Каучук ладно, он у нас не растет, но сажу! А за кордон золото и алмазы. Теперь и людей, кто потолковей.

Для Володи стоял термос с чаем, приготовленная еда. После вагона он ел целый час. Немного отлежался — и мы с ним проговорили до поздней ночи. Нашел на меня стих.

...Опросы населения делают. Выдумывают какие-то погромы, боятся социального взрыва... Знает кошка, чье мясо жрет. «Хотя бы без крови...» Ах, Россия... То кровища, то мутня такая, что рады — хоть без крови... Когда же у тебя будет нормально?! Просто жить... Эксперименты? Чьи? Господа Бога? Какие погромы? Голосовать второй раз и то не пойдут.

Доброжелатели-теоретики готовили свои системы для кого-то, а на себе их не примеряли. Сами жили другой жизнью. Хотели народы облагодетельствовать, хотя ни один народ их об этом не просил... А кончилось полным обманом. Сталин, гений ихних систем, заветы выполнил до точки, подстриг общество, по крайней мере сверху, с трибуны, все одинаковы, лес рук. Вот это позаимствовали идеи... И сейчас не могу поверить, что там, за кордоном, я кому-то нужен со своими скорбями. Знаем мы этих благодетелей... Одно получится точно, как и у них: кучка будет с миллионами, остальным дулю. И перестройка эта — та же наркология: делаем вид, что лечимся, делают вид, что лечат, за это получают

деньги, и неплохие. Новые партии, новые благодетели народа, новые учителя народа... Да когда его наконец перестанут учить? Ведь вся трагедия в том, что талантливые, умные, дельные люди всегда сами по себе... Им не нужны партии.

...Одна надежда на терпение великое народа. Русский слаб, уступчив по мелочам, но по крупному он упорен, настойчив, себе на уме, себя не щадит и не жалеет. «Как-нибудь перетерпится». Чем идти к начальству права качать, думаешь: ладно, черт с ним, как-нибудь сам... На себе всё переносим.

Уважающий себя, добрый человек не любит власти. В двадцатых могли быть Ивановы вместо сталиных и троцких. Но они отошли, когда запахло большой кровью, они к себе прислушиваются, к своему нутру. Герои в открытом поле, грудь на грудь, а не в подвалах стрелять в затылок. И на восток шел русский человек не покорять — волю себе искал да потеху по своей силе... Прильнут к России малые народы снова, они не глупые, а эти князьки, секретари бывшие, домуют свое и сгинут. Революции, империи — как половодье. Потом вода входит в свои берега, тянутся ручейки к большой реке, если вода живая, не болото. Но — сами, не надо рыть каналов. Со временем, может, и поумнеет человек, да не видать нам с Сашком того времени.

Сашок слушал наш спор с Маничкиным, иногда вставлял замечания:

— Возле проходной афиши висят, одни нерусские фамилии, по другую сторону Доска почета, передовики шинного — одни русские... «Дубинка» от слова «дуб», у лесных разбойников. Придумали бы новое, а то у представителей власти — и тоже «дубинка»...

В палате смена, подселили молодых. Вот уж действительно все возрасты покорны.

Миша Беспалый пришел с работы, глянул на новеньких.

— Как в пионерлагерь попал.

Миша здесь уже тринадцать месяцев. Он постоянно работает на шинном. Пенсия возьмет с других пяти лет. В наркологии зарплата и стаж на пенсию не идут. Считается не работа, а трудотерапия. Он обжился, своя посуда и все необходимое для длительного житья.

Вот его логика: «Свобода, говоришь, за стенами... Какая? Нас три семьи на одной кухне. Только я холостяк. Стараюсь встать раньше, а все равно кто-то уже на толчке. И уроки дитю соседскому помогаю делать на кухне — и все равно плохо. А если еще приду выпивши? Понимаю их, теснота. В кино? И здесь в кино хожу. Так я здесь и не пью. Добуду до пенсии, еще три месяца. А там в деревню. Не смотри, что пальцев нет, я все могу. Лучше в сарае, да на воле. Хат брошенных много, куплю. Еще здоровый, иду по вредности — пятьдесят пять».

Этот тянет до пенсии, а двоих молодых родители положили сюда, чтобы дотянули до армии, не сели.

Молодые — шустрые, слишком шустрые. Отношение к людям, даже мат у них особенные. Скунули их сюда до армии, а там на армию навалят — воспитывайте, отцы командиры, возитесь. Вот такие подарочки обществу выдают граждане. Таков прирост населения. Да и такого, слышно, уже нету. У одного араба, писали, сорок два дитяти от нескольких жен, куда же дальше размножаться человечеству? Россия и здесь первая. По сокращению населения...

Матери каждый вечер бегают с сумками, харчи таскают. В конце недели мать одного распустила юнио:

— Пустите домой на выходной, Анна Ивановна, с отцом плохо...

Чадо на мать:

— Че хипиш поднимаешь? Дергай отсюда!

Приходят их сверстники из других палат. Приемничек, нудная музыка... Музыку мы прекратили. Разговор тоже нудный, однообразный.

— Халдей обслужил нас, потом по новой... Пес за столиком напротив стал вязаться... Я вдутый уже... Въехал он мне с левой, я ему в рог... Соски визжат... менты... Думал, не отлягаюсь... Предки чего-то мусорам кинули, отмазали, пихнули сюда... Надо к телке сгонять... Худая, лярва... На ней как на турнике...

И между словами матерщина, закрученная, завязанная в узлы.

Дальше — второй, та же история и в тех же выражениях. Ну, ребятня есть ребятня. Ну не нравится им по прямой. Суется в столовой, чифир отваривают.

— Заквасил. Замутил чайку. Пстой на атасе. Поднять хочешь? Подмолоди, это вторяк. Ты по новой змея запарил?..

Ну что они понимают в цифире? И слов этих нахватались уже здесь, от тех, кто понимает. Подпиливают здоровые зубы и вставляют фиксы. В одной палате лежит умелец стоматолог, четвертак — зуб. «Гэдээровское золото» говорит на рондоль. А рондоль зеленеет — желудок будет испорчен.

В авторитете у них малый постарше, видать, уже бывал там. Здоровый, но сторбленный. Молчалив. Красное лицо неподвижно. Не работает нигде. Что-то мне сразу бросилось в глаза в этом парне. Да он уже не хочет жить. Нормально жить. Вот в чем его сила над ними.

По статистике они числятся рабочими. После ПТУ куда? В рабочие. Вот по статистике у наших счетоводов рабочие — самые разбойники.

Да и в армию они не собираются, бубнят современные солдатские присказки вроде: будь проклят тот день, когда врач сказал «годен». А в мое время если парня не взяли в армию — трагедия на всю жизнь.

Я равнодушен к этим откормленным барашкам. На базе у нас немало водителей, слесарей молодых, нормальные ребята. Особенно сейчас взялись, на подряде, молотят и неплохо получают. Правда, те прошли армию, шаг у них уже твердый.

Через неделю пацанва что-то затеяла.

— Старшой не трясанется? — И косились на Володину койку.

— Он на выходной сваливает.

— Морда у него ментовская. Круги выписывает по коридору к Аннушке и обратно, очкарик.

А утром стало ясно. Проникли ночью в процедурную, вскрыли шкаф с медикаментами, набрали там колес и поехали... Один спал на полу, второго еле растолкали, а их коновод сломал замок на запасном выходе и свалил. Сдали их в милицию. Что дальше — неизвестно, никто не интересовался.

— С виду громадные, а хилые, — сказал Сашок. — Молодые, а ноги не держат. В транспорте бух сразу, падают на сиденье. Я и то никогда не сажусь.

— Как-то предложил место одной, — откликнулся Проворотов. — Вижу, старше меня, только перелицованная, крашенная. Она как дернется и с обидой: «Сиди, дедуля». «Извини, — говорю, — дочка».

— Предложил и я раз старухе, — сказал Маленький. — Пашенка, лет пятнадцать, внучоночка любимого, усаживает, и тот дебил садится. Поставил я его на место и сел сам. Вот стойте перед ними с сумарями и радуйтесь, кого воспитали, все правильно. Отлично! Есть присловье: когда чего-то нет у кого, говорят «с хрену душу». Какая у хрена душа? Куда ни воткни... И у них души — сколько у хрена. Бедные дети.

Один на один с Сашком. Он о сыне: «Так... помет. Слабый. Как узнаю про кого, что партийный или у бабы на поводу... — Он махнул легонько рукой. — Несамостоятельный. Какой бы ни был хороший для меня — не уважаю. А сын — и то и другое». «А сноха?» «О-о-о...» — задрал голову и поднял брови...

Приходил к нему сын. Сашок побежал (первый раз видел, что он торопится). А вернулся со свидания грустный: «Сука, не пускает ко мне внучонка».

Я с каким-то гниловатым удовлетворением отметил про себя, что у меня нет детей. Ни на кого обиды и никому не мешаешь.

— О! Звезда базы! Что случилось?

Мне навстречу встала Фрося, наша малярша, протянула руку:

— Здоров!

— Ну уж нет... В твоём лице целую товарищей по работе...

Я сделал это осторожно, на лице было пудры, румян и краски без всякой меры.

— Ну идем в чулан, посекретничаем.

Мы удалились в комнату для посетителей. Поговорили о делах на работе. Переизбирали начальника. Я поинтересовался: Коровина не предложили? Окончил два института, работает водителем. Не пьет, семьянин. Добросовестный и умный мальчик. Умный без обычного для умников ехидства и вечного недовольства, то есть по-настоящему умный. Предлагали ему, сказала Фрося, он согласился с условием, чтобы гараж в натуральную аренду, без ихней мутни... Отступились. Выдвинули своих. Старый наш, Макарыч, и подсунили из верхов второго. Бывший начальник леспромхоза, но ребята ушлые, докопались — бывший начальник лагеря. Ну кто его выберет? Лучше уж старый. Голосовали в аванс. Урна перед кассой, проголодай — получиай деньги.

— А Ромка... Ой, умора... Сам знаешь — чудик. Выходит, Макарыч спрашивает: «Кого вычеркнул?» Говорит: «Обоих! Вписал Ельцина». Ребята ржут...

Посмеялись и мы.

— Ну а как ты тут?

— Нормально. Курорт!

— Не голодуешь?

— Хватает. Отъелся, видишь, ряшка какая стала, хоть по телевизору показывай.

— Куда там, красавец. Вот тортик.

— Я уж вижу. Зря тратилась. У нас всего вдоволь, приладились. Спасибо, что сама нарисовалась, посетила мужскую обитель. Вишь, как ребята зырят в двери.

— Сальцо... — Она достала из сумочки сверток.

— Нет, нет! Мне вот так хватает.

— Обижает. Тут крохотка, на! Думала, взять, не взять... Гриш?

— Исключено. Прореха в этом деле. Ни грамма.

Она улыбнулась и качнула головой, вздохнула.

— Чего хочу спросить-та... Гриш? Может, и мне? Женская есть же?

— Не надо, Фрося. Вон за столом дежурная сестра Света. До нас в женской работала... Оттуда выйдешь — будешь одеколон глотать. Сама сбавляй помаленьку обороты.

Легко сказать. Частную легковушку покрасит — за деньги, и все равно без бутылки не обходится. А кому в рейс, по-быстрому подкрасить, номера подновить — стакан. Короче, у нас с нею одна система.

— Я не ложиться. Парня куда? Так, может, таблеточки какие...

— Ерунда. Попробуй сама. А парень скоро по шее тебе будет давать. Паренек умный, учится хорошо, жалеет тебя — прибежит на работу к тебе, суется, помогает...

— Вот из-за него... Стыдоба. Не советуешь? Знаешь, Гриш, до того малый смысленый. Другой бы ныл, ругался... Молчит. Дома приберется, стоговит. Знаешь, что он мне советует? Представь, советует... — Она улыбнулась ласково и хлопнула меня по колену. — Советует в кооператив. Мышонок такой, подсчитал, сколько там будем зарабатывать. Летом хочет со мной работать.

— Ты что! Ребенка в красильную камеру!

— Кооператив по ремонту квартир. Я, говорят, обон буду мазать, а ты лепи на стену. Такие планы мне рисует...

Мы живо обсудили с нею такой поворот.

Я подошел к Светлане. Фрося стояла у входной двери.

— Света, я провожу мадам?

— Проводи. У тебя все мадамы с такими роскошными фигурами...

Заходила сюда и моя подруга Паша. Бедняга Света... Знает, что ножки у нее кривые...

В кафе гардероб, как обычно, не работал. Верхнюю одежду — на стулья. Она достала из сумочки четвертной.

— Спрячь деньги! — Я наклонился к ней. — Махнемь? Подогрейся.

— А можно здесь?..

Я принес кофе, в одной чашке был коньяк. Мороженого с вареньем.

— Ну? За твой кооператив!

Я приподнял чашку с кофе, она залпом выпила коньяк, брови ее чуть дрогнули, не торопясь — ложечку мороженого... Конспирация.

— Втридорога небось.

— В четыре. Убери деньги.

— Я тебе должна, Гриня, помнишь?

— То с халтурки было, какие деньги. После ты меня похмеляла...

— Ладно. Выйдешь — отдам.

Она постоянно нуждалась в деньгах и, однако, всегда выручала. Безотказная баба. Когда она с год назад родила уродца мальчишку (а кто мог еще родиться? Подыши смену в красильной камере, хоть и в респираторе) и оставила там (вскорости умер, Бог прибрал), я по пьяной морде высказывал ей, что она должна была богатыря родить, подбазы его делало, а не чего-то с тремя глазами... В таком духе юмор. Потом, по трезвому, мне было не по себе при ней, и вот теперь...

— Фрося, ты на меня ни за что не обижаешься? Только чистосердечно.

— На тебя? — Лицо ее удивленно вытянулось. — Ты что, Гриня! Ты же у нас самый простецкий мужик... А к чему ты? Тут не засох без баб-та?

Не помнит...

— Да нет, хожу к куме на чаек... Пей кофе.

Прикончили мы и кофе и мороженое.

— Спасибо, Гриня, за разговор, за угощение. С меня причитается.

— Тебе, Фросенька, большое спасибо, что наведала старого шоферюгу. Ребята не в курсе? Ну, тогда приветов не передавай.

— Помалкивай насчет кооператива пока. Я тока тебе сказала. Боязно... А как там выпью?

— Там надо пахать, выпивка отпадает. Времена подходят такие, что каждый спасайся как можешь.

Я проводил ее до остановки.

Спасибо Фросе. Может, еще одна душа вырвется из этого ада маховика... Сын поможет. Зацепка у нее есть. Хороший парнишка, серьезный. Видать, толковому мужичку в свое время подвернула. Удачно.

По палате прохаживался Тёха-маленький, косился на меня...

— Фартовые к тебе крали захаживают.

— Родственники... Сестры мои.

— Ага. Братец кролик... Когда ты успеваешь обрабатывать их...

Нас было двое в палате. Тёха-бородатый спал, уткнувшись лицом в подушку. Я стоял у окна и невесело смотрел на слякотную погоду. Стоял долго. Борода поднял голову, взял со спинки полотенце. Лицо влажное, глаза красные...

— Сварки нахватался?

— Какая сварка! В ЛТП. Выпил в цеху стакан, засеки. Ну не удержался! — Он лег навзничь и закрыл лицо локтем. Плакал.

— Может, обойдется... Аннушка знает?

Не открывая лица, кивнул.

— Лучше в канаве сдохнуть. Вскрою себе вены, — говорил сквозь стиснутые зубы.

— Успеешь, не отправляют же.

— Это у них накоротке. Второй раз горю.

— Я тоже подписывал бумагу: в случае срыва — принудительно.

Пока шел до двери, созрело решение. В курилку — налево, я свернул направо, толкнулся в кабинет заведующей.

— Подождите! — остановил меня резкий окрик Аннушки.

В коридоре пусто. Все смотрят телевизор. Я быстро ходил от кабинета до палаты и обратно. Из кабинета вышла старшая медсестра.

В кабинете накурено. На немой вопрос я сбивчиво начал:

— Анна Ивановна... Ну, в общем... Я к вам с личной просьбой.

— Слушаю. Ко мне все с личной. С общественной еще ни один не обращался.

— Самолейников у нас в палате...

— Рецидив.

— В том-то и дело, что нет.

— Ты пришел мне мозги пудрить. Он кто тебе? Брат, сват, ты староста палаты?

— Честно вам скажу. — Я в упор смотрел ей в глаза. — Анна Ивановна, он до ЛТП не доедет.

— Сбежит?

— Хуже.

Она вроде с интересом посмотрела на меня, глаза действительно с желтиной. Закурила сигарету...

— Позови его! И больше с такими заскоками не появляйся.

— Больше не появлюсь. Спасибо.

— Всего хорошего. Адвокат. — С насмешечкой.

В курилке выкурил две сигареты подряд. Злоба не проходила. Постарался думать о другом... Может, ей передалась моя уверенность, что он порежет себе вены? А что мне показалось в ней симпатичным?.. Понял! Она на своем месте.

Она понимает, что при наших житейских условиях часть населения, значительная, не может жить не напиваясь. Вот не может, и все. Полоумки, которых благатной волной вынесло или купили дипломы, выцарапались наверх и считают, что народ серый, его надо учить и воспитывать. Ей же ясно: люди ее контингента



столько пережили срывов и трагедий, столько передумали в одиночку и сообща, что морали, поучения, как жить и что делать, или раздражают их, или смешат. Она создает им условия — покойно жить и соображать. Многим она помогает тем, что не трогает их, не дергает. Но она уверена: мы больны. Есть ведь и такая установка: неизлечим — за колючку. А возможно, и план, как говорят. Раз есть заведение — на него должен быть план. Хозяйство наше плановое... Зовем мы ее Аннушка. С некоторой иронией, в том смысле, что Аннушка — человек, но в зубы ей лучше не попадаться. Впрочем, если не в заведении, а выписавшись сорвался, пришел сам, она принимает — что с нами поделаешь...

Наутро Тёху-бородатого выписали долечиваться в поликлинике по месту жительства.

— Завтра же укачу в командировку. Отмечусь у нарколога — и ходу!

Мучаются мои товарищи до зубовного скрежета, слез, стонов по ночам. Но остались они сами собой, не свернули на кривую дорожку.

Я знаю две кривых дороги — жулье и карьеристы. К жулью мы относимся снисходительнее, те рискуют волей, а говоруны и шишки тянут добро законно.

Ушел Тёха Борода, и Тёха-маленький заскучал. За глаза Маленький хотя и насмешливо, но с теплотой говорил о Бороде. Кроме того у них была своя тайна. Маленького два раза вызывали к следователю. «Ну как?» — внимательно смотрел на него Борода по возвращении. «Вот им!» Борода удовлетворенно кивал. Впрочем, для остальных в палате, битых, как говорится, тайны особой не было. Достаточно косвенного разговора, оброненного слова, чтобы уловить суть. Маленький работал в кооперативе, строили они дачи. Летом «отгрохали бесплатно» — им, между прочим, заплатили — дачку в три этажа (ломаная крыша и подвал-этаж) местному воротиле-рулевому. Вторую такую же рядом, на берегу реки — начальнику кооператива, южному товарищу, — из бесплатного материала построили гузулы-шабашники... Хитер. А в одну ночь осеннюю и темную дачка начальника занялась с двух сторон и запылала. Отношения Маленького с начальником были очень натянутыми... Короче, в общих чертах ясно, а уточнять никто не собирался.

— Там тебе не производство, — говорил Маленький. — Чуть заикнулся, джигит расчет в зубы — и дуй на все четыре стороны. Такие наглые твари. Обогащаются в открытую, а тебе кинут кость. Профсоюза нет, жаловаться некуда. Все верха с ними заодно. А так бы ограничили зверьков в кооперативах законом... Начальники — они, а ванька ломит.

— Законов хватает, да закон дышло, когда на нем сидит сука, которая за взятку продает все и кому угодно. Суки все одно, что Ваня, Ахмет, Джон, — лишь бы на лапу на волосатую плюнул чего...

— Вот если бы закон ограничил ванькам в ларьках сидеть, — сказал беззлобно Сашок, — тогда бы мы туда поперли: «Почему им можно, а нам нельзя?»

— Кооператоров умышленно напустили на Союз, как мышей в кладовку, всё поточат, — заверил Маленький.

Отчасти было понятно ожесточение Маленького. На предприятии он больше работать не захотел, «понял, что государство обдирает нас как липку». А в кооперативе оказалось и того обиднее...

Утром Володю Маничкина повезли на торпеду в центральную наркологию. Оказалось, только репетиция.

Торпеда не та, когда на пятерых одну настоящую вшивали. Под капельницей ввели сразу, дали пятьдесят граммов водки, потерял сознание. Пришел в себя с кислородной подушкой. Руки, ноги не работают... Сказали, через два дня начнут как следует, теперь он понял, что это такое. Пусть подумает.

Я сказал Володе: пусть действительно подумает. Может, приспособится помаленьку. Не зря же пьют, ведь все отравлено — и воздух, и вода, и продукты. Он решил — на пять лет.

Хромой Сеня рассказал случай, как один умер через пять лет. Оказалось, она не работала, обволоклась жиром. Напился — лопнула...

Обсудили несколько способов избавления от торпеды. Стас, парень непоседливый, все время на ногах, свободные часы проводит за биллардом, поделился собственным опытом:

— Принес пузырь, бух на стол. Дзи-инь в «скорую». Даю свой адрес, объясняю, в чем дело, вижу, подъехали, хлобысь стаканище — буль... буль... хорошо! Входят, бац я на койку. Ширнули укольчик синьки. Три дня мочился чернилами... И порядок.

Пришли к выводу: есть только два верных способа завязать. Первый — бросить самому, решиться на полный трезвяк — и бросить. Второй — в Крыму есть врач, кодирует наглухо. Но о том враче знает вся Россия — не пробиться. «Там в очереди и повыше нас...»

А в общем-то, конченным трезвенником, как и конченным пьяницей, чувствовать себя невесело, пока жизнь твоя не кончилась...

Черту подвел Сашок:

— От водки, конечно, мрут люди, но больше болеют и мрут от ненависти, столько ее сейчас промеж людей.

— Кто бы закодировал от жратвы хоть на год, цены-то... — вздохнул дядя Мирон.

— На, почитай,— сунул мне газету Володя.

Я пробежал начало статьи и возвратил.

Что мне газеты? Я физически ощущаю, как эти вши кишат на нашем теле... Зачем мне демократия, если перед законом все равны и законы действуют. Мы, пьянь, такой же продукт социализма, как и бюрократы. Мы понимаем, что их не надо гнать в резервации,— а нас в ЛТП можно? Корчатся целые области в радиации, а их обворовывают еще из тех крох, что им подбрасывают. Сейчас мудреж с ценами, великий базар о помощи бедным, о защите... От кого? Сами обдирают и сами защищают. Самые богатые по нефти, а пол-урожая сгноили. Мэры организуют новые партии, мотаются за границу, когда им работы по горло. С Россией все творили, только не продавали еще с молотка... Крысы тащат последнее, что еще салом пахнет... Демократия по-советски. Мне, Володя, кажется, что вместо капремонта собрали движок из старых деталей, из разных машин и каждая дребезжит на свой лад. Да и заправляем не знаем чем, горячее не свое, соседское, на слово верим. Дыму и тарахтенья много, а машина ни с места... Так под гору колеса сами катятся... Обижаясь на Горбачева, ставку делаешь на второго, потом на него будешь обижаться... Старо. Веками старо. Вот когда перестанем надеяться на дядю, когда каждый за свой ум возьмется, вот тогда мы станем и любить себя и уважать. А к этому идет — забудешь и про Горбачева и про Ельцина, сам начнешь шустрить. Припечет — завертись. И они такую возможность дадут — вертеться, потому что припечет и их. Начальник гад? Собрались, скинули. В Совете шкура? Собрались, скинули. Завмаг вор? Бойкот... Впрочем, я сам, Володя, такой же туха, как и все. Потому, может, и понимаю мужика в семнадцатом, который крушил все подряд — накипело. Душу отвел... Только и делаем что терпим да душу отводим...

Это у нас с ним был последний разговор. Он предложил принять его дело — старосты отделения. Аннушка не против. На полмесяца раньше выпишет... Не нужны мне такие полмесяца.

— Старостой? — поддержал меня Сашок.— А если наши придут?

Койка рядом опустела. Стало грустно.

Разговорился на работе с ветераном. Мальчишкой в войну пришел работать. Завод еще не достроили, а уже гнали продукцию. Дедок отработал пятьдесят лет, надо же! На шинном! Большею частью слесарил, сейчас в развалке дневальным. Принимает. По сто, сто пятьдесят в день. Сейчас, говорит, хорошо, везде вентиляция, душевые. А в войну, когда начинали, раздевалок и то не было. Переоделся у станка, чистое в мешок, подвесил на крючок — и работаешь...

Недавно по радио полоумный пенсионер выступал и злобная старуха, чтобы молодежь на энтузиазме, как они когда-то... Но тачку они не катали, по выговору было ясно... Молодым-то надо начинать теперешнюю жизнь...

Самое первое, что я сделал с большими грошами,— попал сюда.

Светит солнышко, но холодно. Сегодня выходной посвятил дедушке. Снес ему цветов на могилку. Хотел прибраться, но, дай Бог здоровья Гале, полный порядок. Блекнет с годами облик отца, матери, а дедушка как живой. Еще бы — провозжал в армию...

Очень он хорошо рассказывал, как до коллективизации жил на том месте, где сейчас Рыбинское водохранилище. Какие были заливные луга, какой запах цветов на лугах, какие травы, выпаса и покосы (мою жизнь сопровождает запах горячего и рев моторов). Вспоминал он чаще всего коней. Самая лучшая жизнь, по его словам, при нэпе. «Кони были у мужиков — вожжи всю дорогу внатяжку. Мужик воспрянул, а не хозяйствовал тот, кто не хотел, лодыри да пьяницы. Залили луга. Для Москвы вода нужна была. Скотину стало держать незде. А

какие коровы ярославки! Удой большие и молоко жирное. Маслобойни, сыроварни... Посыпался народ кто куда, как песок высушенный».

Хорошо уже помню дедушку к концу войны. Золотарь. Были у них с напарником четыре коняки и четыре бочки. Засиделись раз в погребке, пацаны открыли затворы у бочек, и растеклась жижа к парку, к танцплощадке. Пожарным работы на два дня хватило смывать. Наложили на дедушку с напарником штраф, много что-то. Но они боялись другого. Парк был имени Сталина. Дедушка за меня переживал, не хотелось ему меня в детдом. Обошлось. Стали мы с ним мыло жидкое варить и продавать на черпаки. Дедушка доставал где-то каустик, отходы на бойне. Одни запахи сменились другими, хотя дом был большой. Обжег я руки каустиком, да и налогом хотели обложить — бросили мы этот промысел. Дедушка был мастер на все руки. Наладились духовки делать. Покупали ворованную жезь, нам ее по ночам приносили, неделю тюкали в саду на верстаке, в воскресенье — на базар. Зимой работали в дому. Голодовку послевоенную прокантовались очень даже сытно по сравнению с другими. После семилетки я пошел в коммунхоз, уже за твердый заработок, крыть крыши с мастерами. Дедушка заставлял учиться, заставлял настойчиво: «Коли хозяйства порешили, теперича весь ум у людей в науке». Очень ему хотелось видеть меня офицером, как своего сына, моего отца. Окончил я вечернюю десятилетку, поступил в автомобильное училище. Увидел меня дедушка офицериком. Стоило пройти муштру хотя бы ради этого.

Тяжело помирал дедушка и долго. Перестал есть. «Хочу скорей помереть. Ничего не хочу. Выключи радио». А был большой политик. От операции отказался: «Не желаю, чтобы меня резали». Боли его мучили, а сердце крепкое. «Ты постони, дедушка». — «Я кричу про себя... Не прощаю, помираю — и не прощаю...» — «Кого, дедушка, меня?» Поглядел по руке еле-еле: «Спасибо, что приехал, Гринька, посмотрел на твое личико... Поверь мне, старику. Жизни хорошей не будет. Сожрет нас Америка». Тогда уже всю пугали атомными бомбами, ракетами. И вспоминал дедушка до последнего часа луга пойменные, людей на них в покос — как цветы. Коней... «Проредили жизнь. Человеков вычесали частой гребенкой. Войны да напасти». Его слова, а когда он их сказал, уж не припомню.

Я перебрался к окошку, на место Володи. Сашок остался на своем. На моей койке поселился новый сосед. «Микола», — сказал он просто. Я удивился, сколько он принес с собой рубашек. Штук пять, все белые. Повесил в общем шкафу на плечики одну на другую.

— С машины упали, — объяснил он. — Целый тюк. В утиль везли. Машина мимо магазина ехала. Я в овощном рабочим, не подумай, что директором, — засмеялся он своей шутке. — Смотрю — чистые, хорошие рубахи. Две попались ментовские, почти новые, но те на тряпки пустил, еще подумают люди, что куском работал, — снова засмеялся он.

За неделю я узнал Миколу поближе. Его направили работать в столовую вместо выписавшегося Геннадия (вшил торпеду). Назначением он был доволен. Там по суткам. Сможет бывать дома. А ему надо, хотя бы в два дня раз. Привезти продуктов и пару бутылок вина из своего магазина. Жене. Она лежит, ноги отказали, а без вина не может. Помрет, сердце... Сюда пришел сам. Пьяный попал в милицию. Три года как из ЛТП, так что пришлось спасаться. Дочка тоже в наркологии, но скоро должна выйти. Зять схватил два года по пьянке...

— Сначала показалось мне: мужичка нашла ничего, крепенького. За столом семь стаканов выдул. Ненадолго его крепости хватило. Через три года спились оба. Когда б еще самогонку не гнали, может, и подоле бы. Продавали и себя не обижали. — Он засмеялся.

Смеялся он тихо. И говорил тихо, без интонаций.

Вчера утром он мне показывает пакет кефира витаминизированного, с нарисованными ягодами... Верх пакета сорван...

— С вечера всегда ставлю, чтобы попить ночью, и дома также. Этой ночью пью — что-то на зубах твердое. Творог уже образовался, что ли, думаю, а это видишь? Чтоб они пропали, — сказал он без выражения и качнул пакет в руках.

Со дна выплыли крупные, с мизинец величиной, тараканы...

Я быстро встал и пошел бриться.

Держался он независимо, кроме нас с Сашком, ни с кем не общался, самостоятельно вел свое хозяйство, аккуратно навещал жену. Его небольшие карие глазки колюче поблескивали из треугольничков нависших век... Кто-то

попросил у него закурить. «Ты видел, чтобы я стрелял курево?» — спросил он и сигареты не дал.

Вечерами он тихо, с коротким смешком, но подробно рассказывает нам с Сашком о махинациях в магазине. Пора бы привыкнуть, но такие сведения каждый раз затмевают надежду, что когда-либо очистимся. Воровство и взятки выросли в нашу жизнь, проникли в поры...

В цеху токарь. Любопытный мужик. «Бросил пить — озверел. Пьянь ненавидит. А был нормальный человек», — отозвался о нем мой напарник. «Без водки жить норовиться надо. Иначе чекануться можно. Вполне!» — услышал я от него. А как? Видимо, всяк по-своему. Лет пятнадцать мучили меня ячмени. По зимам. Посоветовали пижму. Ел сырым с корня. Ячмени как рукой сняло. А вот уже два раза на веках кисту вырезали. Теперь снова надо. Уж лучше бы ячмени периодически... Одно задавишь, другим вылезет.

Но отгрэбаясь от пьяного берега, прикидывая расстояние до него, надежда растет. Нет-нет да и заиграет дух.

Возили на экскурсию в Калугу. Я разместился один на сиденье, отдался пейзажам и понял, как истосковался по движению и дороге...

Шофер достал пачку «Беломора»: «Курите, ребята, передавай дальше. А то что у вас за жизнь! Не выпить, да еще и не курить. Вот газеты. Сделайте кулечки, не сорите».

Сделали кулечки. Закурили все — и старшая сестра, которая нас сопровождала, и женщина-экскурсовод. Совсем хорошо... и курить можно. Я направил раструбки вентиляторов в лицо и глотал дым от сигарет со струйками свежего воздуха.

Шофер оказался тоже политиком и реформатором... Вот сколько кинутой земли, отдать бы рабочим на участки, только обещают... Экскурсовод попросила его умолкнуть.

Не раз гонял я по этой дорожке, но сейчас, слушая экскурсовода, ехал как будто впервые.

Фланговый марш Кутузова. Один малый поджег мост, взорвал плотину, был расстрелян, но на сутки задержал французов...

Мелькали в стороне обшарпанные колокольни, называла исторические имена, места, где были имения людей выдающихся...

Жуков из Калужской области... Спросили, есть ли ему памятник в Москве. Памятника нет. Нет и музея на родине полководца. Но есть памятник в Москве Хо Ши Мину...

Здесь вот полегли до одного курсанты-мальчишки в сорок первом. В земле отважные мальчишки, но земля молчит, нетobelиска...

А где памятник Пересвету? Разину? Декабристам? А может, нам уже как-то неловко ставить памятники тем, чьи сердца для чести были живы? Зато простым смертным, глянешь на кладбище, — куда там пантеону... С потугами начали восстанавливать старые названия, в Москве почему-то начали с Лермонтова, переименовали станцию метро. Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно... Или Москва становится мачехой для своих?

Жаль, что не довелось мне видеть Георгия Константиновича. И ведь был у нас в части. Тогда ходили слухи: хотел он сделать единоначалие, без замполитов. Раньше они хоть письма писали неграмотным солдатам, но солдат пошел грамотный, офицеров-фронтовиков уже теснили новые ребята, из училищ... Причины были глубже, хотя и эта не мелкая.

Служба не пошла. В каждом солдате я видел товарища. Да как было не любить солдата, если нас воспитывали и учили офицеры-фронтовики! Боевые мужчины. Их наставления до сих пор помню: не выскакивай с конца окопа (он всегда пристрелян), как вести машину под обстрелом и многое другое. Главное, еще суворовское и их опыт военный — любви солдата. Но мне «повезло». Зампотех был такой фронтовичок-тыловичок. Говорили, что ему ни разу не случилось быть под обстрелом... Солдат и младших офицеров презирал, преследовал за то, что младшие и его видят насквозь. Выслуживался страшно, зараза: «Тебе, если в партию не вступишь, не видать ни академии, ни папахи, хоть сто лет служи». Ну я соответственно и отвечал ему... Сошлись мы характерами с комроты, по русскому обычаю первое забвение от всех неудач и контрмера — горькая. Писали с ним рапорта, хотели в запас... Замполит дивизии сказал: «Комиссоваться можно, но с такими болезнями, что не дай вам бог, ребята».

Столкнулись—таки мы с зампотехом. На его оскорбления при солдатах я заявил, что если он не выйдет со мной к барьеру, я застрелю его при первом же дежурстве по части. Такое ЧП нежелательно было разглашать, миновал я суда и сумасшедшего дома. Тихо вышвырнули и звание даже оставили. Комроты плакал. От обиды — так ему, агроному по специальности, хотелось тоже быть выгнанным на гражданку. Однако слабость к человеку под ружьем у меня осталась на всю жизнь... «Шли с войны домой советские солдаты, и от пыли и от зноя гимнастерки на плечах повыгорали...» Все реже и реже слышны те песни...

На гражданке пьянка разгон уже набирала. Уже как ржа разъедали общество приписки, воровство, взятки. Невелика фигура механика автоколонны, а сволочиться не хотелось. На этой почве конфликты с начальством высшим. Если бы сейчас мне те годы, меня того, я бы стал в ряды нынешних шустрых. Тогда — в одиночку. И еще раз блеснула заманчиво карьера. В ГАИ. Восстановят звание армейское, спортсмен, автотралли тогда редкость. Прочел в присяге на стене — вступая в ряды милиции... любой приказ... существующий строй... правительство... От кого защищать? Прикажут стрелять в толпу... Отпадает. Вот что у меня осталось до сих пор неистрепанным тоже — «отпадает». Если уж до стрельбы, то я в толпе.

Я считаю, уже обманул судьбу, раз дожил до пятидесяти пяти и на воле... Соображения эти еще более приподняли мое настроение, я предался воспоминаниям лирическим... Но о них помолчим.

После громадного музея космонавтики и убогого жилища Циолковского повели в ресторан обедать. За похлебкой очередь, наша группа, нагруженная идеями и впечатлениями, держалась особняком и степенно.

— Что за группа такая, одни мужчины? — поинтересовалась официантка.

— Спецгруппа. Не задерживайте, чревато... — сказал таинственно, наклонившись к ее уху, один из наших артистов.

На обратном пути сел у самой кабины справа... Уютно светился в полутьме приборный щиток у водителя, помигивала зеленая лампочка при обгоне, и сам он, казалось, дружески перемигивается со встречными, переключая дальний свет на ближний. Вот два раза моргнул коллега левым подфарником — впереди гаишник, придержи прутья... А машина, кажется, сама шибдел бежит до дому. А по сторонам... «Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень...» Потянуло родным и знакомым, будто сам сию в кабине... Так вот о чем я скучал, паяя радиаторы и регулируя зажигания чужих машин...

Нет, это еще не решение. Только толчок. Впрочем, рассуждать пунктуально я уже не мог. Я уже видел свое будущее. Вот так у меня частенько менялась жизнь. Без капитальных выкладок, а... нотка. Зазвучит нотка — и будь что будет...

Менять обстановку! В дальнебойщики. В рейсы...

—...Женился я мало, только три раза. Больше нельзя — посадят. А я, как Бендер, чту кодекс.

Новый товарищ — Калина. Это фамилия. Отец его белорус, мать русская. Работает сварщиком, по командировкам, по области газ проводит. Вот все сведения о нем за неделю. Несмотря на то, что он разговорчив, и как-то напористо разговорчив. Внешность его тоже задерживает на себе внимание. Крупный детина. Скуластый, черноволосый, с густой сединой, нос завернут к усам. Нос, по его рассказам, где-то в командировке «завернули колом», да фельдшер местный, спасибо, подправил.

У Калины еле заметная та особая легкость на подъем мысли, как бы ее прыгучесть, и непредсказуемость в движениях да и в речах, по которой я определяю человека холостого или бездетного. Хотя выглядел он крижисто и ходил вперевалочку. «Я железогрыз», — сказал он. Сеня хроменький работает с ним в одной строительно-ремонтной бригаде и говорит, что специалист он классный. Варит и автогенном и электро, подгоняет трубы резакон на глазок, но миллиметр в миллиметр. Они стали вместе питаться, вернее, Калина стал кормить Семена. Калине носили через день жена и родственники.

— Я им так разрисовал свое житье здесь! Они мне говорят: «Не торопись отсюда, мы теперь за тебя спокойны». А вы бы меня в тюрьму, там стены крепче, еще спокойнее будете... Порядочки! Один в палате погорит — всех месяц не пускают в увольнение... Тогда есть смысл напиться всем разом, веселый базар будет.

Маленький попробовал его задеть, разговорчивость располагает к фамилярности...

— Смотри... Я горячий. В деда. Тот, бывало, оправится — и сразу топтать кидался,— полушуга предупредил Калина.

На вопрос, как он оказался здесь, Калина приставил два растопыренных пальца к горлу:

— Обложили. И на работе нашухарил, и... одним словом, вилы. Надо упасть в тину.

Ясно, что он не собирается бросать выпивку.

О себе он говорит или насмешливо, или плохо, а чаще и то и другое вместе.

— Я в самом деле живу каждый день как последний. Делаю сегодня себе все пакости, какие только возможно. На завтра ничего не оставляю.

Иногда подолгу, тяжело задумывается...

— Выжрал я водяры ровно столько, сколько проглотил лжи и обманов в разных видах, под разным соусом.

Разговорился с сестрой.

— У тебя сколько детей? — был один из ее первых вопросов.

— Трое.

— Какой герой! Молодец... А кто?

Он рассказал подробно о детях, где работают, о замужестве дочери и женьтибе сыновей, о внуках.

В разговор втянулись другие. Не у всех так благополучно с детьми, как у Калины.

Сестра ушла. Сашок спросил, ладит ли он со снохами.

— Какие снохи? Какие дети? Я ей все набрехал.

Мы смеялись.

— Не знаю, будет ли конец света, но я своей династии конец сделал. Смолоду гонял по командировкам. Со мной в основном алиментщики. Перепугали на всю жизнь. Почему у тебя нет? — спросил меня.

— Не знаю. Может, не от кого было хотеть. Моя жизнь в дорогах. Подбирал с обочины, кто лежит поближе.

— Тоже верно,— согласился Калина.— Я бы хотел иметь детей, но как мой дед с бабушкой, эдак человек десять. Честно. Пусть бы половина выжила, но зато были бы люди! А одного-двух хиленьких вынашивать за пазухой до тридцати лет — не годится. С виду мордатые, а в армию брать некого.

— Что ты детей винишь нездоровьем? Они в чреве уже отравлены.

— Тоже верно,— согласился Калина.— Мы дураки, пропили свои жизни, а они, трезвые, деятели хреновы, умнее нас? Травят землю, воду, небо. Мы хоть сами себя, а они подарочки внукам готовят.

Как-то сестра раскрыла газету и прочла несколько объявлений. Женщины искали спутников.

— Ты смотри, все ищут «без вредных привычек».

— Чего они так боятся этих привычек? Сойдемся — приучим...

— Я встречал людей без таких привычек,— сказал Калина,— но сами они были вредными.

— Да,— согласился Сашок,— без этих привычек самые аспиды.

— С женой хорошо живешь? — спросила сестра с улыбочкой.

— Нормально,— кивнул Калина.— Не жалею, что сошелся. Были, правда, альтернативы, но благоразумно взяли самоотвод. По нашей жизни барачной, коммунальной, то и жена у меня ничего. Наивная до предела только... Другая бы привыкла давно, а эта: «Чего ты пьешь?» Милая, говорю, если бы я не пил, я бы аглицкую королеву высватал. Я за всю жизнь встретил одну всего умную женщину. Жену своего товарища. Хоть бы когда ему сказала — «не пей», говорила: «Он сам знает». Представляете? Перемолчала. Стал пить нормально... Но ничего, я со своей лажу. Главные свои обязанности мы с нею выполняем. У меня их три. Носить зарплату. Я не говорю — обеспечить семью хотя бы нормальным прокормом, это невозможно одному. Но я должен носить зарплату. Где-то на две трети я это делаю. Должен иметь с женой личные контакты, так сказать... Где-то наполовину, может быть, я выполняю и контакты. Чтобы полностью — вопрос темный. Сколько надо полностью, может, она сама не знает... Должен оборонить женку от хулиганов и разных поползновений на улице. Но пока не требовалось, скорее наоборот. Теперь ее обязанности...

— Эти-то мне известны,— вздохнула сестра и пошла из палаты.

— Все вы хороши,— сказал вслед ей Калина другим тоном.— И мне хотя полста с лишним, а не восемьдесят, как Толстому, я его понимаю, что он сбежал

от семьи. Сказал, что выскажет правду о женщинах, когда будет стоять одной ногой в гробу, а потом ляжет в гроб и накроется крышкой. Втемяшили бабам в головы равноправие, а того не поймут, что женщина никогда не согласится на равноправие. Она может или подчиняться, или командовать. В семье.

И тут же, как обычно, мысль у него крутнулась в неожиданную для нас сторону:

— В то смутное время интересные имена появились. Белый, Черный, Горький, Бедный, Голодный, Веселый. Кроме Скучного, пока их в колхоз не согнали.

— А главные душегубы все тоже по кликухам, — подхватил Маленький. — Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев...

Однако Миша Беспалый продолжает о женщинах:

— Среди нашего брата тоже гуси попадают. Рассказывала мне одна, на сборке работает... В доме отдыха подкатил к ней кавалер. Сто с лишком рубликов ее пропил, когда еще водка была по пятерке, а отдачи никакой. Это, говорит ей, у меня здесь не получается, приедем в город, там нормально будет. А в городе совсем пропал, и телефон его оказался туфтовый.

— Это гад. Бедняжке небось за год не обломится тут...

— А с кем? Кругом пьянь одна или бегают, языки высунувши, трусцой.

— Обидно, конечно. Мечтала на вольном воздухе разговеться...

— Познакомь меня с нею, — сказал Маленький. — У меня не сорвется.

— Ты сильный... — Это Сашок, и все расхохотались. — Сейчас бабенке сколько ни мажься, а охотников прыгать не очень по таким харчам.

Гуляли с Галей.

Полнеба было в вечернем зареве, и оно долго не хотело сходить...

— Ты не зря лег сюда. Я чувствую: ты можешь, ты хочешь стать на пути истины...

Хочу бросить пить — да, и то не уверен, стоит ли.

—...Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в осуждение... — Она читала как стихи.

— Что-то они никак не изыдут.

— Покайся и смирись...

— О! Всем надо мое смирение. То раб Божий, то раб коммунистов, то еще чей-то, найдутся... Я никому не нужен как человек, а нужно мое смирение... Вот нас-то, смиренных, и в хвост и в гриву...

Она опустила голову.

— Гордыня твоя говорит в тебе. Не слышишь меня.

Я рассердился.

— Да нет же! Я старался прожить свою жизнь свободным насколько это возможно. Никого пальцем не тронул. Но грешен — кто посягал на мою свободу, того... Грешен! Но не виноват! Если ты на меня замахнулся, в ответ я ударю! Ударил — убью! Не трожь! Я же не трогаю. Насильно хочешь зажечь в моей душе искру, а порождаешь там больше тьмы. Никто не хочет оставить меня в покое. Хотят руководить!

Она сжала мою руку.

— Успокойся. Ты ожесточен. Укроти свой гнев.

В самом деле, чего это я...

— Да это уже не гнев — усталость. У вас свои требования...

— Не у нас, а у Господа. И не требования.

— Ну... вера, любовь, надежда... А у меня осталась только жалость к людям.

Не потому, что они жалкие — жалких не любят, — а... не знаю за что. Я-то не пропаду при любом положении, у меня руки что-то умеют. Мне всего хватает, не жалуясь. А гляну вокруг трезвым взглядом... Но за какие грехи нашим людям такая обидя и такая жизнь? Сердце стонет...

— Много грехов, Гриша. Это очищение.

Напротив меня, у окна, лежит (он в самом деле почти все свободное время от работы лежит) парень лет тридцати. За два с лишним месяца не слышали мы от него ни слова. Читает. Молча читает журналы и газеты, прочитав, молча возвращает. Иногда отрывается от чтения и, глядя в окно, что-то обдумывает, иногда слушает разговоры также отвернувшись.

Однажды Тёха-маленький ходил по палате и распространялся о порядках на зоне. Молчун (как мы его прозвали) вдруг спросил:

— А чего ты пошел на обшак? Там один сброд.

— Да я что, сам выбирал — строгого или общего?

Вот это единственная реплика, что мы слышали от Молчуна. И вдруг вхожу в палату и вижу Калину, разговарившегося с Молчуном.

— ...Заслужил, поймался — сиди,— говорил Калина Молчуну.— Но ведь как это не дать человеку письмо послать? Все равно что зверя в Африке отловили — и в клетку, в зверинец. Но так то зверь. Ему не надо писать корешу слону или слонихе-матери. Хотя и звери тоскуют в неволе и отказываются рожать. Не хотят своим детям такую жизнь, в клетке.

— Эх, Калина, кого там хрустнули, тот так уже не рассуждает. Расскажи лучше про митинг, что там.

— Я пару стаканов опрокинул, позавтракал как следует, мало ли, может, в КПЗ ночевать... А все прошло культурно. Подхожу к толпе, там уже речи с машины, очень смелые. С одной стороны черные флаги и лозунг длинный держат несколько человек. Лозунг решительный. Черные, но, правда, без костей и черепов. «Вы, хлопцы, анархисты, что ли?» — «Да».— «Тогда я под ваши знамена становлюсь». Стоим, слушаем. Спрашиваю: «Вы вроде против власти вообще, а сейчас заодно, я вижу, с „товарищами“». Отвечает бородатенький: «Нам только этих скинуть, а после разберемся...»

— Значит, они и потом еще собираются мутить? — спросил я.

Он засмеялся и кивнул.

— Что тебе дал митинг? — спросили из другого угла.

— Понаблюдал. Шесть лет, и все под гору. Если за год не будет перемен самых решительных, многие споткнутся мордой об дорогу. Все видят и знают, что саботаж: во вред и умышленно хаос и дефициты. Вожди-то наши запрограммированы на бессловесную толпу... Немошь. Вывод войск из Европы можно было по уму обговорить, те бы на радостях каждому офицеру по дому выстроили... Да что ни возьми, кругом немощь правителей, смотреть отвратно. Союз похерили и продолжают Россию расшатывать — дедовское добро проматывать легче всего, ума не надо... Пусть коммунистическая, но какая-то мораль была, а теперь никакой. И силы державной никакой. Простые люди и те о чем говорят? Не о себе пекутся лично, а каждого донимает, что вообще творится кругом. Немошь затевает перевороты, замахнулись, а ударить силы нету. Спектакль. Горбач загадочная фигура, такую махину развалил. Нам противно смотреть на их игры, а они думают — мы дураки.

— Вольны ли они в своих играх? — усомнился я.— Гитлер прямо пер: Россия — это ресурсы. Напрямик нас не возьмешь, мы сами люди прямые, а вот тихой сапой... Ресурсы в мире на исходе. Если эти, выбранные, окажутся тоже удалыми только на разговоры...

— Они с ходу за кордон подались,— перебил меня Маленький.— Там отчитываются и рисуются — герои! Петухи комнатные.

— Когда специалист варит стук, шов получается заодно с металлом, а схватится другой, шустрый, за держатель — и такое налепит... Придави как следует при испытании — и швы не то что потекут, а полопаются.

— А я как водила думаю: чешем по целине, ночью и без фар, а поклажу всю с кузова растащили в потемках,— ответил я Калине.— Вначале я подсуетился было. Потом вижу: все снова базаром исходит. Лотошат. И хочется и колется. Мужика бояться.

Калина понимающе кивнул:

— И не за какую партию?

— За Советы. Одни не оправдали — сменить, пока до радивых не докопаемся. Шахтеры — кулак. Остальное — растопыренные пальцы. А ты?

Калина усмехнулся и повел головой...

— Наши женщины — самые красивые, пьяницы — умные, начальники — дураки. Это же ненормально, когда красивые женщины не рожают, а умные мужики спиваются. Так вот я верю, что будет все-таки нормально, а иначе... Не вымирать же нации, а если да — туда ей и дорога... Но... Не взяли нас силой — врете! И не купите! Пьянство и пустобрехство оттого, что у людей ничего нет. Стянуть и пропить. А куда еще? Сарая и того нету. Господи, сколько же я халтурок пропил. И машины, и отопление, и могильные оградки с крестами... Как в блатной песне поется: «Россия чудесный край, но и концлагерь большой...»



Не обопрутся новые власти на мужика — в нашем лагере верх возьмут суки и воры.

— А тебе иногда не кажется, что завязано все и вся? — спросил я. — Дедушка рассказывал, как в коллективизацию пошел в город за правдой, а там в кабинете сидит сын ихнего мироеда. Не кулака-трудяги, который на кулаке спал, а самого мироеда. «С тех пор, — он говорил, — понял: правды не найдешь». И никому после дедушка на слово не верил и мне заказывал... Что? Родители? Мои родители — дедушка. Отец в госпитале помер в войну от ранения, мать поехала к нему перед операцией — и с концами... Могилок и то не знаю.

— Да, коллективизация. Не получилось весь народ втиснуть в рамки, в ответ — пьянство и воровство. Фермер... Опять какая-то абстракция: что-то откуда-то. Говорите по-русски — хутор! Смели с лица земли и хутора и хуторян. Ищи ветра в поле... Тяжело шахтеру, мне, в колодце варить, задыхаюсь. Но я бросил держак или горелку, расслабился, — он щелкнул себя по горлу, — растянулся дома и думать не думаю о колодце. А крестьянин ночью спит и слушает: нет ли дождика? В пять утра скотине надо давать, она же орет, ей не объяснишь, что в магазине ни хрена нету... Такое отношение у человека, когда он на себя работает, когда его телок мычит. Но он же на нашей земле, значит, и для нас. И я его буду уважать, когда он самостоятельный...

— Ишь ты, рыбина какая! — возмутился Маленький. — Разорили, надругались, а теперь бери землю, рви пуп, тащи их из трясины.

— Опять же не дают! — воскликнул молчаливый Проворотов. — Снова что-то крутят, сукины дети... — Он с силой покрутил кулаком.

Калина мне симпатичен. У меня с ним много созвучного. Хотя характеры разные и в силу этого разные подходы.

Он философствует вслух, не заботясь, как его поймут:

— Ханыги умные, они не работают. Кто по свалкам шустрит, кто хрусталем промышляет. Мы относимся к тем, кто пропивает свой труд. Дурней нас нету... Надо эту хреновину бросать. Пить только за халтурные, натянуть вожжу и напрямик переть до пенсии. В натуре, пора бабу не обижать так сильно... Но наглухо завязывать тоже глупость. У меня потребность — поводить козу с такими же, покалякать за магазином... Это же наш клуб. Мне они выпивши интересней. Я им тоже интересней выпивший. Хочется иногда выпрямиться, хоть вдоль земли-матушки. Тяжело всю дорогу согнувшись, лечь и потянуться охота.

— Лежа в грязи, — горько усмехнулся Сашок.

— Точно! — засмеялся Калина. — По-русски, не подстилая соломки, даже зная, где упадешь. Верна старинная поговорка: согнули в три погибели. Три раза можно было погибнуть, гнулись только... веки вечные.

— Я слушаю тебя, — отозвался Маленький, — и думаю: дурак был Николка. Сослал Картавого в Сибирь. Жалованье ему положил, жену туда выписал, живи, охоться. А тот его в подвал, пулями да штыками. Девочек и малолетку...

— Наследника престола, — уточнил я. — А когда дело за престол, выводят под корень. С коммунистами тоже не церемонились. Звезды на спинах вырезали.

— Но они начали всю заваруху!

— Вернее сказать, началось. У революции свой нор. Ничего не попишешь.

— Я не про то. Он царь! Он говорил: мой народ, — а кому отдал его?

— Угу, — согласился Калина. — Вот его и взялись стегать, народ. Дедушка-то, оказывается, был кровожадный, с дьяволком внутри... А прав, как всегда, Саня Пушкин, он говорит: лет через пятьсот Россия замостится дорогами, через реки мосты... Но помаленьку, понял? Не скакать... В семнадцатом чем прикупили толпу? «Где каждой щепке, словно кораблю, такой простор...» Каждой щепке сулили простор...

— А сейчас богатство сулят каждому, — вставил Маленький.

— Я верю Есенину. Он — душа народа, на миг распахнувшаяся... За что его и пристукнули. — А дальше Калина высказал прямо-таки мои мысли: — Я доверяю писателям, их предсказаниям, вернее, предчувствиям. Писатели идут от природы человека, а строители систем от идеи, от химеры. Мне всегда было непонятно: почему я пролетарий, а художник, который по двадцать часов в сутки пишет картину и живет впроголодь, — нет? Почему я должен диктовать? И когда мне этим заниматься? За меня будет драть горло какая-то шкода, которая стенгазету выпускает.

— Кто над людьми поставлен, у того в первую голову должна быть о людях забота,— вступил Сашок.— Когда у него душа болит о людях — и суд его праведный. Умнее доброты ничего не придумали.

Сашок прав, подумал я. Снова мы фразернулись. Эти тоже... корсычат по живому.

Разговор свелся к тому, что дворяне родились дворянами, коммунисты — порождение нашего времени, и если другая голова думает по-другому, ее не надо поворачивать с хрустом позвонков: повернешь череп — мозги же могут повернуться только сами. А берет за глотку, горлопанит, рушит статуи такая же шелупонь, какая церкви разрушала. Ни Калине, ни Маленькому, ни тем более Сашку и никому в палате, как выяснилось, крушить и ломать, такая работа, не подходит. При условии, конечно, если тебя не дразнят и не травят, как собаку.

И на спортивные темы Калина оказался очень подходящим собеседником, поговорить было о чем. Чемпионаты, тренеры, знаменитые игроки... Я тоже неравнодушен к этой теме, спорили... Но в одном сходились все: в спорте, как и везде у нас, одни пашут до девятого пота, другие жрут в три горла, прихлебатели и кускобеи.

В мыслях у Калины, по-видимому, существовала какая-то последовательность, но он, когда говорил, не о ней беспокоился. Ну кто знает в палате Федора Абрамова? Однако Калину поняли все...

— Абрамово его соседка на родине, в деревне, рассказывает о чертях, что в старину водились по темным местам. Он спрашивает: куда же они сейчас подевались? А в людях, вся нечисть в людей вошла, отвечает соседка, посмотри, какие люди поганые стали... Или в рассказе Куприна «Царский писарь» рассказывает один генерал, как получил первый чин и, видимо поддавши, гнал на пролетке по Питеру, а навстречу Николай Первый. Курить на улице офицерам не разрешалось. Царь только посмотрел на прапорщика с папиросой... Генерал говорит, его взгляд он помнил всю жизнь. Был в сражениях, раненый, но никогда больше так не боялся, как испугался царского взгляда. Мне в рассказе еще нравится фраза, где Куприн вспоминает о том времени, когда каторжные мостили улицы, а не заседали в конvente...

— Да что равнять! — взвился Маленький.— Раньше человек если рождался во власти, его воспитывали, чтобы он не злоупотреблял, жалел людей, а Еська — сапожник с подвала.

— Шас не начальник, а вошь какая-то и то из себя корчит, тьфу! — сплюнул товарищ, недавно прибывший.— С нами же, курвец, грузил макулатуру, а поставили приемщиком — и уже такой гусь, чирика не займет. Макулатура...

— Мы сами макулатура,— заметил Сашок под общий смех.— Сдают, только в тюки не вяжут.

— Да черт с ним, хлопцы, что впроголодь, зато не в дохлое время живем! — весело сказал Калина, отсмеявшись.— Стариков да калек жалко, а мы подтянем животы. Отцы наши в окопы шли, под огонь — надо было. Подумаешь, шмоток нет! У меня вон есть два костюма — и хорош! В одном на работу езжу, в другом работаю, в брезентовом... По мне, милее сила в лохмотах, чем хилость в парче. Если что-то имеешь — оно тебя имеет. Люблю волю... «Богачу дураку и с казной не спится, бобыль, как сокол, поет, веселится. Он идет и поет, ветер подпеваает... Сторонись, богачи! Беднота гуляет!»

С тобой бы я выпил, Калинушка, подумалось мне невольно.

Разговорились о литературе. Открытием для нас обоих явилась литература о ГУЛАГе, особенно Шаламов, и русские философы, хотя мы и читали о них только статьи...

— Взрыв — и всех смело,— вздохнул и покачал головой Калина.

— Может, истории надо было попробовать и это? Почему она, сука, на нас сделала выбор?

— История крови не шадит, ей не больно, это нам рыгается.— Калина ощерился.

— Сейчас газеты оставил, читаю старых,— сказал я,— обоих Успенских перечел, Лескова.

— А я «Морские рассказы» Станюковича... Бывало, начнешь, пару листков — и сразу видишь, что за птица... Икра искусственная. И вкус подделывают и запах, а рыбок из нее не выведешь. Соцреализм... Ария Сипатого в опере: «Мы по три раза сифилисом болели...»

— Однако останутся Корчагин, Нагульнов, «Россия, кровью умытая»... Как останутся в истории большевики, гражданская война. Что ни говори, а искра в них была...

— Но проявляются, как на пленке, и другие явления. В противовес. Рютин, «Котлован», Клюев — совершенно разные явления, но одно их объединяет: не поступились собой, правдой. А Шолохов — божий дар в нашу эпоху. Как он сумел в то время столько сказать... Его читать надо уметь. Помнишь, Бунчук расстреливал казаков по ночам, вязал им руки, а на ладонях мозоли. Когда Разметнов раскулачивал, а его ребятишки малые облипили... Или казак говорит: ветку обстругай — кнутовище получится гладкое...

— А фамилии возьми, кто кулачил: Разметнов, Нагульнов, Давыдов... Да и бывший помещик тоже не мед — Половцев, — сказал я, и Калина, соглашаясь, энергично закивал. — Его Мелехов — русский народ, который метался, ища правды, а его выкручивали, чтобы он только самим собой не остался. Но и Кошевой... Такие сразу пошли на поводу, уверовали в систему, для них выстроенную.

— Копуны копают: Шолохов нашел чьи-то записки. Пусть так, повезло, что ему они достались, не пропали. Шолохов единственный, кто материально помогал Платонову, когда тот мостовую мел...

Сейчас только что отвез Калину домой. Но по порядку...

Его как сварщика вызывали вечерами, а то и ночью, на аварии. Вызвали и сегодня часов в восемь. А в одиннадцать привели. Обе руки забинтованы, пол-лица обгорело, вздулось, глаз заплыл, ухо отвисло. Толпа сбежалась, сестры. Хроменький объяснил: загорелись в колодце шланги. Собралось их там трое, сварной и два слесаря. В люке рукав для откачки, не выпрыгнешь. Заваривали трубу, в тесноте кто-то и сорвал шланги с горелки. Они под давлением загорелись. Калина их горящие ловил и пережимал. А так бы задохнулись.

Дежурной сестре он сказал, что едет домой. Сестра его не пускала, еще со здравпункта его хотели отправить в больницу.

— Да вы что, смеетесь, товарищи сестры? В больнице за пятерку штаны будут расстегивать каждый раз и застегивать за столько же. Откуда у меня такие деньги? Домой! Скажите Аннушке, я все искупил и штрафбат покидаю.

Мы с хроменьким собирали его вещи. Он ходил по палате с поднятыми на уровень плеч руками и говорил...

— Врачиха спиртом рожу обработала, спрашивает: посвежело после спирта? После спирта, говорю, всегда лучше.

— Он еще шутит...

— Ничего, сестричка, зато лечение мое кончилось. От ожогов веселее лечиться, чем от водки, — он поднял руки еще выше, — видишь, сразу две торпеды вшили и забинтовали, стакан нечем поднять. Так Аннушке завтра и скажите: надоело Калине на два дома жить. Один свой, другой казенный...

— Говори телефон, жене позвоним.

— Еще чего. Успею, обрадую. Пусть Григорий меня проводит. Тачку поймаю.

В машине он радостно говорил:

— Молодец я: настоял, чтобы врачиха записала, что я трезвый. А то у нас одному трубой бедро перебило, был выпивши малость — четыре месяца ни копыя.

Дома мне у него понравилось. Жена по-настоящему испугалась. Слезы натуральные. Я сразу почувствовал: нужны они друг другу. Во мне шевельнулось теплое чувство к жизни. К жизни вообще.

Лицо его становилось все страшнее.

— Может, в натуре, вызвать «скорую»?

— Ничего. У меня кровь хорошая. Бормотухи не пил. Заживает всегда как на собаке. Завтра сам пойду в поликлинику. — Он лег на диван, не опуская рук. — Вот придется голосовать обеими руками, наверно, неделю. Но за кого теперь? Не за кого... Знаешь, первое лекарство от болезней и травм: не обращать внимания. Очень помогает. — И к жене: — Только без истерики... Малость обожгло. Зато оттуда вырвался. Я, знаешь, зря ничего не делаю... Ну-ну. Полморды у меня еще целы — приложись. Рассчитайся с товарищем — чирик за тачку.

Еле отбрыкался.

— Я сейчас кофе быстренько вам, бутербродов...

Калина посмотрел на себя в зеркало.

— Ого! Как чудовище из мультика... Гриша, все хочу тебя спросить: куда заиграли последний роман Шолохова? О тех, кто сражался за родину? Он когда еще обещался его опубликовать!

Из кухни говорила жена:

— Видела кошмарный сон, что ты снова напился после лечения. Какая-то пьяная баба тянет тебя пить еще...

Он страшно улыбнулся изуродованным лицом, моргнул мне здоровым глазом:

— Вишь, что для них кошмар? Напился и баба тянет.

— Кофе готов.— Вошла жена.

— Я не буду, спасибо.

— Этот сказал, не будет, значит, не будет... А может, все-таки?.. Не будет...

Как у Теркина, одним глазом наблюдаешь не веду... — Его руки, замотанные, поднятые над головой, дрожали.— Да, Гриша, подтверди! Врачиха сказала: чтобы кровь гуляла, каждый день по стакану.

Он не бравировал. А будто выиграл духом и повеселел от ожогов, будто рад был еще одному приключению на своем пути.

И дома стою у окна или гуляю по комнате.

Внизу вдоль нашего «крейсера» шла молодая женщина. Сумки в обеих руках. И все смотрела и смотрела вверх, на этажи... Своих высматривала: поджидают ли? Может, встретят, выбегут... Кого выглядывала?

Встретил Новый год. Приглашала подруга, но я встретил с товарищами, чайком. На Рождество разговлялся у сестренки. Возмутился — больше для нее, — что заграница шлет нам подарки рождественские бесцеремонно в наш Филипов пост. Но она меня успокоила — подарки попали к тем, кто не боится оскоромиться, к бывшим попечителям церкви от горкома. На мое замечание, как бы в год Обезьяны не пришлось снова лезть на деревья, она возмутилась на такие глупости: «Что ты слушаешь всякую гадость, у кого-то, может быть, год жабы, а для нас, христиан, каждый год, каким Господь пошлет».

Много разговоров о спущенных ценах и поднятых штанах, но паники никакой. Нас уже ничем не удивишь, да и чувствуется, что это еще не предел. Лечимся от водки, однако всех нас беспокоит цена на водку, спекуляция пошла в наглую, в открытую. В антипьяную кампанию спекулятивные ручки пробили руслу, теперь хлынуло лавиной, селем. Вот уж поистине пьяный проспится, дурак никогда. А нынешние никаких запруд ни в чем ставить не собираются...

Товарищи мои все почти демобилизовались. Кто с торпедой, кто с голым желанием не пить, кто просто рад, что выходился, а кто уже и по следующему заходу опять у Аннушки.

Жизнь не останавливается. И здесь тоже, койки не пустуют. Приходят новые люди, допоздна готовят на кухне, отъедаются после запоев, со своими суждениями, с новыми разговорами...

— Есть процент населения, который рождается только для смуты. Они хуже бандитов. Им митинги, борьба, а потом к власти. И все «за рабочих», все «за народ».

— Мать живет за городом. Дает червонец: возьми колбаски. Объясняю ей, что не те времена, а она: «Да что ж, все время так будет?..»

— Честному человеку стало хуже, чем было. Что простому, что интеллигенту. Сейчас он официально никому не нужен. Финансовый пресс самый плотный. Казну разграбили, займы по своим карманам. У государства голяк, как у нас после запоя. Отпустили все вожжи: хотят теневые гроши в оборот пустить, на краденном разжиться.

— Надо же, Россию полосуют, такими кусками отдают! Лысый черт намерил, чтоб его там семь раз перевернуло! Армяне вон за один свой район три года воюют.

— Дурней России не найдут, другие дадут им рубль, а возьмут четыре. Сняли их с ишаков, научили на машинах ездить, хотя ему милее на ишаке, чем автобуса полдня ждать. Главное, по девяносто процентов проголосовали против России, а мы им опять помогаем. Ведь можно было жить вместе, не лезть друг дружке в карман, а тем более — в душу... Ну как мы в палате: живем же вместе в ладах.

Молчаливый Проворотов разговорился со мной перед выпиской:

— Я, как вол, тянул житуху — чем глубже борозда, тем упирался туже.

В нем действительно было что-то воловье — в сильной шее с красным загривком, тугом теле, спокойном, простоватом лице. Когда он говорил, то слегка волновался, косивший левый глаз отворачивало к виску еще больше.

— Как вол. Похитрее быть бы нам. Хожу к своей, куда-то же надо...

Этому надо. Рассказывал о своем колхозе, из которого убежал молодым. Не ужился с предом, тот терпеть не мог своеволия.

— Но хозяин. Орденоносец. А будь ты хоть золотой специалист, если не подхалим — сожрет. Всех подмял. Как помещик. Куда там. Квартира в области, в районе другая, дом, две машины...

— Да это ладно, давал бы жить.

— Давал, кто плясал под его дудку, да и то... Колхоз передовой, богатый, а людям невпродох. Даже слово «мужик» не любил, а — «колхозник». Скотина был хорошая. Когда подох, брат написал, я пошел поллитру купил. И как я думал — колхоз посыпался. Брат пишет, хочет отделяться хутором. Я жду новых законов — взять землицы, я же механизатор, на всем могу. Оставлю этой жучке конуру на память.

— Первую жену думаешь перетащить туда?

— Не буду. Пусть остается со своей... Как держала всю жизнь ноги зажавши, вот и нехай! — Загоренная обида была в голосе, проступала на лице. — А сынов перетянуть на землю мечта есть. Должны же к весне что-то решить на верхах. Погляжу, эти тоже начинают тянуть мертвого. Заворачивать хрен в рубашку. Кроме как цены вздуть до невероятности, ничего путного не могут, только с безответного народа брать. Не приведи Бог нашим внукам, как мы — голодные постоянно ходили в сорок седьмом. Есть все время охота, без жиров потому.

Лечение ему на пользу, расставил все по местам.

— Да разве я ушел бы от своего клочка, если бы там было повольнее? В городскую грязь? Вагончики, командировки, лечение вот... Григорий, ты меня извини, коли не так скажу... Погляжу — ты тоже мужик бесприютный.

— Для меня нормально.

— Где там нормально! Тебе в село надо. С твоими руками ты там на вес золота будешь, кум королю. Свой домик, вдовушку путную... Запиши мой адрес.

— Спасибо, Леха, за участие. Я, знаешь, смолоду ветерка хватил дорожного, так оно с ветерком идет ничего...

Разменял последний месяц. Я доволен. У меня нет правил, надеюсь, и не будет, но в моих разжиженных градусами мозгах что-то толковое стусилилось за трезвые месяцы. Я почувствовал, как летит время, как оно мнет, подминает под себя мое времечко, мне отпущенное...

Из окошка в курилке (я теперь курю все чаще и чаще) виден кусочек большой дороги и мост, по нему снуют машины. Рейсы... Харчишек в дорогу (шофера говорят, во все концы на дорогах, как разбойники, джигиты-кооператоры), термос с чайком, книжонку за сиденье, приемничек, сигарету в зубы — и жми на педали, пока не догнали... Айда ловить просторы, как в молодости. Движение, словом.

...Этот рейс не похож ни на какие другие. Разные люди прошли перед моими глазами. Все они останутся во мне частичкой воспоминаний, как еще один кусочек моей жизни. И будет грустно, как и обо всей остальной жизни, не потому, что она была хорошей, а потому что она была... Наведываю топольки. Они не сдались холодам, растут себе. К весне ветви со стороны кажутся теплым облачком растворенной охры. А на стволах вблизи сквозь сероватую окраску с темными струпами проступила зелень коры.

Была Галя. Наш художник достал ей краски. Она обрадовалась, как ребенок, я был рад не меньше ее. Беседовали. Я сказал, что их церковные дела поправляются, да и в мире идет к разрядке...

— В Писании сказано: когда все заговорят о мире и безопасности, вот тогда и грядет суд Божий.

— Так и сказано — «мир и безопасность»?

— Да.

Галя не настойчиво, но с чувством (без той категоричности, с которой церковь не терпела инакомыслия, а коммунисты церковь) старалась направить меня в меня... Да, если человек хотя бы половину энергии направит в себя, на устройство своего внутреннего хозяйства, а попросту — на свою душу, возможно, конца света избежит.

Обещала помочь с обменом квартиры.

Да. Вопрос решен. Меняю декорацию.

Курили мы с Сашком, а вокруг в курилке шла трепотня, как обычно.

— В Киеве, в командировке, жил у старухи на квартире. На работе за вином нам дед бегал, истопник. Решил я их сосватать. Все легче двоим на старости. А сам пошел на квартиру деда, рядом с работой. Через два дня дед говорит: «Давай размениваться по новой». А чего? «Слышу,— говорит,— ночью лезет...»

— Ну чего дальше?

— Наладила деда. Так с ним и жили на пару.

Сквозь общий смех я спросил у Сашка:

— Может, твоя соседка поэтому взъелась?

Он оцепенело задумался. Ближе к выписке задумываться стал чаще.

— Не знаю, что делать. Вернусь — так определит в ЛТП. Не дает житья. Обидно: был бы пьяница горький, хулиганил бы... На работу, сука, ко мне ходила: «Он у вас ворует». Новость для них. Посадить обещалась.

— Обменяйся.

— С кем? Девять метров, первый этаж.

Я три дня обдумывал и решался... Предложил съехаться. Он хмыкнул.

— Шутишь?

— Серьезно. Заживем на пару. Я в рейсы буду ходить. Мне приятней. Не пустая хата. На съезд легче. Сейчас больше расходятся.

— Тебе жениться надо.

— Тебе тоже... Обойдемся приходящими. У каждого по комнате, а уют пусть вместе наводят... Найдем хорошую квартиру, доплатим в случае чего. Получим же, выйдем отсюда. У сестры займу. С рейсов отдам. Гроби будут.

Вскорости сходили к Сашку на квартиру. В комнате опрятно, ничего лишнего.

Может, потому, что у меня было предубеждение к его соседке, но на лавочке я сразу определил ее среди других. Неприятная старуха. Носатая, крашенная, глаза мышиные... Пошла следом за нами и топталась на кухне. Ее топотня и то действовала.

В выходной поехали ко мне.

Все-таки Сашок мялся. Было ему неловко, словно я что-то теряю с обменом. Вечерами я старался развеять его сомнения:

— Я в рейсе. Ты устал с работы, хлебушко на-гора выдавать тоже потное дело, пришел — один, покой. Будешь комендантом нашей крепости. К себе никого, кроме подруг постоянных.

— Дальнебойщики и за границу ходят.

— Что у там забыл, за границей? Она мне по телевизору надоела. Приду с рейса — ты дома. Расслабимся, в баньку сходим, разопьем пару бутылочек. Я от бутылки не завожусь.

— Может, одной хватит... стопариками, не торопясь. Горячим хлебушком обеспечу, маслица, сахарку... Малость всегда можно, хоть теперь и омовцы в охране.

— Хватит нам и без того на прожитье. К роскоши не привыкшие. Я с рейса барана приволоку или гуся.

— Готовить я могу. Такой обед тебе замостырю...

— Сам знаешь шоферскую жизнь, я в еде неразборчив. Один раз в день горячее — и порядок. Послушаем пластинки, в кино сходим. Прибарахлимся малость. Я обносился. В отпуск куда-нибудь поинтересней.

А про себя думал, что, может, и отношения его с семьей сына наладятся, внук подрастет, пусть пацанчик к нам в гости ходит...

Вот так мы с ним мечтаем. Думаю, мечты наши не пустые. Скоро к выписке Сашку. Полмесяца. Прикидывает, сколько заработал денег...

Отговаривает меня от рейсов:

— Цыганская жизнь, Гриня. Известны мне радости дорожные: сухомятка, ночевки в кабине, поломки среди поля в морозы, а сейчас на заправках стоят сутками. Зачем тебе? Молодчик, что ли? Не убьешь — так кого задавишь. И человека жалко, и сам тью-тью на Воркуту пеньки корчевать.

— Ну, Сашок, совсем хорошо нам будет только в раю. А устроил нас бы рай какой? Чтобы здесь, в брэнном мире, мы прошли школу питья, а там — пить по уму?

— Пока здесь выучимся пить, столько грехов натворим — рай нам не видать.

— Ты прав, для нас и рай закрыт. Наша история с семнадцатого идет полосами, мы в пьяную полосу влипли.

— Вали теперь на историю... Перешел бы ко мне на хлебокомбинат, чего мотаться? Времена подходят такие — рад будешь и горбушке свежей. Два выходных. Хочешь — дуй в поход, на экскурсию, если не наездился.

Возьму отпуск. Хотел на море махнуть, но и море отравили. За отпуск разменять хату и получить права. Вырвусь среди недели, поговорю с начальством.

В понедельник я пришел с работы, на освободившейся койке спал новый товарищ... Ну вот, подсадили снова ребенка... Светлый вихорь на затылке, щуплое тельце, спал по-детски, лицом в подушку.

Когда вернулся из курилки, он уже лежал на спине, проснулся, внимательно смотрел на меня... Лицо его поразило. По контрасту с фигурой выглядело чуть ли не старческим. Бледно-желтоватая кожа с морщинками вокруг глаз и на висках. Губы резко очерчены, подбородок слегка скошен. Но внимание притягивали глаза. Не уставшие — во взгляде упорство, — а натруженные... Под кроватью гитара... Артист. Я не ошибся.

Он пел, аккомпанируя себе на гитаре. Чаще в курилке (поклонники подносили чифирок). Я равнодушен к многочисленным бардам — за редким исключением. Холеные ребята.

Нашего музыканта звали Витек. Пел он свободно, не гундосил и не подвывал. Голос у него не очень, но смелый. Привык петь на людях. Лагерным не подражает.

Когда я служил, приходили в армию прямо из лагерей. Помню их песни.

Был когда-то и я  
По-ребячьи крылатым  
И умел куролесить  
В свой жизненный путь,  
А теперь вот лежу  
В уголовной палате,  
Ничего не забыть,  
Никого не вернуть...

Такие песни гуляют обычно в разных вариантах. Тогда пели этих «Журавлей» и так:

Кто построил канал?  
Кто воздвигнул дороги?  
Кто индустрию поднял  
Отсталой страны?  
Беломорский канал,  
Водный путь до столицы, —  
Это труд журавлей,  
Это строили мы...

И бессмертный, наверное, «Гоп со смыком» на все темы. Довоенный, про дипломата: «Расскажу я вам, ребята, как служил я дипломатом. Вот ко мне приходит самурай — землю по Урал нам всю отдай, а не то нахалом мы возьмем до Ленинграда, ты узнаешь нашего микадо...» Отвечает он красиво и самураю, и Гитлеру, и послу из Африки...

Витьку, или, вернее, к его песням, очень шла ситцевая рубашка на нем в синий горошек. Две песни я переписал на память. Дома положил их в папку с переписанными, вырезанными, перепечатанными стихами.

Ты скоро покроешься черным платком,  
И, может, другие покроют.  
Меня на погост отвезут с ветерком  
И там, торопясь, заркоут.

Вот это уж точно последний предел,  
Вот там отдохну покойно  
От каменных стен, суеты, хитрых дел,  
И душе уже будет не больно.

Но только без воплей, прошу я всерьез,  
Хоть и разные — все мы здесь гости,  
Не выпало случая, вот в чем вопрос,  
Нас немало таких на погосте.

Столько обид перенес втихаря,  
 Да потери — один только знаю,  
 Что эта уже не страшна для меня,  
 Я смерти смеюсь прямо в харю.

Вот и поговори с ним, Галя, о тайнствах смерти, о покаянии, о чистой жизни, о светлом духе... В чем ему каяться? Он и сам не знает, как не знал и я. А душа тяжела.

Прочел недавно стихи знаменитого поэта, которого давно читаю. Он вдруг ударился в веру. В стихах Христос да Христос и тут же — как ему не хотелось бы умереть, как он любит жизнь, как его любят... Интересно, что Гале ближе? Вот такая нелюбовь к смерти или презрение к ней... По ее понятиям, смерти нет, а есть переход из одной жизни в другую...

Чаще ребята просили: «Витек, про чифирик».

На хмельное, душа, не мутись,  
 Я зашил в тело смерти комок,  
 За ушедших друзей, непутевую жизнь  
 Заварю вечером чифирик.

Первый горький глоток за тебя, мой дружок,  
 Не судьба, только память верна.  
 А потом три глотка за три горьких годка,  
 Где моя тоже боль и вина.

Жизнь на пьяных глядит косяком.  
 Или пьем потому, что она такова?  
 Заварю-ка ее вторяком,  
 Удалая моя голова.

Да вторяк-то уже не чифир,  
 Не родиться два раза на свет.  
 И душа по ночам говорит  
 С теми, кого уже нет.

Не мутись ты, душа, не мутись,  
 Я зашил в тело смерти комок,  
 Я замучил любовь, я пропил свою жизнь,  
 Заварю-ка еще чифирик.

Первый горький глоток за тебя, мой дружок,  
 Не судьба, только память верна,  
 Остальные глотки за хмельные годки,  
 Где моя тоже боль и вина.

Попел соловушка чуть больше недели. Прихожу с работы — на его койке голый матрас.

— А где наш Овидий? — спросил я, а сам почувствовал плохое уже.

Объяснили. Напился, гонял сестер, взял гитару и смылся. Я ткнулся лбом в оконное стекло...

— Такой не пропадет. Не изловят они его,— сказали сзади.

— Такой пропадет...— вздохнул рядом со мной Сашок.

Остались из ветеранов мы с Сашком.

Строим планы на будущее. Разговариваем о прошлом, но прошлое не особо вдохновляет... Нашел Сашок однажды бумажник. Девяносто рублей денег, книжка с телефонами. По ней выяснил адрес и понес находку. Вместо благодарности (он рассчитывал еще на поллитру) чуть не свели в милицию: где остальные деньги?

— Сам пропил, козел... кошелек-то я нашел в кустах за магазином, а он перед женой начал выступать. Двести рублей, орет, было. А семья, видать по всему, богатенькая... Вот народ пошел, лучше не соваться. Ни с плохим, ни с хорошим.

Сделал дома уборочку, открыл балкон, вывез грязь. Окна мыть не стал, помоем с Сашком на новой квартире. У Галины что-то наметилося, говорит, комнатки неплохие. Съездим с Сашком, посмотрим.

Жил с нами и художник. Его мастерская была в одной комнате с парикмахерской. Парикмахерша работала один день в неделю. Он писал объявления,



оформлял стенды, всевозможные советы и устрашающие плакаты от пьянства. Он молод, но замкнут и... мужик со стержнем. Вечерами редко он бывал в нашем обществе, а когда бывал, то держался... Словом, держался. Есть люди — одним тоном своим ставят другого сразу на место, которое, по их мнению, ему положено. Но вряд ли только натура его причина того, что он был как бы в сторонке от нас. Я и раньше встречал и художников и поэтов среди своих товарищей. К ним отношение простых людей особое. Может быть, люди инстинктивно оберегают талант, чувствуют, что у человека свой настрой, устойчивый душевный мир, если таковой имеется, конечно. Во всяком случае, я никогда не слышал в их адрес насмешки, нетактичного слова.

Я брал у него иногда репродукции со статейками о художниках. Как-то попался альбом Борисова-Мусатова, и целый вечер мне было печально печалью этого горбатенького и одинокого художника.

«Путник» Нестерова. Нам бы сейчас, выхолощенным, встретить такого Путника, чтобы поверили. Столько лжи было, что люди видят ее сразу, как рентгеном, и в жизни и в искусстве.

Только к концу века становится ясно, какое в начале его пошло помутнение в умах и смятение в душах. При этом не могли не появиться художники типа абстракционистов... Малевич понятен — черный квадрат в конце концов.

Старичок на Урале, самодеятельный художник, умирал, брошенный в богадельне. Хотели иностранцы купить его картины — не продал ни одной... И статейка о нем вроде как со снисхождением...

«Грачи прилетели» Саврасова я попросил у него насовсем. Он дал.

— Очень современная картина, — сказал я.

— Вечные произведения всегда современны, — ответил он.

Повешу ее на стену в новой квартире. Как знать, может, нас с Сашком минует и это мутное время? Переживем... А «Грачи» пусть будут на стене...

Грязная весна на картине, снег дотлевет. Теплынь копится в воздухе. Изуродованные березки... Сарай и тихий свет от церквушки... И все оглашает раздражающий тишину истошный грай суетливых птиц. Это горлохваты. Не те, которые всегда что-то делали, бросали искры, точили бетонную стену, рискуя волей, — тех и сейчас не слышно. А эти, которые налетели черт знает откуда и внаглую вьют себе гнезда на голых ветвях нашей нищенской жизни, заглушая своими истошными воплями спокойные и правдивые голоса... Конечно, они были всегда — и в войну и в голодные годы вили свои гнезда... Но они были всегда вне закона, прятали свои клювы.

И уж конечно, как они ни кричи, но вера наша не в них, а в те березки изуродованные. Березки живы, и в лютые морозы они берегли живой сок, оживут весной, зазеленеют, дадут молодую поросль.

Перебрал дома книги. Пересмотрел заветный ящичек в серванте. Фотографии, письма. Два от отца. В сорок третьем — одно с фронта, другое из госпиталя. Треугольнички. Штемпеля с гербом: «Проверено военной цензурой». В письме: «Библиотека неважная. Читаю «Мертвые души». Посмотрел два фильма, «Парень из нашего города» и «Василиса Прекрасная...» Повторяет еще раз: «библиотека бедная...» — смертельно раненый... Взял томики Гоголя в палату, последний раз читал их лет двадцать пять назад.

Ну и Николай Васильевич! За сто лет вперед дал точный наш портрет. Собакевичи, маниловы, плушкины, тентетниковы, кошкаревы с их конторами, петухи... А в «Записках сумасшедшего» даже погода наша — «мартобря». Фотографию нашу сделал в «Мертвых душах». Ну а времена чичиковых уже наступают. Приходит их пора проявить себя в открытую.

Грядет последнее наступление прогресса. На массы — золотым тельцом, на культуру — массовой культурой... Или — или. «В здоровом теле — здоровый дух», — цитируем древних, да не полностью. Вторую часть афоризма: «...когда в душе молитва», — отбросили и забыли. Видимо, мешала... Искусство, наверное, молитва общества... Еще кто-то из мудрецов сказал: если двигать вперед науку, но тормозиться в нравственности, то получается идти назад, а не вперед... Но мудрецов вспоминают, увы, когда их слова сбываются...

Я знаю в жизни только две силы. Люди в своем большинстве — так называемая теоретиками масса. «Темная масса», к которой, слава Богу, принадлежу и я. Они живут по совести. Глыба народа. Да глыба книг, написанных по совести...

Что-то Николай Васильевич недоговорил. Не успел или не смог? Во второй части своей поэмы показал честную и благородную Россию и... сжег. Где-то у него не состыковалось со второй частью...

Состоится ли у нас вторая часть?

Сашок убыл. Скоро и мне.

Перед уходом он помялся, хотел что-то сказать... Пришел с работы — койка Сашка пуста. Стало тоскливо и совсем одиноко в этой оградиловке. Ну ничего, дела у нас пойдут ходом. Работаем мы с ним на таких работах, что работы вдоволь, слава Богу, а то на шинном начинаются чудеса. То, говорили, акции будут раздавать рабочим и служащим. То — в аренду. Теперь по-новому: кто больше даст. Или заводские все скинуты, или советские (может, и иностранные) миллионеры вкупе с министерскими воротилами (уже российскими министрами). По идее — теперь уже других экономистов, — если отдать шинникам, то конкуренции настоящей не получится... И дело идет к тому: два цеха прикрывают, а рабочих в отпуск без содержания. Матерей-одиночек без содержания — на нынешние цены. Нет сырья, не из чего делать колеса. То ли перехватили биржи, то ли раскупили фирмы... Но паники нет. Верят — превозмогнем... А что остается нам, не предпринимателям, кроме веры? Превозможем... А может, просто безразличие? Туда нам и дорога?..

Неужели Россия еще в этом столетии не разогнется от раскорячки? Не поднимется из трясины, куда ее ткнули насилием и обманом? Сколько колес наготове вставить в колеса. Сколько слезавшейся трухи, сколько будет от нее копоты. Сколько изведут лесов на бумагу, прежде чем докажут, что и так ясно. Сколько... И тянет от этих мыслей тяжелой, усталой скукой...

Ах, Сашок, Сашок... Бегаю с обходной, останавливает Миша Беспалый:

— Слышал! Сашок бабку грохнул...

— Как?!

— Топориком. Всю изрубил. Пол и стены в кровищи. Искромсал на куски. И говорят, трезвый...

1992. Февраль.

---

---

## ГДЕ ТЫ УЖЕ НЕ БУДЕШЬ НИКОГДА

\*

МАРИНА ТАРАСОВА

Тучково

Тучково. Перрон раскаленный. Натруженный силпый гудок.  
Как цепкий кустарник по склонам, людской ошалевший поток,  
подобно пиратам на реях, по скользким перилам — на штурм...  
туда, где автобус на Рузу, пылища и сутолки шум.

...Графиня спустилась неслышно в июньский дурманящий сад,  
сиял и клубился над крышей жасминный густой снегопад.  
Все ветви в именье Тучковых, как будто большие смычки,  
казалось, взметнуться готовы от прикосновенья руки  
графини — в холстинковом платье, плывущей как парус вдаль.  
Старинных деревьев объятья, озера а deux pas d'iei<sup>1</sup>.  
Пионами пышет куртина. Неслышного времени бег.  
Над нею шатер из жасмина, над ней девятнадцатый век.

Тучково... Ползущий автобус — как дервиш в кромешной пыли.  
Толпятся дома из бетона, асфальт вместо тучной земли.  
Мне душно, и мучает жажда. Зачем я с поклажею тут?  
Весь век свой тащусь ошалело как проклятый Богом верблюд.  
Туда, где старинная Руза, сомлев от июньской жары,  
свисает как белая луза с зеленой покато́й горы.

Графиня в то утро просила отцовскую бричку запрячь,  
и две лошадиные силы, ликуя, несли ее вскачь.  
Там все оведало любовью, шумели хлеба не в огляд.  
Графиня... колосьями брови, слегка затуманенный взгляд.  
Не ведает сердце напасти, столетье уместится в час,  
и плещется тихое счастье в пучине агатовых глаз.

Не в том ли таится разгадка, как некий фантом бытия,—  
за что беззаветно и сладко поэты, друзья и мужья  
любили всегда не случайно т е х женщин, унесшихся вдаль,  
ведь счастье не меньшая тайна, чем рвущая сердце печаль.

За счастье, за счастье, за счастье... Крушившие все напролом  
своей беззаконною властью, своим молотком и серпом  
те, в красноармейских ушанках, ворвавшись в тучковский сезам,  
тащили ее спозаранку за косы седые к прудам.  
За это, за это, за это, за жар в комсомольской груди,  
за мрак, за колпак из газеты, за то, что еще впереди.  
Во имя, во имя, во имя... За чертов чертополох,  
за этих людей на перилах, рассыпанных словно горох,  
за этот автобус набитый, за скотский, ублюдочный быт,  
за холмик, бульдозером срытый под сенью плакучих раkit.

---

<sup>1</sup> В двух шагах отсюда (франц.).

## НАТАН ЗЛОТНИКОВ

## Черная роза. 1953

В Москву я ехал в будке паровоза  
Еще не пробудившейся страной,  
И черный дым качался, словно роза,  
Над черною трубой и надо мной.  
Покуда он, как черт из поддувала,  
Летел над полем черною дугой,  
Одна эпоха бабки подбивала  
И уступала место для другой.  
Покуда и над Камой и над Сивой  
Мосты, дрожа, держали старый путь,  
У власти темной, наглой и спесивой  
Менялся облик, но, увы, не суть.  
Но что мог знать я в юности, в полете,  
Когда спешил с востока на восток,  
И вырастал и цвел из дымной плоти  
Над рельсами невиданный цветок?..  
С годами видел я его все реже —  
Сейчас не езжу, да и дым исчез,  
Но рельсы остаются те же, те же —  
От преисподней до седьмых небес.  
Мне слышится их шепот: — Ты иуда.  
Все тленно, но не быстрая езда.  
Прощай и помни: мы всегда оттуда,  
Где ты уже не будешь никогда.

## Сон 91 года

Ах, кто уезжает навеки,  
Не хлопает громко дверьми.  
А неподконвойные зеки  
От Кемерово до Перми,  
От Владивостока до Бреста —  
При всех поясах часовых  
Мы спим, и под звуки оркестра  
Замена идет часовых.

Империи нет и в помине,  
Однако остались посты.  
Быть может, и мы на чужбине,  
Объятая которой пусты?  
Мы, чтящие рабский порядок,  
На всем белом свете одни.  
А сон потому-то и сладок,  
Что он вольной воле сродни.

Уже этой жизни не будет.  
А та, что нам снится, не в счет.  
И если беда вдруг разбудит,  
То, видно, она и спасет.  
И чужья забвения наледь,  
У крыльев замрем, у колес...  
Как много дорог!.. Но одна ведь  
Разлука... И жалко до слез.

## БОРИС СИРОТИН

## На развалинах

На развалинах крепкой державы  
 Вредоносная светится пыль,  
 Сквозь бетон пробиваются травы,  
 А в полях серебрится ковыль.  
 Опустели не только столицы,  
 Вся страна разбрелась по лесам,  
 Чтоб на землю упасть и молиться  
 Обретающим древние лица  
 Моховитым камням и пням.

Земляные нас скрыли жилища,  
 Мы без окон живем и дверей,  
 Насыщает нас грубая пища  
 Из корней и мяса зверей.  
 Вкруг костров раздаются напевы,  
 Что мычанью иль стону под стать.  
 Но с тобою мы счастливы, Ева,  
 Всю прошедшую жизнь забывать.

Но однажды сквозь куст краснотала  
 Мы увидели, Ева, с тобой:  
 По обломкам бетона ступала,  
 Нет — едва их касалась устало  
 Богородица нежной стопой.  
 Ощутили мы трепет священный,  
 Тихий голос услышался нам:  
 — Люди, бросьте приют свой пещерный,  
 Не молитесь камням и пням!  
 Не внимайте звериному вою,  
 Упиваясь предвестьем конца,  
 Выходите на вольную волю,  
 К свету Церкви, под руку Творца!  
 Бросьте луки, капканы и сети,  
 Да разрушится древняя тьма!  
 Снова злаками землю засеете,  
 На равнине поставьте дома!

...Уходили мы с Евой понуро,  
 И — чтоб голос святой превозмочь —  
 Вновь зарылись в звериные шкуры  
 И любили друг друга всю ночь...

Но лишь небо лучом расколосось,  
 Деревя отряхнулись от тьмы,  
 В вышине тихий Матушкин голос  
 Вновь пронзенно услышали мы.  
 Он ни в чем не винил нас, но, множа  
 Отголоски средь стылых ветвей,  
 Звал подняться с нагретого ложа,  
 Что нам стало отчизны святей.



---

---

Среди читательских писем в «Новый мир» встречаются и такие: почему в журнале мало имен молодых писателей и поэтов?

Замечу по этому поводу, что их, молодых и талантливых, и никогда-то много не было.

Среди же авторов «Нового мира» они не редкость, но дело в том, что редакция не дает справок в соответствии с оглавлением — кто откуда и какого возраста все те, кто опубликован в текущем номере.

Но вот мы делаем исключение из нашего правила: мы представляем двух авторов — Михаила Бутова (27 лет) и Эдуарда Пустынина (26 лет). Конечно, их рассказы еще не характеризуют всю современную молодую прозу, но некоторые ее черты они несут. Это пессимизм и это отсутствие того, что мы называем инициативой или инициативной личностью. Тут имеет место отнюдь не литературный прием, а та реальная действительность, в которой авторы существуют, та действительность, с которой мы в наше столь трудное время сталкиваемся на каждом шагу.

Другое дело, что эта действительность, конечно же, не исчерпана, ведь наряду с молодыми пессимистами мы видим и молодых предпринимателей, молодых рэкетиров, преступников, меланхоликов и пр., одним словом, молодость не минует ни одного типажа, скорее наоборот — она-то все без исключения типажи и формирует.

Особенность же того и другого авторов я вижу в том, что оба они в условиях хаотического общества ничуть не грубо, но очень тонко и, я бы даже сказал, деликатно чувствуют жизнь в ее современном и конкретном существовании, часто в малозаметных, но опять-таки конкретных деталях.

Этим-то они нам и интересны, а может быть, даже и поучительны, поэтому мы и воспринимаем их как писателей истинных, а не случайных.

Вот редакция и полагает, что оба этих молодых автора — ее авторы. Надолго — на годы и годы вперед.

Сергей ЗАЛЫГИН.

ЭДУАРД ПУСТЫНИН

\*

## ХРОНОЛОГИЯ ДОЖДЕЙ

### Проза Швейцарии

1

**М**не всегда не везет: все, чего я добивался, это все потому, что я вкладывал столько труда и энергии, что не получиться не могло. Не может не получиться. И удачи должна быть совесть. По-немецки я не знаю ни слова. Только «ахтунг! ахтунг! хенде хох» и «ауфвидерзеен».

По-английски несколько слов.

В Цюрих я приехал с двумя чемоданами, в одном — рукописи, в другом — подарки. И с двадцатью пятью рублями в кармане. Франков не было, я приехал без денег<sup>1</sup>; это, конечно, неправильно, нехорошо; но был соблазн посмотреть легендарную Швейцарию, и я не устоял. В гости меня пригласил известный швейцарский поэт, и я воспользовался его приглашением. Никаких радужных надежд я не строил, я хорошо понимал, что для простого советского человека любая страна оборачивается Советским Союзом, точно так же, как для какого-нибудь бедного турка весь мир — сплошная Турция.

---

<sup>1</sup> Ну куда менять, один к тридцати.

— Excuse me...— приставал я к прохожим.— I am looking for<sup>2</sup> Фуртерштрассе. На десятый раз мне повезло. Трем элевен, бас 32.

Вперед!

На автобусе мне нужно было ехать до самого конца. Оставалось каких-то две остановки. И вдруг, да это всегда вдруг, всегда неожиданно.

Ко-н-т-ро-ле-р!..

Я стоял в самом конце, контролер неумолимо приближался ко мне, и мне становилось не по себе.

— Excuse me... I am Russian. I live in Moskow.<sup>3</sup> Вот вам презент,— я достал и хотел ему вручить оставшиеся двадцать пять рублей.

— Найн. Найн,— закричал он и начал активно с меня что-то требовать.

А что? Непонятно.

Я немного оттолкнул его, ну не то что оттолкнул, а просто за руки взял и отстранил и в глаза ему посмотрел.

Все на меня тоже начали смотреть.

Но я так разволновался, мне так было неудобно, что я так и не понял, то ли контролера они осуждали, то ли меня.

На первой же остановке я вышел.

## 2

Оставшийся путь я проделал пешком.

Если не везет, так уж не везет. Рено не было дома. Я оставил свои вещи возле входа и отправился налегке гулять.

Люди в теннис играют, мяч гоняют. Поле роскошное. Погода хорошая. Все хорошо. А вот и Рено.

Идет, о чем-то мечтает. Я сзади почти вплотную подошел, не слышит. Окликнул его. Он меня с трудом узнал, радости особой не выразил. Только сказал: «А ты как здесь оказался?»

Я уже думал: чемоданы собирать, да назад, в Москву. Но страшно стало: устал, не ел, да и обидно — приехать в Швейцарию и уехать, так ничего и не посмотрев.

Переборол себя. Остался.

Первым делом, только в комнату вошли, я распаковал чемодан и достал подарки: кипу пластинок, «Беломор» и русскую чашку.

А в пустой чемодан тоже сразу же влез пес, такого пса я еще не видел: на коротеньких ногах и такой толстый, что даже не верилось, что такие собаки бьются.

Он полежал немного спокойно, а потом не выдержал: начал рычать и рвать рекомендательное письмо, предназначенное в Цюрихский университет.

Я чуть ногой ему не врезал. Вредный пес.

— Да нет, он хороший,— остановил меня Рено,— просто он есть хочет. Я пойду его покормлю.

Через полчаса они вернулись, пес радостно вилял хвостом. Наверно, наелся, собака.

— Ну что, будем спать,— сказал Рено.

## 3

На следующий день Рено отправил меня к своему родственнику — дядюшке. У дядюшки дом из двух квартир — одна на первом этаже, другая на втором. Меня поселили на первом. Ванная. Кухня. Три комнаты.

На кухне мне поставили деревянный лоток-кормушку. Дядюшка мне выкладывал туда каждый день: два банана, одно яблоко, одну грушу и полбулки хлеба.

Теперь с Рено мы встречались в пять вечера (до пяти он занят — у него ученики), и три часа он показывал мне город, который я за два дня обошел вдоль и поперек и на голодный желудок,— глаза мои б не видели этот город.

В восемь мы расставались, иногда Рено приглашал меня к себе на ужин. А иногда просто спрашивал: «Ну как там, у тебя еда еще есть?»

<sup>2</sup> Извините меня... Я ишу... (Англ.)

<sup>3</sup> Извините меня... Я русский. Я живу в Москве (англ.)

— Есть, есть,— говорил я.— Дядюшка меня кормит.

Кстати, уже незадолго до моего отъезда я гулял с Рено по ночному Цюриху и в шутку спросил у него: «Рено, как стать миллионером?» «А зачем становиться,— ответил Рено,— вот мой дядюшка миллионер». Вот оно оказывается что, а я-то думал, что это дядюшка все такой веселый ходит да насвистывает постоянно? Теперь с ним все ясно.

## 4

Как-то я попросил у Рено помочь мне продать картину соцреализма.

— Извини, но для меня это бессмысленно,— сказал Рено,— меня ждут переводы.

Тогда я вспомнил и позвонил одной переводчице (с русского на немецкий).

— Я от Х. Н.,— сказал я ей,— мне нужно вам передать пакет. Когда вам удобно, я могу завезти его к вам домой.

— Нет, ко мне домой не надо. Давайте лучше встретимся с вами. Возле магазина «Книги». Ах, вы же не знаете город. Ну тогда пришлите мне пакет по почте.

Переводчики — люди веселые, из Югославии одна переводчица прислала мне вместе с вырезкой из журнала, где была напечатана моя поэма, такое письмо: «Топлый — топлый привет! Пишите. Будет еще переводов».

Переводы — это вещь!

Под вечер я позвонил еще одному переводчику (тоже с русского на немецкий). Он пригласил меня к себе в гости. И на следующий день я был у него.

Посидели. А о чем говорить, ни он, ни я не знаем. А молчать неудобно.

— Пить будете? Я угощу вас водкой,— предложил он.

Я обрадовался. Пить я не хотел, но есть, я ведь за весь день съел только полбулки хлеба. А что за водка без закуски?

Оказывается, бывает водка и без закуски. Например, в Швейцарии.

## 5

На набережной реки Лиммад я разложил картину соцреализма и свиток из Китая (копию Шанхайского университета), которые я привез с собой из Москвы с целью продажи.

Бирки с ценами приколот, все как положено. Свиток полторы тысячи франков, картина — восемьсот (не тысяч, просто франков).

Сел рядом и принялся ждать. Целый час прождал.

Так разве что некоторые, по ходу, между делом, бросят взгляд, не останавливаясь, совсем как в ленинском Мавзолее.

Свиток, картина... Да будь у меня хоть сам Рафаэль, и сто франков бы не дали, мимо бы прошли, даже не заметив.

Вот такие дела, и что делать, неясно. Нищих мало, почти нет, но не потому, что их нет, а потому, что им здесь нечего делать. Тут им не Москва.

## 6

Удивительно! Но в Советском Союзе я никогда не встречал нормально одетого иностранца. В грубых, неотесанных туфлях и т. д. и т. п. Теперь я их хорошо понимаю. Я обошел все магазины Цюриха, и везде все завалено тем, в чем иностранцы и приезжают в Советский Союз. Я даже ничего не мог выбрать по своему вкусу. Из брюк мне не понравились ни одни, из рубашек<sup>4</sup> тоже. Все на один манер, безвкусица страшная. Исписаны. Цвета — впору тореадорам надевать, от быков отбоя не будет. Обувь, если бы были деньги, купил бы себе пару туфель, но не потому, что они мне понравились, а потому, что на «безрыбье» и такие сойдут.

А так, без денег, ходил по магазинам и думал. Вот были бы у меня франки. Это не купил бы. Это не купил бы. Лучше б франки в Союз привез и на рубли обменял.

<sup>4</sup> Легом зимней одежды не бывает, все по сезону



## 7

Гулял по Цюриху, увидел кошку, и так она мне понравилась, что я захотел превратиться в кота.

А через два квартала я увидел ее. Она стояла в короткой юбке и взглядом подзывала меня к себе.

Подойти я не решился. Неудобно. А уходить тоже не хотел.

Остановился напротив нее и стал читать афиши. И она сама ко мне подошла.

— I am Russian. I live in Moscow. I have is not many<sup>5</sup>,—сказал я, схватив ее за руку.

— No. No<sup>6</sup>. Найн,— отпрянула она от меня и добавила: — I am sorry<sup>7</sup>.

Мой запас английского истощился, и я перешел на немецкий. «Я, я, натюрлих<sup>8</sup>, я все понимаю, вот тебе на память»,— сказал я и приколот ей на левую сторону роскошной груди маленький значок: «Ударник коммунистического труда».

## 8

Русские в Швейцарии, русские (женщины!) в Швейцарии.

У меня было с собой два адреса.

№ 1: киевлянка. Прожила в Швейцарии десять лет. Муж — редактор газеты, получает десять тысяч франков. Две машины. Роскошный трехэтажный дом, в котором столько комнат, что легче позвонить из комнаты в комнату. Ей уже под пятьдесят, от нечего делать занимается составлением стихов.

Я ей сказал, что я переведен на несколько языков и что скоро в «Знамени» и в «Юности» появятся мои повести — «Афганец» и «До встречи в Париже».

И еще я сказал, что у меня есть кое-какие литературные связи, могу помочь.

Я рассчитывал, что она мне тоже поможет, хоть франков сто даст. Какое там.

Она попросила меня помочь ей: она скоро едет в Союз и хочет купить в подарок джинсы.

И мы поехали с ней в магазин. По дороге она пожаловалась мне:

— Мой муж такой лопух. Вчера пришел, улыбается и говорит: «А ты знаешь, я сегодня нашел магазин, где масло на франк дешевле. Ты теперь там покупай».

Пришли покупать джинсы. Она говорит: «Нормальные?» Я говорю: «Да». Посмотрела цену: «О, сто франков! Давайте походим по магазинам, поищем дешевле. Я слышала, есть джинсы по восемьдесят девять франков».

Я понял, что толку от нее... и поспешил распрощаться. Она сказала: «А как же так? Пойдемте в кафе, я вас чаем напою».

№ 2: ленинградка. В Швейцарии три года. Вышла замуж.

— У нас в Швейцарии... Мы, швейцарцы... А что русские...

Так... Я попробовал возразить и сказал ей о доброте, присущей русскому народу, о его вкладе в мировую культуру.

— Наверное, мы с вами поссоримся,— перебила меня «швейцарка». — Вы что, коммунист?

— Да, в Швейцарии я стал коммунистом,— ответил я. — А ссориться зачем, я не люблю ссориться, я и так уйду, пока еще светло.

На улице, уже при выходе из деревни (она жила в семнадцати километрах от Цюриха) я услышал звуки, которые напомнили мне мальчиков и девочек, остриженных наголо, в оранжевых одеяниях (я встречал таких на Арбате). «Наверное, кришнаиты,— подумал я. — Хоть не так грустно будет».

Когда я поднялся на пригорок, я увидел коров с колокольчиками на шее.

## 9

Все это время я старался больше спать (чтобы не тратить зря энергию), но у меня не получалось. Я исхудал. От общения с людьми, которым от меня ничего не надо, а мне от них многое надо (два банана, груша, яблоко), у меня изменилось выражение лица, изменилась походка. Я посмотрел на себя в зеркало, на свои грустные глаза и сказал себе: «Эдик, пора в Москву».

Швейцария для швейцарцев.

Июнь 1991 г. Цюрих.

<sup>5</sup> Я русский. Я живу в Москве. У меня нет денег (англ.).

<sup>6</sup> Нет. Нет (англ.).

<sup>7</sup> Я сожалею (англ.).

<sup>8</sup> Да-да, конечно (нем.).

## Поездка

### 1

У нее были гости. Три мордovorота. Они пили пиво. Я начал с ними знакомиться.

— Эрик,— подал я руку сидевшему поближе ко мне.

Он смотрел на меня враждебными округленными глазами и не спешил подавать руки. Мне стало неудобно, чтобы поправить положение, я поднес руку еще ближе.

А потом третий ушел, он жил напротив, в семейке.

Меня угощали пивом. Мне не хотелось пива.

— Пей до дна, ну как...— Он не договаривал фразу, проглатывая ее в крике восторга.— Мишка Шатунов поет, братан. Тоже с детдома, я у него в Москве был. Он говорит, оставайся, Юрик, работу найду, все... Да я за него горло всем перегрызу.

И он ломал пальцы. Это называется «маяки». Зона. Ростом он был с меня, но раза в два шире. Оказывается, мы с ним и служили в одно время. Хотя он меня сразу за мальчика принял. Узнав, что он был в Афгане, я его обнял, не от избытка чувств, конечно, а так, для приличия.

— А ты где, в батальоне связи? — переспросил он.— Это возле дворца Амина. А я начальника госпиталя возил.

Постепенно я начал немного расслабляться и даже зарисовался. Ну что надо еще.

Я вынул пятнадцать рублей и дал Юрику (это при моем-то финансовом положении).

— Я знаю одну нычку. Самогонку можно взять. Сейчас пойду.

Он положил деньги в карман, но идти не спешил.

— Сволочи, мрази, адыгейцы, армяне. Да я их всех перережу. Девочка со мной лежала. Шла с работы, остановили, ножиком пырнули. Адыгейцы,— сказал он, не глядя в мою сторону.— А этого ты знала, черненький такой,— обратился он к Свете,— зарезали его цыгане. Двести рублей были ему должны, чтобы не отдавать. С ружья, прямо в сердце.

От выпитой самогонки и пива его развезло, он откинулся на подушку. Я небрежно обнял Свету, чувствовал я себя вполне спокойно и уверенно.

И вдруг резкий удар головой в лицо. Удар проскользнул. Юрик схватил меня одной рукой за свитер и начал притягивать к себе. Между нами повисла Света.

— Юрик, перестань, перестань,— чуть ли не кричала она.

— Юрик, что с тобой? — вторил я ей.

Вскоре он успокоился. Я снова предлагал ему идти за самогонкой.

— Ну что, Юрик, будем?

Мы вышли на балкон.

— Я муж Светки. В командировке был, а тут такое. Светка с каким-то Эриком встречается.

Я решил действовать хитро. А что мне оставалось? Драться? Но, во-первых, я завтра уезжаю, а с синяком не очень-то приятно. А потом может быть и хуже. Еще и полгода не прошло, как мне сломали челюсть. Правда, исподтишка, но от этого не легче. Теперь сломя голову трудно броситься в драку. Я где-то читал, что после того, как одному замечательному боксеру сломали челюсть, он уже не мог добиться высоких результатов и вынужден был уйти из спорта. Это во-первых, а во-вторых, мне не очень-то хотелось драться из-за Светы, я ведь был к ней почти равнодушен, да и не заслуживает она того, чтобы из-за нее драться. В-третьих, Юрик был сильнее меня физически, да и не один был. И я смалодушничал, после оправдываясь перед самим собой, я ухватился еще и за то, что ладно бы на улице кто пристал, а то ее же друзья. А раз у нее такие друзья...

— Я ее люблю, понимаешь,— бил себя в грудь Юрик.— А ты ее любишь?

— Юрик, это не так просто,— задабривал я его,— я ее очень мало знаю. Вот скажи, сколько ты ее знал, прежде чем полюбишь?

— Четыре с половиной года,— гордо отвечает Юрик. Он попался на мою удочку.

Он чем-то напоминал мне Геракла и был так же глуп и недалек.

— Юрик, мы с тобой оба в Афгане служили, — напирал я, — ну что мы, не договоримся? Ты хочешь, чтоб я ушел?

Юрик долго смотрел на меня мутными глазами и наконец выдавил: «Да, хочу».

— Ну, давай бабки, — мне уже стало жаль, что я отдал ему пятнадцать рублей. Юрик пошарил по карманам: «Я их Светке отдал».

Наверное, если б он отдал деньги, я бы сразу ушел, но только с условием: Света бы меня проводила и я бы поговорил с ней: «Что за дела? Что за гости?»

Но Юрик не возвращал деньги, все время придумывая отговорки.

Света позвала меня в коридор:

— Да ты что, какой жених! Никогда с ним не встречалась. Три года не видела.

Я видел по ней, что она говорит правду, но я не менял немного обиженного выражения лица.

— Ну сказал бы «люблю». Ты мой парень. Эрик, ты скажи, ждать или нет. Если да, я ни с кем не буду.

Я смотрел на нее. Ее глаза, у нее были симпатичные глаза, говорили, что это действительно так.

В этот вечер приходили еще гости. Руслан. Метис, полуадыгеец-полурусский. Света называла его Эриком. Она всех в этот вечер называла Эриками.

Потом мы гуляли с ней возле общежития. Света намеками говорила, как мы будем жить вместе.

— Только я ничего не буду делать, — вставил я.

— А я что: стирать буду, гладить, убирать, есть готовить, а больше ничего и не надо. Ну хочешь, они больше не придут.

Я молчал. Настроение было паршивое. Мне было стыдно перед самим собой. Я загорелся, сейчас бы этого Юрика сюда. (Ну совсем как тогда, перед тем, как мне сломали челюсть.) Я ждал, что она вот-вот скажет мне: «люблю». Мне никто еще никогда не признавался в любви.

Не дождавшись, я спросил:

— Ты меня любишь?

— Не знаю.

— Ну скажи, что ты меня любишь.

— Да, люблю, только поцелуй меня.

Я поцеловал ее и сказал, что позвоню в четверг или в пятницу около восьми.

В номере (я жил в гостинице в двухместном номере) меня ждал приятный сюрприз.

— А тебе Наташа звонила, несколько раз. Голосок такой приятный. Сказала, завтра утром позвонит. И еще кто-то звонил. Трубку подниму — молчат. И так несколько раз. Только дыхание слышно.

## 2

Я поеду к ней за двести километров. Она сказала, что ее никто никогда не бросал. Зачем же я ее буду бросать. Пусть это помогает ей в борьбе с жизненными трудностями.

К Свете. В Краснодар. Завтра. Даже не знаю, до последнего момента не знаю. Если по уму, ехать не стоит. Во-первых, она мне даже чуточку не нравится, я ее совсем забыл. (Была бы она хоть немного умнее, нежнее, добрее.) Последнее наврал, ко мне она добра, но это ко мне. А еще мелочи всякие: это на билет червонец выбрасывать надо. А у меня их до девятнадцатого только два. Значит, что остается? Дорога. Мучиться. Сидеть у нее, того и гляди, опять какие-нибудь мордовороты придут. А потом гулять с ней ночь? Целую ночь гулять по городу с девушкой, которая тебе не нравится. Но, с другой стороны, я знаю, если я не поеду, воскресенье, да и понедельник буду чувствовать себя неуютно. Будто что-то кому-то должен.

Решил так: если проснусь в полседьмого, поеду. Все готово, даже вахтера предупредил, чтобы в полседьмого дверь была открыта. Так что доверюсь воле случая. Хотя все зависит от меня. Если я настроюсь проснуться, то обязательно проснусь. Но я еще сам не знаю. 12 часов 35 минут. Осталось шесть часов.

Проснуться я проснулся. Точно в полседьмого, но я совсем выпустил из виду, что утром так хочется спать.

## *Хронология дождей*

В час ночи пошел дождь. Интересно, а сколько дождей я помню? Выключу свет и буду вспоминать: посмотрим, что получится. Попробую с первого. Я еду к Марине, я еще тогда зонтик у Васи с биофака взял. Лужи везде стояли, как из ведра лило.

Стоп, а что, если взять и написать рассказ, что-нибудь та-к-о-о-е выдумать. Юноша с девушкой знакомятся во время дождя. Начать можно так: «Дождь был старый-старый, изношенный, как мои брюки. Мне было его очень жаль, но я ничем не мог ему помочь и поэтому спрятался под ближайшую крышу (это может быть все что угодно). Там стьяла... (ну сами понимаете).

— Сколько дождей вы помните? — спросил я не для оригинальности и не для того, чтобы начать разговор, а для одухотворенности». А дальше загвоздка, и настроения продолжать рассказ — ни-ка-ко-го. Не за что зацепиться. Капли дождя падают на почву воспоминаний (смешно! Это я — специально).

Дождь был со снегом, я пришел из школы, мать и отец куда-то ушли. Лежу на диване и думаю о Земфире, она очень красивая, на два года меньше меня. На уроках русского языка и литературы всегда смотрю в окно (в классе, где учится Земфира, — физкультура) и я иногда вижу ее. Я влюблен так сильно в первый раз. И боюсь к ней даже подойти. Вот когда достану куртку, такую, как у Юры Прокудина, тогда и заговорю.

В четвертом классе поехали в сентябре на помидоры, нет, не на помидоры, а на баклажаны. Дождь как пошел — настоящий ливень. Лежу в старом доме (ему уже сто лет), заболел немножко — чуть-чуть простудился, это даже приятно. Все эти воспаления, простуды, сопровождающиеся жаром и усиленной температурой, — это же благородные болезни. Они ведут диалог лицом к лицу, не то что некоторые (рак, кожные...). И с ними подчас даже приятно иметь дело. Если соблюдать постельный режим и указания врача (врач лучше здравого смысла), то это — честные партнеры, и никакой подлости в виде осложнений они не принесут.

Десятый класс. Грязь. Слякоть. Но дождь чуть-чуть капал, уже нечем было. Я шел из школы сам (без Шурика, как обычно). На физике самостоятельную раньше всех сделал, и Татьяна Григорьевна отпустила.

А вот захотелось, да, честно признаюсь — захотелось рассказать, как я первый раз в театре был. Джинсы старые, потертые, я хотел идти в них в театр, а Юра настаивал, чтобы я переоделся. Мы долго стояли на лестнице, и он читал лекцию. Сердился. Я уступил. И надел другие штаны. С трудом отсидел первый акт и ушел... Хотя, может, тогда и не шел дождь, но, по-моему, чуть-чуть моросил.

В первом или во втором классе, то ли осень, то ли весна: с утра — солнце, а после уроков носа не высунешь. Хорошо — школа близко; мама пришла, принесла накидку из этого, целлофана, или как его.

Дождь. Дождь. С утра до вечера сидим с Алешенькой в кафе. Курим. Чуть перестанет — бежим в новое.

Я в этот день назначил Оле из музыкального училища свидание. Возле филармонии, в 16.00. Она обещала жареной картошки принести. Познакомились так. Как всегда, с Алешенькой в столовой (деньги появились — Леха достал) набрали несколько подносов, подсели к девочкам.

Часа в два Леха Коробов приехал, потом Заяц. Дождь пошел. А в трамвае ехали, как хлынет пуще прежнего. Пока дорогу перебежали, промокли до нитки. Спрятались в магазин. А там — девушка с зонтиком.

— А мне в другую сторону.

Злая. И снова с зонтиком. Но эту не буду трогать, и так видно... А потом Алешенька упал в грязь. Солнце выглянуло, люди засуетились, зашпешили, а Леха в луже рубашку стирает. А через несколько дней он в самом центре ночью в лужу сел. Посидел, перевернулся на спину, на бок. Я пытался его задержать. Вру! Я не против был. Интересно же, смешно. Но я не плохой и к нему очень привязан.

Одному плохо. Это понятно.  
Это всего верней.

У Дон Кихота был Санчо Панса.  
А у меня Зайцев Алексей.

Неуклюжий, немного того,  
он за мной повсеместно ходит.  
Адъютант! А что взять с него:  
муху в поле и ту не загонит.

И постоянно куда не надо  
он так и норовит влезть,  
но почему-то, когда он рядом,  
уверенней слово и каждый мой жест.

Адъютант собственный. Мне нравилось, я склонен порисоваться. Заяц — Леха — Алешенька — Узур (это от слова Узурпатор, я его так называл). Мы просто дружили. Леха приезжал ко мне почти каждый день. Я ему рубашку стирал, штаны и, конечно, стихи писал:

Здравствуй, узурпатор, как ты вырос,  
как похорошел ты, ну и ну.  
Ты стал словно настоящий Ирод,  
дай-ка на тебя со стороны взгляну.

Точно, так и есть, как будто настоящий,  
не поддельный, не музейный, нет.  
Из глубины веков оживший ящер,  
ты стоишь передо мною в цвете лет,

адъютант мой — адъютантов всех-диктатор,  
далеко со мной пойдет он. Далекое.  
Гляньте же, как встрече нашей рад он,  
Как глаза блестят вновь у него.

Помню, на следующий день дождь точно шел, не ливень, не моросил; просто обыкновенный дождь. Но что было? Хочется написать, хоть убей — не помню. А за день до этого?

Пожалуйста.

Ехал в поезде в Москву. Ресторан. У меня, понятно, денег было как всегда. Заказывал только первое и хлеба побольше. А потом брал бутылку лимонада и сидел сколько хочется, не испытывая неудобств.

Пьешь — значит, при деле (тем более столики свободные есть). В окно смотрел, куда же еще. Леса, деревеньки, пейзаж. Красиво.

А вот попробуй поселись моих «я» тысячи (не звучит — но ничего). Хотя размечтался я и совсем о прописке забыл, а с ней шутки плохи. Спасибо, человек вовремя остановил:

— Ну, хоть не скучно будет. Давай и ты со мной, я сейчас закажу.

Чтобы не обидеть его, согласился на второе.

(«...открыла мне секрет одного из тестов... она предлагала ему сигару... Но сигара — это уж слишком большая роскошь... Но если, несмотря ни на что, он сигару возьмет, значит, с ним можно действовать напрямую, он экстраверт, легко расслабляется, при случае с ним можно не церемониться».)

Анекдоты начали рассказывать. Я их не очень запоминаю, несколько штук выдал, остальное все он. Один отложился:

Два дебила — отец и сын. Сын спрашивает:

— Папа, а почему нас все дураками называют?

— А потому что мы, сынок, во... (стучит по столу).

— Кто-то стучит, пойду открою.

— Сиди, дурак, я сам.

Он тоже сказал: «Я сам», — но расплачиваться пришлось мне (и за него тоже, это при моем-то положении). У него деньги слишком большие, у официанта сдачи не было. Я потом все время ждал, что он мне отдаст, и даже больше, чем я заплатил за его обед. Я ведь уже рассказал ему о себе... Еду в театральный поступать, денег... А у него же, как он выразился, все всегда получается, всего добивается. Зарабатывает хорошо. Квартира. Машина. Об-ста-но-в-ка.

Он совсем не пил. А с ним в купе грузин ехал. Все пытался его вином угостить. Я думал, и мне предложит (хваленое кавказское хлебосольство), даже улыбался ему, грузину, и на Серегу с укором смотрел: мол, что ты отказываешься? Даже уже представил, как мы с грузином соревнуемся, кто кого перепьет.

Нет, не предложил. Обидно.

В Харькове вышли побродить. Я в Харькове всегда выхожу, не потому, что поезд здесь долго стоит, просто я тут на «губе» сидел.

Ехали вшестером с учебки (без сержанта) в Ташкент. В Харькове пересадка. Двенадцать часов ждать. Разбредились кто куда, а документы у одного в пакете. Нас возле кинотеатра «Стерео» взяли. Итальянский боевик шел, а я стереокино еще ни разу не видел. Так и не побывал, только через пять лет в Сочи впервые. Еще в Харькове сосиски ели и пирожки с повидлом — вкусные такие. И с девочками тоже разговаривали. «Длинный» даже адреса записал, пригласили к себе в гости, после дембеля.

В тамбуре, нет, кажется, да не кажется, а точно так и есть: еще на платформе начали разговаривать о собаках. Серега делился приемами борьбы с собаками: «С бульдогом так... а с овчаркой: овчарку надо пропустить, а потом сзади хап — локтем в пасть, а бульдога сразу можно — спереди». (Смешно написал, хотя и не хотел.) В заключение (в конце беседы, значит) Серега рассказал про новую породу, которую с большим трудом вывел один (а может, и не один) ученый-собаковод. Сто пятьдесят кг весит.

— А зачем она такая?

— Наверное, демонстрации разгонять. Можно на охоте применять против тигров.

А в середине сексуальное отступление. Собака (в смысле пес, только не обязательно барбос) и женщина, после этого ее уже и рота не удовлетворит.

Серега «бабки» мне так и не отдал, а адрес моих стариков взял (они живут в рыбной местности), рассчитывал пару мешков сухой рыбки достать (с моей рекомендацией).

— А потом в пивбар.

— А гонять будут.

— Так нужно оптом.

Телефончик мне свой дал, но я так и не позвонил. Ну его, хотя неплохой мужик. Правда, смешной. Может иронический рассказ состряпать, интересно бы получилось, кое-что подчистить. Нет, иронический не надо, пусть будет как куриный дождик. Кап-кап, и тут же солнышко светит. Мальчишки кораблики пускают, по лужам бегают. Руки расставят, как самолет: «у-у-у» — и пикируют на лужи.

А вот... если взрослый нормальный человек в руки возьмет палочку. Это руль будет. Ногой подрывкает. Дрынк-дрынк. Как будто мотоцикл заводит и погнал, необязательно по лужам, можно и по тротуару, а если пешеходы будут пугаться, придется выехать на проезжую часть. Главное, повороты показывать да «газовать» в меру.

Я в этом виде одного преподавателя в универе представлял. Как воображу себе все это, так и начну смеяться. А он кругленький, с животиком, но умный, серьезный товарищ с претензией на солидность.

О, вспомнил, как латынь сдавал, тоже дождь был. Я почему помню — я ведь ничего не знал. Раз билет вытянул. Два — вытянул. Без толку. И отправила меня наша «римлянка».

— Иди хоть десять пословиц выучи, придешь — расскажешь.

И пошел я в столовую. Как раз по дороге назад дождик начался. Прихожу, а девочки зачетку дают. Вот она «т-р-о-е-чка»!

Когда идет дождь, нужен зонтик. Кстати, зонтики бывают мужские и женские. Есть женщины, которые любят мужские зонтики. А у меня нет зонтика. Ни-к-ог-д-а — не было, и не известно, когда будет. А у Робинзона Крузо был. Теперь интересный вопрос: «Когда Пятница появился, они одним пользовались, или Робинзон еще сделал?» Конечно, сделал. (Какая примитивная логика, но что-то в этом есть, ну честное слово, есть.)

А впрочем, ну вас, что, для вас, что ли, пишу?

Я лучше стишки черкну — чисто для себя.

Все ушли на фронт,  
который состоит в том,  
чтобы добыть зонт  
и принести его в дом.

Так что не стоит покупать зонт, пока не будешь иметь свой дом — «крышу над головой». К 2000 году обещали — чуть-чуть осталось, а куда перебежками буду заниматься. От укрытия к укрытию, это и для здоровья полезно. Вот мой родственник, двоюродный дедушка, ему уже семь десятков, а он женился.

— Я ей как... она аж плачет.

И повеселел, помолодел, а все потому, что бегал. Аж с самого Сахалина прибежал.

(— Это я, конечно, перегнул

— сам вижу

— да и плоско

— но ничего пусть будет

— ладно пусть)

Впрочем, потерял мысль о зонтах.

Где развязка, может, уже развязываться пора? На очереди — калоши и плащи. Каучук. Родина там, где индейцы. А в тридцатых годах калоши носили для солидности (это я для повышения вашей эрудиции, разве плохо?).

Плащ у меня был. Один. Совсем как у Эдички Пустынина:

Один. Один. Совсем один.

Как ветер в море среди льдин.

Как надену — вылитый Штирлиц. Даже оглядываться стал, мало ли — вдруг хвост. А калош сколько угодно было: глубокие, мелкие, средние, блестящие и с подстилками мягкими внутри. Красота. Т е п л е н ь к о!

(чувствуете — звучит как

— самому неприятно)

Удобная вещь — куртка с капюшоном, никакой дождь не страшен, раз — колпак на голову и волосы сухие. А мочить их нежелательно — облысеть можно. Вредные химические примеси. По-моему, слово «примеси» произошло от сочетания «при-мне-сей», то есть я рядом буду стоять, а ты сей. И по смыслу сходится: получается — при тебе состою. Главный ты, но я тоже не лыком шит. Лыком — ликом — лицом. Не лицом шит. Шит — шит. И почему я не языковед. Впрочем (— опять это «впрочем»

там — «впрочем», здесь — «впрочем»

— ну и что, а если мне нравится..... — .....)

Впрочем,

пора про дождь.

Хотя бывает и так: весь день хмурится-хмурится. Тучи ползают, все признаки налицо, а дождя нет. Ночью пойдет.

А ночью — сны, а сон может любой сниться.

Мне, например, что с Жанной д'Арк начал встречаться, руку и сердце предложил. А когда ее на костер повели, я скромно затерялся в толпе. А дальше, дальше, чтобы отделаться от Жанны, нужно вставить какой-нибудь случай и связать плавным переходом: «интересно, нашли меня или нет, хотя намного интересней...» И вперед — к новым литературным открытиям, только успевай — пиши.

(Вперед —

в ближайшее укрытие.

Опять дождь?)

Да, опять дождь, и на этот раз с градом, крупным — величиной с горох.

МИХАИЛ БУТОВ

\*

## ПАМЯТИ СЕВЫ, САМОУБИЙЦЫ

**В**споминать в этой квартире твою заставляет меня только кровать, которая коротка мне так же, как была и стоявшая у тебя. Только у этой еще и спинки с двух сторон — ноги приходится поджимать или класть сверху. Если держать их так, деревянное ребро вскоре начинает врезаться в кожу, которая у меня слишком долго хранит следы, и багровая полоса видна потом еще несколько дней.

И все-таки я почти всегда лежу. Иногда читаю — обычно одно и то же. Это детектив, и мне не интересно. Не потому, что убог сюжет, — просто абсолютно наплевать, кто окажется убийцей и будет ли восстановлено в правах поруганное добро.

Ты детективов не любил. Впрочем, дело и не в детективах. Все дальше удаляясь от тебя, я вижу только яснее: ты не любил ничего. Ныне я понимаю это как чуткость. Будто голос у тебя внутри повторял одно-единственное предостережение: нельзя привязываться. Нельзя привязываться ни к чему. Он не обманывал: одного раза тебе хватило, единственного отступления.

Где-то я вычитал, что постоянная, напряженная сосредоточенность на себе — верный знак ада. Трудно сказать. Ты вроде бы умел извлекать из нее нечто с противоположным как раз знаком. Мы с тобой год прожили в одной комнате, и дело ни разу не дошло до крупной ругани. В конце концов, ты остаешься единственным человеком, кого у меня получалось благодарить, не чувствуя себя при этом идиотом.

Теперь год прошел. То есть сейчас, когда я взялся за чем-то (тебе, что ли, трупу, нужно?) за эти записи, всего неделя осталась до двенадцатого февраля. На могиле проставлена дата похорон — неделей позже. Значит, двенадцатого соберутся только те, кто действительно знает. Мне нравится считать, что несколько человек, оказавшиеся в круге того, что произошло, пусть не сразу, не с первого дня, там был я один, — но хотя бы со второго, с третьего, составляют ныне некий замкнутый клан. Я не намерен допускать в него посторонних, а уважение к своим прихотям мне словно по наследству от тебя досталось. Эту встречу не сложно представить: водку в чашках и особую легкость, словно бы вседозволенность, которую дать может только ощущение приобщения к смерти. Я слышал, что умирающие мужчины испытывают сильную эрекцию. Занятно: у тебя что, тоже была? И у меня будет?

Я не был уверен в нынешней зиме. В том, что она вообще наступит. Это не понты, не для красоты слога, действительно. Время во мне действительно уже год как отшелкивает по-новому, и если осталась смена дня ночью, это вовсе не значило, что и сезоны будут так же тупо чередоваться. Тем более это постоянное чувство заторможенности, вязкости вокруг. Иногда я верил, что повторяемости конец и дело к остановке.

Но зима вернулась, и она ничем не похожа на предыдущую. То есть грязь, конечно, та же, и так же плохо с транспортом, и постоянно не хватает денег, как всегда почему-то именно зимой. Но вот форточку на ночь я уже не открываю. Там, где кантуюсь теперь, нет и помина от странной способности аккумулировать тепло, которой твоя квартира так меня удивляла. К тому же я разлюбил свежий воздух.

Впрочем, и в той зиме ничего особенного не было. Разве что в киноцентре два месяца крутили Хичкока. Это в себе я с самого ее начала носил болезненно реагирующую на все подряд, отчаянную какую-то пустоту. День за днем постоянное, иногда до исступления доводившее предчувствие близости не то конца, не то чего-то непоправимого. И примерял, разумеется, на себя, ждал с глупым стоицизмом то ли героической смерти на мостовой, то ли грядущей чумы. О чуме я тогда думал часто: крысы наводнили Москву. В Сокольниках по ночам они копошились и гремели в металлических урнах, выбрасывая вверх фонтаны



окурков и грязной бумаги. Казалось, если уж не я, так кто-нибудь из тех, кто вроде бы стоял ко мне куда ближе тебя: родственники, может быть, Вера... Во всяком случае, ты не рассматривался — ты оставался за той неширокой, но, как я считал, строго охраняемой с обеих сторон полосой непричастности между нами, которую, казалось, оба мы умели ценить. Иногда я начинаю подозревать, что здесь-то и ошибся. Но теперь — чего уж.

Двенадцатого февраля было кино. Все тот же Хичкок. Даже название не забыл: «Незнакомцы в поезде». После накатило на меня с особой силой, и помню, что захлестнула злоба, прямо волной накрыла: от этой слякоти, от того, что возвращаться опять в чужой дом (знал бы я, чем будут другие, уже дожидавшиеся меня!), от бездарности собственной судьбы и от общей, засасывающей. Сильно болел живот. Но больше — больше ничего не было. Я даже ключ поворачивал еще совершенно спокойным. Это странно, и над этим я потом много думал: не могла дверь, да еще с дырой в кулак величиной на месте вынутаго замка, стать серьезной преградой тому, что копилось за ней. Меня же насторожил только шум воды. Жизнь приживальщика учит осторожности лучше войны — ситуацию надо предугадывать мгновенно. Если бы ты мылся, дверь в ванную была бы закрыта и шум был бы слабее. Значит, стираешь.

Я позвонил, но ничего не дождался. Вот это уже выпадало из обычного ряда — не мог же ты уйти, оставив воду, но тревога во мне так и не поднялась выше той меры, с которой всегда живу. Ключ застрял, по обыкновению, и, занятый им, в прихожую я ввалился боком.

Я совершенно точно помню, что сперва был удар, жесткий, как крепким ветром, и только потом я поднял глаза. Дверь ванной выходила в маленькую прихожую прямо напротив входной, и видны мне были отсюда лишь плечи и голова, склоненная на грудь и к стене. Мирная поза спящего. Только глаза, кажется, оставались чуть приоткрытыми. Понял я сразу, по особому желтому цвету, который приобрела кожа; никогда раньше не встречался с подобным, но этот цвет — он был совершенно однозначен, принадлежать мог только мертвому.

Моментальный приступ, который пережил тогда, обычно, вспоминая, про себя я называл отчаянием. Но всегда чувствовал — не то слово. Отчаяние обжито, уровни его известны заранее: опуская ли, заламывая руки, нутром-то так или иначе знаешь, что есть планка, ниже которой не пойдешь, природа не позволит; ибо то, что за ней, просто снимет тебя с доски не как битую даже, но как ненужную фигуру. Это игра в некотором роде, и игра по правилам. Здесь же провал был бездонным — словно мгновение небытия. А главное — и это точка, на которой всякий раз, силясь хоть в чем-то здесь дойти до вразумительного ответа, я оступаю, теряю направление и ухожу все дальше и дальше в очень странные области; потом начинаю бояться того, что могу найти в них, и возвращаюсь, чтобы повторять все снова и снова, — главное, что это вроде и связано было не с тобой, не с фактом твоего превращения в труп, а как-то со всем вообще: вдруг показалось, что нет ничего. Иногда я думаю, что в ту секунду что-то такое узнал о мире, что в принципе запрещено. Может, теперь и плачу за это?

Кажется, я позвал тебя. То есть произнести-то, может быть, ничего не удалось, но попробовал наверняка. Значит, все-таки оставалась надежда за гранью надежды, что случившееся (не с тобой — со мной) каким-нибудь чудом еще может быть обратимо. Нужно было рассчитывать и с ней. Поэтому я позвал тебя. И сразу же наступила удивительная трезвость: только мелкую нервную дрожь в себе я не мог погасить, но в остальном прекрасно понимал, что должен делать. Эта вроде бы и не свойственная мне расчетливость не изменила потом ни разу в те дни до конца. Я не стыжусь ее. Не стыжусь, что не поднялось во мне сразу же черное горе, не затопило любые помыслы о себе самом; что ты, что я, в конце концов, были достаточно женеными, чтобы понимать: выживание — дело серьезное. Я закрыл дверь, снял сумку и даже пальто аккуратно повесил на плечики, прежде чем войти в ванную.

Из крана хлестала тугая струя, кипятков, но закрыть не пришло в голову, потом милиция станет выяснять, почему. Голый труп почти заполнял собой тесную, высохшую уже сидячую ванну. Руки лежали вверх разрезами. Их было три на левой: один выше локтя и два на запястье друг над другом; и на правой — два, оба на предплечье. Кромсал ты себя основательно. Разрезы расплозились, видимо, от горячей воды, и стали теперь дырами сантиметров по десять;

вскрытая вена болталась в пустоте внутри. Края их завернулись наружу и напоминали вареных кальмаров. «Биковская» одноразовая бритва тут же, в сгибе локтя.

Я ни о чем не думал, не позволял себе — мне другими вещами надо было заниматься, — но отгородиться от того, что распространял труп, все же не мог. Я чувствовал, что внутри, под его оболочкой, затаилось нечто непредставимо чужое, только мимикрирующее до поры под неподвижность. Казалось, что стоит напрячь глаза и увидишь, как прет наружу из этих дыр нечто черное: поток, излучение черное и плотное. Уже все стены в квартире пропитались непроявленной, но ошутимо реальной угрозой, а здесь было ее так много, что едва удалось сдержаться, чтобы не броситься прочь, вон, за дверь, вниз по лестнице, куда угодно. Но я сейчас очень хорошо считал — каждое движение, до мелочи.

Все в квартире было вверх дном, но я увидел сразу, что бардак все тот же: наш, привычный — иногда накатывало на обоих и неделями не убирались. А тут последние дни ты и вовсе почти не вставал с кровати, я же попал в цейтнот с халтурой — так что гора грязной посуды на кухне успела вырасти до альпийских размеров. Эта грязь — единственное, что я ставлю себе в вину, которую признаю до сих пор. Я заглянул в кухню и почувствовал, как настойчиво внедряется в меня расходящееся отсюда уныние. Сейчас, когда стекли все защитные оболочки, противопоставить ему было нечего. И я тебя понял. Как ты встал, вышел сюда и принял на себя эту волну тоски, сжимающую мозги до исчезновения света; это простое и потому достаточно энергичное, чтобы убивать, выражение доставшегося нам на долю закона. До сих пор я был в нерешительности: стоит ли упоминать о том, что могло сойти (да и сходило) за причину сделанного тобой: каких-то людей, какие-то слова, навороты и нелепости, которые ты выдумал себе и на себя накрутил. Теперь знаю — не буду. Потому что уверен: не в этом ключ к движению руки с бритвой. Наш общий приятель, врач, сказал мне потом: никто и никогда не узнает, что происходит в душе у такого вот — настоящего — самоубийцы. А у меня первой мыслью было, первым ощущением, стоило понять, что ты мертвый: у желтого трупа с десятисантиметровыми дырами на руках причин нет. Нет и быть не может, любая цепь причин и следствий должна была разомкнуться на нем. Тем и стало для меня самоубийство — действием самим по себе, без продолжений и начал, потому-то чем дальше, тем меньше оно оставляет места чему-либо другому в моих рассуждениях. А та кухонная грязь, сразу придавившая меня, — только знак, отмечающий вход в туннель, которым ты уже прошел, а мне никогда не хватало не то чтобы смелости, а может быть, просто свободы заглянуть. И я вполне допускаю, что если бы накануне вечером не бросился к столу, едва успев раздеться, если бы занялся тарелками и кастрюлями — ведь десяти минут бы хватило, — все могло быть и по-другому. Но допускаю, что ты и внимания на это не обратил. И самобичеванием не занят — просто отдаю себе отчет, что вот мог — и не сделал.

Вообще только одно я могу сказать точно: ты знал, что никто не придет. Я появился на два часа раньше, чем ты мог меня ждать. Думаю, что мертв ты был к этому моменту уже не меньше часа. Последний, судя по всему, человек, разговаривавший с тобой, звонил около пяти. Он не заметил ничего необычного ни в том, что, ни в том, как ты говорил. Еще два ключа в расчет можно было не брать: девочка лежала в больнице, а обладатель второго, проживший с нами почти полгода, две недели назад сделал по какому-то поводу гримасу и исчез, благо все пожитки его умещались в одной сумке. Мы хорошо относились к нему, но как-то ясно было обоим, что он не вернется. На звонок в дверь, если б он и был, со вспоротыми венами, надо думать, ты бы уже не бросился. И только если бы кто-то пришел до. Ну, не пришел, что тут поделаешь.

Мне кажется, я знал тебя достаточно хорошо, чтобы постараться угадать твое таким замысловатым путем оставленное слово. «Я отвратителен», — ты сказал это. Тут уж можно было только в одну сторону. Никто не понял — слишком не ложилось на то, чем ты раскрывался перед другими. Если и догадались — не могли поверить. Мне видится в этом апофеоз твоей влюбленности в свободу: воля судить себя самому, нарочито, именно свободы ради, игнорируя и реальность, и чужой голос, и всякий внешний критерий. Только в этом я и позволяю себе тебя обвинить. Потому что на этот раз свобода обманула, обманула нагло и неприкрыто; не хотел бы я когда-нибудь еще услышать такой довольный хохот. Я ненавидел тебя после, ненавидел долго: еле-еле, по капле, эта ненависть из

меня уходила. За то, что ты обратил в пыль единственное, чем мы еще держались,— достоинство, и теперь ничем его уже не поднять в себе. Или что, думал, что сможешь чистеньким выйти вон, что гордость, выпрямлявшая нас, сохранится и в этом разлагающемся куске дерьма, в который ты так запросто перевоплотился? Ах да, мы же никогда не узнаем, о чем ты думал. Хорошо еще, что я свято верю: причин нет — иначе не паникиды бы тебе сейчас пел, а веселился от души. Масштабы-то, масштабы несоизмеримы, хоть лбом об стену! Ведь смешно, когда большой бык привязан к колышку с палец величиной; и даже если наматывается веревка и перетирает горло — все равно смешно, ведь колышек-то маленький! А мне ведь пришлось все это излагать еще тоном экскурсовода на похоронах: раз за разом эти идиотские коллизии каждому пытливому, желавшему знать «почему»... Черт, я ведь решил, что не буду об этом.

Не на кого тебе было рассчитывать. Уверен, что ты и не рассчитывал — не хотел. Упорством своим ты вообще был знаменит. Только вот чугунная мыльница, цементом прикрепленная к стене, оказалась почему-то оторвана. Ее нашли потом, через несколько дней, когда убирали квартиру. И тогда мне рассказал один, которого некогда спасли чудом, в последний момент: ты ничего не чувствуешь, если теплая вода, вообще ничего, и оттого радость какая-то дикая — начинаешь полосовать себя без оглядки. Потом будто бы ко сну клонит. Вот тогда понимаешь, что не хочешь этого, но кажется, что остановиться еще можно: достаточно встать, перемотать руки жгутами, вызвать врачей. Но пытаешься подняться — и оказывается, что тело тебе больше не подчиняется. Цепляешься, пробуешь подтянуться — только кровь быстрее выходит. А когда видишь, что ничего не предотвратить,— испугаться уже не успеваешь. Меркнет в глазах, и все кончается.

Я представляю, как ты хватался за этот чугунный выступ и как срывались у тебя пальцы. Испугаться ты и точно не успел, лицо осталось совсем мирным.

В комнате я настежь открыл балконную дверь. Наивная надежда — выветрится то, что здесь накопилось, отчего стены казались липкими. Потом очень внимательно осмотрел всю комнату, шаг за шагом. Я искал записку: могло быть и так, что, если она существует, первым делом нужно ее уничтожить. Не нашел, только еще раз убедился, что кроме тебя никого сегодня не было здесь. Хоть что-нибудь должно было измениться, если бы кто-то приходил: стулья бы сдвинули, стол расчистили от моих бумаг, чашки бы стояли с недопитым чаем — я бы заметил мгновенно. Нет, все осталось на местах. Похоже, ты так и лежал, как я оставил тебя утром, и в ванную отправился напрямиком с дивана, в стороны не отклоняясь. Только толстенный листинг, на котором я порой что-то записывал, ты снял со стола и положил на табуретку рядом с телефоном. Ручка на нем, но ни единой записи. Я на просвет разглядывал верхнюю страницу, но выдавленных следов, какие остались бы, если писали, а потом оторвали лист, не обнаружил тоже. В мусорном ведре ничего. Вряд ли тебе могло прийти в голову записку прятать, чтобы лежала она не на виду, а досталась потом именно адресату, но я обследовал и те немногие места, где сделать это было возможно.

Готов я был сейчас ко всему: казалось вполне вероятным, что ближайшие несколько дней мне суждено провести в КПЗ; и все же первое, о чем я сейчас должен был позаботиться,— крыша над головой, хотя бы на пару недель. Выбирать было не из чего — оставался всего один человек, к которому я еще мог перебраться, и что бы ни случилось сейчас, это место я обязан был застолбить. Так что неприятности, по крайней мере на эту ночь, ему предстояло со мной разделить. Впрочем, я был уверен, что он не откажется.

Трубецкой стал первым, кто узнал о твоей смерти. Дальше — «02».

— Мужчина, женщина? — спросила девушка с той стороны и зевнула в трубку.

— Мужчина,— сказал я.

— Возраст?

— Двадцать восемь.

— Удачная попытка?

— Как понять?

— Ну, умер он?

— Да, умер, конечно.

— Вы уверены?

— Послушайте, вы что, меня за идиота считаете? Вон труп...

— Повесился?

— Нет, вены.

— Фамилия?

— Чья, моя?

— Самоубийцы.

Я назвал.

— Теперь ваша. И имя-отчество.

Я обнаружил, что весь мокрый.

— Адрес? — сказала девушка. Я представил, как она там сидит, за пультом, и сидеть ей еще до утра.

— Короленко, один, корпус десять...

— Поспокойнее! Может быть, десять, корпус один?

— Я же сказал: один, корпус десять. Сорок восьмая квартира.

— Это где?

— Сокольники.

— В РУВД звонили? Самоубийствами они занимаются.

— В какое РУВД?! Откуда я знаю, куда звонить?

— Ну хоть номер отделения знаете?

— Нет.

— Вы что, не там живете?

— Здесь. Но временно.

— Ладно. Телефон?

Я назвал.

— Родственник?

Ну конечно, она же там заполняет какие-то листки!

— Приятель.

— Приятель? Хорошо, мы передадим. Ждите.

— Скажите, а «скорую» мне не надо вызвать? — спросил я. — Я просто не знаю, может быть, еще куда-то...

— Ждите, сказала же. Они придут, все сделают сами.

Я положил трубку. Теперь в запасе у меня было минут пятнадцать, быстрее они вряд ли могли появиться.

Твои отношения с матерью так и остались для меня тайной, и составить себе о ней представление по твоим рассказам я никогда не мог. Не то чтобы ты не общался с ней вовсе, но была вроде бы некая история, в которой повела она себя не совсем чисто, и в связи ваши с тех пор стали какими-то номинальными. Сюда она не приезжала никогда, и ключа своего, судя по всему, у нее не было. А ты ее навещал вполне регулярно, даже Новый год — последний, по крайней мере, праздновал там, но все же, как мне казалось, оставался к ней до странности равнодушен. То есть не был ни зол, ни обижен, а просто оставался от нее в стороне и визиты свои выполнял как работу. Потому это и бросалось в глаза, что обычно даже к куда менее близким людям ты проявлял больше какого-то внутреннего интереса. Но что бы там ни происходило между вами, именно она стала сейчас человеком, на которого ориентироваться я должен был прежде всего и чьи действия обязан был постараться предугадать.

Она знала, что я живу у тебя, мы даже по телефону иногда беседовали, если тебя не оказывалось дома. Но как она поведет себя по отношению ко мне теперь, я представления не имел. Я и не видел ее ни разу в жизни — так бы хоть по лицу можно было что-нибудь угадать. И вовсе не думал о ней плохо, когда прикидывал, насколько вероятно, что она усмотрит во мне причину твоей гибели и будет добиваться расследования или что не позволит вывезти из квартиры мои вещи, которых тут осело уже слишком много, — я просто перебирал варианты. Вокруг меня уже вовсю крутились колеса, между которыми я должен пробираться, и пока она была только одним из них.

Во всяком случае, нужно было постараться хоть самое важное забрать с собой прямо сейчас. Было ясно, что менты не позволят мне собирать что-либо у них на глазах и вряд ли дадут выйти отсюда с большой сумкой: по паспорту я в этой квартире посторонний, и им не докажешь, что здесь что-то принадлежит мне. Но и обычную мою, через плечо, сумку, по идее, они не должны были бы проверять. Онаместила рукописи (слава Богу, большую часть я будто специально за два дня до этого отвез почитать знакомым), фотоаппарат с объективами

и кое-что из белья. Два свитера я натянул на себя. С остальным, в крайнем случае, можно было и расстаться — из необходимого оставлял я здесь теперь только пишущую машинку. Со звонка в милицию прошло двадцать минут.

Я двигался как заводной: стоило остановиться, и тут же казалось, будто что-то возникает за спиной. Чтобы не сидеть сложа руки, позвонил приятелю-врачу: как-никак он учил судебную медицину и мог посоветовать что-нибудь, о чем я и не подозревал.

— А ты уверен, что он мертвый? — спросил он.

— Вы что все, рехнулись?! Все, уже крови нет! — заорал я.

— Записку оставил?

— Я не нашел. Похоже, что нет.

— Я, пожалуй, приеду, — сказал он.

Я ответил — нет. Это только затруднит объяснения с милицией. Трубецкого я просил, потому что мне переезжать к нему, и хватит. И так все осложнялось: менты явно не торопились, и, если Трубецкой появится здесь раньше их, придется как-то оправдывать его присутствие. А мне бы свое оправдать.

Теперь, когда я сделал все, о чем позаботиться надо было немедленно, прятаться стало не за что. И больше не получалось забывать, что матери твоей звонить все-таки придется. Можно было, конечно, предоставить милиции сделать это (как едва и не вышло потом), но тут уже чувствовалась некоторая подлость. Я должен был сам. Тебе обязан.

Я таял время и делал вид, что ищу записную книжку, зная заранее, что обнаружу ее на обычном месте. Но вдруг сообразил, что телефон матери ты вполне мог и не записать: ведь прожил там столько лет, наверняка наизусть помнил. И признаюсь, откровенно молился, чтобы все оказалось именно так. Я был честен с собой — я пролистал книжку очень внимательно, но не встретил ни одного номера под твоей фамилией. А если у матери была другая, мне неоткуда было ее узнать. Правда, старый твой телефон мог сохраниться где-нибудь и у меня, в институтских времен еще записных книжках, и я почти уже собрался звонить родителям, просить срочно найти. Но вспомнил, что с тех пор, как убрался оттуда, письменный стол занял младший брат и я лично давал ему добро вышвырнуть все из ящиков. Значит, бесполезно. И разыскивать, видимо, придется все-таки ментам, по бывшей прописке. А их мне не опередить, в любом случае.

Но я хотя бы попробовал.

Первые дни по твоей смерти слишком много говорили о том, что творилось с твоей душой ли, астральным телом — кому что нравилось — в эти часы: куда она там перемещалась и где пребывала. Кто-то слышал, стоя у опечатанной двери, тихие шаги в квартире; кто-то сетовал: «Хоть бы форточку открыли — он бы выйти мог». Я не мистик. Если что и было что раньше, то теперь нет. И я считаю, что происходящее за гранью, которую ты похерил, сложнее и скорее всего жестче, чем такая болтовня. И все-таки не получается не спрашивать себя, как бы я выглядел перед тобой, когда бы ты и впрямь каким-то образом мог видеть все это. Так вот: я думаю, ты был бы доволен. И эти страницы — не из желания оправдаться.

Потом я почувствовал, что оставаться в комнате больше нельзя. Одолевала тошнотворная, вибрирующая слабость, словно бы послевкусие боли — как после резкого приступа. Теперь меня трясло. От холода. И от страха. Теперь я боялся твоего трупa. Сейчас это может казаться смешным, но я действительно боялся, что он появится на пороге.

Я дотянулся до пальто, постаравшись даже не ступить в прихожую, и вышел на балкон. В пачке каталась последняя «беломорина». Сорок минут с тех пор, как я набрал «02». Балкон выходил на корпуса больницы для сифилитиков, и подъезд к дому был с той стороны. Никакого движения. Я стоял здесь де й с т в и т е л ь н о один в мире. И против него. В тесной квартире с тем, что вовсе не представлялось мне окончательно неподвижным. Когда папироса прогорела наполовину, а остаток высыпался на балконный кафель, в дверь, которую я, оказывается, забыл запереть, влетел Трубецкой в косо, со спешки, застегнутом пальто. Я видел, как он растерялся, когда не обнаружил меня в комнате. Но даже рукой смог махнуть ему не сразу.

— Ну что? — спросил он.

— Вон,— я кивнул,— посмотри, если хочешь.

Он помотал головой.

— Ты ментов вызвал?

— Вызвал.

— Ну и где они?

— Хер знает, где они. Час уже скоро.

— Так позвони еще раз.

Мне это почему-то и в голову не приходило. Подразумевалось, в конце концов, что милиция — не слесаря из ЖЭКа и происходить там все должно более или менее четко.

— А действительно,— сказал Трубецкой.— Позвони, чего ты?

Ответила та же девица. Я объяснил, как мог, что мне нужно.

— Шас,— сказала она,— минуту.

У нее не было обыкновения прикрывать трубку. Я слышал, как она говорит в сторону: «Свет! Самоубийство на Короленко передала?» Ответ пропал. Потом она засмеялась.

— Ждите, сейчас приедут. Минут через десять.

Я вернулся на балкон и принялся за «Беломор» Трубецкого. Кажется, мы не разговаривали. Вглядывались в темноту, пока между деревьями внизу не появилась мигалка.

Встречать их я вышел на лестницу. Кутался в пальто и слушал, как они бубнят внизу, заходят в лифт, поднимаются. Их было четверо: двое в форме, двое в пальто.

— Сюда,— сказал я.

— А почему здесь стоите? — сказал тот, который вышел первым.

— Вас ждал, почему. Квартиру показать.

Белая собачья шапка на голове у него сидела сугробом, какие бывают на лапах елей — готовые сползти вниз. Лицо дряблое, с брьюлями. Потом выяснилось, что он тут командовал.

— Теперь-то все покажете,— сказал он и остановился даже, чтобы смерить меня с ног до головы. Видимо, я должен был испугаться. Я не испугался.

— Ну, куда?

Я пропустил их вперед. Двое сразу протопали в комнату, начальник остался со мной. Шапку снимать он не стал. Второй, в штатском, держался чуть сзади.

— Вот,— сказал я.— В ванной.

— Откройте сами!

Выкатилось облако пара и заставило всех отступить. Они прикрывались руками и ждали, пока можно будет что-нибудь разглядеть.

— Вода почему течет? — спросил второй.

— Так было,— сказал я.

— Так могли бы закрыть.

Я пожал плечами.

— Воду почему не закрыли?

— Не знаю,— огрызнулся я.— Вы что думаете, я каждый день такое вижу?

— Закрывайте!

Я прошел вперед и завернул кран. Еще раз посмотрел на тебя. Теперь они наконец отважились войти.

— Та-ак,— сказал главный.— Ладно, пошли в комнату. Ты запишешь тут?

— Угу,— сказал второй.

Комнату изучали те, что в форме: сержант с лейтенантом. Любопытства у них на лицах проступило как-то несоразмерно много. Непонятно было, что здесь могло так заинтересовать: грязное белье?

— Милицию вы вызвали? — спросил главный.

Я кивнул. Он посмотрел на Трубецкого.

— А это...

Я зашепшил:

— Это мой друг, за пять минут до вас приехал. Я позвонил ему...

— Ясно. Документы есть?

— У меня есть,— сказал я.— У него — не знаю. Я имею в виду — с собой.

Трубецкой достал паспорт.

— Ладно,— сказал следователь и пожевал губами незажженную сигарету,— потом.

Он тоже походил, тоже посмотрел. Переворочил какие-то журналы на шкафу. Я опустился на диван, с Трубецким рядом. Подумал, что работа у них все-таки собачья, не позавидуешь. Хотелось согнуться, голову к коленям, и оставаться так долго.

— Записки не было? — спросил главный у лейтенанта.

— Нет, не нашли. Кухню еще не проверяли.

Голос у лейтенанта был мягкий и с эдаким петербургским акцентом — как БГ поет. Я заподозрил в нем интеллигента.

— Я уже искал, — сказал я. — Он не оставил.

— Это его квартира?

— Да.

— А вы что тут делали?

— Жил.

— Что, негде жить?

— Значит, негде.

— А прописка есть?

— Здесь?

— В Москве.

— Есть, конечно.

— Где?

— В паспорте написано.

Между каждым таким вопросом-ответом пауза повисала иногда на несколько минут. Тогда они начинали перемещаться, все разом, и потом снова застывали, в новых позициях. Только мы с Трубецким оставались на месте, словно превратившись в центр притяжения. Какая-то безумная пантомима.

— Ну и что у вас тут происходило?

Только тоска осталась во мне, ела меня изнутри. Ей нужен был выход, как гнойнику в запломбированном зубе. Я взорвался:

— А у вас дома что происходит? Ели, спали. Вы чего ждете — пьянок с бабами? Не было. У соседней узнайте.

— Ну-ка спокойнее! С бабами — не с бабами... Квартира его?

— Я отвечал уже: его.

— И что же он, прямо так и пустил?

— Это что, невероятно?

— Платили ему?

— Нет. За квартиру платил. В сберкассе.

— И ключ имели свой?

— Естественно.

— Давайте сюда. И его ключ тоже.

В прихожей второй следователь что-то записывал, прислонив к стене папку с бумагой и постоянно встряхивая ручку. Ему приходилось подниматься на цыпочки и вытягивать шею, чтобы видеть твои руки. Я пошарил у тебя в куртке, вынул все, что нашел в карманах, и сложил рядом на табуретке. В комнате сержант уже выдвигал из шкафа ящики.

— Паспорт, — сказал он.

Главный пролистал, потом бросил на стол.

— Это его записная книжка?

— Слушайте, в паспорте должна быть старая прописка. Это адрес матери — они раньше жили вместе. Я хотел ей позвонить, но тут телефон не записан. Нужно искать ее как-то...

— А вы не беспокойтесь. Все найдем, как положено. Ссадина на щеке — откуда?

— У меня?

— Да вот.

— Не знаю. Ободрался обо что-то, не заметил.

— Как это можно: пораниться и не заметить?

— Да мне не до того тут было! Что вы так смотрите-то на меня?

Он промолчал, но глаз не убрал. Сержант достал из-за шкафа сумку с пустой посудой.

— Пил он? — спросил главный.

— Ну, скорее нет. Во всяком случае, не в такой мере.

— Ну а почему он такое сделал, как считаете?

Я не стал отвечать. Во рту от курева стало кисло. Второй вышел из прихожей и что-то вполголоса излагал главному. Тот снял шапку, махнул ею пару раз у лица и вернул на место. Потом кивнул лейтенанту:

— Звони в «скорую», пусть регистрируют смерть. И протокол потом составь, с ними обоими.

И тут все-таки возник мой врач. Ты его знал: он не без странностей и остался верен себе. На присутствие милиции внимания не обратил вообще, сразу же сунулся к труп. Потом хмыкнул, как-то даже довольно и по-хозяйски прошагал к нам, потирая, как обычно, руки. Подозреваю, что за этим он и приехал: посмотреть, набирался экзистенциального опыта. Это не в укор ему, так. Но и менты к его появлению отнеслись почему-то как к должному. Главный едва взглянул.

— Это тоже мой знакомый,— сказал я.— Он медик, я звонил ему...

— Документы при себе? — спросил лейтенант.

— А как же, а как же...— врач похлопал себя по бокам. Паспорт его имел кожаную обложку. Не то что замызганные наши с тобой.

— А с...— лейтенант кивнул на дверь,— с хозяином тоже были знакомы?

— Немного, немного... Заходил иногда.

— Давно его знали? — спросил меня главный.

— Кого? Мертвого?

— Ну а кого?

— Лет десять. Может, двенадцать. Мы вместе поступали в институт. Я доучился, он — нет.

— Работал где?

— В мастерской. Бутафорию делали для кино.

— А в последний раз когда его видели?

— Сегодня утром. Я уходил на работу, часов в десять.

— И он был нормальный?

— Что значит нормальный?

— Ну делал он что, как себя вел?

— Он лежал в постели. И, по-моему, не проснулся.

— А вообще в последние дни?

— Как сказать... Депрессия, конечно, была у него. Дурацкое слово...

— Обнаружили его когда?

— Что-то около одиннадцати.

— Ага. И он был уже мертвый?

Я едва не завыл. Тоска уже забивала мне горло.

— Сейчас он какой? Все было так же.

Главный закурил, долго затягивался. Потом подытожил:

— Ладненько.

И Трубецкому:

— Ну а вы...

— А где его одежда? — поинтересовался второй. Я подумал, что перебивать друг друга для них, видно, уже не привычка, а метод.

— Какая?

— Что на нем было, в чем дома ходил?

Все это лежало со мной рядом, аккуратной стопочкой. Убийственная твоя аккуратность. Может, ты не знал еще, зачем в ванную направляешься?

Он перебрал: полотняные брюки с дырой в паху, выцветшая майка, крестик на цветном шнурке.

— А трусы?

Я пожал плечами.

— Там, наверное, рядом с ним.

— Там ничего нет. Давайте, поищите!

Все ждали, пока я возился, искал. Перевернул, что мог, но трусов действительно нигде не оказалось — до сих пор ума не приложу, куда они могли исчезнуть. Когда я признался в этом менту, такая мина возникла у него на лице, будто он додумался до чего-то и сейчас по лбу себя треснет. Лицо у него вообще было с печатью. Я встречал такие только у рабочих в морге и у некоторых милиционеров. Архетип убийцы. Причина, наверное, одна и та же.

«Скорая» доехала удивительно быстро — куда быстрее стандартных часа с четвертью. Я их почти не видел, они возились там — в ванной, в прихожей —



сами по себе. С нами уже лейтенант протоколы писал. Как в романе про гэбистов: злой следователь — добрый следователь. Лейтенант был вежливым. Мне показалось даже, что он мне сочувствует.

Когда дело дошло до места работы, я выдал по полной программе: и Патриархию, и Отдел внешних церковных сношений... Это хотя и мало имело отношения к действительности, но совсем уж враньем не было тоже — при случае удалось бы отвертеться. Понял меня и Трубецкой, расписал свою жалкую контору как министерство. Вышел ход конем, я и не ожидал, что так подействует. Видно, контраст сработал: приняли за оборванцев, а оказалось — люди! Главный слышал. И обороты тут же сбавил, вся его дотошность сдулась, как проколотый баллон. С этого момента они будто заторопились свернуться, как-то сразу и все. В общем, верно: поостеречься всегда полезнее, на хрен кому лишняя головная боль. Самоубийство — оно и есть самоубийство. А может, просто уже все сделали, что были должны.

Оказалось, что забирать труп не будет и «скорая». На мгновение я испугался, подумал, что заниматься им не станет вообще никто, что все здесь и оставят так. Но отрезвел: невозможно. Лейтенант писал: такого-то имярек знаю с такого-то года. Спрашивал: «Правильно?» В течение года в связи с семейными осложнениями проживал на его квартире. Двенадцатого февраля ушел из дома утром, около десяти. Вернулся в двадцать два тридцать и обнаружил... Так далее. С моих слов записано верно. «Подпишите здесь».

— Ну все,— сказал главный.— Вызывай труповозку и Никитенко с печатью.

— Придется, ребята, с нами в отделение проехать,— сказал лейтенант.— Потом отвезем вас. И давайте адреса, телефоны, где вас искать теперь.

— Запишите его,— я кивнул на Трубецкого.— Я у него буду.

— Осмотр трупа они должны подписать,— сказал второй.

Нас вывели в прихожую, всех троих.

— Труп голый,— бубнил он,— находится в ванной в сидячем положении. Резаные раны на обеих руках...

Я заглядывал ему через плечо. С орфографией у него было так себе.

— Обнаружена одноразовая бритва в пластмассовом корпусе и кухонный нож с деревянной рукояткой...

— Подождите! — я почти закричал.— Откуда нож? Ножа не было, я бы заметил.

— Под ним лежал,— сказал второй и почему-то вздохнул.— Врачи нашли, когда его ворочали.

Я никак не мог сообразить. Что же ты, тупым ножом пытался себя попилить? «Больно стало, сучонок!» — кричал пьяный Широков, когда я рассказал ему об этом. Не выдержал, значит, решил как все — бритовкой!

— Подписывайте! — сказал следователь.

— Ручку дайте.

— Может, вы все-таки посмотрите сначала?

— Я видел.

— Посмотрите еще раз! Я вам прочел, вы должны убедиться.

— В чем?

— Что все записано верно, в чем!

Я подчинился. И в последний раз увидел то, что от тебя осталось. (Джойбой из морга сваяют потом нечто настолько не похожее, что я едва не крикнул, когда пустили в зал: «Перепутали!») К телу уже прикасались, осматривали, опищывали, и те, кто делал это, приняли на себя все, что оно излучало. Остался предмет, форма, ничего общего с тем сгустком зла и угрозы, в соседстве с которым два часа назад я не в состоянии был справиться с ужасом. Я посмотрел мельком, увидел что-то коричневое под тобой и поспешил отвернуться. Решил, дерьмо,— ведь это сопутствует смерти. Позднее узнал, что ошибся,— там лежал пласт старого цемента из-под оторванной мыльницы.

— Давайте,— сказал я.— Все верно.

— Спускайтесь вниз,— сказал лейтенант.— И подождите там, у машины, сейчас поедет.

— Тут мои вещи,— сказал я.— Мне бы хоть печатную машинку забрать.

— Это только с родственниками. Мы квартиру печатаем сейчас — и все.

Если когда-либо мне придется обдумывать убийство, я выберу именно маскировку под суицид. (Уже и сейчас борюсь со странно навязчивым искуше-

нием превратить все это в бойкую вещицу, где к концу становилось бы ясно, что описываемая смерть — дело рук автора-протагониста. Сначала, скажем, хлороформ или инъекция, обманом, — главное, чтобы сердце продолжало работать, выкачивало кровь. Дальше — резать так, чтобы не осталось следа от укола. И отлично бы раскрутилось...) Дело даже не в сумке, которой, как я и рассчитывал, никто не заинтересовался, — значит, вынести в принципе можно было что угодно прямо у них на глазах. Грош цена была вообще всей их подозрительности: они не заметили ничего из того, на что действительно стоило обратить внимание. Тапки, например. Тапки-то твои аккуратно стояли в прихожей, а должны бы либо в ванной, либо у кровати. Тоже, кстати, загадка. Нет, это не к тому, что тебя и впрямь убили. Но и восстановить, что происходило в действительности, не так просто.

Стоило выйти на улицу, как колотун отпустил, сменился безразличием. Я пинал куски почерневшего льда, пока Трубецкой что-то обсуждал с врачом. Радио работало в милицейском «козле» — «Европа плюс». Шофер спал, положив голову на грудь.

— Сраная жизнь, — сказал Трубецкой и ткнул кулаком в стену, — сраная...

— Как ты думаешь, долго мы там просидим? — спросил я.

— В отделении?

— Угу.

— Да вряд ли. Они вроде успокоились уже.

— Я к тебе поеду.

— Естественно.

Я не заметил там, в квартире, как исчез сержант. И вдруг он окликнул меня из остановившейся на углу машины:

— Ну что там у вас, скоро?

Я даже не удивился такому объединению. Я себя вполне уже чувствовал с ними единой бригадой. В руках у него был твой паспорт.

— Мы проверили — там нет таких.

— Как нет?

— Другая семья живет, давно уже.

— Но они вроде бы никуда не переезжали.

— Не знаю. Там о таких вообще не слышали.

— А выяснить, куда переехали? Через исполком можно, наверное?

— Ну не сейчас же. Утром займутся.

Они спускались по одному. Главный — последним. Врачу он сказал:

— Ну вы-то, собственно, можете быть свободны.

И пожал плечами, когда тот спросил, нельзя ли ему с нами.

— Как хотите.

Всех втиснули в один «газик», и мне досталось запасное колесо. Прижимая к себе сумку, я смотрел, когда свет фонарей попадал внутрь, как полы пальто собирают грязь с протектора. Но двинуться некуда было, да и не хотелось.

Отделение оказалось совсем рядом — за гастрономом. Нас оставили в комнате, вместившей только длинный стол да две узкие скамейки без спинок вдоль панелей, выкрашенных в буро-желтое. Мне на голову сразу ложится свиновая подушка, стоит оказаться в таких стенах, — колера школьных коридоров моего детства. Кто-то сказал за дверью: «Обыскать их надо было хотя бы». Кто-то ответил: «Не тот случай». Мне бы хотелось говорить, но каждая фраза иссякала, не дойдя до середины. Дождались, в конце концов, опять лейтенанта и опять протоколов, только эти уже должны были заполнять сами. Помню, что все это даже не злило — все равно, я мог бы написать и пять. Полагалось добавить снизу: «Записано собственноручно». И подпись, естественно.

Повестки всучили уже на выходе — нам с Трубецким, на завтра, на девять утра. Тоже под роспись. Дежурный только хмыкнул в своей будке, когда я напомнил про обещание подвезти.

Машину поймали сразу, но этот соглашался почему-то только на Рождественский бульвар.

— Поехали, — сказал Трубецкой. — Там рукой подать.

Я смотрел на утекшую назад Стромынку — улицу, затверженную за год крепче алфавита, с ощущением человека, которого знакомый автобус вдруг повез

неведомым маршрутом. Будто катил по Нью-Йорку: все незнакомое и совершенно чужое. Мы вылезли на углу бульвара и Сретенки.

— Ну что,— сказал Трубецкой,— на кольцо выйдем? Там машин больше.

Я отстал от них: тащил сумку, тяжелеющую с каждым метром. Хотелось лечь, сейчас, здесь, на середине улицы. Врач вещал что-то и потирал руки. Они забыли обо мне.

— Вот и все,— сказал я вслух.— Сука!

И то, что на мгновение открылось там, в квартире, как только я переступил порог, вернулось, но уже по-другому — равной уверенностью — ничего нет. Нет ничего даже против меня. Я был один, вокруг только пустое пространство, которое обречен преодолевать. Улица искривлялась кверху, заворачивалась, смыкалась и стала туннелем; рыжие фонари — как лампы за окном метро. Мне — по нему, и конца не будет.

— Ну как ты? — спросил Трубецкой.

Я огляделся. «Колхозная». Церковка, перекресток.

Милицейский «Москвич» катил вдоль тротуара со скоростью пешехода. Поравнявшись с нами, притормозил, и совсем молоденький улыбающийся милиционерчик распахнул дверь.

— Чего стоите? — спросил он.

— Ничего,— сказал Трубецкой.— Машину ловим.

— Не сажают?

— Не было пока.

— А далеко ехать?

— Белорусская.

Ему явно хотелось поболтать.

— Откуда в такой час-то?

Я шагнул вперед и взялся за дверцу.

— Из милиции,— сказал я.— Давайте-ка отвезите нас, а то ваши отказались. Мертвого нашли. Самоубийцу.

Милицейский почесал темя.

— М-да... Наши, говоришь? Какое отделение?

— Двадцать четвертое.

— Это где?

— В Сокольниках.

Он что-то спросил у шофера. Потом мотнул головой. Даже доехать не вышло за твой счет.

— Нет, ждите такси.

Я ругнулся вслед. Потом сообразил: их и так трое внутри, нам бы не поместиться. А таксисты кочевряжились, было им отсюда слишком близко — тоже не подходит.

— Может, пешком? — спросил Трубецкой.— Тут полчаса всего.

— Нет,— сказал я.— Я не пойду. Голосуй.

Повез четвертый, за три счетчика. Я прислонился к стеклу и вспоминал разговор, бывший летом в твоей квартире. Когда приезжал из своей Самары Димка, начиналась жизнь без сна — его провинциальная жажда поговорить одолевала даже наш скепсис к возможностям речи. В ту ночь вы с ним спорили. О добре. О том, что человек не может быть добр просто так, от себя, что обязательно нужна основа, платформа для опоры, и стать ею может только духовность, а духовность — в религии. Иначе рано или поздно перепутаешь стороны. Ибо ориентироваться на себя одного — значит сразу, изначально позволить себя обмануть. И обманут — в мире достаточно сил, заинтересованных в нас.

Этому я поддакивал. А ты говорил: к чему? Человек, если честен с собой, всегда прекрасно знает, что каким цветом крашено. Живущий искренне зла не творит. Хотя бы потому, что чувствует — вернется оно к нему же. Говорил: если хочешь, милосердие — тот же эгоизм. По большому счету оно удобнее, это единственный способ чувствовать себя спокойно, иначе сожрет собственная недостаточность. Самому тебе вполне хватало таких оснований, и ты не понимал, о чем тут мудрствовать. Тогда мы просто уснули, ближе к рассвету. А теперь, полгода спустя, спор закончился. Не проявлением чьей-то правоты — просто предмет исчез.

На полпути Трубецкой попросил подождать, скрылся в незнакомом подъезде и вернулся с иностранной литровой бутылкой. Недвусмысленная этикетка: «Алкоголь». И еще пепси-кола была у него рассована по карманам.

— Это откуда? — спросил врач.

— У меня здесь знакомый. Одноклассник еще.

— И чего, прямо так и отдал?

— Что он, не понимает? — Трубецкой перегнулся через спинку. — Будешь?

Я помотал головой.

— Дома. Лучше дай попить.

Пепси оказалась пресной. «Новое поколение выбирает...» Бутылка перекочевала к врачу.

— Нет, — сказал он. — На ходу — слишком. Тут градусов девяносто.

— Девяносто шесть, — сказал шофер. — Известная штука. Спиртыга обыкновенный.

Я уже не верил, что мы сюда все-таки доберемся, в эту полуразваленную, почти без мебели конуру. Стаканов не нашлось, только одинокая чайная чашка. Я забрал ее себе, остальным — майонезные банки. Я был им признателен, обоим, и говорил, наверное, об этом. Спирт не брал меня до самого последнего момента. Так и будет теперь все дни до твоих похорон и еще долго после: можно было пить и пить, безрезультатно, с ясным рассудком; потом, мгновенно, начинал обрушиваться внутрь себя, и наступала темнота.

В отделение мы приехали часа на три позже, чем было назначено. Но выяснилось, что участкового и с утра не было и раньше обеда, видимо, не будет: собрание у них, для всего района. Кантовались в парке, в Сокольниках.

Я забыл шапку, ветер надул в уши, и приходилось зажимать их ладонями, но полчаса спустя все равно уже некуда было деться от боли в черепе. В какой-то миг я вдруг понял, что любую из проходящих женщин мне ничего не стоит хлопнуть по заднице. Или ударить — и точно так же не испытать ничего. Внутри — только пустота вседозволенности. Броситься в витринное стекло в магазине... Я больше не соотносил себя с чем-либо вокруг и видел, что в ответ ничто здесь больше не принимает меня. Никогда прежде я не чувствовал так своей жизни, каждого отдельного ее мига: до дрожи, до запаха. Оттого ничего и не выбрал, что мог все. Но Трубецкой, видно, тоже что-то во мне почувал, быстренько заташил в стекляшку кафе.

Здесь было пусто — день. И вьетнамская водка. Мы взяли по двести граммов и какие-то шашлыки. Я обнаружил, что у мяса нет вкуса, спросил Трубецкого: «Что мы едим?» — но, по его словам, все было в порядке. А потом никак не удавалось проглотить водку. От нее несло эфиром. Я полоскал ею рот и давил спазмы в желудке, пока не сообразил выплюнуть назад в стакан. Какая-то баба за соседним столом поспешила отвернуться.

Участковый оказался уже на месте, когда мы вернулись. Плохо помню, о чем он спрашивал меня, думать я мог только о продавленной кровати в комнате у Трубецкого. Он все требовал объяснений твоей депрессии, упомянутой в протоколе. И жаждал узнать, была ли у тебя женщина. Если мне ничего не известно, то кто мог бы помочь ее найти: друзья, сослуживцы? Я удивлялся: что он так привязался к этому? — и вяло отнекивался.

Как бы там ни было, но меня допрашивали, и держал я себя соответственно. Я посчитал, что если он пытается все это из меня выудить — значит, что-то их еще беспокоит. С другой стороны, он не очень напирал и, судя по тону, выяснял пока подробности вообще, а не докапывался до чего-то конкретного. На героя я был тогда мало похож и не сомневался, что если действительно что-то раскрутится, то добьются они от меня всего, что им будет нужно. Однако сейчас, пока еще в клещи не брали, мне казалось совершенно ни к чему вытаскивать на свет чьи-либо имена. Не то чтобы я хотел избавить кого-то от лишней нерво-трепки, — на большинство твоих знакомцев и девок мне было в высшей степени наплевать. Но я уже заучил по жизни кое-какие правила. В свое время другие люди — и вовсе не из большой любви, а таким же правилам подчиняясь, — точно так же не раз оставляли в стороне меня. Если я кому и чувствовал себя обязанным — так это им, чьих имен не помнил. Просто раз уж мы с Трубецким оказались здесь, стоило постараться, чтобы на нас все и замкнулось.

Заходил тот, второй, описывавший ночью тело. Они отошли к окну и говорили вполголоса, но я разобрал: труп странный, странный... И спросил участкового, когда он вернулся на место:

— Что значит: странный труп?

Он недовольно поморщился.

— Ну, есть там... Медзаклучения подождем — видно будет.

— А где он?

— В морге. Здесь, на Стромынке. А с вами там жил еще один: высокий, с длинными волосами?..

Тут я удивился по-настоящему. Оказывается, он не штаны просиживал на собрании — соседей тряс. Но здесь и врать было не надо.

— Этого вы не найдете. И я не найду. Он ушел от жены, теперь болтается по знакомым. У нас уже месяц не появлялся.

— Но как-то ведь вы с ним связывались?

— Нет. Если ему что было надо — звонил сам.

— Он москвич?

— Да. Вроде бы.

— Но фамилию-то знаете?

Я назвал.

— М-да. Как это у вас получается, что никого нельзя найти? Телефонов нет, адресов нет...

— Записная книжка его у вас — проверяйте.

— Проверим, — сказал он. — А сами-то вы где были вчера вечером?

Я ответил: «Киноцентр, Красная Пресня».

— Один?

— Нет, со знакомой.

— Она может подтвердить?

— Естественно.

— А как с ней поговорить?

Телефон стоял у него на столе. Я набрал Верин номер, сказал, что объясню все потом. Участковый попросил ее приехать завтра, подписать показания.

— Да нет, нет, — сказал он. — Никого не арестовали.

— Вот! — вспомнил я. — Там был еще один человек, который меня знает. У меня есть его визитная карточка.

— Хорошо, этого достаточно. Ну так что, не может же быть, чтобы у него не было девушки? Значит, будем ее искать.

— Скажите, а мать его кто-нибудь ищет?

— А как же, будем искать, обязательно.

— Будем? Уже сутки...

— Все, вы можете быть свободны. Может быть, вызовем. И пусть ваша знакомая не забудет завтра прийти.

И вдруг я понял, что еще не дает мне покоя.

— Послушайте, — сказал я, — может, я ключ возьму на два часа? Привезу потом. Там бардак такой, я убраться хотел. Нельзя так оставлять.

Ключ он вертел в пальцах все время, пока мы разговаривали, а тут вдруг судорожно зажал его в кулаке, будто испугался, что брошусь отнимать.

— Нет, нет, нет — это только с родственниками. Позовите там второго.

Я вышел. Успел перекинуться парой слов с Трубецким — пусть делает вид, что ему вообще ничего не известно. Потом ждал на улице. Обнаружил, что остался без спичек, и все не у кого было прикурить, пока не подъехал грузовик с солдатами, присланными в патруль. «Пять минут перекур!» — крикнул офицер. Я стоял среди них и с дымом втягивал дух от их шинелей.

Трубецкой куда-то уехал по делам, оставив мне ключи и сообщив, что ночью не появится. Пошел час пик, и в метро мне не хватало воздуха: дважды выходил, поднимался и подолгу дышал, замерзая, а спустившись, согреться уже не мог. Квартира у него была действительно в жутком состоянии — такой тоской несло от этого развала, что я решил не включать свет. Все еще предстояло приводить здесь в порядок, и я готов был быть при одной только мысли об этом. Ничего этого я не хотел больше, сил на это не было — на простые вещи, обычные действия. Я лег. И думал о том, что нет никаких гарантий, что они вообще станут искать твою мать. Казалось вполне реальным, что дня через три мне просто выдадут на руки труп, может быть, немного подкрашенным. Что-то делать нужно

было уже сейчас, хоть гроб заказать. Но без свидетельства о смерти со мной никто и разговаривать не станет в этих конторах.

И я понял, что один это не вытяну. Но ведь столько народу вокруг тебя крутилось. А у меня действительно — ни телефонов, ни адресов. Конечно, я знал людей, которые к тебе приходили, многих еще по институту, кое-кто мне был приятен, но сам никогда не испытывал потребности как-либо отдельно от тебя с ними встречаться.

И вдруг вспомнил: есть Люська! Она-то со всеми держала контакт!

Весь этот вечер потом я накручивал ее номер, каждые пять минут, но трубку так никто и не снял. Она могла быть где угодно. Могла вообще уехать, благо работа позволяла, — исчезать на две-три недели было вполне в ее духе. А одиночество, которого я так хотел несколько часов назад, оборачивалось другой стороной, и мне уже нужен был кто угодно, лишь бы немедленно: становилось все труднее держать себя в руках.

Тогда я позвонил Вале. Той Вале, что почти поселилась у нас за несколько месяцев до твоей смерти и исчезла только в последние дни. Ждала чего-то. Я все размышлял тогда, посмеиваясь, на кого же из нас двоих она имела виды. Видимо, на обоих: ждала, кто первый позволит прилепиться. Но оба мы относились к ней хоть и тепло, но, в общем-то, равнодушно. Она была доброй. На добрых не западают.

Она долго не могла понять, что я ей говорю. Приехала через полчаса с двумя бутылками водки: интересно, откуда она их взяла, нищая студентка из нищей семьи? Мы выпили одну. Дальше была истерика. Я бил ее по щекам, смотрел, как мотается из стороны в сторону голова. Ты был мертв уже сутки. Тело твое лежало в морге. Люськи не было дома. И неизвестно, где жила твоя ни о чем не подозревающая мать.

— Холодно, — сказала она.

Я не хотел оставлять ее в ванной одну, но потом все-таки вышел. Через десять минут она вернулась в комнату в джинсах и рубашке на голое тело. И тогда во мне поднялась ярость. Наверное, она была девственницей. Неуклюже помогала, когда я расстегивал на ней пуговицы. Потом, уже голая, стоя, так же неловко стаскивала с меня одежду. Кожа у нее после душа осталась влажной.

Она старалась быть нежной. Только мне на хер не нужна была ее нежность. Я хотел судорог, ног, закинутых за спину, пота, криков и бесстыдства. Жизни. С ней — не мог ничего. В темноте, на шатающейся кровати мы барахтались как два тюленя, пока я не понял, что еще немного — и меня вырвет от ее запаха; тогда откатился, лег на спину. Она прикоснулась ко мне, будто ласки просила. Потом сжалась и отвернулась. От голого ее тела слишком разило жаром.

Я оделся и вышел на улицу. Зеленоватый прожектор бил с трансформаторной будки напротив, тени от машин, стоящих перед домом, были длинные-длинные. Я добрался до угла, до темноты, и лег в снег, привалившись к стене. Снег пах бензином. Дважды кто-то проходил мимо, меня не заметив. В полубреду-полудреме я видел странные картины: то какой-то завод, бесконечное переплетение движущихся частей, где из металлических люков появлялись белые псы и выдыхали пар; то женщину-смерть в синем балахоне с малиновыми цветами. Я был в ее свите, следовавшей за ней латинским «V». Мы проходили инициацию: должны были зачерпнуть ладонями какой-то могильной жижи и окунуть лицо.

Чудом я успел прорваться сквозь эту паутину, сообразил, что уже не чувствую ног. Когда вернулся, ступая, как Голем, в квартире никого не было. Аккуратно свернутое одеяло лежало в головах кровати.

Это все. Рано утром Люська позвонила сама — что-то ей потребовалось. Через час все знали. Они уже где-то собирались, где-то пили — я изучал трещины на потолке и расположение паутины в углах. Днем Люська прорезалась опять и рассказала, что еще один знакомый, тоже заливший горе, позвонил твоей матери в полной уверенности, что ей уже все известно (все там же она и жила — сержант, поди, корпуса перепутал ночью, а то и вообще не ездил). Когда он понял, в чем дело, отговариваться и идти на попятный было поздно. Я ему не завидовал. Но все-таки был рад, что в конце концов это не мне досталось. Положил трубку и понял, что все изменилось. Смерть твоя уже принадлежала многим.

Потом — бесконечные поминания в твоей квартире, которую распечатали в тот же день: милиция получила заключение, в котором значилось, что умер ты от потери крови через резанные раны рук, и закрыла дело. Мать была у них всего

раз: ключ забирала, но в квартиру так и не зашла — оставила все на друзей. Сказала: не может. Отходя от спирта, я таскал на метро свои вещи и после каждого такого проезда с рюкзаком отлеживался по несколько часов.

Похоронами я не занимался — только водку искал через знакомых барыг, но помню, что долго не удавалось достать гроб. Их просто не было в продаже — хоть в целлофан заворачивай. Пришлось специально заказывать кому-то, за бешеные деньги. От самих похорон вообще ничего не осталось, только толпа. На тесном Ваганькове ей пришлось выкинуть ложноножки по всем проходам между могилами. Люська напоила меня пустырником, и все происходящее я видел как на матовом стекле: никак не удавалось добиться резкости. Кто-то в обморок падал. Да туристы-автобусники приставали ко мне: «Это кого хоронят? Народу столько!»

Неделю спустя твоя мать все-таки доехала до квартиры и выяснила, что не осталось твоей одежды, — разобрали на память. Что там было-то: старенькая «аляска» да джинсовая курточка. Все это ей вернули потом, со смущенными лицами, а она недоумевала: «Как же можно было, ведь есть же я?! И брат у него!» С тех пор не хочет никого из нас видеть. Зря она так — мы думали о ней. Но какое отношение она имела к твоей одежде и к жалким вещам этой квартиры, где почти никогда не бывала?

Я одежду не трогал: при всем желании подойти она мне не могла. Я забрал другое: посуду, кастрюли, постельное белье и даже пластиковое корыто для стирки — те обыкновенные предметы, которые определяют самый глубинный облик жилья. Никакие угрызения совести меня не мучили ни тогда, ни потом. У Трубецкого не было ничего, даже самого необходимого, и хочешь не хочешь — надо было обустраиваться. Тебе-то уж все это на кой? Да и не столько в расчете было дело — я не хотел расставаться с этими вещами. Чувствовал, что из новых мне просто ничего уже не построить, не приспособиться к ним. Так и таскал потом за собой, теряя на ходу.

Что-то еще осталось. Нынешний мой хозяин, услышав однажды о происхождении какой-то чашки, сообщил, что вещь самоубийцы считается сильным талисманом. Едва ли не самым сильным из всех. Может, потому я и ноги еще волочу?

Он, в сущности, неплохой парень, мой хозяин. Правда, иногда гадит мимо унитаза, но квартира его, и он в своем праве. Я в своем: мыть и молчать. Зато его часто и подолгу не бывает, и это важнее: я могу размышлять спокойно. Мне есть о чем. Я все пытаюсь свести концы с концами, понять, что же ты все-таки вытворял там, в ванной. Ведь многое не сходится. Дверь, например. Почему дверь в ванную была открыта? Все, что должно было за ней произойти, лучше бы вписалось в замкнутый объем. Будто специально для меня, будто ты представил, как все это будет: как я войду, буду слышать шум воды и ждать, когда ты откроешь, потом постучусь, потом стану ломать — и только тогда увижу. Понял, что вот так, сразу, мне все-таки будет проще? Благодарю. Даже если ты вовсе не думал обо мне, все равно. Мне страшно даже предположить, что это могло случиться в другой день, когда бы я не приехал вовсе, что нашел бы тебя уже суток через трое, разложившегося (быстро в горячем паре), с расплывающимся мясом, пятнами, червями. Я ведь тебе признавался, как действует на меня сам вид вывернутой и распадающейся плоти — даже раздавленный голубь или дохлая кошка. Вряд ли ты тогда вспомнил об этом. Но так уж все завязано где-то над нами.

Так или иначе получается, что, даже если входя в ванную, ты не знал еще, что обратно не выйдешь (хотя откуда тогда нож?), ты все равно должен был сделать массу каких-то мелких поступков, которые оставили бы следы в вещах, а я бы прочел сразу. То и странно, что вообще ничего не изменилось. А когда мыли квартиру, обнаружили, что в розовой, разбавленной водой крови и кафельный пол, и стены кое-где. Ты что там, прыгал, разбрызгивая?

Потом — бритва. Она лежала у участкового на столе, прямо передо мной, и я совершенно ясно видел, что предохранительная планка на ней осталась в целости. Я пробовал на себе: так ей даже порезаться трудно, не то что до вен добираться. Края ран у тебя были ровными — тупым ножом так не выйдет. Может, мы просто просмотрели что-нибудь, может, обычное лезвие валялось где-нибудь на полу? Та-то бритва напрашивалась сама собой — ведь прямо на

руке у тебя. А я думаю, что она просто плавала в воде и там оказалась, когда вода уходила. Впрочем, тут вообще ничего не понятно.

Когда я нашел тебя, на коже у тебя не было никаких следов крови: ни подтеков, ни засохших ручейков. А я потом экспериментировал у Трубецкого, резал пальцы и выяснил, что смыть ее ой как непросто уже через секунды, стоит чуть-чуть подпечся. Сознание ты должен был потерять раньше, чем кровь вышла из тебя вся. То есть, если ты сидел наклонившись и только руки держал под струей, а потом откинулся в ту позу, в какой я тебя обнаружил, то она бы шла еще по крайней мере несколько минут, засыхала, и следы на руках остались бы неминуемо. Скорее всего, ты ванну наполнил, а сливное отверстие затыкал пяткой. Но если нога открыла слив в тот момент, когда ты начал засыпать, вода все равно ушла бы раньше, и дыры бы еще кровоточили по сухому. Кровь могла разбавиться и уйти бесследно, только если ногой ты дернул уже в агонии, когда почти ничего в тебе не оставалось. Бывает агония, когда вскрываешь вены? Врач, по крайней мере, мне ответить не мог.

Пожалуй, вот эти несоответствия и привязали меня к тебе так крепко на целый год. Со временем стали они для меня важнее любой метафизики — что-то такое угадывается за ними, от чего уже не откажешься. Ну а потом, это способ избавиться от дешевой потусторонности, и довольно удачный.

Ты и приснился-то мне всего раз — спокойно так. Какая-то квартира, где в одной комнате собрались твои друзья, в другой — вроде бы жила твоя мать. Ты пришел в обычной своей одежде, без всяких следов тления, и появление твое никого не испугало и не удивило, хотя все знали, что ты — мертвый. Кажется, ты даже ел что-то, но слов не было. Все ждали, когда выйдет мать, и я, в конце концов, отправился позвать ее. Она сидела на кровати: не то шила, не то читала. «Сева пришел», — сказал я.

А она ответила испуганно, что не хочет тебя видеть таким, что вообще, как ты не можешь понять, что на все это (помню жест: ладонью вокруг лица) просто неприятно смотреть, тем более, что с каждым разом вид твой будет становиться все хуже и хуже. Ты должен был оставить ее в покое.

Я вернулся и передал тебе это. И только уже за порогом ты оглянулся и сказал как-то растерянно, что не знаешь, как тебе быть, потому что не приходится не можешь.

Это не сравнишь с ширококскими надрывами, которые он пересказывал с расширенными от ужаса зрачками и обхватив стакан дрожащими пальцами. Один был уж совсем особый — хоть в монстерз-муви.

Он видел кладбище, где должен был поправить твою могилу: роскошный деревянный крест, который соорудили тебе наши самоделкины, не то подгнил, не то просел в ваганьковском песке. (Стоп! Тело же в песке мумифицируется! Стало быть, ты и нетление умудрился себе стяжать — так, походя?) Сон был очень подробным, он помнил все, что делал там, даже куда лопату убрал потом: рядом, над могилой, устроено что-то вроде беседки.

Но когда оборачивается, уходя, — позади ты в черном своем тренировочном костюме и с обычной улыбочкой на лице. Только улыбка, говорит, та же, а вот лицо как гипсовое и глаза не движутся. Тогда он бросается бежать по аллее, причем старается не убежать вообще, но хотя бы оказаться у церкви раньше, чем ты его настигнешь. Бежать тяжело, воздух будто уплотнился. И всякий раз, оглядываясь, он видит, что так и не смог от тебя оторваться, что ты здесь, за спиной. «Понимаешь, — рассказывал он, — я-то рвусь изо всех сил, уже легкие вот-вот лопнут, а он просто идет — походка такая механическая — и все равно догоняет. Чувствую: еще шаг — и он меня возьмет. И улыбочка эта!»

Лихо, ничего не скажешь. Не очень-то веря, что ты все еще существовал тогда в каких-либо мыслимых для нас пространствах, а уж тем более, что способен был проникать из них сюда, назад (да еще и таким путем — безвкуснее не придумаешь), отдаю здесь должное даже не тебе, но самому твоему образу, подсознательной кукле. Должно быть, всех нас коржит комплекс вины. Представляю, как орал Широков во сне.

Сейчас март. Первый этаж. Машины под окном газуют всю ночь, какие-то убийцы в них присосались к пивным банкам. Спать бессмысленно. Последняя вещь здесь, которая еще работает, — магнитофон. «Ай фол ин лав со изили, ай фол ин лав со фаст». Хэлен Меррил и Рон Картер, «Дуэты», 1989 год. Безделушка миллионеров. Вот уж не предполагал, что допишу это до какого-то конца.



Теперь и годовщина твоя позади. Прошла чин по чину, но как-то незаметно, впрочем, я рано уснул. Зато на следующий день меня здорово отмудохали в Бибиреве. Теперь правая рука почти не действует, и огромный шрам на щеке от кастета, ловко спаренного с лезвием. Вдобавок отшибли что-то внутри: до сих пор все, что выходит из меня, красного цвета. Били шестеро, прямо в рейсовом автобусе, но запомнил я одного: и лицом и глазками он напоминал бультерьера — существо запрещенной породы. Ночью в «Склифе», пока мальчик-хирург пытался пришить друг к другу две половины моей щеки, я обнаружил, что даже боль не мешает какому-то необычному покою, во мне разлившемуся. Оказывается, я освободился от тебя.

Я неожиданно все понял и все расставил по местам. Вот эти — живые: едят, пьют, спят с бабами. Ты — мертвый. Я — к тебе ближе, но не рядом, ибо ни с тобой, ни со мной быть рядом больше нельзя. Север духа. Вот что ты мне объяснил: скудность выбора. Есть смерть: абсолютная причина и единственная тайна, освещающая любую вещь, любой шаг и любое слово, ставшие к ней причастными. Есть небольшой набор готовых траекторий, из которых выбирают одну и пытаются проработать. Ты попробовал прямую и показал мне, как это бывает. Теперь не отправишься за тобой — незачем. Окольным же путям цена сбита, и на долю остается всего ничего. Миф о Сизифе. Ты не читал.

Поэтому я лежу здесь. Иногда беру книгу — одну и ту же. Но знаешь, оказалось, что именно в ней изложено все о том, кто мы и что с нами будет. Между строк проглядывает огромный кукиш. И все-таки иногда я еще надеюсь. Иногда мне кажется, что кто-то очень тонкий с непредсказуемым лицом появится рядом и вернет меня, разучившегося глотать и испражняющегося кровью, в холод, кристальную ясность и белое одиночество той ночи и того дня. Оставит на аллее в Сокольниках — от метро к парку. Первыми исчезнут машины. Потом прохожие. Дома. Останется дорога под снегом, два темных ряда голых деревьев вдоль. Деревья растекаются, уходят в белесый туман. И снег — уже не снег. Белые пространства написал бы Шипенко. Бледно-серые пятна, смутные и бесформенные, появляются и пропадаают.

Я поднимаю руки.

— Я здесь, — кричу я. — Сева, я узнал тебя!

Москва. Март—май 1992.



**В 1993 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ  
РАССКАЗ ЕВГЕНИЯ НОСОВА «ТЕМНАЯ ВОДА»,  
ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ  
«ГАЯНЕ И МАРГАРИТА»,  
ПОВЕСТЬ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА»,  
А ТАКЖЕ «ПОРТРЕТЫ» АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА**

Не забудьте вовремя продлить  
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!

---

---

## АНАТОЛИЙ НАЙМАН

\* \*  
\*

Богохранимая страна  
сегодня глазу не видна,  
однако существует  
и тайно торжествует.

Властям ее дается власть  
единственно не дать упасть  
на землю тем из граждан,  
кем мир земной возжаждан.

И защищает рубежи  
ее единственно от лжи  
храбрейшее из воинств  
оружием достоинств.

Хоть друг от друга в ней дома  
верст за сто, в них не тишь да тьма:  
течет молитва сладко  
и теплится лампадка.

Их обитатели в толпе  
идут, но сами по себе  
(чем уменьшают давку),  
на службу или в лавку.

Потуплен взор, и легок шаг,  
и в облике незримый знак  
их жительство в не мнимой  
стране богохранимой.

---

---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## СОП ИЗ ИЗБЫ

### *Вокруг романа Владимира Шарова «До и во время»*

Мы вполне отдаем себе отчет в том, насколько экстравагантной выглядит подобная ситуация: два сотрудника «Нового мира» публикуют на его страницах резко отрицательное мнение о произведении, в нем же и напечатанном (№ 3—4 за этот год). Однако, надемся, читатель поймет, что на его суд выносятся не мелкий внутривыдавецкий конфликт, а принципиальный спор о том, что из потока современных произведений может и должно быть названо явлением новой литературы, а что — подделкой под нее. И если публикация романа Шарова явно противоречит тем эстетическим принципам, которые мы пытаемся защищать в разделе литературной критики «Нового мира», то, как нам кажется, мы не вправе делать вид, будто не заметили публикации на тех же журнальных страницах вещи, которая наносит урон этим принципам.

Нам представлялось уместным, чтобы редактор отдела прозы И. П. Борисова, готовившая роман к печати, выступила тут же с противоположным мнением, но, по словам И. П. Борисовой, ее позиция выражена уже тем, что она предложила роман В. Шарова журналу и настояла на его публикации.

С. К., И. Р.

\* \* \*

Роман Владимира Шарова «До и во время» — это симптом появления новой, еще незнакомой нам разновидности конъюнктурной литературы. Литературы, независимо от авторских намерений обслуживающей достаточно широкий круг так называемого интеллигентного читателя, очень бы желавшего быть «на уровне» современной художественной мысли и при этом не желающего (или неспособного) утруждать себя необходимой умственной и душевной работой.

Я не буду подробно останавливаться на таких недостатках романа, как рыхлость композиции, длинноты, несостыкованность отдельных эпизодов, удручающая небрежность в работе с языком и так далее. Обращусь к главному — к уровню художественного мышления автора. Точнее, к кричащему, на мой взгляд, несоответствию интеллектуальных претензий романиста и эстетического уровня его текста.

По авторскому замыслу это роман-миф, философская мистерия, содержание которой — трагедия России XX века, исторические судьбы великих идей, размышления о сущности христианского миропонимания, образы людей, определивших облик своего времени: Жермены де Сталь, Льва Толстого, Скрябина, Сталина, Федорова и других. Шаров с помощью подчеркнуто неординарного образа повествователя пытается создать в своем романе условное художественное пространство, подходящее для избранной концепции.

Что же происходит в этом пространстве? Вот на страницах романа появляется фигура Льва Толстого. Появление его анонсируется интригующим утверждением автора: Толстой — один из тех людей, которым не повезло в жизни, которые не смогли или не успели реализовать свои потенциальные возможности. Здесь можно было бы восхититься смелостью писателя — выбранная тема предполагает достаточно высокий интеллектуальный уровень, культуру и эрудицию не только его, но и его читателя. Однако как раз читателю, как выясняется из текста, напрягаться не надо. «Драма Толстого» подана в романе на уровне, прошу прощения, толстовской яйцеклетки. Психологические особенности его организма в романе таковы, что Льву Николаевичу удается заново воспроизвести себя, но уже в виде Льва Львовича. Тем самым он получает шанс прожить еще одну жизнь. Однако эгоизм великого писателя, привыкшего к славе и власти, оказывается сильнее. Лев Николаевич сделал все, чтобы задавить во Льве Львовиче свое продолжение и остаться единственным Толстым. Вот где истоки драмы Толстого, вот причина поздних метаний великого человека, одна из причин его ухода из Ясной Поляны.

Эстетика этого пассажа — это эстетика пикантного шоу с легким налетом медицинской мистики: и волнительно, и таинственно, дарит ощущение прикосновения к самому-самому в великом человеке и при этом очень даже все просто оказывается, доступно для широкого читателя, уже прошедшего школу домашней чертовщины — всех этих «феноменов Кашшировского», «НЛО», «биополя», «экстрасенсорики» и прочего.

Или вот другая тревожащая воображение широких «интеллигентных» масс фигура — философ Федоров, автор «Философии общего дела». Шаров предлагает читателю приблизиться к истокам его философии, так сказать, вплотную. В романе судьбу Федорова определила встреча с прекрасной де Сталь — в сюжете задействованы все те же секреты яйцеклетки плюс эликсир бессмертия, дошедший к мадам де Сталь от средневековых евреев и позволивший ей явиться во второй жизни русской помещицей, которую в бальных туфельках в стеклянном ларце носят крестьяне по полям. В таком виде и является она перед потрясенным юношей Федоровым. Далее следует детальное, с массой технологических подробностей описание их «общения» (не знаю, каким словом обозначить то, что заставляет автор продельвать молодых людей на страницах романа). И вот там, в спальне де Сталь, под парами опия Федоров познает свое будущее предназначение, так сказать, непосредственно и «трансцендентно». Очнувшись, он уже полностью владеет идеей, которой посвятит жизнь. Здесь освоенная нами «экстрасенсорная» эстетика обогащается достижениями авторов мистико-эротических боевиков типа «Эммануэли».

Можно было бы, конечно, назвать это своеобразным демократизмом писателя: заботясь о читателе, Шаров ищет доступные для него формы толкования сложного. Но я предпочел бы более точное слово — опошление. Перед нами не попытка вместе с читателем п о д н я т ь с я до уровня затронутых идей, а действие в обратном направлении — попытка о п у с т и т ь идею до уровня понимания нового массового потребителя литературы.

Мне скажут, что я несправедлив, что автор претендует на более тонкое, более изощренное толкование его произведения. Да. Несомненно претендует. Претендует как историк, как культуролог, но отнюдь не как х у д о ж н и к.

Мы привыкли относить к области китча эстрадные шлягеры про бедного художника, конфетные портретики Есенина, Хемингуэя, Шварценеггера с Марианной. Теперь надо привыкать к тому, что в сфере китча могут быть использованы фигуры Льва Толстого и Федорова, легенды о Христе, тайны сталинского режима и загадки еврейской ментальности. Разумеется, Шаров не первооткрыватель, отдельные счастливые находки в этом направлении были у самых разных писателей, от Бондарева до Дудинцева, но вот чтобы так полно, так монументально, с привлечением суперсовременной «интеллектуальной» тематики, с превращением самого жанра философского романа в китч — пожалуй, такого в нашей литературе еще не было.

У романа Шарова будут, наверно, и читатели, и почитатели, и я абсолютно искренне хочу пожелать автору здоровья и плодотворной писательской жизни, но только не на страницах «Нового мира». Мне кажется, что они предназначены для другой литературы.

Сергей КОСТЫРКО.

\* \* \*

Случай с романом Владимира Шарова в энный раз убеждает, что в сфере эстетики, в области художественных суждений не существует д о к а з а т е л ь с т в («точных данных», как пишет сам наш автор, «что это — симуляция таланта... или что-то настоящее»), но зато есть к р и т е р и и. Критерии вырабатываются в достаточно узкой, профессиональной или «знаточеской», среде, но чтобы функционировать, они должны быть поддержаны более широким кругом литературной общественности, вообще — «образованным обществом». Когда такой круг распадается на замкнутые группки, когда в периоды духовного смущения утрачивается какой-то минимальный и сам собою разумеющийся прежде эстетический консенсус, тогда в мутной воде можно выловить очень даже крупную рыбу.

Шаровский инцидент помимо тягостного для меня чувства, пусть и невольной, причастности к нему в моем качестве члена редколлегии журнала волнует меня тем, что с потерей общезначимых, а к с и о м а т и ч е с к и х критериев преградить путь литературным симуляциям становится, по сути, невозможно. Где нет изначального согласия вокруг элементарных вещей, там либо на помощь призывается насилие (цензура и ее аналоги), либо открываются шлюзы для беспардонной мешанины. Это, кстати, закон не только художественной, но и социальной жизни.

Приведа кучу «доказательств», но лишившись возможности апеллировать к очевидным для большинства нормам оценки, я все равно не поколеблю того гранитного «алиби», которым запасаюсь предприимчивый в своем роде автор.

Стиль (который, как известно, и есть человек)? Все нижеследующее, привычное разве что в наикомичнейших образцах «секретарской литературы»? — «Пастухову очень импонировало то, что он никогда не был женат...»; «...сильнее всего Толстой прошелся не по жене, а по старшему сыну...»; «...его тепло... она умела различать словами»; «... она привыкла уважать, что у него никогда никого не было»; «...он... стал находить и заимствовать из нее целые куски жизни»; «...слушая его, де Сталь даже не пыталась с ним разделиться»; «...он мощно всасывал из нее все, что она знала о Французской революции»; «...это было как в бане — все равны, все свои, нет никакой стыдливости, — и тут он брал ее»; «...пока он был рядом, любовь, постель довели над всем»; «...то, что дал ей Сталин, было куда больше, чем любой другой мужчина в ее жизни». Но тут мне заметят, что ведь всякий раз здесь имеет место слог рассказчика, и даже двух рассказчиков, а у них — по сюжету — с головами не все в порядке, значит, им не заказано изъясняться вкривь и вкось.

Факты истории, культуры, какие положено знать не только сочинителю суперинтеллектуальных романов, но, в иных случаях, даже школьнику или семинаристу? (Напомню, что автор по образованию историк, о чем известил нас в рецензии на его предыдущий роман восторженный почитатель Вик. Топоров.) Ну как не знать, что казнен был не Людовик XVII, а Людовик XVI; что на Синае Моисею дана была не Тора (Пятикнижие), а Декалог (десять заповедей), иначе, право же, вышло бы слишком громоздко; что в середине прошлого века дамы вряд ли выступали с речами в дворянском собрании; что тело Христа клали не в могилу, а в вырубленную в скале нишу («гроб»), к которой слово «могила» неприложимо; что распятие в оны времена как раз именовалось повешением («висящий на древе»), и это не были две «противоположные» казни; что в «знатных грузинских семьях» мальчиков (до семи лет, а не с четырнадцати) отдавали на воспитание своим же крестьянам, а не мусульманам («нукеру Шамиля»); что в конце 70-х годов Н. Ф. Федорову было около пятидесяти лет, а не около сорока; что идея «бессмертных атомов» принадлежит не ему, а Циолковскому, — и прочее в том же роде. Однако, опять же, что с автора взять, если вседозволяющим местом действия он избрал отделение больших старческого маразмом в доме умалишенных, а симптомы своего невежества нейтрализовал нарочитой уже (хоть и бессмысленной) перелицовкой истории. Ведь то, что Достоевский умер лет на двадцать раньше Федорова, что Сталин официально родился не 23, а 21 декабря и был у него не «высокий», «благородный», а весьма низкий лоб, что Троцкого убили не в 1946, а в 1940 году, ему наверняка ведомо, и увидев у Шарова эту явно намеренную путаницу сведений и дат, редактор, понятное дело, не решается убавить лишнюю палочку в порядковом номере злополучного Людовика: а вдруг тут эдакий п р и е м...

Во имя чего же нас столь неграциозно водят за нос? Большой вопрос, в будущем требующий специального анализа. Поначалу кажется, что вся фантазмагория с ни за что ни про что поруганной мадам де Сталь и другими не менее видными историческими лицами придумана исключительно для того, чтобы инсценировать несколько коллекционных казусов старческого блудодеяства, скотоложства (коль позволено будет круглых идиотов приравнять к скотам), садомазохизма, наконец, некрофилии, изобретательно соединенной с инцестом (своего рода рекорд для «Книги Гиннесса»), живописав все это конторско-медицинским слогом с примесью «поручика Ржевского». Ведь напиши автор, что Петя, любясь с Маней, «мучал ее плоть ласками тигров» и «утишал холодными, склизкими ласками лягушек», над ним бы еще как посмеялись; но если взамен задействовать Скрябина и де Сталь, тогда есть шанс, что посмеются не над ним, а ухмыльнутся вместе с ним.

По опаматованию, однако, соображаешь, что сексуальное сотрясение служит здесь допингом для сотрясения историсофского и для потрошения богословско-метафизических тем. Россия — родина маньяков и самозванных мессий; русские утописты Федоров, Скрябин — прямые предтечи Ленина и ленинцев, которые «к Марксу... относились с иронией», ну а при Сталине к власти пришли уж точно «ортодоксальные федоровцы». Войны, смерти не надо бояться; есть времена, когда убийство есть высшая добродетель». Гениальность — это «творческая патология», и чем больше будет уничтожено «средненормальных» людей, чем больше будет страданий, тем вернее мы станем «страной гениев», правда, жаль, что в первые годы революции «тысячи гениев были расстреляны без особой необходимости». И как присловье ко всякому нечистому словцу — имя Божье в разных склонениях и вариациях (текст так и пестрит почтительнейшими прописными буквами), призванное, видимо, освящать все эти выдумки и пакости.

Но меня поймут неверно, если решат, что в изнасиловании русской да и священной истории я вижу идеологическое злоумышление автора, смачную поживу для прохановского «Дня». Нет, эти и подобные мотивы, равно как и другие б/у философеми («...глубочайший мистический эротизм и сексуальность террора...»), равно как и ежесекундное поминание всеу имени Бога, все уныривает в общий котел с безмятежной «постмодернистской» наклейкой на крышке. Заварив в согласии с модой «новый национальный миф», автор горделиво уверен, что ингредиенты он позаимствовал со стола Гарсиа Маркеса, Томаса Манна, Германа Гессе и Андрея Платонова, между тем как в нос бьет струя из «Тайного советника вождя». Я говорю об эстетике, об этике — молчу. В чем тут отличие от действительно талантливого «provokatora» Галковского? В этом последнем случае с нами играют, в шаровском же нас (да и себя) морочат: разница чувствительная.

Опошление и в особенности осквернение как суррогат непосильного, несостоявшегося творческого акта — это проблема как для психоаналитиков, так и для аналитиков культуры. Я же, предвидя обретение романом Шарова характерного сонма поклонников, радуюсь самой возможности заявить, что к их числу не е п р и н а д л е ж у.

## И. РОДНЯНСКАЯ.

*Да, это реальная — до конца, вероятно, вообще не разрешимая — проблема индивидуальной ответственности каждого редакционного работника, члена редколлегии за то, что публикуется в журнале.*

*Что означает список редколлегии среди иных выходных данных на последней странице журнала? Что каждый поименованный в списке полностью одобряет в с е, что напечатано под этой обложкой? Вряд ли это возможно.*

*Что означает личная подпись, которую ставят на рукописи, идущей в набор, редактор, заведующий отделом, ответственный секретарь, главный редактор? Что в с е они полностью разделяют мысли, одобряют манеру данного автора? Подобна ли эта подпись той подписи, которую каждый из нас ставит под своими собственными сочинениями? Признаюсь, это и моя личная проблема. За годы работы в редакции я не нашел для себя окончательного, универсального, успокаивающего меня ответа.*

*Но возможно ли вообще делать журнал, печатая только то, с чем полностью солидарны все сотрудники журнала? Думаю, что так мы не выпустили бы ни о д н о г о номера.*

*Могут спросить: так редакция «Нового мира» не является командой единомышленников? Вопрос законный. И ответ на него должен быть прямой и честный. Не является. Как свидетельствует случай с романом Владимира Шарова (поклонником которого я не являюсь, но публикацию которого считал возможной), мы все очень разные. Объединяют нас «время и место», искренняя любовь к голубой обложке «Нового мира» и, может быть, еще нечто трудноуловимое, что отлично чувствуют наши записные оппоненты. Это так. Все это данность, с которой приходится считаться. Из которой приходится исходить, чтобы продолжать делать журнал в обстоятельствах, которые тоже даны.*

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

# ПУБЛИЦИСТИКА

*Россия, которую мы обретаем...*

Ю. ШРЕЙДЕР

\*

## МЕЖДУ МОЛОХОМ И МАМОНОЙ

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.

*Иоанн, 12:24.*

### 1. Гибель богов

**М**ы живем в эпоху разрушения, когда гибнет то, что еще так недавно казалось обреченным на вечное существование. Более того, мы уже приучились оценивать происходящее в категориях гибели. Разрушение Российской империи воспринималось достаточно представительной мыслящей прослойкой как созидание нового общества. Уничтожение крестьянства слишком многими мыслилось как строительство новой деревни, массовые аресты 30-х годов проходили под аккомпанемент бодрой музыки и оправдывались пословицей «лес рубят — щепки летят». Даже война в конечном счете была представлена в общественном мнении победными салютами, а не раздавленными гусеницами танков трупами наших солдат. Салюты гремели в честь укрепления и расширения империи, а голоса многомиллионных жертв до поры до времени не были слышны.

Пропаганда пыталась внушить многое, но фактически преуспела в одном — уверила общество в его стабильности, в непоколебимости принятого раз и навсегда курса. Это отнимало надежды на лучшее, но одновременно снимало беспокойства и страхи грядущих перемен. Пока над человеком не нависала угроза прямого уничтожения, ареста или высылки, он жил в культивируемой атмосфере уверенности в том, что все общество идет верным путем. Двоемыслие позволяло причудливо объединять в сознании страх за свою судьбу и уверенность в правильности социального устройства, определяющего эту судьбу. Это не значит, что все поголовно были слепы, но подавляющее большинство не избегло обольщения, пытаясь найти в происходящих событиях высший исторический смысл и найти в них место и роль для себя. Воспевание музыки революции Блоком и массовое участие офицерства в Красной Армии, готовность интеллигенции служить советскому строю и церковное «сергианство», оправдание раскулачивания и ежовщины, отсутствие какого бы то ни было осознанного протеста перед ничем не оправданными жертвами в войне с Германией и полное непонимание обществом преступности войн в Польше и Финляндии, аннексия прибалтийских стран, принятие как должного колоссальных затрат на холодную войну — все это явления одного ряда. Все это характеристики особого рода ментальности, порожденной причудливым смещением на российской почве веры в прогресс, революцию и имперскую идею. Ошущение того, что революция и все следующее за ней — это не столько «сумерки свободы», сколько новая, очередная, вежа в истории Российской империи, выражено в стихотворении Осипа Мандельштама: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля». Белые офицеры, герои пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных», в финале фактически признают большевистскую власть как единственную спасительную силу, способную сохранить величие и целостность Российской империи. И это было глубочайшим заблуждением. Конечно, в некотором смысле большевистская власть с

самого начала осуществляла имперскую политику в самом агрессивном варианте — с претензией на мировое господство под лозунгом мировой революции. На первом этапе эта политика осуществлялась как воссоединение имперских территорий, и потому так болезненно был воспринят неудачный поход на Польшу. Но на этом претензии не ограничились и привели в конечном счете к закономерному развалу империи. Унаследовав имперские притязания, новая власть отказалась от духовной основы, на которой держалось Российское государство. Как ни пытался Сталин восстановить имперскую атрибутику, ни он, ни его неудачливые преемники не имели духовной опоры во «мнении народном», без чего строительство прочной империи невозможно. Интересы государства перестали быть связанными с коренными потребностями народа, но стали целиком определяться правящей верхушкой. Для этого понадобилось создавать сложный и отлаженный идеологический аппарат воздействия на общественное сознание. Официальным идеологам было поручено выражать народные чаяния, выступая от имени народа. (И они даже сами уверовали, что представляют народ.) «Народные чаяния» оказались как никогда прежде совпадающими с желаниями власти. Полагалось считать, что в этом выражается мудрость и близость к народу этой власти, а не искусство идеологического внушения. Это искусство и помогло большинству не замечать гибели культуры, экономики, образования, наконец, просто физической гибели десятков миллионов людей. Происходящее просто не оценивалось в таких категориях: подступающее порой ощущение собственной гибели не включалось в общую картину тотального уничтожения всех ценностей. Эта картина в сознании просто отсутствовала. То ли пропаганда преуспела, то ли страшно было отдать себе отчет в происходящем, то ли действовала инерция веры в очищающую силу революции и одновременно иллюзии осуществления имперской идеи? Скорее всего идеологическая пропаганда ложилась на удобренную предрассудками почву.

Крушение всей этой системы сняло и запрет на описание происходящего как тотальной гибели. Эта категория вернулась в наше сознание и стала одной из главных в описании происходящего. Мы стали по-человечески чувствительней и начали обретать индивидуальное отношение к смерти. Трое погибших в августе 1991 года, десятки погибших и пострадавших в Тбилиси и Вильнюсе, трое солдат в Таджикистане — все это мы воспринимаем гораздо болезненней, чем уничтожение миллионов в сталинских и гитлеровских лагерях, чем миллионы напрасных жертв войны, которых можно было бы избежать.

Такая чувствительность свидетельствует о движении общества к моральному выздоровлению. Возникшая боль — это реакция на снятие идеологического наркоза, ввергавшего всех нас в патологическую бесчувственность. Беспокойства и страхи, ощущение происходящей гибели устоев — это естественная плата за освобождение от идеологических оков и опеки тоталитарных структур власти, гарантировавшей нам в компенсацию за несвободу определенную стабильность (правда, очень низкого) уровня жизни. Это пробуждение от летаргического сна немало способствовало возникновению ощущения и реабилитации самой категории гибели. Тем более необходимо реально и трезво отдавать себе отчет в том, что же именно гибнет сейчас, а что было погублено за семьдесят лет физического и нравственного террора.

Прежде всего, конечно, следует сказать о гибели тысяч людей в районах, где прорвавшиеся национальные страсти и обиды помutilи человеческий разум, высвободили самые темные разрушительные инстинкты, где льется кровь невинных, где мирные жители споняются с насиженных мест, где разрушаются судьбы и семьи. Все это получило нейтральное название «горячие точки этнических конфликтов». Стоит напомнить, что за всем этим стоит гибель того, что в победных реляциях называлось торжеством ленинско-сталинской национальной политики. Это была политика подавления национального достоинства и одновременно эксплуатации и разжигания низменных национальных инстинктов, использовавшихся в качестве идолов, укреплявших тоталитарную структуру.

Сегодня много страстей вызывает проблема гибели России, понимаемой как гибель имперской структуры. Нельзя не признать, что геополитическое пространство, оставшееся от Российской империи, действительно разрушается и это болезненно сказывается и на экономике и на культуре. Для меня самого было шоком внезапное разделение трех славянских республик и отделение от России других жизненно с ней связанных территорий. Если Россия — это прежде всего геополитическое пространство, то факт ее гибели несомненен. Он является прямым следствием того, что за семьдесят лет коммунистического режима Россия была превращена исключительно в геополитическую категорию. Правопреемственность Советского Союза от Российского государства оказалась исключительно геополитической — как наследование территорий, структура которых решает определенные экономи-



ко- и политико-географические проблемы. Прямая связь с духовными основами русской культуры оказалась разорванной (показателем этого явилось исключение русской эмиграции из культурного процесса). Однако Россия — это не только геополитическое, а прежде всего культурное пространство, место действия духовных сил. Нельзя считать СССР сохранившим преемственность Российской державы, ибо он унаследовал государственность как геополитическую категорию, но разрушил культурное пространство и его духовную основу, на которой держались отношения между людьми и которой в конечном счете определялись отношения государственной власти и народа в целом.

Я далек от того, чтобы идеализировать дореволюционную Россию, в ней хватало своих проблем: и безземелье крестьян, и трудности зарождавшегося капитализма, и огосударствление Церкви, и межэтнические сложности, и много чего другого, способствовавшего выцветанию в российском обществе революционных процессов. Не стоит забывать, однако, что своих проблем было предостаточно и в таких странах, как Англия, Франция, США и т. д., несмотря на парламентскую систему и конституционные гарантии гражданских прав.

Очевидно одно: Россия была отнюдь не восточной деспотией и не «тюрьмой народов», она была цивилизованным христианским государством, обеспечивавшим своим подданным нормальные по тем временам права, защищавшим их (в той мере, в какой это способно делать государство) от произвола, гарантировавшим возможность отправления религиозных культов (хотя определенные ограничения имели место по отношению к христианским сектам) и способствовавшим развитию культуры и образования.

Да, в России была цензура, но не издавались постановления о том, как следует писать литературные и музыкальные произведения. Да, в России было сословное и религиозное неравенство, но закон защищал всех жителей страны, а государство не ссылало целые народы. Россия решала свои геополитические задачи, исходя в конечном счете из интересов страны и народа, а не из бессмысленного и авантюристического стремления к мировому господству. Россия вступила в первую мировую войну вовсе не из стремления расширить свои границы (например, отвоевать Константинополь). Это было несчастное стечение исторических обстоятельств, которые уже анализировались и будут еще анализироваться. Стоит заметить, что громче всех кричавшие о необходимости выхода из войны большевики были вынуждены эту войну продолжать в гораздо менее выгодных обстоятельствах. Подписание Брестского мира было капитуляцией на очень невыгодных условиях. Это первый отчетливый пример того, что и в решении геополитических задач советская власть разорвала историко-культурную связь с Россией. Перекраивание национальных границ и создание искусственных государственных образований в Средней Азии и на Кавказе — второй пример того же факта. Россия — гарант законности и защиты прав многонационального населения превратилась в Советский Союз, попиравший интересы наций и создавший фиктивные национальные территории вплоть до совершенно фарсового «еврейского государства» на Дальнем Востоке.

Утрата государством духовной основы своего существования лишает смысла его попытки решать геополитические задачи, превращает приобретение новых территорий в самоцель, в способ самоутверждения диктатора вместе с его «сбродом тонкошеих вождей». В результате оказалось, что аннексия польских территорий и прибалтийских республик не укрепила страну в военном отношении, но резко ослабила, оставив без оборонительных сооружений перед лицом немецкого наступления.

Сегодня уже очевидно, что расстрел императорской семьи в Екатеринбурге был преступлением, инспирированным Владимиром Ульяновым. Но мы еще не осознали, какую роковую ошибку совершили те, кто вынудил Николая II отречься от престола. Как сказал когда-то Наполеону Талейран по поводу расстрела герцога Энгиенского: «Это было больше чем преступление, это была ошибка». В результате подобной ошибки Россия до созыва Учредительного собрания оставалась без легитимного, то есть признаваемого законным, правления. Быть может, Россия нуждалась в более одаренном политическом руководителе, чем последний из династии Романовых. Об этом я судить не стану. Нет у меня оснований высказывать какие бы то ни было оценочные суждения и о ближайшем окружении Николая II. Не принимать же всерьез пьесу А. Толстого и П. Щеголева «Заговор императрицы»! Можно сказать одно: кампания, направленная против окружения царя, целила в самую сердцевину монархии и способствовала ее падению, в результате которого Россия более чем на семь десятилетий осталась без законной власти, а существовавшие правители могли удержаться наверху только за счет физического и идеологического террора. В феврале 1917 года Россия утратила легитимность власти, ибо Временное правительство таковой не обладало, а у демократии не хватило сил, чтобы стать инструментом воссоздания законной и признаваемой народом власти. В октябре не вполне закон-

ная, но признававшая себя лишь временной властью была перехвачена властью незаконной, отрицавшей путем разгона Учредительного собрания все реальные пути восстановления власти, имеющей полномочия от народа.

Тем самым страна была ввергнута в кровавую пучину гражданской войны, трагедия которой состояла еще и в том, что ни одна из воюющих сторон не являлась представителем власти, обладавшей легальными полномочиями от народа. Обладатели обоими столицными городами, ореол борцов за идеалы демократической революции (в том числе за землю крестьянам, мир и свободу) и, не в последнюю очередь, полная беззащитность в средствах определили победу большевиков, оборвав государственную и духовную преемственность. То, что мы сегодня порой воспринимаем как гибель России, есть лишь оттянутый на семьдесят лет геополитический крах империи, фактически рухнувшей в 1917 году и оставившей после себя только муляж. Конечно, иллюзии, что Россия жива, несмотря на узурпацию власти, могли греть душу. Я тоже, как и подавляющее большинство моих обездоленных соотечественников, радовался каждому событию, которое можно было бы интерпретировать как успех моей страны — будь то научное или культурное достижение, строительство новых линий метро или укрепление обороноспособности. О цене, которая за это была уплачена, и о последствиях этого укрепления державы думать не хотелось, очень хотелось представлять себе дело так, что достижения закономерны, а цена и последствия — это историческая случайность, ошибки дурных людей. Иллюзии эти рушились, ибо каждый думающий человек так или иначе прозревал. Одни раньше, другие позже, а очень многие только после того, как стало возможным открыто говорить о происшедшем. Советский строй неуклонно душил любые попытки духовного раскрепощения. Уж на что высоко стоял авторитет России в Чехословакии — происшедшее в 1968 году вторжение советских танков превратило былую любовь в ненависть к оккупантам. Бросалось в глаза, что советская система отбирала наихудших, наиболее беспринципных, наименее связанных моральными ограничениями, наиболее бессовестных на все ответственные посты. В этом также была нарушена российская традиция, согласно которой к власти имущим предъявлялись определенные этические требования, а соответствующие нарушения зорко фиксировались общественным мнением. Так что сегодня гибнет не Россия и даже не Российская империя, а сохранившаяся от нее за счет жесткой системы подавления, но сильно испорченная геополитическая структура. Думаю, что мало кто в России радуется происходящему распаду территории. В конце 80-х годов еще можно было рассчитывать, что дело ограничится только восстановлением независимости трех прибалтийских республик. Однако процесс шел с серьезным ускорением и породил массу проблем: экономических, национальных, военно-политических. Все это достаточно тяжело, но необходимо отдавать себе отчет в закономерности и необратимости происшедшего. Прежняя Российская империя держалась не на военной силе и не на политическом принуждении. Эти средства использовались весьма и весьма ограниченно. Главный фактор сохранения целостности состоял в том, что Россия была источником правопорядка и просвещения, олицетворяя законную власть. Советское государство в этом смысле оказалось полностью скомпрометированным. Поэтому сегодня склеить обломки империи можно только грубой силой и ценой огромной крови. Как бы ни алкали восстановления имперской территории безответственные политики, даже призывать к этому сегодня преступно по отношению к России и ее народу, ибо каждый такой призыв усиливает страх перед Россией как перед возможной преемницей советской политики и провоцирует новую кровь. А главное то, что это искусственное склеивание территории без легитимных оснований может только затормозить процесс духовного выздоровления России. Параллельно с географическими потерями происходит расширение и усиление единства культурной территории, восстановление и развитие, казалось бы, навсегда утраченного духовного наследия. Этого процесса нельзя не заметить, хотя его конкретные проявления мы далеко не всегда умеем адекватно оценить. Можно сказать, по крайней мере, что восстановление в правах того, что хранилось в русской эмиграции, легализация религиозных традиций и обострение интереса (пусть даже как моды) к религиозной сфере, восстановление забытых имен и культурных ценностей (пусть даже с путаницей и разнобоем в оценках) — все это приметы несомненного возрождения и духовного освобождения. Все это не может произойти моментально, по мановению волшебной палочки, по указу президента или решению парламента. Духовное обновление может произойти у нас только после того, как мы окончательно прозреем и решительно отринем все старые, коммунистические догмы и стереотипы.

Советская власть имела полномочия только от самой себя, а вопрос о преемственности решался на тайных заседаниях политбюро, назначавших будущего генсека и одновременно главного похоронщика своего предшественника (только после этого официально объявлялось о его смерти)

Это же политбюро решало вопросы о правительстве. «Народных депутатов» фактически назначали партийные органы вместе с другими «органами», не нуждавшимися в пояснении, а эпитет «народный» означал не больше чем заголовок газеты «Правда». Когда депутат именно выбирается, а не назначается, ему не нужно называть себя народным, так что сочетанию «народный депутат» суждено исчезнуть из языка за полной ненадобностью. Уже сегодня это слово является пережитком советских времен, ибо как ни плох наш парламент — он формировался путем выборов, хотя и не прямых, а через съезд. Просто уровень депутатов соответствует нашему уровню сознания двухлетней давности, а за эти годы произошли радикальные перемены.

Впервые за все эти годы в России есть законный глава государства — избранный путем прямых всенародных выборов президент. Не последнюю роль играет и то, что президент получил благословение патриарха Всея Руси. Разумеется, происшедшая легитимация власти не устраивает тех, кто хотел бы вернуться к старому. И вот газета «Правда» публикует новогоднее пожелание новомодного шелкопера сменить в наступающем году парламент и президента. Впрочем, мне довелось слышать и от куда более просвещенного человека злорадное ликование в связи с его надеждой на неминуемый уход Ельцина с президентского поста в результате конфронтации со съездом. Ни легкомысленный литератор, ни элитарный философ не задумались над тем, как важен нам сегодня не просто хороший, но именно законный президент. Я отнюдь не считаю Бориса Николаевича Ельцина непогрешимым политиком и еще менее вижу в нем свой человеческий идеал. Но президент нуждается не в моих симпатиях или одобрении, а в моей поддержке. Всенародной любви и выраженной преданности и восторга требуют узурпаторы власти. Законные правители нуждаются только в народной поддержке института власти (хотя, конечно, рассчитывают и на одобрение собственных действий). Лояльность же к законной власти (уважение к народному выбору) вместе с правом ее нелицеприятной критики составляет немало-важный элемент политической культуры общества.

Сегодня постоянно можно слышать многочисленные жалобы на то, что культура, мол, гибнет, что разбегается из страны творческая интеллигенция, а тем, кто остается, приходится тратить все усилия на добывание хлеба насущного. Что ж, мы несколько подзабыли сталинские репрессии, погубившие лучшее из лучшего науки и культуры. Репрессии губили людей физически, но не менее губили их и морально, лишая творческой свободы, так необходимой и писателю, и ученому, и конструктору, да и просто человеку. Но, оказывается, интеллигенция до поры до времени не замечала, что власть не только давила и топтала, но еще и понемногу подкармливала ее. Люди получали инфаркты в постоянных попытках отстоять свое право творить и просто думать по совести, а не по указке, откупались от душившей власти работой на потребу, для прокорма. И тем не менее культурный процесс шел и порой прорывал отведенные ему строгие рамки. И была огромная прослойка тех, кому адресовалось культурное творчество, составлявшая прекрасную аудиторию читателей, зрителей и слушателей. Благо цена книг и билетов в театры и концертные залы у нас была чисто символической. По существу, интеллигенция составляла огромную прослойку людей, считавших своим основным делом «присутствие» в культурном процессе. Эта прослойка состояла из людей практически нищих, но обладавших минимумом средств и досуга, чтобы обеспечить себе возможность такого «присутствия».

Сейчас интеллигенция вынуждена всерьез зарабатывать себе на жизнь, вместо того чтобы решать судьбы культуры и народа. Это видится многими как гибель культуры и крах интеллигенции. Я же склонен видеть в этом скорее гибель некоторого сложившегося образа жизни — непритязательного в смысле материальных благ, но претендующего на особый социальный статус: ощущать себя как бы представителем народа в культурной сфере. Естественное развитие событий должно превратить нынешнего интеллигента, привыкшего по-любительски (то есть без профессиональной подготовки и без дополнительной оплаты) браться за любую интеллектуальную проблему, в интеллектуала западного типа, умеющего действовать профессионально и зарабатывать себе на жизнь соответствующей профессией. Сегодня выяснилось, что серьезные ученые и в России научились получать средства от зарубежных фондов, научились получать заказы на работы, требующие их профессионального умения, нашли и другие способы коммерческой реализации полученных знаний. В растерянности остались люди, не обладающие ни серьезными знаниями, ни готовностью искать для себя подходящую работу, но стремящиеся во что бы то ни стало сохранить социальный статус в его прежнем понимании. Именно такие люди воспринимают собственную неустроенность как гибель культуры и конец интеллигенции. Фактически сегодня увеличилась цена профессионализма, цена мастерства. Резче проявляется разница между умелым и неумелым. Под самый Новый год я пошел в клуб университета слушать флейтовые концерты Моцарта, в которых партию флейты

исполнял Корнеев. Атмосфера была совсем такая, какая бывала в консерваторских залах во времена моего студенчества — музыкантов принимали очень горячо, и они с явным удовольствием бисировали, хотя всех ожидала встреча Нового года. Нет, гибелью культуры здесь и не пахло. Отнюдь не угас и интерес к образованию, хотя угасает интерес к фиктивным дипломам, в изобилии поставлявшимся второстепенными вузами. Раньше у нас очень не любили, когда какая-нибудь математическая или биологическая средняя школа выбивалась из общего серого уровня. Сегодня родители стремятся выбрать для своих детей школу с лучшим качеством образования, не боясь за это платить дополнительно. Таких возможностей становится все больше, а делать вид, что все школы гарантируют общий уровень, становится все менее возможным. Стало яснее видно, кто чего стоит. А это симптом не гибели культуры, а ее развития.

Гибнут ложные боги, которым мы настолько привыкли поклоняться, что отказ от культа воспринимается как мировая катастрофа, а все беды объясняются гневом отвергнутых богов. Впрочем, благоговейное отношение к святыне отличает человека от животного. Оно заслуживает уважения, даже если сама святыня оказалась фальшивой. Однако упорство в почитании ложных святынь уважения не заслуживает. Мне грустно смотреть на старых людей, которые с серьезным видом строятся в шеренги по шесть человек и маршируют перед мавзолеем. Я вспоминаю, как составлялись списки идущих на ноябрьскую или первомайскую демонстрацию, где на каждую шестерку назначался правофланговый, который был призван следить, чтобы никто чужой не проник в его шеренгу — это было проявлением царящей повсюду бдительности. В нынешнюю коммунистическую колонну никому постороннему не придет в голову пристроиться — соблюдение строя по шеренгам превратилось в ностальгический ритуал. Милиционер, дежуривший на Красной площади, жалостливо покачал головой в сторону колонны и заметил: «Это все аутсайдеры». Боги коммунистического культа уже мертвы, а поклоняющиеся им — это действительно аутсайдеры, но попытки реанимировать этих богов еще продолжаются теми, кто жаждет новых потрясений и человеческой крови. Боги коммунизма обещали людям социальную справедливость. Для этого они внушили, что справедливость — это когда всем одинаково плохо живется. Пerverжен и кумир державы, хотя кое-кто еще готов приносить ему кровавые жертвы. И даже культура теряет свою роль кумира. Относиться к своей стране и ее культуре как к святыне — это нормально. Но источник их святости гораздо выше, чем сами эти категории. Коммунистическая власть долго уверяла всех нас, что она и есть то, что освящает всех нас. Эта вера окончилась вместе с концом этой власти. Конец ложной веры, гибель ложных богов может привести и к безверию, и к истинной вере, соединяющей людей. Утративший своих прежних богов теряет все прежние ориентиры. Зато у него появляется возможность обрести новые. Но пока это не произойдет, гибель богов будет рассматриваться как мировая катастрофа, как конец того мира, в котором мы худо-бедно, но сумели как-то устроиться и обрести какую-то стабильность.

Гибель богов несет страх и беспокойство, обилие проблем, возникающих и требующих разрешения здесь и теперь, не оставляя времени на слишком долгие размышления и поиски ответа.

## 2. Между молохом и мамонной

Годы советской власти были годами служения беспощадному молоху, непрестанно требовавшему кровавых жертвоприношений. Впрочем, при желании, конечно, можно сказать, что эти жертвы были не напрасны, а приносились во имя «великих свершений», во имя укрепления могущества и процветания державы. Идолопоклонники издавна считали, что приносимые ими жертвы дают реальные плоды и тем самым вполне оправданны. Люди хорошо помнят те жертвы, которые они принесли, и не хотят смиряться с тем, что это были жертвы ложным и несправедливым богам. Но при этом слишком легко теряется память о тех, кто оказался жертвой не по своей воле, о тех, кого идолопоклонники коммунистического молоха принесли в жертву ради своих «свершений».

Тень подозрения в убийстве царевича Дмитрия нависла черной тучей над всем царствованием Бориса Годунова. Безусловная вина Ленина в расстреле царской семьи вместе с малолетним наследником была как бы вынесена за скобки в период советской власти и не вспоминается сегодня защитниками бывшей КПСС. А могиле цареубийцы все еще отдаются царские почести из уважения к чувствам тех, кто до сих пор верен этому культу. Но дело здесь не в нравственных претензиях к идолопоклонникам. Гораздо важнее вопрос о том, чем привлекают к себе идолы, почему люди готовы им поклоняться, невзирая ни на что. Можно было бы легко все

списать на страх и принуждение, но в этом случае снятие принуждения сразу бы уничтожило всякий интерес к культу идолов. Несколько сложнее обстоит дело с категорией страха. Не надо думать, что в годы сталинских репрессий только страх был доминирующим чувством. Власть культивировала не страх (который привел бы к полной депрессии общества), но энтузиазм участия в общем великом деле под звуки победных маршей. У людей создавалась иллюзия, что достаточно попасть в число участников общего строительства, чтобы оказаться защищенным от грозящих опасностей. Страшно было попасть в категорию лишенцев, людей, «не допущенных» к служению идолу общего дела. Лишение социального статуса было равносильно гибели. Служение общим идолам требовало соучастия в кровавых жертвоприношениях — отсюда и вытекало стремление всех повязать доношением, службой в сексотах, участием в проработках инакомыслящих, бранью по поводу осуждаемых на судебных процессах и в постановлениях ЦК КПСС.

Это же служение выполняло очень важную религиозную функцию объединения людей в категорию «своих», пользующихся доверием страны (читай — власти, органов и т. п.). Обращение «товарищ» было не случайным — оно означало вхождение в общую категорию, противостоящую всем прочим гражданам. Не случайное слово «гражданин» означало на практике не признание гражданских прав того, к кому оно обращалось, но отказ признать его товарищем, то есть фактически отказ признавать за ним какие бы то ни было права. «Гражданином» был не обычный гражданин, но подследственный, подсудимый или заключенный. Слово «товарищ» означало не только признание прав, но еще и определенных привилегий — участие в раздаваемых благах. Не случайно это обращение использовалось и коммунистами и национал-социалистами. Эту объединяющую функцию обращения подметили и удачно использовали авторы словечка «наши» — оно объединяет поклонников неокommунистического культа и противопоставляет их всем чужакам, а стало быть, врагам. Это типичный компонент коммунистического сознания, а отнюдь не наследие традиционной русской культуры.

Надо подчеркнуть принципиальную разницу между религиозным объединением людей, осуществляемым в христианстве, и объединением в общность идолопоклонников. Единство в поклонении идолам имеет только горизонтальную размерность, оно связывает людей в общем стремлении выжить в данном обществе. В этом единстве ненависть к врагу важнее, чем симпатия к друзьям. Люди нуждаются друг в друге, постольку поскольку они нуждаются в совместной защите.

Единение христиан имеет и вертикальную и горизонтальную размерность, а в его основе лежат две заповеди Иисуса Христа (Матф., 22:37—39) — любовь к Богу и любовь к ближним. В христианстве как религии и как Церкви объединяет любовь, а не общая ненависть. Любовь к Богу помогает не превратить любовь к ближним в жгучую ненависть к «дальним», ибо каждый человек есть образ и подобие Бога. Обе эти заповеди Христа есть уже в Ветхом завете, но там они разделены и их взаимная обусловленность тем самым не подчеркнута. Заповедь любви к Богу приведена во Второзаконии (6:5) как основная молитва иудейской религии. Заповедь любви к ближнему содержится в Книге Левит (19:18). Принципиально то, что в проповеди Иисуса эти заповеди объединены в нераздельное единство. Любовь к ближним тем самым рассматривается как воплощение любви к Богу, как видимая реализация этой любви: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Посл. Иоанна, 4:12). Культ молоха основан не на любви Бога, а на поклонении ненависти, на культивировании ненависти как основы правильного устройства мира.

Это началось уже в революционных кружках, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Культ ненависти питал французскую революцию конца XVIII века и очень многие другие революционные движения. Истоки этого культа ненависти уходят очень глубоко в древность. Манихейская ересь учила тому, что мир не создание единого Бога-Творца (и уже в силу этого доброкачествен по своей природе), но поле действия противоположных сил добра и зла, а спасение требует беспощадной борьбы с утвердившимся в мире дурным порядком. Это умонастроение тесно связано с древними учениями гностиков, которые время от времени воплощались в различных революционных движениях (альбигойцы, катары, богомилы и т. п.), в которых накопленная ненависть выплескивалась в чудовишно жестоких формах. В коммунистической идеологии с ее культом насильственной перестройки мира, основанной на разрушении всего старого «до основания», легко узнается наследие гностических течений прошлого. Однако следует различать чисто разрушительный (революционный) период реализации этой идеологии и период ее господства, когда она нуждается в средствах своей стабилизации. В этот период она более напоминает культ языческих империй, чем бунтарство гностиков. Неокommунистические и родственные им группы идолопоклонников унаследовали эту существенную черту революци-

онного культа, которая в конечном счете определяет перспективы и опасности этих движений для страны. Но есть одна принципиальная разница между бывшей коммунистической властью и нынешними коммунистическими движениями. Власть использовала страх и ненависть как инструмент манипуляции человеческими душами, но взамен давала ощущение стабильности существования. Это особенно относится к послесталинскому периоду, когда жизнь вошла в более спокойное русло, прекратились массовые репрессии и меньше стал риск внезапно попасть из стана допущенных к определенному уровню привилегий (хотя бы к получению продуктовых заказов по месту работы) в категорию непосредственно преследуемых, то есть не имеющих возможности получить работу по квалификации, жить в большом городе и т. п. Если коммунизм «романтического» периода расплачивался с людьми перспективой светлого будущего, то «застойный коммунизм» платил стабильностью существования — гарантией места работы и минимального заработка. Эта стабильность рухнула в годы перестройки, и ностальгию по ней испытывают отнюдь не только лица, принадлежавшие к привилегированному меньшинству — те, кто получал хорошие пайки и заграничные поездки. Отнюдь не они составляют ядра движений, собирающих людей, впавших в фрустрацию из-за потери внутренней опоры и необходимости самостоятельно определять свой образ жизни, а не просто встраиваться в заготовленную государством матрицу.

Те, кто ранее занимал заметные места в партийно-государственной структуре, гораздо лучше приспособились к новым условиям, найдя себе применение в новых властных и коммерческих структурах. Будучи людьми более динамичными по складу, они лучше оценили новые возможности и испытали меньший страх от резких перемен, увидев в меняющемся мире большой запас возможностей обеспечить свое существование.

Мне совсем не хочется сетовать по поводу того, что верхние этажи общества заняли люди из прежних структур. Это закономерный процесс, когда общество использует активные слои. Важно лишь, чтобы действовал эффективный механизм отбора по умению и способностям, а не по старым связям. Важно то, что именно неумелые и большей частью не сумевшие пробиться высоко наверх в коммунистической структуре сегодня более всего тоскуют по бывшей стабильности, освобождавшей их от обязанности искать себе дело в соответствии со своими возможностями. Психологически это можно и должно понять: мы все воспитаны в идолопоклонстве перед молохом всемогущего государства. Всеобщее послушание, повиновение власти, внушающей трепетный страх, автоматически освобождали от страха перед неожиданными переменами, от страха потерять работу, от страха перед выбором и необходимостью самому определять собственную судьбу. От этих страхов мы отвыкли, а сегодня они внезапно возникли, да еще на общем фоне государственной нестабильности, роста преступности, политического и экономического хаоса, вооруженных конфликтов на окраинах бывшей империи. Сегодня страх перед нарастающей нестабильностью сам становится дестабилизирующим фактором.

Этот страх порождает разочарование в происходящих в стране переменах, хотя часто речь идет о таких вещах, которые и в западных стабильных и обустроенных обществах считаются нормальными неудачами. Ни одно самое процветающее общество не может себе позволить гарантированное поддержание высокого материального уровня для всех своих граждан независимо от их вклада в создание общественного продукта, возраста и состояния здоровья. В некотором смысле речь идет о реализации социалистического принципа «каждому по труду», который никогда не был и не мог быть осуществлен тоталитарной структурой, ибо в ней были полностью искажены или демонтированы механизмы объективной оценки вкладываемого труда и его результатов. Все дело в том, что само понятие труда у нас фактически отрывалось от представления о его результатах, то есть о его истинном содержании.

Люди старшего возраста часто испытывают ностальгию по полному прилавкам московских гастрономов после отмены карточек, но не очень задумываются, что за это «изобилие» для столичных жителей страна платила разорением деревни и провинции, земли и сырьевых богатств. Подобное изобилие было следствием не рационально и гуманно организованного труда, а беспощадной эксплуатации человеческих и природных ресурсов. Сегодня же мы только пожинаем плоды варварского коммунистического хозяйствования. И потому было бы полной иллюзией думать, что возврат к прежней плановой системе хозяйства способен восстановить прежнюю видимость благополучия. Реален лишь возврат к прежней нетерпимости и гонениям по отношению к тем, кто хоть как-то способен своим трудом и умением, а порой и просто коммерческой сметкой обеспечить себе в наших условиях мало-мальски достойное человеческое существование.

Все это мы уже проходили. Экспроприация капиталистов обездолила рабочих, раскулачивание сделало нищей деревню. Точно так же запрещение частной торговли ударило бы прежде всего по тем простым женщинам, которые сегодня торгуют с рук у метро и на привокзальных площадях. В хрущевские времена одна моя знакомая жаловалась, что в их дворе совет коммунистов-пенсионеров поставил заслоны против приходящих молочниц и дети остались без хорошего молока. (Тогда еще городские кварталы перемежались со старыми деревеньками, где хозяйки держали коров.) Закон в состоянии ограничить жульнические способы наживы, а реально им может противодействовать лишь развитие здоровой экономики, в которой производить выгоднее и спокойнее, чем красть.

Реальная проблема состоит не в том, что крах тоталитаризма развязал возможности личного обогащения и привел к неравенству. Она в том, что противостояние культуре молока привело к культуре золотого тельца, к служению мамоне, то есть посвящению своей жизни погоне за наживой.

Наше общество оказалось в ситуации дурного выбора между молохом и мамоней, и причины тому не столько политические, сколько духовные. Коммунистическое давление духовно опустошило общество, разрушило нормальные человеческие связи, сделало невозможными любые человеческие объединения, кроме жестко контролируемых государством и партией. Естественные проявления человеческой солидарности воспринимались властью как недопустимые претензии ограничить ее тотальное влияние. В сущности, мы были лишены практически всех общественных объединений: профсоюзов, клубов — всего того, что делает общество структурированным и солидарным. Церковь была полностью исключена из социальной жизни, в том числе и из таких традиционных для нее сфер, как помощь бедным и больным. И вот когда стали рушиться скрепы, связывавшие наше общество общим страхом и общим участием в служении коммунистической культуре, оно оказалось в значительной мере обществом одиночек, способных преследовать лишь узкоэгоистические интересы и не способных к эффективной взаимопомощи. Общество идолопоклонников не знает ни любви к Богу, ни любви к ближним. Гибель идолов еще не приводит сама по себе к Богу и единению в любви. Куда чаще эта гибель заставляет искать новых идолов или поспешно их создавать. Гибель богов тоталитаризма оставляет большую степень свободы, дает больше простора для реализации индивидуалистических интересов и этим как бы провоцирует поклонение мамоне.

Впрочем, нельзя сказать, что при советской власти не было культа личной наживы, стяжательства и денег. Все это существовало, но поживиться можно было либо попав в высшие эшелоны партийно-государственных структур, либо заведомо противозаконным образом, то есть подвергаясь риску. При культуре молока культ золотого тельца находился на нелегальном положении. Сегодня он не возник из небытия, а просто легализовался, стал общедоступным, а притягательным он был и раньше. Грабежи и реквизиции первых лет революции — это было не только насилие, но и личное обогащение. Жизнь кремлевской верхушки с самого начала обеспечивалась комфортом, только их поместья не назывались частной собственностью и могли быть отобраны в момент опалы их владельцев. Конфискации имущества в периоды массовых репрессий тоже были источником обогащения «жрецов молока». В конце войны источником личного обогащения стала реквизиция «трофейного имущества» у немецкого населения, а проще говоря, массовые грабежи. Реально обогащались те, кто имел возможность проводить реквизиции в соответствующих масштабах и обеспечить вывоз этого имущества.

В постсталинские времена жизнь стала устойчивей и появились новые возможности погони за богатством. Фактически происходила смычка аппарата власти с крупномасштабными торговыми структурами. Рыночные отношения неявным образом встраивались в государственную экономику благодаря не очень ясному представлению о собственности. Государство владело всем, но распоряжались государственной собственностью вполне конкретные люди, мало чем отличавшиеся от частных владельцев.

Снятие коммунистических вывесок просто обнажило реальное положение дел и открыло возможность легализации частного капитала, что, в общем-то, само по себе является фактором положительным, ибо стимулирует использование капитала для увеличения производства и оздоровления экономики. Но тут есть опасная либеральная иллюзия — что свободный рынок сам по себе приводит к благоденствию. Сама по себе либерализация экономики — шаг необходимый, но недостаточный, ибо он стимулирует идолопоклонническое сознание только к смене идола — вместо молока возникает поклонение золотому тельцу, погоня за наживой любой ценой. Это и показал первый год реформ.

Здесь мне хотелось бы оговориться. Я отнюдь не считаю, что все столь уж ужасно, как нам это иногда кажется. У меня есть моральное право так говорить, ибо я не

участвуя в «коммерческих структурах», как ныне принято уклончиво выражаться, а мои зарплата и пенсия устойчивого благополучия не обеспечивают.

Конечно, цены время от времени заставляют, мягко говоря, поживать, но я твердо уверен, что лучше, когда мои возможности лимитированы ценой, а не пустыми полками. Не смущает меня и разноречивость в ценах, это естественная плата за удобство покупки: хочешь купить дешевле, поищи, где цены ниже. В черную дыру разорения мы не провалились, а инфляция идет значительно медленнее, чем это могло бы быть. Народ к такому положению дел постепенно приспосабливается, и активная часть населения находит возможность себя обеспечить. Я даже не думаю, что увеличилась бедность самых малоимущих слоев — она просто стала более открытой. Общество, стыдливо прятывая своих бедных и инвалидов (после войны большие города «очистили» от инвалидов войны, собиравших милостыню), перестало это скрывать. С другой стороны, нищим, как мне кажется, охотнее подают. Но этого все равно недостаточно, и наша страна не станет морально здоровой, пока не осознает, что социальная помощь неимущим — одна из главных задач нормального общества. Причем нельзя здесь полагаться только на государственную систему обеспечения, хотя и она, худо-бедно, функционирует. Нужны добровольные общественные структуры помощи бедным, больным и престарелым.

Если либерализация экономики приведет наше общество к тотальному культу золотого тельца, то оно не выздоровеет, но, что хуже, может соблазниться попыткой возвращения к культу молоха, к тоталитарным методам управления социально-экономическими процессами. При этом не столь существенно, произойдет ли это на основе возвращения к старой идеологии или путем изобретения новых идеологических догм на основе христианских, национальных или даже либерально-демократических ценностей.

Сама дилемма, состоящая в выборе одной из возможных форм идолопоклонства, — это тупик, ибо она не предлагает хорошего выбора. Она дурна в своей основе, и проблема состоит в том, как выйти за пределы этого дурного выбора. Здесь мы имеем дело с проблемой не столько социально-экономической, не столько с проблемой проектирования оптимального пути развития нашего государства, сколько прежде всего с проблемой духовной — как избежать любого идолопоклонства, то есть проблемой духовного освобождения. Парадокс посткоммунистического общества состоит в том, что им призваны руководить люди, не до конца освободившиеся от груза воспитанных тоталитарным строем предрассудков, часто дающих о себе знать в попытках преодолеть прежнюю идеологию путем простой инверсии идеологических догм, путем предложения новых утопий, которые должны заменить скомпрометированные.

Опыт прошлого должен был бы нас научить по крайней мере двум вещам: не создавать новых утопий и осуществлять реформы лишь в той мере, в какой они убирают препятствия, мешающие органическому потоку жизни, а не пытаться вводить жизнь в предусмотренные очередным великим теоретиком рамки, а также понимать, в какой мере мы находимся в плену предрассудков, особенно опасных, когда при этом сами осознаем себя свободомыслящими. Подлинно свободный человек тот, кто хорошо чувствует ограничения собственной свободы и не боится поступать вопреки этим ограничениям.

Одно из распространенных ограничений свободы — уверенность в том, что атеизм помогает преодолевать идолопоклонство, что именно отрицание Бога помогает сопротивляться идолам и быть свободомыслящим человеком. Между тем атеизм, как правило, связан с признанием полного детерминизма природы и человека как части природного мира. Признание, что человек как личность обладает неким моментом свободы, признание необусловленности его мыслей и действия природной причинностью означало бы, что он не только природное существо. Атеист не может признать наличие свободы в самой природе, ибо это было бы для него недвусмысленным шагом к пантеизму как мировоззрению, признающему Бога, слитого с природным миром, как бы растворенного в природе. Таково, в сущности, мировоззрение Аристотеля или Спинозы. Для монотеиста оно выглядит почти полной сдачей позиций атеизму, но для атеиста это почти «поповщина», если использовать любимое бранное словечко Владимира Ульянова. Итак, человек, с точки зрения атеиста, не свободен, — каким же образом он при этом может быть свободно мыслящим? Или, может быть, свободно мыслящий атеист полагает свободным себя, но не всех остальных? Или он считает, что в своем ощущении мира и себя он свободен, но фактически подвержен закону причинности? Тогда его свобода — это лишь субъективная иллюзия. В действительности он не только не свободно мыслящий, но и просто не мыслящий, ибо мыслит только тот, кто сам формулирует свои мысли, ищет им подтверждения и контраргументы, то есть вырабатывает свое личное мнение в



результате собственных действий, а не в силу внешнего принуждения. Человек, лишенный свободы, этого делать не может, и его мысли не более чем результат химических или физиологических процессов в его организме и влияния внешней среды. Если бытие определяет сознание, то сознание просто не существует, это артефакт, шизофренический бред машины, вообразившей себя мыслящим существом. Именно таков любой из нас с последовательно проведенной атеистической точки зрения. Несвободный человек — это противоречие в определении, такого человека нет вообще, ибо он не мыслит, не чувствует, не имеет собственных мнений, он лишь субстрат, искаженно ощущающий как собственные мысли и чувства некие запрограммированные в нем химико-физиологические процессы. Можно, конечно, придерживаться и такой точки зрения, поскольку в подобном безумии есть своя система. Но тогда надо быть последовательным и отрицать реальное бытие собственной личности. Тем более не следует настаивать, что именно такое воззрение является высшим проявлением свободы. Это как-то несерьезно. Атеизм не освобождает, но делает человека рабом природных (в лучшем случае) социальных процессов. Атеист не может быть даже революционером, ибо революционер пытается противостоять не устраивающим его внешним условиям, а не признает себя подчиненным этим условиям. Но с помощью атеистической доктрины революционер может управлять другими, внушая им, что они действуют не по его произволу, но осуществляют волю истории. Предводитель масс, жаждущий повести их за собой, должен внушить им веру в идолов, в то, что именно в этих идолах заключено знание объективных законов мира, которые предводитель угадывает, будучи жрецом и главным служителем этого идола. Наша народная беда в том, что мы все еще ждем предводителя, знающего единственно правильный путь будущего развития истории нашей страны. Мы разочаровались в коммунистических вождях — для этого были серьезные основания. Мы продолжаем разочаровываться в демократических лидерах и даже — шире — в политических деятелях, пришедших к власти демократическим путем и использующих в политической борьбе демократические легальные средства. (Последнее относится практически ко всем нынешним депутатам независимо от их личных качеств и характера убеждений.) А может быть, было бы правильнее отказаться от самой попытки найти вождей, за которыми можно безоговорочно идти вслед? Наши руководители не идолы, не сверхчеловеки, а обычные люди, которым на некоторый период доверена власть. Не следует ожидать от них сверхчеловеческой прозорливости и божественной непогрешимости. Можно только требовать большей компетентности и ответственности. Пора перестать воспринимать себя как рабов, ждущих откровений от очередного властителя дум. Для того чтобы стать свободным, необходимо прежде всего поверить в свою свободу как основу человеческой сущности. Эту веру Ветхий завет выражает в виде догмата о том, что человек сотворен по образу и подобию Бога, а не только как материальный объект. Это, собственно, имеется в виду, когда говорят, что человек обладает не только телом, но и душой, то есть тем, что не определяется телесными процессами, но свободно воздействует на эти процессы. В Новом завете представление о свободе человека лежит в основе учения о спасении и искуплении. Апостол Павел так и определяет мучительную миссию Христа — как освобождение от рабства природных законов: «Так и мы, доколе были в детстве, были поработаны вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление... Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не зная Бога, служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им?» (Посл. к Галатам, 4:3—9). Через это усыновление мы в состоянии преодолеть опутывающие нас вещественные начала: страх перед молохом и жажду наживы. Другого пути преодолеть эту дурную дилемму у нас нет. Атеизм делает нас рабами и того и другого, заставляя балансировать между молохом и мамонной, когда, едва добившись некоторой независимости от тотального принуждения, мы становимся рабами стремления к богатству, а испугавшись катаклизмов рыночной стихии, тут же готовы взывать к новому тоталитаризму. Только подчинив оба эти стремления — к стабильности и к свободе — улучшить свое положение — высшим духовным началам, мы сможем выйти из тупика дурного выбора. Важно только не сделать кумира ни из законного стремления к справедливости и порядку, ни из оправданного стремления своим трудом и умением достичь благополучия своей семьи.

Для этого важно хотя бы допустить как возможность наличие собственной свободы, хотя бы не отвергать эту возможность с порога, как это делают и «воинствующие», и «научные», и «свободолюбивые» атеисты. Только злой волей я могу объяснить отказ допустить такую естественную, отвечающую нормальной интуиции

возможность. Я могу понять, когда человек жалуется на отсутствие веры, я знаю по опыту, что у многих людей отсутствует интуиция сакрального (как у других отсутствует музыкальный слух), я представляю трудности, возникающие при попытке принять те или иные религиозные догматы или церковную практику. Не об этом сейчас идет речь, но только об очень простом и естественном допущении, которое открывает путь к освобождению от идолов, которым мы так долго поклонялись.

Разумеется, никакая наука не доказала и не могла доказать отсутствия свободы у человека. Есть только традиция научного описания природы в причинно-следственных категориях. Никаких оснований нет отвергать как иллюзию нашу субъективную уверенность в спонтанности наших реакций на происходящее, наших хотений и мнений. Единственный довод для такого упорства состоит в том, что признание хотя бы теоретической возможности свободы открывает дорогу к религии, снимает главный барьер на этом пути. Но зато помогает отказаться от ложных богов. Более того, осознание истины, что наше существование не определяется окончательно сферой внешних событий, помогает концентрировать наши духовные усилия на главных, центральных моментах жизни каждого человека, на том, что теснее всего связано с нашим личным бытием, отношением к ближним, и меньше расходовать душевных сил на идеологические склоки и мелкое политиканство. Осознание своей незапрограммированности, свободы воли практически помогает личности не обольщаться ни людьми, ни политическими структурами, ни политическими обещаниями. Трагическая история завершающегося столетия, кажется, полностью выявила несостоятельность и опрокинула притязания всевозможных «вождей народов» и политических партий поработить, принизить человеческую индивидуальность и стать для всех и каждого умом, честью и совестью эпохи. А уж коль скоро человек точно знает, что его ум, честь и совесть принадлежат только ему, а не являются производным и зависимым от каких-то внешних сил (как это вытекает из атеистической доктрины), то он не захочет передоверить их ни вождям, ни каким-либо политическим организациям, но постарается с Божьей помощью самостоятельно обустроить собственную жизнь.

Политика — это ведь лишь средство решения определенных (часто достаточно важных) проблем, но в нынешнее время она грозит превратиться в очередное идолопоклонство. К счастью, пик политических страстей как будто позади, мы уже в достаточной мере поняли, «как жить нельзя». Пора приступать к более сложной и не столь скоро решаемой проблеме, «как строить нашу жизнь». Сложность этой проблемы в том, что она не имеет ни чисто универсального, ни сугубо частного решения. Она требует от каждого максимума личных усилий (для религиозного человека они осознаются как направленность на встречу с Богом, на стяжание благодати) и полноты ощущения практической всечеловечности (в христианском плане как реализации любви к ближнему, а в философском — как синергии).

### 3. Рождественские колокола

Я пишу эти строки на исходе рождественских праздников. Расхождение в церковных календарях, по которым отмечают одно и то же событие Восток и Запад, создало в России особую ситуацию. Я не стану здесь владать в аргументы о преимуществах старого и нового стилей или отметить этот вопрос как малосущественный, ибо мне известно, что для определенной части православных он весьма принципиален. Я лишь хочу здесь отнестись к этому расхождению как к эмпирическому факту и указать на имеющуюся в нем положительную сторону в нынешних конкретных условиях, когда для большинства населения России происходит восстановление смысла прежде утраченных праздников. Сочельник 24 декабря по новому стилю (которым мы фактически пользуемся во внецерковной жизни, в том числе привычно отмечая наступление Нового года как официально признанный с 31 декабря 1935 года праздник) не проходит в России незамеченным, но воспринимается как предвестие Рождества. Для тех же, кто празднует Рождество по западному календарю, отмечаемый Русской Православной Церковью Сочельник как бы еще раз подтверждает действительность рождественского чуда. Тем более что этот Сочельник совпадает в западном церковном календаре с очень важным праздником Богоявления, или трех волхвов, первыми из язычников получивших Благую весть. Календарное расхождение как бы продлевает во времени переживание Рождества, делает этот праздник более общечеловеческим, что скорее всего и лучше соответствует духу этого великого события, обращенного ко всему человечеству. Чтобы ощутить подлинную радость Воскресения, нужно быть все же твердо верующим христианином. Радость Рождества доступна гораздо более широкому кругу людей (в том числе и осознающим себя неверующими или не принадлежащими лично к христианской Церкви), ибо

мистическая тайна рождения младенца более внятна простому человеческому восприятию, чем тайна смерти и воскресения.

Благая весть впервые открылась простым людям — пастухам и волхвам. До этого ее предвещали пророки, услышала о ней и смиренно приняла Дева Мария, прикоснулись этой тайне Иосиф-обручник, Елизавета и Захария, но только с рождением младенца Благую весть poznali те, ради кого Спаситель пришел в мир.

Событие, которому суждено было радикально изменить историю человечества, произошло не в царском дворце, не на политическом собрании и не на поле брани. Местом его действия стал вертеп, предназначенный для домашнего скота, где временно нашли себе приют Иосиф и Мария с младенцем, вынужденные вскоре бежать от преследований злобной власти в чужую и когда-то враждебную страну. (Мне все время приходится сдерживать себя, чтобы не назвать волхвов тогдашними интеллигентами, бегство в Египет — вынужденной эмиграцией: евангельские события всегда соотносимы с современностью.) Святое семейство осталось навсегда одним из глубочайших христианских символов, а родственные узы, связывающие Пресвятую Богородицу с матерью Иоанна Крестителя и младшим из апостолов, которому Иисус поручил свою мать, уже находясь на кресте (Иоанн, 19:26—27), полны высокого смысла. Вместе с Марией и Иосифом двенадцатилетний Иисус пришел в Иерусалим на праздник еврейской Пасхи. По окончании праздника Иисус остался в храме, но когда родители нашли Его, то «Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них» (Лука, 2:51). Первое свое чудо Иисус совершил в Кане Галилейской по наущению Матери, хотя сначала ответил на Ее просьбу: «Еще не пришел час Мой» (Иоанн, 2:4).

В Библии брак выступает как символ отношений Бога и Его народа, Бога и Церкви. Апокалипсис фактически завершается описанием Нового Иерусалима — невесты Агнца, символизирующего Иисуса Христа. Сама возможность использовать брачные отношения как символ особо глубокой и таинственной связи многое говорит о том, сколь значительны эти отношения. И, видимо, не случайно то, что представление о семье и браке советский строй стремился сколько возможно исказить, поставив семейные отношения в низший ряд ценностей, стремясь подчинить семейную сферу интересам государства. Правда, попытки полностью обесмыслить и разрушить институт семьи, предпринятые в начале революции, явно не удались: семейная традиция в России оказалась слишком сильной, и даже предававшиеся блуду вожди все же сохраняли видимость семейных форм, хотя в других вопросах не считались с «буржуазной моралью». Что-то, видно, мешало открыто завести на Руси гаремы или предаться свальному греху как законному и добропорядочному делу. И все же семья методически разрушалась. Жизнь в коммунальных квартирах, вынужденная необходимость для женщины работать вне дома и вытекающая отсюда безнадзорность детей способствовали смещению жизни из семейного в общественное пространство. Семья превращалась в придаток государственной структуры, а брак из таинства единения супругов («Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть». — Быт., 2:24) все больше превращалась в акт государственной регистрации, позволяющий легально проживать на общей площади, совместно владеть имуществом и иметь законнорожденных детей. Когда брак теряет свою святость, свое значение сердцевины человеческой жизни, семья размывается и разрушается. В лучшем случае остается нечто вроде добропорядочной артели по совместному ведению хозяйства и содержанию детей. Что получается в худшем, можно и не говорить, поскольку каждый припомнит и приведет множество жутких и отвратительных примеров из жизни супругов в так называемых не сложившихся семьях. Тревожнее всего то, что женщина, призванная дорожить семьей, быть хранительницей домашнего очага, устремилась из дома куда глаза глядят: в работу, в большую политику, едва ли не на баррикады. В разных точках бывшего Союза женщины используют для всевозможных политических игр и комбинаций — они идут впереди отрядов, стремящихся захватить оружие с воинских складов, ложатся на рельсы в Приднестровье. Все это выглядело бы безумием, если б не было чем-то худшим — кощунственным надругательством над самой природой и призыванием женщины.

Мы все время ждем, что какие-то политические вопросы вот-вот решатся, какие-то возможности откроются — и тогда мы начнем обустроить свою жизнь. А в это время рушатся наши дома, утрачивается первоначальный смысл семейного очага, в котором еще язычники полагали присутствие покровительствующих ему богов. В древнем Риме пенаты, боги домашнего очага, почитались и у государственного алтаря в храме Весты как защитники и покровители народа. По преданию, Эней вывез изображения этих богов из горящей Трои в Италию. Величие Рима во многом обуславливала римская семья, воспитавшая римлян способными создать добротное политическое устройство, основанное на правопорядке, и утвердить мощь своих легионов. Падение Рима началось с падения семейных устоев, сказавшегося на общем нравственном климате. Языческий Рим оберегал достоинство личности,

защищая своих граждан от беззакония. Совсем не случайно проповедь Иисуса началась на окраине Римской империи — в других языческих империях такому проповеднику не дали бы малейшей возможности обратиться к людям. Не случайно также и то, что Рим стал кафедрой и местом апостольской проповеди святых Петра и Павла.

В семье говорят тихо, там учат прислушиваться к другим, учат внимательному отношению к ближнему — началу и непременному условию любви. Человек, усвоивший уроки доброго семейного воспитания в раннем возрасте, способен разумно воспринимать и то, что происходит на площади, на политическом собрании. Из этих людей не так просто сделать бессловесную толпу, орущую в ответ на призывы демагогов.

В противоположность «человеку из семьи» человек, воспитанный на площади (то, что в благовоспитанных семьях обозначалось как «уличный мальчик»), не имеет навыка вслушиваться в чужую речь, в нем укореняется привычка к конформизму, к тому, чтобы некритически примыкать к мнениям и настроениям большинства. Лишенный настоящего, полноценного отца, он компенсирует свою безотцовщину через патерналистские структуры. Патернализм ему импонирует (и не столь уж важно, кто выступает в роли покровителя и наставника — «крестный» ли отец, «отец народа», пахан и т. п.). История учит, что здоровыми оказывались только те цивилизации, в которых культивировалось здоровое отношение к семье, хотя бы это и был языческий культ.

И все-таки апофеоз прославления семьи осуществлялся не в языческой, но в монотеистической среде.

Увидев в Святом семействе первообраз любой семьи, источник святости семейного очага и его подлинное основание, мы неминуемо задумаемся о том, что выросший в этом семействе ребенок не сделал своей целью проповедь социальных реформ (явно назревших и в Иудее и в Римской империи), не стал даже тратить силы на обличение власть имущих (как это делал Иоанн Предтеча). Если доволительно воспользоваться современным политическим жаргоном, то миссию Иисуса можно интерпретировать как такое воздействие на человеческие души, после которого необходимые духовные и социальные преобразования просто не могут не произойти.

Да, мы жили так, как жить нормальным людям нельзя. И, к сожалению, мы приспособились к своей зазеркальной, нечеловеческой жизни. В этом состоит самая грустная часть исторической правды, потому что перемены приходится начинать с самих себя. Представим себе на минуту, что так называемые кулацкие семьи не согнаны с насиженных мест и не развеяны в пыль по безбрежным пространствам, а живут в своих родных деревнях. Разве мог бы тогда возникнуть в парламенте спор о земельной реформе, об отдаче земли в собственность крестьянам?! Этот вопрос был бы решен неминуемо, ибо такой путь оказался бы неизбежностью.

Представим себе и то, что современная интеллигенция сохранила прочную семейную связь с дореволюционным образованным слоем, а не оказалась своеобразным компостом из разных социальных слоев — бывших рабфаковцев, детей партийно-советских карьеристов, беглецов из разрушаемой провинции в столичные города, представителей различных национальных меньшинств. Если бы в той интеллигенции, которая сложилась к нынешнему времени и осознает себя (в какой мере справедливо, это другой вопрос!) наследницей традиционной российской интеллигенции, возникшей на основе дворянско-разночинской среды, была реальная преемственность семейного предания, то разве она обольстилась бы так легко реформаторскими мечтаниями партийных лидеров перестройки? (А ведь были обольщения и похуже — некоторые интеллигенты обрадовались «радушным» перспективам, якобы открывшимся с воцарением Андропова.)

Старое поколение интеллигенции в большинстве своем отлично знало, что власть большевиков преступна и верить ей нельзя. Новая интеллигенция, воспитанная при советском строе, могла быть очень критично настроена по отношению к власти, могла даже порождать не только критиков, но и противников коммунистического строя, но она была воспитана в привычке рассматривать этот строй как неумолимую данность и рассчитывала только на его постепенное улучшение. То, что ненавидный, но все же привычный строй так быстро рухнет и его скоростная кончина породит ряд совершенно непредвиденных опасностей и непривычных проблем, мало кто был способен предугадать.

Среди тех, с кем мне доводилось близко общаться в 60—70-е годы, лучше других (наиболее адекватно) осознавали происходящее со страной и со всеми нами людьми, сохранившие семейную преемственность поколений старых интеллигентов. Даже если в семье и царил тот же страх, что и во всем обществе, и родители боялись открыто высказать в присутствии детей свое отношение к действительности, все равно настоящая традиционная семья передавала детям нечто более важное, чем любые слова, — запас родительской любви. А вместе с ней ребенок как бы получал

некий эталон подлинности, некую меру вещам, помогавшие потом уже, во взрослой жизни, почувствовать фальшь всепроникающей официальной болтовни и ложный пафос политической демагогии.

Мне кажется, что сегодня интуитивное понимание метафизической (сверхприродной) значимости семейных уз начинает пробивать себе дорогу как поиск и утверждение собственных корней. (Одна знакомая киргизка, помнится, как-то сказала мне, что у них принято, чтобы каждый человек помнил девять поколений своих предков. Необходимость так подробно отслеживать свою родословную — хороший стимул для уважительного отношения к семье.) Евангелие начинается с родословной Иисуса, и эта родословная подчеркивает значимость Святого семейства и земных родителей Иисуса. В этой родословной фигурируют патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Иуда, бесконечно трогательная в своей преданности первой свекрови моавитянка Руфь, великие цари иудейские — псалмопевец Давид и мудрец Соломон, многие другие из этой родословной также упомянуты в Ветхом завете, но много среди них и людей безвестных. Даже самая блистательная родословная включает в себя и людей вполне обыкновенных, заурядных, блеск родословной, как видно из настоящего примера, зависит от того, чья это родословная. Родословная сама по себе не заслуга, но свидетельство о включенности в историю, которое должно подпитывать чувство ответственности перед предками и потомством. Думаю, что для любого человека важно чувствовать себя наследником традиции, перед которым стоит задача передать эстафету следующим поколениям. Ощущение участия в духовной эстафете поколений в особенности свойственно некоторым специфическим профессиям: учителя и научного работника, священника и философа... Представители этих профессий принадлежат определенной культурной традиции и занимаются передачей традиции ученикам, прихожанам и коллегам. Но и здесь образцом для ячейки, в которой происходит такая передача, оказывается семья. Настоящий учитель выступает в роли отца, а религиозные христианские общины издавна осознавали себя семьями. И наоборот, апостол Павел писал о детях, что «они прежде всего пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу» (1 Посл. к Тимофею, 5:4).

Сегодня в нашей стране началась реабилитация религии, и масса людей, казалось бы совершенно забывших церковные традиции, спешат обрести духовное убежище под церковными сводами. Мне не хотелось бы насмехаться над теми, кто, едва позабыв исповедуемый коммуно-атеизм, истово крестится перед иконостасом. В Евангелии от Матфея есть на сей счет притча о хозяине виноградника и рабочих, которые приступали и с утра и с середины дня и приходили к концу дня, а получили все по динарию. А всем, кто роптал, хозяин ответил: «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе» (Матф., 20:1—15).

Даже если религиозность кого-то из новообращенных поверхностна и лицемерна, то и это не такая уж беда. Ларошфуко говорил, что «лицемерие — это дань, которую пороки платят добродетели». Если порок считает нужным платить дань добродетели, то это обстоятельство уже само по себе свидетельствует о доброкачественности общества. В дурных обществах порок взимает дань с добродетели. В коммунистическом обществе людям приходилось изображать из себя более жестоких и непримиримых бойцов, чем они были на самом деле, ибо в стране Советов, по словам поэта, «били морду за милосердие, рвали глотку за доброту».

Не стоит обольщаться и нам самим, переоценивая степень собственной религиозной просвещенности. Да и нельзя рассчитывать, что человеку может так вот запросто открыться вся полнота истины. Рождественские колокола возвещают нам наиболее внятную для каждого сторону великой истины: полнота святости явилась нам в беззащитном младенце, родившемся в вертепе. Это весть о Святом семействе, которой освящается каждая семья как источник любви и с которой детям предстоит вступить в жизнь. Она обращена не только к тем, кто ощущает себя уверовавшим, но ко всем людям доброй воли.

Рождество младенца Иисуса — свидетельство тому, что человек существует не только в сфере природной обусловленности, оно разрывает неумолимую цепь причинности и дает надежду, что мы, люди, не запрограммированные игрушки в руках природных сил, но изначально свободные личности, обладающие собственной волей и призванные совершать поступки по своему разумению, сверяя их исключительно лишь с высшими — Божественными заповедями Правды и Любви. Без этой надежды оказались бы бессмысленными все наши мечтания о существовании, достойном человека, и оставалось бы лишь безропотно поклоняться идолам детерминированной вещественной реальности. Впрочем, сама возможность усмотреть наличие экзистенциального выбора, не предопределенного внешними условиями, есть явное свидетельство фундаментальной свободы человека.



## НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ЛИЧНОСТЬ

**Г**осударство рождается единожды. Но видоизменяется и трансформируется многократно. И когда это происходит, меняются его географические очертания, формы правления, политические и экономические уклады. Но остается нечто постоянное и нетленное: дух народа, его культура, груз прошлого, порыв в будущее. Сейчас Россия как раз переживает период становления своей очередной новой государственности. Если вспомнить, что две последние попытки потерпели крах, то становится понятна вся ответственность момента — другого шанса уже может не представиться.

Семьдесят лет большевистского правления истожили ее физически и духовно. Совершенно закономерно, что в такой ситуации идет активный поиск различных моделей общественного развития. Загадку России в очередной раз пытаются разгадать многочисленные партии и политики, которые скрещивают между собой отнюдь не бутафорские мечи. Положение усугубляется тем, что мы стали очевидцами и участниками сразу нескольких эпохальных событий: потерпел крах социализм, распался СССР, начался переход к рыночным отношениям. Страна, по сути дела, превратилась в один обнаженный нерв. Миллионы людей сбиты с толку, потеряли ориентиры, часть их ощущают себя так, словно они лишились родины и превратились в эмигрантов, не переступив порога собственного дома. Неудивительно, что поиск выхода из создавшегося положения стал почти всеобщим.

Одни призывают вернуться к старым ценностям, другие — взять на вооружение западный опыт, третьи — идти исключительно своим путем. И пока идут споры, государственный корабль дает все больший крен, народ переживает глубочайший моральный стресс, административный аппарат все более коррумпируется. Простой же человек все меньше понимает происходящее, он испытывает растерянность, переходящую в озлобление, ибо выхода из создавшегося положения не просматривается. Поиск путей дальнейшего движения государства все сильнее приобретает апокалиптический характер, когда буквально любая дискуссия превращается в разговор о судьбе России, о ее крахе.

Но что может действительно направить огромный российский корабль к причалу процветания? Мы привыкли ко многим клише. И одно из них: Россия — великая держава. Взятая в общеисторическом контексте, эта мысль не вызывает особых возражений, что подтверждает и роль, которую играла она в мировой цивилизации. Но и страшный кризис, пережитый страной в XX веке, тоже, по-видимому, был не случаен, а предопределен всем ее предыдущим развитием. Выходит, одного величия недостаточно, дабы создать процветающее государство. Или, иными словами, статус великодержавности отнюдь не означает автоматического благополучия, не защищает от любых возможных катастроф. Но в таком случае в чем смысл этого величия и является ли оно благом само по себе?

Россия издавна жила почти мистическим ощущением своей великой исторической миссии, собственной богоизбранности, уникальности, обособленности от остального мира. Государственная, державная идея у нас всегда превалировала над всем остальным. И прежде всего над идеей гражданской. Именно державная идея заставляла страну беспрерывно расширять свои просторы, мало заботясь о целесообразности этого занятия.

Правда, о своей особой исторической роли грезили не только россияне. Практически каждая крупная нация в те или иные исторические периоды прошла через подобный соблазн. И каждая подкрепляла его теми аргументами, которые имела в наличии. Так, немцы гордились своим умением организовывать порядок, англичане — своей промышленной мощью, государственным устройством, французы — высокой культурой. Россия свои претензии на мировое лидерство подкрепляла необозримыми просторами, удалью молодецкого штыка, а последние семьдесят лет — выступая в качестве создателя нового, бесклассового общества. То есть с самого начала были выбраны наименее рациональные и наиболее неэффективные формы общественного развития, которые работали не столько на созидание, сколько на истощение народных сил. Вместо того чтобы окультивировать уже имеющиеся территории, страна была вынуждена затрачивать все новые и новые усилия на

освоение завоеванных земель и на приведение в покорность проживающих на них племен. Но если, к примеру, в Англии сходные процессы сопровождались увеличением национального богатства метрополии, то развитие России было заморожено феодализмом и территориальная экспансия мало подкреплялась экономическим ростом.

В середине XIX века в Америке существовало рабство, но одновременно и одна из самых развитых на тот момент демократий. И потому, естественно, после ликвидации рабовладения Америка весьма быстро устремилась по пути процветания: демократическая база для успешного экономического развития уже существовала. В России же эмансипация крестьян ввиду слабости демократической традиции породила общественную нестабильность, разброд и смуту.

В американской истории роль территориального фактора тоже была очень значительной, но в отличие от России она оказалась созидательной, а не разрушительной. Американская идея, или, по выражению самих американцев, «американская мечта», заключается в том, что с самого начала она опиралась и была направлена на человека, а не на государство. Была сделана ставка на личность, ее предприимчивость и успех (то есть как раз на то, что всегда насильственно и морально подавлялось в России). Именно подобная интерпретация национальной идеи и позволила США стать не только страной с обширной территорией, но и с развитой демократической системой, с высоким уровнем жизни. Здесь общенациональная идея совпала с идеей личностной, и понятие государственности наполнилось, таким образом, реальным созидательным содержанием.

Я далек от мысли, чтобы сводить национальную идею исключительно к идее личного успеха. И уж тем более не считаю, что «американская мечта» — это эталон национальной идеи, ее высшее достижение. Все гораздо сложнее. То, чего удалось добиться Америке, это лишь ступень, промежуточный этап на пути восхождения человечества к вершинам цивилизации. Но американский опыт показателен в том смысле, что вопросы национально-государственного строительства нельзя решать вопреки и в обход человека, без учета интересов отдельной личности, а народ нельзя превращать в заложника или инструмент для претворения в жизнь чьих-то умозрительных конструкций, какими бы внешне благородными и привлекательными они ни выглядели. Но именно это пытались сделать сперва российские самодержцы, затем русская разночинная интеллигенция и наконец большевики. Методы были разными, но в одном они сходились: для наших правителей собственный народ никогда не был народом, состоящим из отдельных личностей, каждая из которых имела свои индивидуальные желания и планы на жизнь, а представлял некую абстрактную общину, чье изначальное предназначение было следовать тем путем, который прокладывают для него его духовные пастыри и идейные вожди.

Когда нынешние национал-государственники призывают вернуться к национальным традициям и национальным истокам, то при этом они почему-то забывают, что сегодняшнее печальное положение государства во многом и есть результат следования этим национальным традициям. Вопрос заключается не в том, чтобы отказаться от них, перечеркнуть национальную историю — это смерть, — а в том, чтобы разорваться в полученном наследстве и отказаться от той его части, которая завела Россию в исторический тупик.

Сейчас происходит возврат ко многим ценностям, некогда насильственно отторженным или преданным анафеме. И в первую очередь это касается Православной Церкви. То, что она постепенно занимает по праву принадлежащее ей место в жизни общества, можно только приветствовать. Однако это еще не повод для эйфории: не стоит забывать, что русский народ в семнадцатом году был на 99 процентов верующим. Но это не предохранило государство от безбожной революции, от проявлений необузданной жестокости. Тысячелетняя история православного христианства в России показывает, что Церковь, увы, далеко не всегда в состоянии спасти страну от самогеноцида и распада.

Нет смысла подробно останавливаться и на всем хорошо известной роли, которую сыграл протестантизм в становлении капитализма на Западе. Русское православие, напротив, противилось любым социальным новациям и, как правило, отставало наиболее косные, архаичные, а зачастую и откровенно реакционные формы социальной жизни. В Западной Европе католические и протестантские конфессии всегда были в значительной степени независимыми от светской власти. И когда человек приходил в храм, на него также как бы распространялась эта независимость. Он подсознательно чувствовал, что находится в другом мире, что влияние и сила государства не беспредельны.

С образованием Петром I Синода Православная Церковь лишилась даже той толики свободы, которую имела. В итоге люди оказались полностью беззащитными перед господством над ними светской власти, что не могло не отразиться на формировании определенной ментальности. Православные священники призывали человека прежде всего к смирению и святости, а уж потом к рачительности и трудолюбию, как это делали протестантские пастеры. Было бы, конечно же, несправедливо отрицать огромное значение накопленного Русской Церковью духовного опыта. Но опыт этот часто оказывался слишком далек от содержания реальной жизни, от стоящих перед обществом проблем. Сегодня много говорится о необходимости духовного возрождения. Но в этой замечательной формуле не заложено ли чересчур много лукавства? Сколько лет или тысячелетий ждать нам его, какие побудительные причины заставят народ вдруг духовно возродиться? Потаенный смысл этих призывов — не в старорусском ли нежелании активного труда, стремлении к отвлеченному созерцанию и отстраненности от грубой действительности?

Глубокие преобразования, которые ожидают Россию, вновь и вновь ставят на повестку дня вопрос о сохранении уникальности и самобытности России. Утверждение, что Россия должна двигаться только своим путем, является излюбленным тезисом национал-государственников. Но у этих популярных лозунгов практически отсутствуют приложения, разъясняющие, в чем же конкретно должна заключаться эта самобытность. Если взглянуть на русскую самобытность реально, прикинуть те варианты, которые в самом деле возможны, то их окажется не более двух. Первый — воссоздание патриархальных форм бытия, восстановление крестьянской общины, отказ от индустриального развития, опора исключительно на цезарепапистские идеалы. Второй — сохранение социалистических ценностей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоит ли говорить, что претворение ни того, ни другого варианта сегодня практически невозможно. То, что воспринимается как «европеизация» России, совсем не означает денационализацию России, писал Бердяев. Самобытность России не должна мешать ее прогрессу, вхождению в общий поток цивилизации. Если повнимательней присмотреться к любой из европейских стран, то выяснится, что она имеет ярко выраженное собственное лицо, что не мешает ей, однако, считать себя членом единого европейского сообщества и стремиться к дальнейшей интеграции в него. Самобытности России угрожает не сближение с остальным миром, а самоизоляция под видом самобытности, что приведет к дальнейшей консервации отсталости и нецивилизованности. Но именно национал-государственникам это как раз и по сердцу, ибо позволяет без конца играть на одних и тех же струнах. Национал-государственники любят не Россию, а свой образ России, свою заботу о ее благе... Нам следовало бы перестать конструировать отвлеченные национальные идеи и принуждать людей следовать этим абстрактным построениям. (События в бывших республиках Союза и в некоторых регионах России показывают, что получается, когда национальная идея становится знаменем.)

Так что же может спасти Россию? И не только спасти, но наконец вырвать ее из злостного круга, препятствующего свободному развитию?

Проповедниками и реализаторами национальной идеи в России традиционно выступали преимущественно две силы — сановная бюрократия, для которой национальная идея смыкалась с идеей великодержавия и которая век за веком эксплуатировала народные силы во имя осуществления собственных имперских амбиций, и революционное движение, готовое пожертвовать страной ради воплощения своих социальных утопий. Правда, была еще и третья сила — интеллигенция, пытающаяся по-своему решить «загадку» России. Однако и она зачастую в качестве национальной идеи выдавала идеи собственные. К тому же интеллигенция воспринимала и трактовала национальную идею как некую застывшую, раз и навсегда установленную данность, но не как просто нормальную открытую и динамичную концепцию, находящуюся вместе с самим обществом в постоянном движении и потому нуждающуюся в перманентной корректировке и уточнении.

Безусловно, интеллигенция есть выразитель национального духа народа, но по-настоящему она сможет выразить его тогда, когда и интеллигенция и народ являются свободными. Народ же, прозябающий в рабстве, лишенный возможности самовыражения, просто не способен осознать своего истинного предназначения. Попытки же говорить от его имени ничем иным кроме как трагедией завершиться не могут.

Задача образования демократии есть задача образования национального характера, образование же национального характера предполагает образование личност-



ного характера, говорил Бердяев. В этих словах заключена, по сути дела, вся программа того пути, который предстоит нам пройти.

Либерализм, демократическая идея выдвигают на первый план свободу и независимость личности, ее созидательную и целеустремленную волю. На нынешнем этапе либеральная идея в России носит, может быть, чересчур материальный характер. Будучи в первоначальном состоянии, она неизбежно вносит в жизнь множество неприятных явлений: стяжательство, эгоизм, стремление к скорой и огню не всегда праведной наживе... Что ж, «свобода приходит нагая». Этого не следует пугаться, ибо, как верно заметил тот же Бердяев, постыдно для духа бояться материального развития и цепляться за материальную отсталость...

В течение всей своей истории бурлаком, тянущим вперед Россию, была бюрократия. Она доказала, что способна сотворить супердержаву, но не способна обеспечить благосостояние и процветание ее жителям. В ситуации, когда государство распадается, экономика слабеет день ото дня, велик соблазн вновь оседлать идею державности, остановить всеобщее разложение твердой рукой авторитарной власти. Но таким образом можно лишь на какой-то срок задержать развитие негативных процессов, ибо не будут устранены их источники. От державной идеи мы должны наконец перейти к идее личностной, сделать ставку на индивидуальную свободу и предприимчивость. И это отнюдь не убивает национальную идею, наоборот, делает ее органической, стоящей на реальной почве. Если мы хотим видеть Россию действительно великой, то должны прежде всего вернуть достоинство и самоуважение русскому человеку, каждому россиянину, помочь ему подняться, расправить плечи, вдохнуть полной грудью. И уж потом он сделает страну такой, какой мечтали всегда ее видеть настоящие патриоты, — великой и процветающей...

В 1993 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ДОРА ШТУРМАН

У края бездны

*Корниловский мятеж глазами историка и современников*

«Среди множества стереотипов советского исторического мышления, которые бессознательно воспринимались нами еще в детстве и затем сопровождали нас всю жизнь, представление о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове как о белогвардейце-монархисте, реакционере и потенциальном диктаторе было одним из самых устойчивых. Оно долго не вызывало у большей части моего поколения никаких сомнений (разумеется, я говорю о тех, кого знала). Мелкий эпизод эпохи керенщины, одно из доказательств правоты Ленина и большевиков, свергнувших Временное правительство, не более. Между тем не только за рубежом с начала 20-х годов выходили объемистые тома недоступных для нас материалов и документов, но даже в СССР конца 20-х и начала 30-х годов еще публиковались документы и материалы, опровергавшие стереотипные советские представления о так называемой корниловщине, октябрьском перевороте и гражданской войне».

***Не забудьте вовремя продлить  
Вашу подписку на вторую половину 1993 года!***

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА

\*

## К ИСТОКАМ «ТИХОГО ДОНА»

### ВВЕДЕНИЕ

«...В рагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи... Чтобы неповадно было клеветникам и сплетникам, мы просим... помочь нам в выявлении «конкретных носителей зла» для привлечения их к судебной ответственности.

По поручению секретариата Российской ассоциации пролетарских писателей: А. Серафимович, Л. Авербах, В. Киршон, А. Фадеев, В. Ставский»

(«Правда», 29.3.29)<sup>1</sup>.

Так закончилась первая дискуссия: письмо «пролетарских» писателей квалифицировало сомнение в авторстве «Тихого Дона» как государственное преступление. Реальность выявления «конкретных носителей зла» была настолько осязаемой все эти годы, что лишь спустя сорок пять лет вопрос об авторстве вновь возник на поверхности литературной и общественной жизни и был подвергнут публичному обсуждению.

Тон и направление дискуссии задали два независимых, появившихся почти одновременно исследования. Первое из них, не завершенное из-за кончины автора, «Стремля „Тихого Дона“. Загадки романа», вышло в 1974 году в парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС под псевдонимом Д. Псевдоним был раскрыт в мае 1990 года издателем книги Н. А. Струве: автором «Стремени...» оказалась литературовед И. Н. Медведева-Томашевская.

Не меньшей сенсацией явилась книга Р. А. Медведева «Кто написал „Тихий Дон“?», вышедшая за границей на французском, а несколько позже, в ином варианте, на английском языке. Попавшая в резонанс со «Стременем...», она усилила критическую «антишолоховскую» волну, добавив в дискуссию новые аргументы и факты.

Что же послужило причиной возобновления, казалось, уже давно и успешно похороненной дискуссии? Почему сразу два исследователя независимо друг от друга взялись за обширнейшую и опасную (!) тему, требовавшую долгих напряженных усилий?

### Завязка

Появление этих книг имело свою предысторию. Толчок лавине, докатившейся до наших дней, дала статья ростовского журналиста В. Моложавенко «Об одном незаслуженно забытом имени» («Молот», 13.8.65), которая впервые в советское время рассказала о судьбе и творчестве донского писателя Ф. Д. Крюкова. Реакция властей, последовавшая за публикацией статьи о писателе «народнического» направления, друге В. Г. Короленко, многолетнем сотруднике «Русского богатства», оказалась неожиданной. Раздражение было столь велико, что спустя год в центральной газете («Советская Россия», 14.8.66) появилась ответная разгромная статья «Об одном незаслуженно возрожденном имени», утверждавшая, что это имя вспоминать не надо.

Судя по всему, такое раздражение было вызвано двумя обстоятельствами: самим упоминанием запретного имени писателя («Нынешнему поколению читателей почти неизвестно имя Федора Дмитриевича Крюкова. Между тем его по праву можно

<sup>1</sup> Здесь и далее в цитатах разрядка наша. — А. М., С. М.

считать одним из крупнейших донских литераторов дореволюционного периода...») и контекстом, в котором оно было названо,— указанием на трагическую кончину от тифа весной 1920 года и потерю при этом всего литературного архива, «заветного сундучка» («В жарком тифозном бреду... судорожно хватался за кованный сундучок с рукописями... словно чуял беду, и, наверное, не напрасно... бесследно исчезли рукописи...»).

Сегодня, четверть века спустя, кое-что в этой истории становится понятным (см., например, беседу с дочерью Ирины Николаевны Зоей Борисовной Томашевской в петербургской газете «Литератор» (№ 13(67), апрель, 1991). Оказалось, что часть литературного архива Ф. Д. Крюкова сохранилась в семье его друга Н. П. Асеева, у которого он проживал в Петербурге в дореволюционные годы. В. Моложавенко приезжал в Ленинград к М. А. Асеевой, хранившей в 60-е годы архив, познакомился с ним. После его статьи к М. А. Асеевой пришли несколько человек, представившихся журналистами из «Советской России». Они тоже познакомились с сохранившейся частью архива и при этом, по словам М. А. Асеевой, бесконтрольно много изъяли из него!

События, разыгравшиеся вокруг статьи В. Моложавенко, показали прямо-таки болезненную чувствительность официальных литературных властей даже к простому упоминанию имени дореволюционного донского писателя, который первым в русской литературе дал по всем объемам и полноте картину жизни донского казачества. Именно эти круги были фактически первыми, кто ревниво, хотя и невольно, противопоставил два литературных имени — М. А. Шолохова и Ф. Д. Крюкова.

Грозная статья в «Советской России» на целое десятилетие закрыла любое возможное обсуждение вопроса в стране. Однако она имела для всего вопроса и неожиданное следствие, может быть даже — решающее. Тревога за судьбу архива Крюкова привлекла к этой проблеме внимание Александра Исаевича Солженицына. Подробно эта сторона событий рассказана им самим в дополнениях к литературным воспоминаниям «Бодался телёнок с дубом» («Новый мир», 1991, № 12). В конечном счете участие, которое приняли в судьбе архива А. И. Солженицын и близкие к нему люди, помогло сохранить до наших дней оставшуюся часть архива Крюкова и привлечь к разрешению проблемы опытного литературоведа И. Н. Медведеву-Томашевскую. Чтобы «читать эту великую книгу наконец без сумбурной наслоенности, вставок, искажений, опусков — вернуть ей достоинство неповторимого и неоспоримого свидетеля своего страшного времени»<sup>2</sup>.

Ирина Николаевна и ее муж, известный пушкинист Б. В. Томашевский, принадлежали к тем узким кругам столичной петербургской интеллигенции, где уже в 20-х годах возникал вопрос о плагиате. Еще сохранявшиеся тогда в интеллигенции нравственные представления и высокая профессиональная квалификация исключают случайность либо злонамеренность мотивов. Более того, с самого начала называлось и конкретное имя — имя Федора Дмитриевича Крюкова, четверть века писавшего на донские и общероссийские темы, жившего в дореволюционные годы в Петербурге и на Дону и лично хорошо известного многим уцелевшим петербуржцам. Другим важным обстоятельством для Ирины Николаевны стало ее знакомство с петербургской частью литературного архива Крюкова. Непосредственное соприкосновение с творчеством писателя послужило отправной точкой в научном поиске и привело автора «Стремени...» к убеждению в реальности плагиата.

Так с самого начала возобновившегося обсуждения проблемы авторства «Тихого Дона» в работах признающих, отвергающих или сомневающих неизменно возникает фигура донского писателя, принявшего участие в освободительной борьбе против большевистской диктатуры и погибшего от тифа на Кубани весной 1920 года.

### Начало открытой дискуссии

Для исследователя, усомнившегося в авторстве М. А. Шолохова, чисто теоретически существовало (и существует!) два возможных направления в поисках истины. Наиболее простым путем, непосредственно ведущим к разгадке, видится обращение к архивам, поиск сведений и свидетельств современников. В советском обществе каждый более или менее заметный человек, а известный писатель с мировым именем во всяком случае, находился под неусыпным и постоянным наблюдением. Поэтому

<sup>2</sup>А. Солженицын, «Предисловие к „Стремени...“» (стр. 13). «Цель этой публикации — призвать на помощь всех, кто желал бы помочь в исследовании. За давностью лет, за отсутствием вещественных рукописей нынешняя постановка вопроса — чисто литературоведческая: изучить и объяснить все загадки «Тихого Дона», помешавшие ему стать книгой высшей, чем она сегодня есть, — загадки его неоднородности и взаимоисключающих тенденций в нем» (там же).

исчерпывающая информация может храниться в архивах соответствующих органов, например в архивах ЦК КПСС. Естественно, что и четверть века, и даже пять лет назад у исследователей не только не было возможности обратиться в архивы за нужной информацией, но сама попытка, простой интерес к проблеме авторства грозили человеку серьезными последствиями.

Остался другой путь — привлечь в свидетели «Тихий Дон». Для этого требовалось взять опубликованный Шолоховым текст и подвергнуть его всестороннему анализу, чтобы найти в самом тексте аргументы против авторства Шолохова или в пользу его. Именно по этому пути, причем, как оказалось, весьма продуктивному, направила свои усилия автор «Стремени...». И. Н. Медведевой-Томашевской было проведено скрупулезное литературоведческое исследование текста в разных его редакциях, анализ структуры, идейной и поэтической направленности романа.

В основу своего метода она положила некий эталон поэтики автора: это «поэтическая интерпретация фольклорной темы», определившей самое «сцепление мыслей», то есть «поэтический замысел-образ», и героев произведения. Данный метод позволил исследователю обнаружить наличие в тексте «Тихого Дона» «двух, совершенно различных, но сосуществующих авторских начал» и объяснить последние причины неоднородностей и взаимоисключающих тенденций в тексте. «Если говорить о духовной сути эпопеи,— пишет автор «Стремени...»,— то здесь наличие... высокого гуманизма и народолобия, которые характерны для русской интеллигенции и русской литературы 1890—1910 годов» (стр. 15—16).

Работа же «соавтора» разительно отличается от «авторского» текста. «Для сочиненного «соавтором» прежде всего характерна полная независимость от авторского поэтического замысла-образа... Здесь нет поэтики, а есть лишь отправная голая политическая формула... Эта формула... прямо противоположна мыслям автора-создателя». И наконец, «язык «соавтора»... отличается бедностью и даже беспомощностью, отсутствием профессиональных беглости и грамотности» (стр. 16—17).

Научный подход к изучению текста романа, профессиональный уровень решения языковой проблемы текста и выдвижение самостоятельной гипотетической концепции стали пробным камнем для дальнейшего исследования загадок «Тихого Дона». Не имея возможности подробно остановиться на анализе текстологических наблюдений Ирины Николаевны, подчеркнем их безусловную значимость и доказательность.

Мы не можем в полной мере оценить вклад Медведевой-Томашевской в разрешение вопроса об авторстве «Тихого Дона», ибо начатое и фрагментарно опубликованное исследование осталось незавершенным. Смерть прервала работу: незаконченными оказались заключительные обобщающие главы «Стремени...», обширная информация в черновиках не получила освещения и обобщения. Уже один этот факт создал атмосферу «уязвимости» «Стремени...». Однако существуют и другие основания для критики как отдельных положений этой работы, так и всей концепции в целом. Остановимся кратко на слабых сторонах книги.

При всех достоинствах и новаторстве метода, применение «эталона поэтики» к таким характеристикам, как психологическая и идейная направленность текста, показало сильную зависимость конечных выводов от субъективных оценок исследователя. Таким образом, стало очевидно, что необходимы строго объективные критерии изучения текста «Тихого Дона», на основании которых можно выяснить происхождение текста, его структуру, точно выделить границы отдельных частей и т. д.

Субъективность оценок исследователя и ненадежность выводов становятся заметными и еще по одной причине. Между ушедшей Россией, описываемой в романе, и Россией современной пропасть легла революционная эпоха, спугав и переменив привычные представления. Способность исследователя в полной мере, точно воссоздать основные исторические вехи, дух и уклад старой жизни должны входить в исследование «Тихого Дона» неотъемлемым элементом. Приведем лишь один пример того, как может повлиять на конечный результат неточность представлений исследователя.

Нецензурную брань простого урядника 28-го полка Якова Фомина по адресу донского атамана Краснова (гл. 14 шестой части) Ирина Николаевна расценивает как психологически невозможную, поскольку это будто бы противоречит всем казачьим традициям службы и верности долгу. Первая ошибка — не выявлено происхождение фрагмента. Эпизод этот попал в текст из воспоминаний донского атамана П. Н. Краснова «Всевеликое Войско Донское».

Вторая ошибка связана с неточными представлениями автора «Стремени...» о вооруженной борьбе на Дону. Многолетняя война вызвала моральное разложение армейских и казачьих частей. Свидетельство П. Н. Краснова как раз показывает степень разложения казачьих полков зимой 1918/19 года, приведшего к развалу фронта и захвату Красной Армией большей части Донской области.

В заключение мы хотим обратить внимание на незавершенную часть работы. Публикация оставшихся материалов из архива автора «Стремени...» и их систематизация ввели бы в научный оборот значительный массив ценной информации по многим вопросам текстологии романа и позволили бы основательнее отнестись к предложенной концепции. Вспоминая с благодарностью проделанную И. Н. Медведевой-Томашевской работу, мы еще раз подчеркиваем пионерский характер исследования, впервые поставившего вопрос об авторстве «Тихого Дона» на научное основание.

Р. А. Медведев подошел к решению вопроса с несколько иной стороны, попытавшись выделить общие типологические характеристики текста «Тихого Дона» — нарисовать авторский портрет: «...если бы «Тихий Дон» был издан... анонимно, то кто из советских или русских писателей мог бы наиболее соответствовать нарисованному выше примерному «слепок» авторской личности?»<sup>3</sup>

Положив в основу метода сопоставление и параллельное исследование произведений двух возможных претендентов на авторство — М. А. Шолохова и Ф. Д. Крюкова, он дополнительно сравнил полученные результаты с доступными биографическими сведениями о двух писателях. Избранный им метод оказался весьма продуктивным: сделаны интересные наблюдения над текстом романа, выделены многочисленные противоречия и ошибки в «Тихом Доне», редакционные вставки и изменения, собрано много биографических данных. Особый интерес представляют сведения о Федоре Дмитриевиче Крюкове, практически неизвестном до 1990 года современному российскому читателю. Тем самым был сделан шаг к популяризации самой проблемы и всей многоплановой информации, основанной на свидетельствах и рассказах живых людей и извлеченной из архивных и документальных материалов того времени.

Исследование Р. А. Медведева дало новые серьезные основания для постановки вопроса об авторстве: «...в целом личность 23-летнего М. А. Шолохова весьма разительно не соответствует тому «слепок личности автора», который можно было бы сделать по роману «Тихий Дон»... И если бы мы... указали на 50—60 главных отличительных качеств автора... то личность молодого Шолохова, как об этом можно судить по «Донским рассказам» и известной нам биографии писателя, совпала бы с личностью автора «Тихого Дона» только по 5—6 пунктам».

И все же ответить на основной поставленный вопрос: кто написал «Тихий Дон»? — исследователь не смог. Ни достоверных доказательств использования Шолоховым произведений Ф. Д. Крюкова при работе над «Тихим Доном», ни пределов и степени вмешательства Шолохова в предполагаемый первоначальный текст Крюкова Р. А. Медведевым установлено не было. Внимательно приглядимся к концептуальной стороне книги Медведева, чтобы понять причины неудачи в главном вопросе.

В исследовании творчества и биографии Шолохова возникают две основные трудности. Первая связана с отсутствием достоверных биографических сведений о начале его литературной карьеры и первых годах писательства. Такое положение возникло не случайно, вызвано поведением самого Шолохова и требует от исследователя работы в архивах, а также поиска устных и письменных свидетельств о деятельности Шолохова (и его окружения) на заре его литературной жизни. Вторая трудность связана с тем, что слабые связующие нити между «Тихим Доном» и остальными произведениями Шолохова не дают ответа на вопрос о характере и направленности этих связей. В «Донских рассказах» и «Поднятой целине» можно иногда обнаружить фрагменты, близкие к «Тихому Дону» по стилю и языку. У нас нет никаких оснований исключать возможность того, что все эти фрагменты могут быть как-то связаны с тем же исходным текстом неизвестного автора, который, как предполагается, лежит в основе «Тихого Дона».

С Крюковым еще сложнее: среди его произведений, опубликованных при жизни, известны лишь рассказы и повести. Жанровое различие между «Тихим Доном» и ранними рассказами Крюкова столь значительно, что от их типологического сравнения трудно ждать однозначного результата. Существенную помощь могли бы оказать его публикации или черновики периода гражданской войны на Дону, однако материалы такого рода Медведевым привлечены практически не были. Попытка напрямую связать деятельность Ф. Д. Крюкова на Дону с описанными в романе событиями не удалась.

<sup>3</sup> «Вопросы литературы», 1989, № 8, стр. 152. В этом номере из книги Р. А. Медведева опубликована одна глава, на русском языке пока единственная. Кроме того, приведен его же ответ на критику книги со стороны профессора Принстонского университета Г. Ермолаева.

Разбирая часть работы, посвященную Ф. Д. Крюкову, мы видим отсутствие у Р. А. Медведева достаточно полных и надежных биографических данных. Хотя в этом случае вопрос с биографией стоит иначе, чем в случае с Шолоховым: ни Крюков, ни близкие его друзья не ставили задачу как-либо скрыть факты и события его жизни. Главное значение здесь скорее имели действия представителей новой власти, против которой до последнего дня боролся Ф. Д. Крюков. Не последнюю роль в замалчивании Крюкова и его произведений в советское время сыграло и советское шолоховедение.

В целом можно указать на наличие в концепции Медведева существенного внутреннего противоречия. С одной стороны, типологизация как основной метод исследования предполагает определенную внутреннюю однородность и единство текста либо объединение при создании текста фрагментов разных авторов в слабо измененном виде. В то же время Медведев одним из выводов и результатов своего исследования утверждает неоднородность и гетерогенность текста. Отмечая многочисленные случаи чужеродного редакторского вмешательства «соавтора» в текст романа, никаких надежных способов определения, выделения чужеродных фрагментов, редакторских вставок, «соавторских» компилиций исследователь не дает (и в рамках используемого метода дать не может).

Впрочем, следует сказать, что сам Р. А. Медведев хорошо понимал сложность проблемы, когда писал, что гипотеза Д' «автор-соавтор» «является не столь уж беспочвенной, хотя общая картина создания романа „Тихий Дон“ представляется куда более сложной, чем полагает Д', а тем более чем об этом пишут многочисленные отечественные „шолоховеды“».

Книга Р. А. Медведева сыграла значительную роль в исследовании проблемы, сделала доступным, в основном для зарубежных филологов, многие материалы по биографии и творчеству М. А. Шолохова и Ф. Д. Крюкова, подтвердила главную гипотезу «Стремени...». Но вопрос об авторстве «Тихого Дона» так и остался открытым. Недостаточное количество надежных и достоверных данных для решения такой сложной проблемы предопределило на первой стадии ее разрешения отрицательный результат.

### Ответная реакция

Итак, первая критическая волна, открыто поставившая под сомнение авторство Шолохова, прошла, высветив на своем гребне имя донского писателя Ф. Д. Крюкова. Реакция на возобновление дискуссии не заставила себя ждать.

Внутри страны, используя возможности партийного и идеологического воздействия, защитники Шолохова сосредоточили усилия на двух направлениях. Во-первых, усилилась пропаганда творчества самого Шолохова, расширилось переиздание его произведений. Во-вторых, появились работы, посвященные углубленному исследованию его творчества, текстологии романа, исторической основы текстов советского классика. К сожалению, все они (например, работы С. Н. Семанова, В. В. Гуры) полностью обходили поставленный вопрос об авторстве, дискуссия велась как бы негласно, не назывались вслух преследуемые участниками цели, что вполне напоминало традиционный советский способ спрятать, утопить проблему во множестве малозначащих или даже важных, но не имеющих к ней прямого отношения фактов или сведений.

Другая сфера деятельности определялась возникшим за границей интересом к этой проблеме.

Среди зарубежных шолоховедов следует особо отметить американского слависта Германа Ермолаева. Обширная эрудиция, добросовестность и тщательность в работе, доброжелательный тон в дискуссии обращают внимание при чтении его статей и раздела в книге о творчестве М. А. Шолохова. Однако Г. Ермолаев строит свои рассуждения по моделям двух антишолоховских книг. Он критически разбирает основные доводы труда И. Н. Медведевой-Томашевской и выявляет ряд ее принципиальных ошибок как в понимании хода реальных событий на Дону, так и в интерпретации текста «Тихого Дона», отдельных эпизодов и персонажей<sup>4</sup>. Достаточно убедительно показана ненадежность результатов текстологического анализа, основанного на субъективных факторах.

Г. Ермолаев включается в обсуждение заданного Р. Медведевым риторического вопроса: кто написал «Тихий Дон»?<sup>5</sup> Собрав многочисленные ценные наблюдения о тексте романа, об авторском языке, он провел их параллельное сравнение с анало-

<sup>4</sup> Г. С. Ермолаев (США), «О „Стремени „Тихого Дона“» («Русская литература», 1991, № 4).

<sup>5</sup> См. «Вопросы литературы», 1989, № 8; 1991, № 2; 1992, № 1.

гичными параметрами текстов как самого Шолохова, так и предполагаемого автора — Ф. Д. Крюкова. Г. Ермолаев смог не только переработать почерпнутую из двух книг информацию, но и критически ее осмыслить, углубить собственными текстологическими поисками.

С уважением относясь к результатам работы американского слависта, мы хотим отметить один ее принципиальный недостаток — отсутствие системного подхода. Анализируя множество интереснейших данных, полученных им непосредственно из текста, Г. Ермолаев несколько упрощает вопрос, сводя его к дилемме: Крюков или Шолохов? В такой цепи рассуждений содержится важная логическая ошибка. Такая альтернатива может оказаться ложной, а сама проблема — гораздо сложнее. Проиллюстрируем это на характерном примере — на том, как Ермолаев интерпретирует встречающуюся в тексте ошибку с использованием словосочетания «наказной выборный атаман».

Ошибка эта грубая, поскольку выражение содержит в себе взаимоисключающие понятия: выборный и наказной (то есть назначенный). Причем в одном из примечаний к тексту романа в самом начале это различие подробно разъяснено. Из всего этого исследователь делает вывод, что автором такой ошибки скорее мог быть М. А. Шолохов (окончивший лишь неполный курс гимназии), чем прекрасно образованный и эрудированный Ф. Д. Крюков. И, следовательно, как предполагает Г. Ермолаев, скорее Шолохов, а не Крюков является и автором «Тихого Дона». Последний вывод — без предварительного текстологического исследования романа, анализа его единства, целостности, генезиса отдельных частей и встречающихся ошибок — неправомерен. В нашей работе мы показываем, что текст романа не имеет органического единства и составлен из фрагментов и эпизодов разного происхождения. Ошибочное словосочетание в действительности принадлежит В. А. Антонову-Овсеенко, из книги которого («Записки о гражданской войне». М. 1924, т. 1) оно было механически заимствовано Шолоховым. Возможность позднейшего восполнения первоначального художественного текста инородными включениями создает такое положение, когда отдельно взятый факт, даже очень яркий и убедительный, сам по себе не может говорить определенно в пользу авторства того или другого кандидата.

Следует подчеркнуть также, что опровержения такого рода никак не могут закрыть проблему авторства, которая своим существованием обязана не злой воле отдельных литераторов и не заблуждениям исследователей. Вопрос зиждется на многочисленных противоречиях и неясностях самого текста «Тихого Дона». То или иное объяснение отдельных противоречий, справедливое или ошибочное, не снимает сам факт их существования. Вопрос будет существовать до тех пор, пока все эти несообразности не найдут общего, цельного объяснения.

Совершенно особое место занимает работа группы норвежских славистов под руководством Гейра Хьетсо «Кто написал „Тихий Дон“?» (1984, русское издание — 1989), в которой для решения проблемы авторства были привлечены методы математической лингвистики. Книга фактически легализовала в России проблему авторства «Тихого Дона», явилась своего рода сенсацией. Обратило на себя внимание само стремление авторов по-новому подойти к проблеме и применить для ее решения нетрадиционные методы исследования текста.

Однако работа группы Г. Хьетсо основывалась прежде всего на упрощенном и нивелирующем подходе к проблеме. Поэтому полученные результаты вызывают сомнения и возражения одновременно на нескольких системных уровнях.

1. **Нелогичность сравнения текстов.** Внутренняя цельность выбираемых для сравнения фрагментов предварительно не изучалась. Надежность метода на каждом из исследуемых авторов по отдельности не проверялась. Если бы исследователи предварительно испытали свой метод на нейтральном объекте (тексте писателя «казачьего типа»), то это позволило бы оценить в целом сам метод и устойчивость, надежность получаемых с его помощью результатов.

2. **Слабость самой концепции исследования.** В обширном введении Г. Хьетсо формулирует задачу исследования, отталкиваясь от работы И. Н. Медведевой-Томашевской, и этим фактически подменяет вопрос авторства «Тихого Дона» задачей опровержения книги «Стремя „Тихого Дона“». Распределение авторского и соавторского текстов, предложенное в «Стремении...», Г. Хьетсо без предварительного анализа или самостоятельного текстологического изучения положил в основу своего исследования. Тем самым он автоматически адаптировал в своих результатах возможные ошибки незавершенной работы («Стремении...»).

3. **Предвзятость автора исследования.** Уже при постановке проблемы Г. Хьетсо явно игнорирует тоталитарную реальность советского общества и литературы. Когда мы читаем «наивные» объяснения Г. Хьетсо того, как впервые возник вопрос об

авторстве Шолохова, то на память сразу приходят знакомые образы и мифы левой интеллигенции Запада, всегда отвергавшей негативную информацию о коммунистической системе. А шумная кампания в советских газетах по поводу того, как ЭВМ «наконец-то доказала авторство Шолохова», лишь снизила в глазах специалистов ценность проделанной работы, заставляя ожидать независимой проверки полученных и широко заявленных результатов.

4. **Некорректность выводов**, которые Г. Хьетсо с коллегами делает из полученного ими аналитического материала. Наиболее полный на сегодня разбор книги появился в «Вопросах литературы» (1991, № 2). Е. В. Вертель и Л. З. Аксенова (Сова) проанализировали заложенные в концепции Г. Хьетсо посылки и правомерность выводов, сделанных на основании компьютерной и ручной обработки текстов Шолохова, Крюкова и «Тихого Дона». Оказалось, что даже в рамках выбранной Г. Хьетсо не вполне корректной, а местами просто ошибочной модели изучения текстов результат получается обратный: «Данные... показывают маловероятность предположения об авторстве Шолохова в отношении 1-й части «Тихого Дона»... кардинальные различия, на основании которых «Тихий Дон» был изъят вами из крюковских текстов, натолкнули нас на соображения прямо противоположного порядка» (стр. 76). Е. Вертель и Л. Аксенова, используя данные из книги Г. Хьетсо, показали, что важны не усредненные значения языковых параметров текста, а их изменение по мере становления писателя от раннего периода его творчества к более позднему. Эти изменения исследовавшихся текстов таковы, что первая книга «Тихого Дона» составляет единый динамический ряд с обследованными текстами Крюкова, а ранние и поздние тексты Шолохова с текстами «Тихого Дона» такого ряда не составляют!

Поскольку выводы Г. Хьетсо получили не просто широкую рекламу в советской прессе, а были представлены как окончательный аргумент в пользу авторства Шолохова и прекращения дискуссии, и как аргумент не простой, а вердикт компьютера, целесообразно еще раз процитировать малоизвестную статью двух оппонировавших лингвистов:

«К сожалению, существует широко распространенное мнение, что ЭВМ не ошибаются и результаты, полученные с помощью ЭВМ, заведомо истинны... все обстоит гораздо сложнее. ЭВМ... в большинстве случаев бессильна перед неверной или неполной исходной информацией, ошибками алгоритма и собственно программы. Эта ситуация особенно часто наблюдается в тех случаях, когда идет речь об анализе текстов художественных произведений. Именно здесь окончательные выводы (часто в неявном виде) в значительной степени предопределены уже на стадии постановки задачи... а еще больше — на стадии интерпретации машинных результатов» (стр. 79).

Подводя итоги второму этапу дискуссии, можно отметить, что сторонники Шолохова преувеличили слабые стороны работ И. Н. Медведевой-Томашевской и Р. А. Медведева. Сосредоточившись на критике отдельных ошибок, они не уделили должного внимания постановке и научному обоснованию проблемы авторства в целом. Поэтому и успех критики оказался временным, фундаментального решения вопроса, устранения текстологических и биографических неясностей, подтверждения авторства Шолохова не произошло. Не оправдалась также ставка шолоховедения на помощь власти и ее вмешательство в литературный спор, когда в течение длительного времени замалчивание одной стороны сопровождалось шумной пропагандой «окончательного решения» вопроса другой стороной. Эпоха гласности вновь поставила вопрос об авторстве в повестку дня.

### Новый этап дискуссии

Конец 80-х — начало 90-х годов ознаменовались началом нового, третьего этапа дискуссии по проблеме авторства «Тихого Дона». Наметился перевес научного подхода к решению этого сложного вопроса над идеологическим, политически-тенденциозным. Привлечение широкого круга специалистов и расширение спектра рассматриваемых вопросов стали решающим фактором в углублении наших знаний: энергия дискуссии была направлена в значительной своей части на добывание новых данных, способных по-новому осветить проблему и помочь в ее разрешении. Изменился и тон дискуссии — от прямых грубых нападок на «личность» авторов, высказывавших сомнение в авторстве Шолохова, тональность многих работ все более смещалась к конкретному обсуждению тех или иных вопросов. Не имея возможности и не ставя перед собой цели дать подробную историографию вопроса за последние три-четыре года, мы хотим выделить три главных, на наш взгляд, направления, определившихся в работах исследователей.



Самым важным из них безусловно стало начавшееся возвращение в литературу прекрасного, но практически неизвестного современному читателю русского писателя Федора Дмитриевича Крюкова. Начиная с юбилейного 1990 года (14 февраля — сто двадцать лет со дня рождения, 4 марта — семьдесят лет со дня смерти) в десятке журналов и газет были опубликованы его рассказы, отрывки из произведений, отдельными изданиями вышли два сборника. Почин был сделан Петербургским телевидением в программах «Пятое колесо», а затем «Преображение», организовавшим о творчестве Ф. Крюкова и проблеме авторства «Тихого Дона» двенадцать передач «Истина дороже!» (создатели программы — литературовед А. А. Заяц, ведущий В. С. Правдюк). Из них мы узнали об истории создания книги «Стремя „Тихого Дона“» (интервью с З. Б. Томашевской), о сложной судьбе литературного архива Ф. Д. Крюкова (свидетельство А. Н. Полухиной). Очень интересными представляются сведения казака А. Д. Солдатова. Зная Шолохова практически с появления на свет, он уточнил истинную дату его рождения (1904) и причины занижения возраста писателя, имевшего место в 1922 году перед осуждением Шолохова на год условно за злоупотребление властью.

В передаче «Истина дороже!» дискуссией А. А. Зайца с известным шолоховедом А. И. Хватовым был открыт научный диспут по авторству романа. Благодаря ответной волне, возникшей как отклик на завязавшуюся дискуссию, впервые стали известны многие свидетельства и факты из жизни и рукописного наследия М. А. Шолохова. Наконец, в эфире Петербургского телевидения прошла презентация и нашей работы, одна из частей которой под названием «Цветок-татарник. К истокам „Тихого Дона“» (ч. 1 «Полевые сумки») вышла отдельным изданием в 1991 году.

Итогом почти пятчасового телевизионного цикла, растянувшегося на два года (февраль 1990 — январь 1992), было посвящение широкого круга телезрителей в проблему авторства «Тихого Дона». Во многом благодаря этому циклу в газетных и журнальных публикациях определилась расстановка литературоведческих сил.

Важно отметить, что на новом этапе в исследованиях стали отдельно рассматриваться вопросы биографии и текстологии, и это позволило упорядочить аргументацию, систематизировать уже имеющийся материал, привлекло большее внимание исследователей к строгой постановке вопроса и решению конкретных задач. Событием стало появление работы, впервые посвященной сравнительному текстологическому анализу параллельных мест в произведениях Ф. Д. Крюкова и в «Тихом Доне» (М. Мезенцев — «Вопросы литературы», 1991, № 2). Наконец, имя Ф. Д. Крюкова прозвучало и в работах, отрицающих его участие в создании романа-эпопеи (В. Васильев — «Молодая гвардия», 1991, № 11, 12).

Второе направление связано с введением в научный оборот новых данных по биографии и творчеству М. А. Шолохова. Интересные сведения о Шолохове нашел и опубликовал журналист Лев Колодный. Они освещают один из наименее известных периодов его жизни (30-е годы), проливают свет на положение писателя в советской иерархии и его взаимоотношения с высшими эшелонами власти — Сталиным, Ягодой, Ежовым. Л. Колодный открыл рукопись с ранними редакциями «Тихого Дона» и опубликовал из нее отрывки, что следует признать безусловным и замечательным достижением: до последнего времени рукописи Шолохова считались утерянными, что крайне затрудняло исследование истории создания и эволюции текста «Тихого Дона». Мы не будем подробно останавливаться на анализе кратких рукописных извлечений Л. Колодного, например, в № 10 журнала «Москва» за 1991 год. Выразим лишь надежду, что длительные усилия журналиста, направленные на публикацию ранних рукописных текстов М. А. Шолохова, будут успешными и расширят основу научного решения проблемы.

Третье направление дискуссии открывается текстологическим «расследованием» Зеева Бар-Селлы «„Тихий Дон“ против Шолохова», опубликованным сначала в израильском журнале «22», а затем в «Даугаве» (1990, № 12; 1991, № 1, 2). Исследователь подробно разбирает целую группу ранее малоизвестных претендентов на авторство и заявляет о своем открытии нового имени автора романа-эпопеи. Труд не закончен, имя пока не названо. Остается лишь с нетерпением ждать завершения затянувшейся паузы в публикации интересного исследования.

Работа З. Бар-Селлы привлекает рядом свежих наблюдений над текстом, проливших новый свет на процесс шолоховской работы над «Тихим Доном». Делая особый упор на изучение стилистики романа, автор обнаружил множество ошибок, неправильных (неправильно Шолоховым понятых или переписанных) терминов и названий городов, нарушение порядка следования слов и многое другое. Подобные серьезные промахи самого Шолохова и редакторов романа интересны для текстологии и заслуживают дальнейшего изучения и оценки широким кругом специалистов.

Впечатляющим результатом стал виртуозный анализ хорошо известного отрывка «Могильный курган» из «Поднятой целины». Убедительно показана высокая степень

вероятия того, что эти строки посвящены герою и вождю борьбы за Россию генералу Корнилову и совершенно чужды контексту шолоховского романа. В то же время обнаруживаются явные образные и лексические связи с корниловскими главами «Тихого Дона». Такое искусственное перемещение фрагментов в произведениях Шолохова может со временем многое открыть для воссоздания истинной предыстории его текстов.

Впервые высказана, но, к сожалению, не доказана мысль об одновременном включении в текст романа разных исходных его редакций (фрагмент гл. 4 четвертой части «Тихого Дона» — «бой в Восточной Пруссии»), что стало первой попыткой обосновать не только участие в создании романа разных авторов, но и механическое объединение в его тексте фрагментов разных редакций текста одного и того же автора.

В то же время следует высказать ряд принципиальных замечаний. З. Бар-Селла утверждает, что решение проблемы возможно только через изучение стилистики романа. Такое утверждение субъективно и не соответствует общей традиции текстологических исследований: чем сложнее проблема, тем разнообразнее и разностороннее должен быть привлекаемый научный аппарат. Радикальный положительный результат может дать только совместное использование всех имеющихся в распоряжении исследователя средств.

Свои гипотетические утверждения З. Бар-Селла рассматривает как безусловные, фактически отвергая другие возможные объяснения. Возьмем в качестве примера анализ фрагмента, описывающего уход добровольческой армии из Ростова. Увлекаясь собственными предположениями, он пытается доказать, что в тексте Шолоховым допущена ошибка и первоначально должно было стоять слово «моросило», а не «морозило». Но проверить историческую подоснову эпизода исследователь не потрудился. Достаточно свериться хотя бы с «Ледяным походом» Романа Гуля, чтобы увидеть точность текста «Тихого Дона» (в день ухода добровольцев из Ростова стояла морозная погода) и неосновательность сложных логических построений автора. К тому же без системного подхода к анализу текста и происхождения встречающихся в нем ошибок трудно дать однозначное объяснение интересным, но фрагментарным наблюдениям.

Несколько слов хотелось бы сказать о широко представленном анализе кандидатур на авторство романа, ранее открыто практически не обсуждавшихся. Надо отдать должное тщательности в поиске и характеристике названных лиц. З. Бар-Селла вышел в этом аспекте за пределы известной дилеммы Шолохов — Крюков, значительно расширил спектр информации о литературной эпохе начала века. Однако исключение Ф. Д. Крюкова из намеченного списка, причем не самым тактичным образом,стораживает, поскольку игнорирует полтора десятилетия дискуссии, не говоря уж о ее рапповском периоде.

В целом работа так и не смогла существенно продвинуть вперед проблему авторства по сравнению с предшественниками. Она лишь заявила приоритет на ряд интереснейших наблюдений над текстом. Необходимо также обратить внимание на одно сопутствующее обстоятельство — недопустимый тон работы, который сколь невозможен и неприемлем в научном исследовании, столь же и опасен. Рядового читателя, воспитанного на «Тихом Доне», любящего это произведение, его героев, взятый по отношению к Шолохову ернический тон не только оттолкнет от названной работы, но и определит стойкое негативное отношение к любым другим научным исследованиям и попыткам разрешить проблему авторства.

Знакомство с этой работой неожиданно приводит к одному интересному наблюдению. Крайности отрицания (З. Бар-Селла) и апологии (Л. Колодный) Шолохова каким-то образом сходятся в попытках уйти от обстоятельного и беспристрастного обсуждения фактов самих по себе. Замена или соединения научное изучение текста «Тихого Дона» с нападками на личность самого Шолохова либо его оппонентов, они способствуют сохранению существующего неопределенного положения в вопросе авторства.

Кратко подводя итоги истории проблемы, следует отметить, что на сегодня накопилось довольно много данных по главным и второстепенным вопросам авторства «Тихого Дона», возрос интерес к тексту романа не только у специалистов-исследователей, но и у широкой читательской аудитории. На основе накопленных знаний появляется возможность обобщения этой информации. В этой связи позитивную роль сыграла обзорная работа В. М. Литвинова «Вокруг Шолохова» (научно-популярная серия «Знание», 1991, № 10), где в спокойном тоне обстоятельно рассказывается история вопроса, перечисляются работы и фиксируются направления исследования романа.

## СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Подведем некоторые итоги почти двадцатилетнему открытому обсуждению вопроса. Даже того, что было упомянуто в нашем кратком обзоре, достаточно, чтобы увидеть, насколько различны, а порой и прямо противоположны позиции сторон, как диаметрально противоположно могут интерпретироваться одни и те же факты и тексты. В чем тут дело и какой возможен выход из возникшего тупика?

Существование столь несовместимых мнений в течение длительного времени говорит, во-первых, о сложности и запутанности проблемы авторства при явно недостаточном объеме достоверных, надежных данных, имеющихся в распоряжении исследователей. Мы плохо знаем и понимаем текст романа и историю его создания. Для подтверждения того или иного своего предположения исследователи выбирали те данные или те фрагменты текста, которые соответствовали их априорным представлениям.

Выход из сложившегося положения существует. Наиболее прямым сегодня, когда открылись двери архивохранилищ и истекли сроки давности, видится поиск в довоенных архивах. Что же касается традиционного пути исследования — текстологического, — то здесь следует отказаться от преждевременных или недостаточно обоснованных выводов и предположений, сосредоточив усилия на добычании новых данных, особо решая вопрос об их надежности и достоверности. Эту работу необходимо основывать на системном подходе к решению вопроса, каждый раз анализируя всю совокупность данных, какими бы противоречивыми они ни были, не допускать отбрасывания «неудобной» информации.

Во-вторых, мы должны с самого начала четко определить: о какой проблеме идет речь? В действительности существует не одна проблема, а несколько. В научной плоскости, в частности в литературоведении, проблема авторства разбивается в основном на две вполне традиционные: текстологическую и биографическую. Но в то же время существуют и иные измерения этого вопроса.

Прежде всего политическое — роман, опубликованный Шолоховым, занял определенное место в сложной иерархии социалистического общества, в его идеологической сфере. Поэтому всякая серьезная постановка вопроса авторства затрагивала (и все еще затрагивает сегодня!) реальные политические силы и интересы, вызывая соответствующую реакцию. Обсуждение проблемы авторства можно назвать дискуссией весьма условно — ее участники не только преследовали различные цели, но, что важнее, имели еще и далеко расходящиеся представления о том, как и по каким правилам можно ее вести, что считать при этом истинным и достоверным.

И наконец, невозможно игнорировать персональный аспект проблемы: многие из участников дискуссии имели прямое отношение к одной стороне — шолоховской, долгое время участвуя в шолоховедении или иной сфере официально поощряемой советской деятельности. Будучи лично заинтересованными в обсуждаемом вопросе, они часто теряли беспристрастность и объективность.

Остановимся теперь на чисто научной стороне проблемы и попытаемся уяснить, чего же не хватало исследователям, упорно и искренне стремившимся разрешить вопрос. Во всех случаях можно было наблюдать попытку упростить задачу, сводя ее к элементарной дилемме: Шолохов или NN (Крюков, Родионов, «неизвестный казак» у З. Бар-Селлы), — и решить ее с ходу, в один прием. Упрощенность модели и недостаток данных вынуждали авторов работ каждый раз выходить за пределы выбранного метода и для подтверждения своих гипотез соединять разнородный материал. Такое недостоверное и неоправданное совмещение текстологических данных с подчас недостоверными биографическими материалами либо рассуждениями и предположениями общего характера делало работы в целом весьма уязвимыми для критики, а с другой стороны, затрудняло дорогу для дальнейшего поиска. Нам представляется, что достигнутый на сегодняшний день уровень изучения проблемы требует в первую очередь разработки вопросов текстологии и биографии по отдельности, отход от пресловутой дилеммы «выбора автора» и примитивных способов ведения дискуссии. Эти вопросы имеют каждый свою специфику исследования и накопления информации. Поспешное соединение недостаточно проработанных и изученных данных в общие схемы и концепции может привести к обратным результатам.

Ряд факторов делает текстологические исследования наиболее перспективными для решения нашей задачи. Здесь исследователь уже имеет в руках самое важное свидетельство — текст «Тихого Дона» во всех его вариантах, и от способности ученого, разносторонности и эффективности используемых им средств анализа зависит собственно результат работы. Решение проблемы авторства должно основываться на

системном, всестороннем текстологическом исследовании предмета, опирающемся прежде всего на максимально объективные факторы и критерии.

При определении задач нашего исследования мы исходили из представления о тексте «Тихого Дона» как материале объемной информативности и исторической ценности, со сложной структурой. Безусловно, для современного поколения «Тихий Дон» — труд не только литературный, в равной степени и исторический, историко-политический. Художественное пространство романа неразрывно связано с историческим.

Герои «Тихого Дона» действуют в реальном историческом пространстве, происходящие в романе события до мельчайших деталей и сопутствующих обстоятельств отражают действительные события из жизни России начала XX века — рассказывают о жизни и судьбе донского казачества. Обширность знаний и представлений автора, его эрудиция и глубокое осмысление материала, включенного им в свой текст, отражают неповторимую индивидуальность автора и в целом придают книге характер летописного рассказа современника. В то же время при внимательном прочтении «Тихого Дона» выявляется широкий круг ошибок разного плана и происхождения, порождающих хронологические и фактические смещения и неточности, напластования и разрывы эпизодов, сюжетных линий, исторических событий. В значительной степени затрудняют однозначное восприятие идеологии романа взаимоисключающие трактовки событий, описываемых на его страницах.

Здесь сама собой напрашивается одна параллель. С похожей в чем-то ситуацией столкнулись исследователи при изучении древнерусских летописей. Для нас наибольший интерес представляют работы по определению исторической достоверности, выявлению авторского начала в раннем летописном своде — «Повести временных лет», где обнаруживаются: перестановки и перемещения дат, нарушающие общую хронологию и последовательность событий, описаний и т. д., напластования разных эпизодов, фрагментов; противоречивые политические оценки одних и тех же исторических событий, повторения и пробелы в тексте, разностильность и непоследовательность отдельных фрагментов и частей.

Многолетняя успешная работа многочисленных исследователей позволила объяснить многие загадки летописных текстов. Результаты эти весьма поучительны и для нашей проблемы, поэтому кратко остановимся на них. Хронологические, фактические ошибки и неточности оказались возможным объяснить упущениями и деформациями при многократном переписывании текста, участием в этом нескольких составителей и переписчиков, отдаленных от «авторского» текста длительным временем, определенной сложностью в понимании и адаптации громоздкого исторического материала. Напластование дат и фрагментов текста было вызвано одновременным включением нескольких летописных редакций, а противоречивые политические оценки и трактовки — различным авторством этих оценок либо неоднократным редактированием и обработкой исходного текста.

Неразрывная и глубокая связь художественного повествования и истории дает исследователю действительно уникальную возможность для решения вопроса об авторстве. История донского казачества и России в целом известна с должной полнотой и точностью, чтобы использовать ее в качестве прочного, неколебимого фундамента при анализе художественного текста. Сравнительное изучение художественного пространства «Тихого Дона» и исторических событий, нашедших отражение в нем, позволяет нам выявить отдельные аномалии (ошибки, анахронизмы и т. д.), разрывы и провалы в повествовании, изменение авторского мировоззрения и отношения к описываемым событиям — те места, где нарушается органическое единство художественного текста с его исторической основой.

Историческая достоверность описываемых в романе событий, адекватность и точность в воспроизведении на его страницах всей сложности эпохи неизбежно попадают в центр интереса исследователей «Тихого Дона». При этом не просто выявляется в романе цепь ошибок, раскрываются неточности и домыслы: для сегодняшнего исследователя становится понятней внутреннее, подчас скрытое от поверхностного восприятия содержание книги. Раскрывается смысл, вкладывавшийся автором в тот или иной эпизод, расшифровывается многообразие внутренних взаимосвязей, структура текста, логика развития сюжета.

Суммируя все это, мы полагаем, что при научной постановке проблемы авторства романа «Тихий Дон» основными для исследователей должны стать следующие вопросы:

- структура известного на сегодняшний день текста «Тихого Дона»;
- выявление главных источников возникновения этого текста;

возможно полная реконструкция «протографа» — исходного, первоначального текста романа, если таковой был использован Шолоховым в его работе.

Последний вопрос — главный, и его положительное решение сулит русской литературе возвращение из небытия одного из замечательных произведений XX века. А надежное выявление и определение характера и объема изменений, внесенных Шолоховым в исходный текст в процессе работы над романом, решит попутно и сам вопрос о плагиате — действительном или мнимом.

## ХАРАКТЕР ОШИБОК В ТЕКСТЕ «ТИХОГО ДОНА»: ОШИБКИ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ДЕЙСТВИЯ

### «Последняя турецкая кампания...»

Время разворачивающихся в «Тихом Доне» событий задано автором уже на первой странице романа — упоминанием турецкой войны, с которой Прокофий Мелехов привел на хутор жену-турчанку. Еще одна «загадка» романа: «В последнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий...» («Октябрь», 1928, № 1, стр. 78).

Турецкую кампанию эту можно легко определить по возрасту основных персонажей романа. В 1912 году Григорий Мелехов принимает присягу восемнадцатилетним, а через год (девятнадцати лет) уходит на военную службу. Его годом рождения может быть 1893-й или 1894-й. Отец Григория, Пантелей Прокофьевич, родился вскоре после «турецкой кампании». Он имел еще и сына Петра, который был старше Григория на шесть лет и, следовательно, из двух войн с Турцией второй половины XIX века (1853—1856 и 1877—1878) мог родиться только после Крымской войны, а не после русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Итак, начало «Тихого Дона» связано с Крымской войной, после окончания которой на хутор вернулся казак Прокофий Мелехов.

Попытаемся теперь выяснить, какой период времени имеет в виду автор, относительно которого Крымская война была последней. Рассматриваемая фраза встречается в авторской речи, поэтому с равной вероятностью можно предположить, что автор ведет свой отсчет времени либо относительно разворачивания действия романа, его первых глав, либо относительно времени написания самих этих глав.

Начало романа относится к весне — лету 1912 года, кануну мировой войны. Начало работы Шолохова над «Тихим Доном» приходится на 1925—1926 годы. В первом случае Крымская война по отношению к 1912 году *предпоследняя* турецкая кампания, а во втором случае, принимая во внимание военные действия против Турции в 1914—1918 годах, с известной натяжкой может быть названа даже *предпред-*последней (термин «кампания» вряд ли применим для эпохи мировой войны). Любая интерпретация позволяет констатировать грубейшую хронологическую ошибку.

Ошибка эта не может быть объяснена простой опиской или ошибкой редактора. Все ранние издания «Тихого Дона»: в «Роман-газете», в «Московском рабочем», даже заграничное (Рига, изд-во «Ориент»), — содержали в неизменном виде ключевую фразу: «В последнюю турецкую кампанию...» Получается, что Шолохов примерно целое десятилетие не замечал грубейшего нарушения хронологии в тексте опубликованного им романа. И лишь в 1941 году Шолохов *восстанов-*ливает правильную хронологию текста, исправляя ошибочное слово: турецкая кампания становится *предпоследней* (1, I, 5)<sup>6</sup>.

Однако путаница с турецкой войной на этом не закончилась! Продолжение ее чрезвычайно показательное для характеристики уровня представлений Шолохова как об истории России и казачества, так и в том, что касается самого романа «Тихий Дон», на чьем титульном листе значится его фамилия. В изданиях «Тихого Дона»

<sup>6</sup> В работе мы ориентировались на первое полное издание «Тихого Дона» (М. «Художественная литература». 1941), по которому в дальнейшем даются цитаты с указанием части, главы, страницы. При необходимости проследить направленность нивелировки и идеологической корректировки текста, а также установить, каким образом устранялись отдельные ошибки и несообразности, мы обращались к изданиям других лет. Сравнительный анализ изданий от более ранних к более поздним дал необычные результаты. Оказалось, что с самых первых публикаций «Тихого Дона» велась скрупулезная работа над устранением из печатного текста хронологических, исторических и фактических неточностей. Ближайший пример: в поздних изданиях опущено упоминание 1883 года — точного указания времени, когда отец Григория служил в гвардии (см. ниже). Но зачастую вносимые изменения приводили не к улучшению текста, а к напластованию одних несообразностей на другие.

50-х годов, очевидно с целью подробнее разъяснить читателям это «трудное» место (неясное для самого Шолохова?), на первой странице текста дана сноска, где прямо говорится, что упоминаемая в тексте «турецкая кампания — русско-турецкая война 1877—1878 гг., действие которой происходило на Балканах» (1, I, 5 — изд. 1953). Это замечание представляется крайне интересным. Заменяя в тексте последнюю турецкую кампанию на *предпоследнюю*, Шолохов так ее и понимал — как *предпоследнюю* относительно времени своей работы над романом. И ошибся!

Встречающиеся в разных изданиях «Тихого Дона» примечание о том, что дед Григория Мелехова Прокофий привез жену-турчанку именно с Балканской войны 1877—1878 годов, тем более удивительно, что одновременно в тексте точно указано время службы отца Григория. Старый генерал Листницкий напутствует уходящего на военную службу Григория Мелехова: «— Ведь это отец получил на императорском смотре в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году первый приз за джигитовку? — Так точно: отец» (2, XXI, 91). Получается, что на службу в полк Пантелей ушел трехлетним?!

Эта история подводит нас к двум важным выводам. Один говорит о нетвердом знании и понимании Шолоховым исторических событий, органично включенных в текст. Второй вывод на первый взгляд неожидан. Возможно, эпизод с «турецкой войной» протягивает ниточку к другому автору. Для него Крымская война могла быть действительно «предпоследней кампанией», если вести отсчет относительно времени его жизни и работы над первыми главами «Тихого Дона».

### Пруссаки на Бородинском поле

Обратимся к начальным главам шестой части, посвященным периоду апреля—мая 1918 года, когда большая часть донской земли была освобождена от большевиков. В конце апреля депутаты от освобожденных станиц съехались на круг для создания объединенной казачьей власти и организации борьбы за полное освобождение области. И вот в тексте, относящемся к событиям весны 1918 года, обнаруживается следующий отрывок: «А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12 Донского казачьего полка легла под Старобельском...» (6, II, 335).

Чтобы представить всю степень невозможности подобных событий, вспомним время, описываемое в романе, и происходившие тогда на Дону события. Конец мая — начало июня 1918 года: казачьи отряды, сражаясь с частями Красной Армии, освобождали Область войска Донского. Бои приближались к границам Воронежской и Саратовской губерний. В то время на границе с Украиной никаких боев не было и быть не могло: германская армия, оккупировав в марте—апреле всю Украину, полностью очистила ее от большевистских отрядов. По просьбе донского атамана П. Н. Краснова германские войска приняли участие и в освобождении западных районов Области войска Донского от советских войск, участвовали в боях за Ростов совместно с добровольческой бригадой Дроздовского и казачьими частями Быкадорова, заняли пограничные с Украиной районы 1-го Донского округа, что обеспечило тыл Донской армии и позволило все казачьи части перебросить на царицынский фронт.

В этом небольшом отрывке есть еще одна ошибка. До ноября 1918 года Симон Петлюра был председателем Киевского губернского земства — и, естественно, летом 1918 года никаких петлюровцев не существовало. Ошибка в тексте не случайна — она не имеет характера описки или оговорки. Ведь в самом тексте одновременно упоминаются вполне достоверные сведения — например, молодые казаки, обученные в Персиановке. Это так называемая Молодая армия — контингент казаков, не служивших на германской войне, призванных в мае 1918 года и проходивших обучение в войсковых лагерях вблизи станицы Персиановки. На той же странице имеется отделенное многоточием точное упоминание оккупационных германских войск, расположенных на границе с Украиной: «...баварская конница поила лошадей в Дону». Да и сам Шолохов, как он сообщает в своей биографии, прервал учебу в гимназии Богучара весной 1918 года при приближении германских войск.

Можно предположить, что в нашем случае имеет место смещение — отрывок какого-то другого текста, попавший не на свое место.

Читатель может себе представить, как нелепо воспринимались бы события в «Войне и мире» Л. Н. Толстого, если тот при описании Бородинской битвы упомянул бы среди защитников Семеновских флешей или батареи Раевского союзные прусские войска, как это и было, но не в 1812, а в 1813 году в «битве народов» под Лейпцигом.

Подобные хронологические смещения немыслимы даже для выпускника дореволюционной гимназии. Но ведь и «Тихий Дон» считается «Войной и миром» XX века, поражая точностью в описании и воспроизведении огромного числа событий и людей. Возникает вопрос: как могла произойти такая «оплошность», как увидим ниже, далеко не единственная в исследуемом тексте? Возможно ли создание одним и тем же человеком романа-эпопеи и одновременно допущение таких несообразностей? И самое важное: почему за последующие пятьдесят лет Шолохов так и не заметил (не только Шолохов, но и многочисленные шолоховеды, что должно вызывать не меньшее удивление, если учесть количество исследователей) этой вопиющей ошибки?

Вернемся снова к эпизоду с «петлюровцами». Близкую к нему информацию мы обнаружили в воспоминаниях донского атамана П. Н. Краснова «Всевеликое Войско Донское». Во время переговоров с союзниками (французами) в декабре 1918 года уже после полного поражения Германии в войне, Краснов просил французов двинуть войска на Харьков, тогда освободилась бы Молодая армия для борьбы в Верхне-Донском округе<sup>7</sup>.

Прямой связи, конечно, нет, но мы встречаем упоминание Молодой армии, ведущей в декабре бои (петлюровцы уже реально существовали, в Харькове это был атаман Балбочан) в районе Харькова — Старобельска. Это означает, что текстовой фрагмент отражает реальные события, но помещен в тексте ошибочно.

Эпизод с «петлюровцами» позволил нам по-новому взглянуть на проблему авторства. В многочисленных доступных на сегодняшний день черновиках Шолохова среди рукописных страниц, переданных им в Нобелевский комитет, можно встретить его собственноручную запись: «Опираясь на помощь немцев, заслоняющих область по всей западной границе, казаки гнали большевиков на север...» Мы сталкиваемся с двумя трудносовместимыми на первый взгляд фактами. Шолохов располагает обширными и разносторонними сведениями, вводит их в текст и в то же время не может с ними разобраться, правильно соотносит их между собой. В тексте они получают механическое соединение, с произвольной и случайной перестановкой достоверных самих по себе фрагментов и эпизодов<sup>8</sup>. Если бы подтвердилось, что такова структурная особенность текста, это дало бы прямую информацию как о его предистории, так и о методах, уровне знаний и представлений Шолохова.

### Станица Ольгинская

Еще одна ошибка связана с датой начала кубанского похода Добровольческой армии зимой 1918 года. В тексте, в описании отступления Добровольческой армии из Ростова, генерал Корнилов отдает 9 февраля приказ об уходе в станицу Ольгинскую. Во второй половине главы, в главке, отделенной от первой чертой, написано: «К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской... Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба... прискакал в Ольгинскую» (5, XVIII, 288).

На первый взгляд ничего особенного в этих строках нет. Но ведь Ольгинская — станица, расположенная в одном дневном переходе от Ростова. И идти с армией без боев целый месяц совершенно немыслимо! В марте Добровольческая армия вела ожесточенные бои уже на Кубани. Конечно же, здесь просто перепутан месяц, и приход добровольцев в Ольгинскую имел место 11 февраля. Простая ошибка. Продолжая сравнение с «Войной и миром», можно утверждать, что сопоставимой ошибкой для Л. Н. Толстого было бы сообщение о выходе 1 сентября русской армии из Филей и приходе ее на Рязанскую заставу 2 октября!

Эта ошибка указывает, во-первых, на то, что Шолохов плохо представляет географию Области войска Донского. Во-вторых, очевидно вдобавок и его слабое представление о событиях весны 1918 года на Дону и Кубани. «Ледяной» поход добровольцев, одна из самых ярких и героических страниц их борьбы, с шемющим чувством описан в той же восемнадцатой главе. И в то же время мы встречаем ошибочную дату 11 марта во всех последующих редакциях. Более того, в редакции 1953 года, когда автор объявил о переводе всех дат на новый стиль, дата 11 марта осталась неизменной. В начале главы 9 февраля изменено

<sup>7</sup> «Архив русской революции в 22 томах». Берлин. 1922, т. V, стр. 299.

<sup>8</sup> Похожий случай — ошибочное упоминание Махно в шестой части: «...на Украине — Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов» (6, IV, 345). Активные действия Махно против германских войск начались лишь осенью 1918 года, после его визита в Москву, но никак не в мае — июне.

на 22-е, а 11 марта — нет! Наиболее вероятное, даже единственное объяснение здесь таково: М. А. Шолохов плохо представлял ход событий на Дону и, соответственно, не знал, с чем соотнести дату 11 марта.

Похожая несообразность встречается в шестой части романа — в эпизоде встречи вернувшегося из плена Степана Астахова с Кошевым. Отвечая на вопрос, Степан упоминает путь своего возвращения из плена на Дон летом 1918 года: « — Откель же вы взялись?... — Из Германии... — Вы каким же путем ехали? — Из Франции, пароходом из Марселя... до Новороссийска» (6, VI, 354). И это говорится о времени наиболее ожесточенных боев на Западном фронте, когда на полях Марны решалась судьба Франции! О времени, когда Дарданеллы были блокированы союзным флотом и первый корабль Антанты прошел через проливы в Черное море лишь в середине ноября 1918 года! Фраза не случайно возникла в тексте — еще раз Шолохов упоминает о приезде Степана «пароходом из Марселя» в следующей, седьмой главе. Шолохов мог бы, если нужно, привести своего героя на Дон непосредственно из Германии поездом — в летние месяцы 1918 года существовала вполне устойчивая связь Дона с Германией через Украину по суше или морем через Одессу.

### Генерал Фицхелауров

Весна 1919 года — трагичное и героическое время в освободительной борьбе донского казачества. В начале мая для оказания помощи восставшим на Верхнем Дону казакам готовился прорыв фронта Красной Армии. В тексте «Тихого Дона» дважды встречается упоминание подготовки этого прорыва. Первое в 57-й главе шестой части:

«По плану, разработанному еще бывшим командующим Донской армией генералом Денисовым и его начштаба генералом Поляковым, в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской... сосредоточение частей так называемой ударной группы... лучшие силы из обученных кадров молодой армии, испытанные низовские полки: Гундоровский, Георгиевский и другие... силы этой ударной группы состояли из шестнадцати тысяч штыков и сабель при двадцати четырех орудиях и ста пятидесяти пулеметах... группа совместно с частями генерала Фицхелаурова должна была ударить в направлении слободы Макеевки, сбить 12-ю красную дивизию и, действуя во фланги и тыл 13-й и Уральской дивизий, прорваться на территорию Верхне-Донского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти в Хоперский округ «оздоравливать» заболевших большевизмом казаков» (6, LVII, 473).

Второе описание, дублирующее, правда в слегка сокращенном виде и с другими цифрами, почти дословно первое, — в самом начале седьмой части. Чтобы не повторяться, укажем кратко на перечисление тех же станиц (Каменской и Усть-Белокалитвенской), «...ударную группу из наиболее стойких... полков, преимущественно низовских... совместно с частями генерала Фицхелаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной Армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизий, прорваться на север... План... разработанный... командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым... перебросили около 16 000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой молодой армии» (7, I, 505).

Не станем останавливаться на расхождениях в обоих отрывках — реальная обстановка все равно имела мало общего с описанной выше:

Уральская дивизия была расформирована еще в феврале; генералы Поляков и Денисов руководили Донской армией зимой 1919 года и ушли в отставку в феврале, даже раньше атамана Краснова; в состав 9-й красной армии входили совсем иные дивизии...

Однако удивление читателя возрастает, когда он встречает в той же седьмой части еще одно, совершенно новое описание прорыва. Состав и численность ударной группы, командующий операцией, название географических пунктов — все в этом фрагменте иное: «Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при шести конорудиях и восемнадцати вьючных пулеметах 10 и юн... прорвала фронт...» (7, V, 519).

Какое же из всех этих описаний принять за достоверное? Может быть, последнее? Нет, и последний отрывок ни в коей мере не соответствует реальным событиям:

неправильно указаны численность и вооружение группы Секретева; прорыв фронта был осуществлен 25 мая ст. ст., а не 10 июня; под Усть-Белокалитвенской прорывалась группа И. Ф. Быкадорова, а группа Секретева — у станицы Каменской;



соединение с повстанцами произошло 7 июня н. ст. (25 мая ст. ст.).

Как видим, дров наломано много... Реальный ход событий точно описан в сводках боевых действий Донской армии из «Донских ведомостей» за 4/17 июня 1919 года:

в ночь на 11 мая прорыв фронта частями И. Ф. Быкадорова у станицы Усть-Белокалитвенской и 12 мая на Северном Донце у хутора Лихова конной группой Секретева. Группа продвинулась до хутора Сетракова к 19 мая;

17 мая отступление Быкадорова под давлением IX армии и к 20 мая отход группы Секретева на юг на помощь Быкадорову;

22 — 23 мая возобновление наступления группы Секретева на север и 25 мая ст. ст. соединение с повстанцами около станицы Казанской;

дивизии Красной Армии, противостоящие донским частям: экспедиционные дивизии VIII и IX армий, 33-я, 12-я, 23-я и 14-я дивизии;

17 мая у станицы Константиновской Дон форсировал корпус Мамонтова. Развивая наступление в сторону станицы Усть-Медведицкой, освободил ее 2 июня ст. ст.

Что же может означать столь неожиданный набор ложных или неправильных, искаженных сведений, который мы встречаем в тексте романа? Каков источник многочисленных ошибочных сведений — ведь и генералы Фицхеллауров, Поляков, Денисов, и названия частей и мест прорыва вполне реальны?

Разгадку этого необыкновенного факта можно найти в воспоминаниях П. Н. Краснова — в описании подготовки не состоявшегося контрудара против прорвавшихся красных частей... в начале февраля 1919 года! Оказывается, Шолохов просто переписал рассматриваемый нами отрывок из воспоминаний донского атамана, при этом лишь слегка отредактировав текст. Чтобы не повторяться, мы укажем, что совпадают и названия станиц, и имена генералов, и численность и состав донских и красных войск, и характер планируемых действий ударной группы<sup>9</sup>. Шолохов лишь «исправил» заимствованный текст «и действуя во фланг и тыл... идти в Хоперский округ оздоравливать... казаков», добавив от себя: «...прорваться на территорию Верхне-Донского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти...»

Помимо этого Шолохов, произвольно переделывая текст атамана Краснова, допустил грубейшую ошибку, непроситительную для любого человека, знающего историю донского казачества. Вместо заимствуемых слов «испытанные в боях войска (в том числе и Гундоровский георгиевский полк)» Шолохов, слегка варьируя, фантазируя, вставляет в текст «Тихого Дона»: «испытанные низовские полки: Гундоровский, Георгиевский и другие».

Никакого Георгиевского полка в Донской армии не существовало, а Гундоровский георгиевский был одним из самых доблестных донских полков, наводивший страх на красные части. Трудно себе представить, каким образом автор эпопеи, вобравшей в себя огромные пласты сведений о казачьей жизни и истории, может не знать элементарных сведений донской истории.

Кстати, похожую ситуацию мы встречаем в пятой части романа. Дон выставлял два гвардейских казачьих полка, служить в которых казаку почиталось за честь: Лейб-гвардии атаманский и Лейб-гвардии казачий. В «Тихом Доне» правильное название гвардейских полков — не только в художественном тексте и в заимствованиях из воспоминаний, но также в специально введенных в некоторые довоенные издания подстрочных примечаниях — встречается неоднократно. Среди шолоховских заимствований в тексте имеются фрагменты из воспоминаний В. А. Антонова-Овсеенко (подробнее об этом ниже), где «красный командующий» употребляет неправильное название — «от имени Атаманского лейб-казачьего полка». И вопреки правильному именованию полков в других местах текста Шолохов усугубляет (!) ошибку Овсеенко, переделывая один гвардейский полк в два: «...от имени Атаманского, Лейб-казачьего...» (5, XI, 266). Добавлена одна запятая да строчная буква обратилась в прописную — но этого достаточно, чтобы сделать определенный, не в пользу Михаила Александровича, вывод о глубине и ясности его представлений об исторических реалиях тихого Дона.

Еще одно противоречие встречается в рассматриваемом эпизоде. Согласно тексту повстанцы отошли на левый берег Дона 22 мая и оборонялись там до 12 июня, момента встречи с секретевской группой, — всего три недели. В то же время в примечании к изданию 1933 года (М. ГИХЛ), так же как и в журнальном варианте этой главы, говорится, что «повстанческие силы и все население отступили на левую сторону Дона. Над Доном на протяжении 200 верст были прорыты траншеи, в которых поселились повстанцы, оборонявшиеся в течение двух недель, до Сек-

<sup>9</sup> П. Н. Краснов, «Все великое Войско Донское», стр. 312.

ретеvского прорыва». Выходит, что авторское примечание Шолохова принципиально противоречит хронологии художественного текста. Следует также учесть, что на левый берег повстанцы отошли не 22 мая, а 12 мая ст. ст. (25 мая н. ст.).

Задержим еще немного внимание читателей. В пятой главе седьмой части есть одна важная деталь — соединение с повстанцами происходит на третий день после начала (или возобновления?) наступления группы Секретева. Во всем хаотическом нагромождении неправильных и ложных сведений достоверным оказывается лишь одно это — «на третий день». В тексте с этих слов начинается внутренне цельный отрывок — описание встречи повстанцев с частями Донской армии. (Кстати, использование внутренней хронологии с относительной датировкой событий очень характерно для «Тихого Дона»: на третий день, через неделю, на страстную субботу и т. д.).

Анализ рассмотренного выше эпизода дал следующие результаты:

неверное описание, наличие в нем внутренних противоречий;

прямое заимствование, причем использование заимствованного материала не к месту, произвольно;

различное описание одного и того же события в разных частях текста (время пребывания повстанцев на левом берегу Дона указывается и в две и в три недели, в тексте встречается три варианта численности и состава ударной группы на Донце).

Случай с «генералом Фицхелауровым» заставляет пересмотреть «привычные» представления шолоховедов о точности изображения исторических событий и ларактере использования в «Тихом Доне» прямых заимствований из книг других авторов. Возникшая проблема ни в коем случае не сводится к вопросу о правомерности использования в историческом произведении материалов других авторов, в частности военных мемуаров, — подобная практика считается общепринятой.

Шолоховские заимствования заинтересовали нас с несколько иной стороны. Как будет показано ниже, они дают своеобразный ключ к пониманию того, как формировался текст «Тихого Дона». Заимствования связали воедино многочисленные фрагменты разных сюжетных линий, а попытка их согласования с художественным текстом стала основным источником многочисленных ошибок и несообразностей в романе.

Введение в текст фальсифицированного описания прорыва, взятого из мемуаров П. Н. Краснова, становится причиной появления на страницах «Тихого Дона» последовательной цепочки неверных и ложных эпизодов. Упомянув генерала Фицхелаурова как руководителя прорыва фронта на Донце, Шолохов и дальше в повествовании заставляет именно «Фицхелаурова» воевать под Усть-Медведицкой и спорить там с Георгием Мелеховым (главы IX—XI седьмой части)<sup>10</sup>. Спорить вопреки и внутренней логике развития романа, и реальным событиям (Усть-Медведицкую с ходу освободил 2 июня ст. ст. корпус Мамонтова, Фицхелаурова там не было!).

Возникает следующая картина формирования текста: фрагменты художественного текста скреплены Шолоховым явно вымышленными либо фальсифицированными эпизодами. Заодно предвзято идеологизировано описание событий — подчеркивается враждебность Григория Мелехова к «генералам», а повстанцев — к Донской армии. Сам вымышленный персонаж, шолоховский «поручик Киж», своим появлением в различных местах повествования как зондирующий луч высвечивает разнородные отрывки художественного текста и скрепляющие их фрагменты.

*(Окончание следует)*

<sup>10</sup> Настоящий генерал Фицхелауров в действительности не имел ничего общего с изображенным Шолоховым тупым самодуром. Он происходил из старинной казачьей семьи и сражался весной 1918 года (будучи еще полковником) за освобождение родного Дона от большевистской диктатуры, за что и получил генеральское звание.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА

\*

## ДЕДАЛ И ГЕРКУЛЕС, или Несколько рассуждений о пользе и бесполезности литературы

Cura ducum fuerunt olim regumque poëtae:  
Praemiaque antiqui magna tulere chori.  
Sanctaque majestas, et erat venerabile nomen  
Vatibus: et largae saepe dabantur opes.

(Древле богов и царей любимцами были поэты;  
Много стяжали наград хоры минувших времен.  
Свято было величием и почитаемо всеми  
Имя певцов: и текли щедрые часто дары.)

*Овидий, «Искусство любви».*

Рассуждение первое, в котором читающей публике одновременно являются художник Стивен Дедал и сыщик Эркюль Пуаро, с тем, увы, чтобы разойтись в разные стороны, и где утверждается, что сочинитель есть основа, а читатель — уток.

Две инкарнации двух античных героев явились в английской литературе почти одновременно. Новейший Телемак по имени Стивен Дедал шагнул на туманные улицы Дублина. Мимо плыли благообразные физиономии лотофагов, потребляющих мыло Пирса и померанцевую воду, и вместо мрачного Стикса перед ним плескался королевский канал. Новейший Геркулес предстал в виде отставного полицейского-бельгийца, с величайшим тщанием блюдущего симметрию своих усов и сожалеющего, что куры еще не выучились нести идеально квадратные яйца.

Оба явились в мир в самом начале второго десятилетия XX века, но дороги их разошлись и с тех пор расходятся все дальше и дальше, несмотря на все усилия, которые прилагают, чтобы сблизить их, разрозненные индивидуалы вроде Г. К. Честертона, Дж. Оруэлла, К. С. Льюиса, Умберто Эко или Дж. Р. Толкьена.

Ибо, увы, поэт Дедал и сыщик Геркулес оказались не в одном и том же мире, но в двух разных мирах.

В мире Дедала царствовал хаос. В мире сыщика Геркулеса — порядок, называемый по-гречески космосом.

В мире Дедала правила общежития нарушал (или мечтал нарушить) сам герой. В мире Геркулеса их нарушал преступник.

Задачей поэта Дедала было увидеть абсурд, скрывающийся под маской порядка. Задачей сыщика Геркулеса — восстановить порядок, нарушенный преступником.

Создатель Дедала полагал, что мир вокруг бесконечно меньше его самого. Создатель сыщика Геркулеса был подобен средневековому художнику хотя бы тем, что полагал, что мир, им изображаемый, бесконечно больше его самого.

В мире Дедала отсутствовали причинно-следственные связи, а стало быть, и их литературный аналог — сюжет. В мире сыщика Геркулеса сюжет прожорливо рос и рос. Все, как в средневековой картине мира, имело разыскиваемую первопричину и смысл только этой первопричиной был не Бог, а убийца.

XX век стал свидетелем того, как искусство распалось на искусство элитарное и искусство массовое. Для одних бунт против традиции стал необходимым признаком творчества, а для других отсутствие культуры стало столь же необходимым условием успеха.

Возникла литература для писателей и литература для читателей; а литература как таковая пропала, ибо роман — это ткань, где сочинитель подобен основе, а читатель подобен утку; и текст не существует без аудитории, как скрипичная соната — без скрипки.

Кто же повинен в расколе?

У теоретиков нового искусства сомнения в этом не было и нет. Вины массы — нищенское словечко, приобретенное у М. Хоркхаймера и Т. Адорно марксистский привкус. «Масса брыкается и не понимает» (Ортега-и-Гасет). «Массовая культура — всегда подмена культуры» (Т. Элиот).

Итак, во всем виноват дурной вкус массы. Причем нынешней массы.

Во время оно афинские горшечники и колбасники были судьями Аристофана и Эсхила; лондонская публика, самого низкого пошиба, заполняла «Глобус»; «Симплициссимус» выходил народным календарем, как очередная серия очередной бондианы, и та же публика с нетерпением требовала продолжения какому-нибудь «Удачливому крестьянину» или «Истории Тома Джонса, найденыша». Литература — и какая литература! — совершенно спокойно обходила даже без индивидуальных авторов, но попросту не существовала без массовой аудитории.

Выходит, массы XX века поглупели по сравнению с афинскими горшечниками?

Рассуждение второе, где утверждается, что толпа, поклонявшаяся Эсхилу, была не образованнейшей толпы, поклонявшейся Муссолини.

Афинский тиран Писистрат, впоследствии возведший крестьянские Дионисии в ранг государственного праздника и тем способствовавший возникновению комедии и трагедии, питал слабость к драматическим инсценировкам и в жизни. Во всяком случае, среди уловок, использованных им для вторичного прихода к власти, была и такая:

«В Пеонийском доме жила женщина по имени Фия, ростом в четыре локтя без трех пальцев и вообще весьма пригожая. Эту-то женщину в полном вооружении они (сторонники Писистрата. — Ю. Л.) поставили на повозку и... повезли в город. Затем они отправили вперед глашатаев, которые, прибыв в город, обращались по их приказанию к горожанам с такими словами: «Афиняне! Примите благосклонно Писистрата, которого сама Афина почитает превыше всех людей и возвращает теперь из изгнания в свой Акрополь!» Так глашатаи кричали, обходя улицы, и тотчас по всем демам прошел слух, что Афина возвращает Писистрата из изгнания. В городе все верили, что эта женщина действительно богиня, молились смертному существу и приняли Писистрата» (Геродот).

Писистрат положил начало той практике обращения к мнению народному, из которой впоследствии, при Клифене и Перикле, и выросла афинская демократия. Можно с уверенностью утверждать, что почитатели Муссолини не поглупели по сравнению с почитателями Писистрата. В «Государстве» Платона, в котором проделки, подобные Писистратовым, и правительственное мифотворчество считаются идеальным средством для создания наилучшего государственного устройства, в полной мере учтена эта особенность афинского демоса.

Но те же самые афиняне, что вели беспрецедентно самоубийственную политику, вынуждая даже горячих поклонников демократии с огорчением констатировать, что многих легче обмануть, чем одного, и что всех, кто угрожает ей, масса влечет на гибель вместе с собой, а всех, кто ей не угрожает, обрекает на гибель еще раньше, — те же самые афиняне и составляли аудиторию Эсхила и Софокла. Странное дело, но политическая ограниченность не препятствует художественной чуткости.

Ни Эсхил, ни Аристофан, ни Платон не презирали народную культуру: они использовали ее. Презирать ее стали позднее — во II веке н. э. Изошренная вторая софистика со времен Адриана не обращала внимания на христианскую словесность простецов; но та книжечка, на которую не обращали внимания и где рассказывалось ни больше ни меньше как о приключениях Сына Божия, вот уже почти две тысячи лет остается в европейской культуре бестселлером номер один.

Но если массы не поглупели, то, может быть, сердца их стубила корысть? Массовое искусство, как жалуются критики, стало предметом купли-продажи, рынок отрицательно сказался на культуре, и элитарная культура — как раз то, что противостоит торговле словом, которое раньше, понятное дело, не продавалось?

Что ж, посмотрим, как обстояло дело в прошлом.

Рассуждение третье, о песне, которая движет землей и небом, пленяет даже богов и демонов, уточняет союз мужчин и женщин, а также обменивается на придворные чины, золотые запястья и серебряные дирхемы.

Как слово было первым, чем люди начали обмениваться между собой, так и искусство было первым, чем люди начали торговать на рынке.

Еще тогда, когда туземец Новой Гвинеи не продавал ни свинью, ни батат, ни ямс, он продавал песню, танец или новый, во сне приснившийся узор. Еще тогда, когда на багдадском базаре, лионской ярмарке или чаньянском рынке количество продаваемого зерна составляло долю процента от зерна, потребляемого внутри натуральных хозяйств,

шаиры и мухаддисы, шошуды и труверы уже зарабатывали себе на жизнь тем, что выходили на рынок и собирали, если удавалось, вокруг себя слушателей. Еще тогда, когда на Западе строгие цеховые распоряжки запрещали пестрые вывески и рекламу, а на Востоке богатые лавочники хоронились от воров и чиновников, выкатывающих глаз на чужое добро, торговцы словом были единственной категорией торговцев, на все лады набивавших своему товару цену: «А сейчас я расскажу вам удивительную историю, и это будет история о том, как добро всегда торжествует, а злые получают возмездие еще в этой жизни. Платите же побольше за удивительную историю, уважаемые слушатели!»

Иногда заказчиком был рынок, иногда заказчиком была власть. Тогда гонорар певца был богаче. «В награду за хвалебную песнь Адальстейн дал Эгилю два золотых запястья, каждое из которых вносило марку, а кроме того — дорогой плащ со своего плеча» («Сага об Эгиле», Исландия, XIII век).

«Еримаса долго не продвигался в звании. Он имел младший четвертый ранг, но мечтал получить следующий, третий, и сложил об этом стихотворение...

Как страж одинокий  
с далекой заставы в горах  
любуется светом  
листвой затененной луны,—  
сиятельный образ ловлю...

В награду за... стихотворение ему пожаловали следующий, третий ранг» («Повесть о доме Тайра», Япония, XIII век).

Арабская «Книга песен» Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани (X век), посвященная поэтам, представляет их вполне удачливыми коммерсантами. «И я вошел в сокровищницу и взял пятьдесят тысяч динаров». Герои Абу-ль-Фараджа никогда не жалуются, что их не поняли, зато всегда жалуются, если им недоплатили. (Динары и дирхемы халифата в то время первенствовали на мировом рынке, как сейчас доллары США, и поведение героев «Книги песен», любящих деньги, в отличие от их исландских и японских коллег, предпочитающих бартерную сделку или повышение в чине, подтверждает опережающие темпы развития арабской экономики X века.)

Слово было товаром, а торговля в средневековье была делом рискованным. Если повезет, можно получить сверхприбыль: «Пойди с ним на базар и покупай все, что он пожелает» (Абу-ль-Фарадж). Если не повезет, приходилось отдавать товар даром в обмен на собственную жизнь, как то однажды выпало на долю знаменитого скальда Эгиля.

Эгиль и конунг Эйрик не очень-то жаловали друг друга, а буря забросила певца во владения Эйрика. Казалось, ничто не спасет скальда, но конунга стали упрашивать: «Если Эгиль оскорбил конунга, пусть он искупит это хвалебную песнью, которая останется навсегда». «Я, по правде говоря, совсем не собирался сочинять хвалебную песнь конунгу Эйрику», — заупрямился было Эгиль, но все-таки сделал так, как его просили

Песнь, полученная конунгом, обладала магической силой, а значит, и потребительской стоимостью. Товар же тем и хорош, что его можно продать и другу и врагу и что чувства продавца к покупателю на качество товара не влияют.

Поэт — это маг. Но магия повседневна и полезна. Поэт — проводник в иной мир. Но иной мир — лишь подобласть этого мира, а этот мир — лишь подобласть иного мира. Они не взаимно исключают, а взаимно дополняют друг друга. Поэт — маг, и при дворе ирландских королей состоит семь разрядов поэтов-магов, каждый из которых обладает различной поэтической и магической силой. Поэт — маг, и так как в близости к смерти каждый человек становится немножко магом, герои исландских саг в этой ситуации начинают говорить стихами. Поэт полезен, и, памятуя об этом, сочинитель, будь то бородатый скальд или Даниил Заточник, чувствительный миннезингер или язвительный Сервантес, открыто расхваливает свой товар и набивает себе цену. Современный творец предпочитает быть сразу собственным комментатором, средневековый — собственным литературным агентом.

Полезность поэзии подразумевает ее всеобщность. Каждый чиновник должен вовремя сложить стихи о цветущей ветке глицинии, чтобы понравиться императору, каждый воин должен вовремя выкрикнуть хулу противнику, чтобы иметь перед ним преимущество в битве.

Те чиновники, что играют в «парные строфы» и подбирают рифмы, конечно, вовсе не идеальные поэты. Это нечто более важное — это идеальная аудитория.

Ибо искусство, как уже говорилось, подобно колдовству еще и тем, что не существует без аудитории, а значит — без традиции. XX век пытался избежать этого закона, но не смог. Возникли понятия «богема», «кружок», «артистическая среда»,

«тусовка», которые и оказались суррогатами понятия «аудитория». Бунтующие художники, пытавшиеся вырваться за пределы общественной иерархии, обрели внутри тусовки иерархию не менее жесткую, хотя и совершенно иррациональную. Ведь тусовку составляют не читатели, а по-читатели. Автора судят не на основе создаваемых им текстов, а на основе его личного статуса. Тексты, опубликованные о нем, опережают его собственные тексты. Автор создает сюжет из своей жизни, ища приключений, которых так не хватает его героям. Он гордо декларирует, что удаляется в башню из слоновой кости,— но по пути застревает в кабачке на Монмартре или в «Бродячей собаке».

**Рассуждение четвертое,** в котором напоминает, что поэзия любезна, приятна, сладостна, полезна.

Если товар имеет цену, это и значит, что он обладает полезностью. Если заработная плата героя сказки состоит из трех изречений, значит, магические изречения спасут его жизнь и умножат его достояние. Хосров Ануширван отправляет послов в Индию на поиски чудесной «Панчатантры» потому, что книга эта — «корень всякого знания и вершина всех наук, путеводитель ко всему полезному, ключ к поискам жизни будущей и средство спасения от ее ужасов; она удовлетворяет все нужды царей при управлении царством своим и все потребности существования их».

Полезность слова, его ценность — вот, пожалуй, основное, в чем убеждена традиционная литература. На протяжении тысячелетий она спокойно полагает, что искусство есть «пятая веда», также созданная на небесах, но предназначенная, в отличие от четырех канонических вед, для всех сословий общества («Натьяшастра», IV—III века до н. э.), или что «пиитические выражения и их изображения, хотя они и вымышлены, служат познанию естества, подражанию великих дел, отвращению от пороков и всему тому, чего человечество к исправлению требует,— и нередко больше имеют они успеха, нежели проповедуемая мораль» (А. П. Сумароков, XVIII век).

Почему так? Да потому, что долог путь поучений и краток путь примеров.

Слово облечено властью.

Спартанцы просят у афинян военной помощи; у Афин нет лишних войск. Афиняне посылают спартанцам лишь одного человека — поэта Тиртея. Тиртей, Киплинг античности, воспевает победу и бой, и спартанцы побеждают.

Слово приближено к власти.

Нынче само сообщение о том, что некто Лукьянов пишет стихи, вызывает улыбку. В традиционной культуре верно обратное. Мы не смеемся ни элегиям афинского законодателя Солона, ни размышлениям Марка Аврелия; мы не удивляемся, что «Глиняная повозка» приписывается индийскому царю Шудраке, и нам не кажутся странными стихи, написанные чиновником империи Сун Су Ши или министром герцога Веймарского Гёте.

Роль слова необычайно высока; в знаменитых сборниках Востока рассказывание и жизнь тесно связаны. Шахразада рассказывает тысячу и одну ночь, и умение повествовать спасает ей жизнь. Герои «Тути-наме» или «Бахтияр-наме» попадают в ту же ситуацию: прямое согласие или прямой отказ равно губительны; завлекательные истории, рассказываемые Бахтияром или Шахразадой, преследуют практическую цель и прославляют возможности басни и повествования по сравнению с рациональными доводами, влекущими смерть рассказчика.

Тридцать две статуи трона царя Викрамы рассказывают по очереди истории, составляющие «Жизнь Викрамы, или 32 истории царского трона». Эти статуи не кто иные, как проклятые и превращенные в камень небесные девы. Конец проклятию наступит тогда, когда каждая из них расскажет историю о великодушии справедливого царя Викрамы.

Они оканчивают, и слушатель, царь Бходжа, просит у них последний дар: «Пусть у тех смертных, которые станут слушать или рассказывать «Жизнь Викрамы», возрастут смелость, сила, слава, мужество, великодушие и другие достоинства».

Рассказ утилитарен вдвойне. Для статуй-рассказчиц он означает избавление от проклятия. У слушателей же возрастут смелость, сила, слава и другие достоинства.

От автора «Панчатантры», ставшей частью науки по управлению государством, до автора «Бедной Лизы», вдруг переменявшего мир рассуждением о том, что крестьянки тоже любить умеют, от афинянина Тиртея до энциклопедиста Вольтера — словом, вплоть до эпохи романтизма поэт пишет свои истории в научение «царям и их подданным» и не видит ничего плохого в таком обращении к слушателю:

Поэзия тебе любезна,  
Приятна, сладостна, полезна,  
Как летом вкусный лимонад.

В XVIII так писал Державин. В XX веке так мог бы уже написать только Хаомс.

Рассуждение пятое, где утверждается вслед за Г. К. Честертоном, что нет приключения удивительней, нежели приключение, именуемое цивилизацией; и что культура есть не бунт и не хаос, а нечто противостоящее хаосу.

Благодаря ли зависимости от властей, благодаря ли зависимости от рынка — традиционная литература отличалась весьма почтенным качеством: конформизмом.

Овидий, сосланный к дунайским берегам, писал «Скорбные элегии» и «Послания с Понта», по жанру отличающиеся от покаянных писем диссидента тем только, что сослан Овидий был отнюдь не за противостояние режиму. Читателю не приходило в голову искать низкопоклонство там, где столь гармонично сливались практическая цель, преследуемая поэтом, и дар волшебных песен, завораживающих душу.

Вергилий в знаменитой четвертой эклоге прославил как мог высокопоставленного покровителя. За эту эклогу он удостоился чести стать спутником Данте и самым почитаемым поэтом средневековья, ибо стихи о божественном младенце и о наступлении золотого века были приняты за пророчество о рождении Христа.

Модернизм ощущает себя как бунт и как хаос. Традиционная культура ощущает себя как порядок. Она может сочувствовать беднякам, святым и мечтателям, но она не сочувствует мятежникам и прожектерам. Бунт воспринимается как стихия антикультурная и поэтому центром литературы быть не может.

В «Развезанных чарах» Ло Гуаньчжуна и Фен Менлуна, в основу которых лег реальный бейчжоуский мятеж 1047 года, положительный герой, сыщик, сообщает императору: «Удалось разузнать, что Ван Цзе и его приспешники совершенно не разбираются ни в военных, ни в гражданских делах, а полагаются только на колдовство». Придет без малого девять веков, и в году 1933 европеец Андре Мальро публикует «Условия человеческого существования», где среди прочих героев будет представлен и прямой потомок бейчжоуского ересиарха, террорист Хонг, готовящийся на этот раз убить Чан Кайши. Андре Мальро знает, что этот террорист и его приятели совершенно не разбираются ни в военных, ни в гражданских делах, а полагаются только на стихию бунта — это и внушает автору восхищение.

Но может быть, в Европе с ее жаждой самоутверждения личности дело обстоит так всегда, или, по крайней мере, с эпохи Возрождения?

Что ж, приведем кое-какие литературные примеры, связанные с ренессансной личностью.

Заглянем в мемуары Бенвенуто Челлини — художника, хитреца и убийцы. Несть числа владыкам духовным и светским, у которых Челлини работал и с которыми поссорился. Причины тому были самые различные: то Челлини некстати зарежет кого-нибудь на улице; то к рукам его прилипнет толика золота, отпущенного на изготовление статуи, а заказчик об этом проведаст; то Челлини не по душе исполняемый им заказ; то какая-нибудь женка начнет его обвинять в таких вещах, что и произнести-то неудобно, — словом, то вследствие собственных проделок, то вследствие проделок чужих Челлини часто приходилось менять хозяев.

И что же говорит о властях этот бес возрожденческого индивидуализма, этот Франсуа Вийон с кинжалом и резцом, он, который, услышав о смерти убитого им из-за пустяка, обыкновенно ограничивался замечанием, что Господь всегда воздаст негодяям по их делам и, стало быть, вполне прислушивается к его, Бенвенуто, мнению?

Челлини передает с гордостью каждое льстивое слово, сказанное им владыке, как бы груба ни была эта лесть, и благоговеет перед всяким государем, «который ему предоставляет такие удобства, чтобы он мог выражать свои великие художественные замыслы».

В Челлини слишком много настоящей независимости, чтоб он нуждался в ее жалком суррогате — философском обосновании бунта. Да и зачем Челлини бунтовать? Ведь для него новое — не хорошо сломанное старое, а просто вещь, которой не было прежде.

Но если уж искать жанр, хоть сколько-нибудь отражающий хватку молодого европейского буржуа, то это, конечно, плутовской роман, где герои устраивают с людьми хитрости, от которых и едят свой хлеб, и не случайно именно из плутовского романа в Англии, у Делони, Хейвуда, Дефо, возникнет роман, прославляющий оборотистого предпринимателя.

В этом истинно буржуазном жанре мы находим три истинно буржуазных черты: стремление к успеху любой ценой; высоконравственные сентенции, произносимые по поводу всех прочих воров; почтение к власти — и чрезвычайную непочтительность к благородным прожектерам, мечтающим осчастливить человечество. Такой прожектер столь же неприменим в плутовском романе, как сварливая жена в средневековом фарсе.

Вот пройдоха по имени дон Паблос встречает почтенного старичка. «Уже четырнадцать лет, как я вожусь с одним проектом,— жалуется старичок,— который привел бы все в порядок, если б его можно было осуществить». Проект прост: надо взять книги поэтов и сжечь их, «дабы извлечь из них золото, серебро и жемчуг, ибо в большей части стихов они выделывают своих дам из всяческих благородных металлов».

Вот Лесаж знакомит нас в «Жиль Бласе» с доктором Санградо, приверженцем универсального метода лечения больных, изобретенного им самим. Правда, больные все время помирают. Негодяи! «Можно подумать, что они умирают нарочно, для того чтоб дискредитировать наши методы лечения». Но может быть, стоит переменить методы лечения? «В худшем случае последствия будут те же, что от теплой воды и кровопускания»,— осторожно вставляет пройдоха Жиль Блас. «Я охотно сделал бы такой опыт,— откидывается доктор Санградо,— если бы это не грозило неприятными последствиями. Ведь я написал книгу, в которой восхваляю частые кровопускания и питье воды. Неужели ты хочешь, чтоб я отрекся от своего учения?»

Плутовской роман благоволит проходимцу и нуворишу, который, преследуя собственные интересы, не очень-то разрушает общественное благо; и презирает прожектера, который преследует благо всего человечества. Для него прожектер — это всего лишь доктор Санградо, а не камюсовский бунтарь Сизиф, который не отрекается от своей задачи потому лишь, что она абсурдна, который абсурдом своих попыток оспаривает абсурд самого мироздания.

Ограниченные буржуа XVII—XVIII веков не понимали экзистенциального величия доктора Санградо — и тем убереглись от него.

**Рассуждение шестое,**  
о маргиналиях и маргиналах, о символах, пониженных в чине и превратившихся в улики, о тех, кто живет в поисках утраченного времени, и о тех, кто занят поисками пропавших бриллиантов.

Вплоть до эпохи романтизма культура мыслила себя как продолжение традиции; традиция эта была, однако, не тоталитарна, а универсальна, то есть включала в себя свое собственное опровержение.

Поля Библии были разукрашены карнавальными уродцами; химеры глядели с собора Парижской Богоматери; никто не боялся рисовать черта во всевозможных видах, но черт знал свое место на полях книги, место примечаний и маргиналий.

Новое время не открыло новых нюансов в облике черта, но постепенно переместило его с полей в центр книги. Маргиналии исчезли, маргиналы — восторжествовали.

Джордж Оруэлл, который, по точному замечанию В. Чаликовой, относился к сюрреалистическим трюкам с реальностью так же плохо, как к политическим трюкам с сознанием, иронизировал: «Представьте себе, что... ваше подлинное призвание — быть иллюстратором научно-технической литературы. Как с этим стать Наполеоном? Выход один — порочность. Делайте всегда то, что оскорбляет и ранит людей. Вы всегда будете чувствовать себя оригинальным. К тому же это выгодно. Когда в людей швыряют дохлыми кошками, они швыряют кошельки».

Сейчас массовая литература по старинке все еще соблюдает принцип маргиналий. Убийца в ней побежден, обманщик обманут. Как волшебная сказка начинается с козней злодея, позволяющих герою вступить в действие и утвердить норму, так и детектив начинается с нарушения равновесия (совершенного преступления) и кончается восстановлением равновесия (раскрытием преступления). «С тех пор,— писал Г. К. Честертон,— как человек, бунтуя против автоматизма цивилизации, проповедует развал и мятеж, полицейский роман... напоминает нам, что нет приключений романтичнее и мятежнее, чем сама цивилизация».

В мире нового Геркулеса, Эркюля Пуаро, ищут не утраченное время, а потерянные бриллианты. В этом мире символ вновь вспоминает свое утилитарное назначение и фигурирует под псевдонимом «улика». В этом мире не только действия героев, но и действия убийцы не безмотивны, но целенаправленны. Если в полицейском романе жарким алжирским утром на прибрежном песке лежит убитый араб, можете быть уверены: его убили не просто так и убийца — не посторонний из романа Камю. Если герои детектива хотят съездить на маяк, они не посвящают мыслям об этом труды и дни — они берут лодку, едут на маяк и находят там надлежащие улики. Если сыщик сидит, откинувшись в кресле и смакуя вкус пирожного «мадлен»,— будьте уверены: цепочка ассоциаций заведет его не в глубины собственной души, а совсем наоборот, выведет на след злокозненного племянника, отправившего вот таким пирожным на тот свет любящую туешку. И если в детективе развилась дедовские часы, то они разбились не для того, чтобы символизировать распавшуюся связь времен, «шум и ярость» и общую бессмысленность бытия молодого Квентина, а чтобы послужить надежным указанием следствию.



Рассуждение седьмое, о злосключениях сюжета. Где-то во Франции в начале средневековья один скотовладелец уличил пастуха в том, что тот воровал у хозяина овец, уличил и потащил в суд. Пастух обратился к небезызвестному адвокату Патлену. Патлен научил пастуха, выражаясь современным языком, симулировать полную невменяемость и на все вопросы отвечать «бе...ее». Уловка удалась. Судья, и так убежденный в поголовной глупости селян, прогнал идиота с глаз долой.

— Ну,— говорит адвокат Патлен,— теперь плати гонорар.

— Бе... — отвечает пастух.

Примерно в это же время во владениях повелителя правоверных, да продлит Аллах его дни, один эмир пировал с гостями, и кравчий ненароком пролил несколько капель вина на его платье. Эмир насутился; кравчий понял, что после пира его казнят. Тогда он взял и будто бы нечаянно опрокинул на платье властелина целый кувшин вина. Эмир вскочил.

— Первый раз ты провинился не нарочно, но теперь!

— Господин! Я увидел, как ты нахмурился, и подумал: нехорошо будет, если эмир казнит старого, досточтимого человека из-за такой малости, как капля вина. Вот я и пролил целый кувшин, дабы кара была заслуженной.

Эмир простил кравчего и щедро его одарил.

Запоминаем ли мы слова рассказа? Нет, мы запоминаем лишь общую конструкцию, движение сюжета. Рассказ о пастухе, надувшем хозяина, или о пастухе, надувшем адвоката, по отдельности не так уж нас бы и поразил. Нас порадовала перипетия, удовлетворившая и нашу жажду приключения, и нашу жажду восстановления нормы. Именно она мгновенно увеличила информационную плотность текста, так что истолкование его, более длинное, чем сам текст, стало полной противоположностью алгоритму, более короткому, нежели проделанные с его помощью вычисления.

В течение столетий материей литературы было не слово, а сюжет, перипетия, повествование, приключение, совершающееся из-за чуда, власти, любви, то есть по воле богов, правителей или женщин. Литература рассказывала о необыкновенных приключениях осли по имени Луций, о скитаниях и хитростях Одиссея, об уловках и проделках замечательного разбойника Робин Гуда, об Александре Македонском, спустившемся в преисподнюю, и о Парисфале, отправившемся на поиски святого Грааля.

Примерно к концу XVIII века произошла серьезная перемена. Читатель (как было с удовлетворением замечено писателем того времени Кребийоном) перестал находить в романах необычайные приключения, способные увлечь воображение и растерзать сердце. Перевелись герои, которые попадали в плен к туркам, едва сев на корабль, не стало внезапных кончин, количество подземелий значительно уменьшилось... Таинственные острова превратились в светские гостиные, роман стал «правдивой картиной жизни». Да кто его просил?! Сюжет, то есть приключения, исчез, и XX век здесь скорее наследовал, нежели противостоял веку XIX. Модернизм развалил сюжет, основу повествования, так же основательно, как социалисты — экономику.

Сюрреалист Андре Бретон, задумав написать роман, пришел сначала в ужас. Как? Роман? Но ведь придется употреблять такие подлые слова, как «пришел», «подошел», «сказал», «взял», и прочий словесный мусор, ничего не говорящий о подлинном внутреннем мире. Андре Бретон написал «Надю», сведя подлые слова к минимуму, и сочинители «нового романа» пошли по его следам. Новым у Роб-Грийе и Мишеля Бютора была, несомненно, именно пропаша сюжета, ибо все остальные трюки с пространством, временем и их исчезновением знает каждый ребенок, читавший волшебные сказки, где нарисованные красавицы сходят со стен и разгуливают по комнатам и где царевичу в тридесятом царстве три года кажутся за три дня.

Последние два века словно поставили над литературой эксперимент, схожий с тем, который провел небезызвестный цыган, вздумавший отучить лошадь от вредной привычки кушать овес. Опыт был уже близок к коню, но накануне удачного его завершения испытываемый объект подох.

Массовая и элитарная литература произвели раздел имущества покойной традиционной литературы; одним в наследство досталось слово, другим — сюжет.

Но слово всегда было неконвертируемой валютой, имеющей хождение лишь в пределах данного языка; золотым же запасом литературы, имевшим всемирное хождение вслед за динарами и безантами, был сюжет. Его зарывали в сокровищницы — книги, его извлекали из книг и вновь пускали в оборот. И слова были как товары, особые в каждой области и стране, а сюжет был как благородный металл, ценный повсюду.

Модернизм, сорвав маски и отменив табу, тем не менее наложил табу на ствол литературы — сюжет. И это не случайно, ибо сюжет — какой позор! — учит нас конформизму. В безвыходной ситуации он учит поступать нас не как Сизиф, а как

кравчий, который не с помощью рассуждений об абсурдности мира, а с помощью поступка, преодолевающего эту абсурдность, сумел спастись от казни, нажать добро и даже устыдить жестокого владыку.

**Рассуждение восьмое,** о литературе как модели успеха и о литературе как пособии для неудачников.

Еще в XIX веке Гегель заметил, что высокое искусство описывает жизнь царей вовсе не из какой-то тяги к аристократизму или же ко всему выдающемуся, а для того, чтобы иметь возможность продемонстрировать свободу воли и творчества, которая не может существовать ни в какой иной среде.

И действительно, искусство описывало жизнь владык или же тех, кто действовал как владыки, то есть обладал свободой волеизъявления. Оно демонстрировало не модели бунта, а модели успеха. Владыки не бунтуют, как это представлено нам в «Калигуле» Камю. Они воюют. Бунт — удел униженных и оскорбленных, он бессмыслен и беспощаден, а война — способ обрести богатство и царство.

Традиционная литература повествует о положительных героях. Положительный герой — это тот, кто побеждает, или обретает славу, или стяжает благодать, и литература, сосредоточенная на неудачниках, не способных ни к первому, ни ко второму, ни к третьему, теряет положительного героя из виду.

Положительный герой — это не качество, а должность, не характер, а место в сюжете. Это маленький человек из волшебной сказки, который приносит с того света деревце с молодильными яблоками, втыкает его в своем палисадничке и получает молодильные яблоки в частную собственность. Это святой, который умирает неузнанным в родительском доме, дабы стяжать царство Божие, ибо, как сказано, спасающий душу подобен обретающему сокровище. Это может быть воин, человек, обреченный на успех, ибо, победив в поединке с драконом, он приобретает сокровища, а погибнув в этом поединке, он обретает вещь еще более драгоценную — славу.

Эпос и миф славят Улисса не за то, что он подал в пещеру Полифема, а за то, что он оттуда выбрался. Ахиллеса — не за то, что он прятался с прялкой среди женщин, а за то, что он изломал эту прялку и взял в руку меч.

Новый Улисс и его потомки — принципиальные неудачники. Это Геркулесы в рабстве у лидиянки Омфалы; Ахиллеса, не выпустившие из рук прялку; кентавры, работающие провинциальными учителями; Ильи Муромцы, не слезшие с печи; бедные Гансы, так и не повстречавшие своих золотых гусей; и единственный их капитал, тщательно приумножаемый, это капитал тычков и заушин. Да и что им делать? Если б они повстречали своего золотого гуся, они бы немедленно возмутились его мешанским гоготанием, как степной волк у Гессе возмущается обывательским фикусом на окошке, дальним потомком «садииков Адониса» и молодильных яблок в собственном палисадничке.

Полно, да уж впрямь ли перед нами Ахиллес? Он, во всяком случае, считает себя Ахиллесом. Почему? Да потому что Ахиллес тоже сидел за прялкой — сходство налицо.

Что же касается массовой литературы, тут потомки Геркулеса остаются людьми удачи. Они принимают правила, по которым устроен мир, и, приняв их, устраняют то зло, которое не было бы устранено без их вмешательства. Упорядочение мира, впрочем, часто оказывается выгодной финансовой операцией, и герои наши считают деньги с увлечением Робинзона Крузо или его автора; совсем как Луций из «Золотого осла» Апулея, с удовлетворением оповещающий читателя об «изрядном доходце», обретенном им через приключения и мистические озарения, или как студент Бальтазар из «Крошки Цахеса», получающий после всех волшебных перипетий руку прелестной Кандиды и порядочную мызу с кухней, устроенной так, что горшки никогда не перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если на целый час опоздать к столу.

**Рассуждение девятое,** и последнее, о том, как литература стала бесполезной, потому что сама себя объявила таковой.

Горшечник, у которого не покупают горшков, зовется плохим горшечником.

Предприниматель, зарывший талант в землю во времена инфляции, зовется банкротом.

Правитель, обещающий осчастливить людей наперекор населению страны, не согласному с его методами, зовется диктатором.

Поэт, не получивший признания, именуется гением.

Представитель элитарной культуры — это человек, который, вместо того чтобы надеяться на вечную жизнь после смерти, надеется на вечное признание — тоже после смерти.

Отверженность поэта началась с игры в отверженных, затеянной романтиками в начале XIX века.

Гомер был слепым; но он не был отверженным. В античных легендах на поэтов покушаются те, кто по ту сторону меры. Арион — жертва пиратов, Орфей — жертва менад. Лотреамон сам считает себя разбойником, Бодлер сам провозглашает себя менадой. Поэта душат не разбойники, а, наоборот, добропорядочные граждане. Пророком становится не тот, за кем идут, а тот, от кого отворачиваются. Если песни Орфея или Ху Ба, если проповеди Франциска Ассизского слушали все люди и даже птицы, камни и звери, то лермонтовского пророка слушают только звери и птицы.

Калидаса был проклят и косноязычен до того, как богиня Кали вложила в уста своему рабу дар стихотворства: Пастух Кедмон был косноязычен до того, как уст его коснулась дева Мария. Кедмон и Калидаса обрели поэтический дар, и слово избавило их от проклятия. Романтический поэт проклят после того, как обрел свой дар, именно искусство делает его отверженным.

Идеалом античного писателя был «внятный всем» язык. Сирийцы писали на греческом, кельты и германцы — на латыни. Затем стали писать на «вульгарных» языках, но все по той же причине — чтобы быть понятными множеству людей.

К концу XIX века случилось обратное: каждый стал писать на своем языке, в идеале непонятном и непрозрачном для других. Для функционирования тексту больше не нужен был читатель, зато необходим комментатор, для безопасности помещаемый внутрь самого текста. Похвала комментатора звучала примерно так: «Он написал некоммерческий роман, роман, который никогда не будет иметь успеха у публики». Порочный круг замкнулся: то, что в средневековье было бы насмешкой, в XX веке стало непрременной частью восторженной хвалы.

Впрочем, мне могут недоуменно возразить: вы противопоставляете конформизм и бунт; сюжет и бессюжетность, благоразумную магию и бесполезную игру — словом, традиционную литературу и модернизм, — но из вашего противопоставления выпадает куда-то весь XIX век, век реалистического романа, век сюжетной интриги, век психологических портретов и тонких описаний природы... Разве не заботились писатели XIX века о сюжете и связности событий? Разве не реализму века XIX противопоставил себя сюрреализм века XX в его «диктовке мысли за пределами всякого контроля, осуществляемого рассудком, вне всякой эстетической или нравственной заинтересованности» (А. Бретон)?

Действительно, все так. Вирджиния Вулф в начале XX века так определяла задачу нового поколения писателей: отбросить большую часть условностей, которые обычно соблюдают романисты. «Если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой по правилам портных с Бонд-стрит».

Но если брать в расчет не последние два века, а последние два тысячелетия истории человечества, то, странное дело, мы заметим больше сходства между Шиллером и Кафкой, между Бальзаком и Прустом, нежели было бы приятно им самим.

Именно в XIX веке писатели бросили прославлять Робинзонов Крузо и стали так или иначе презирать всех тех, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился. Понятие «мера», столь милое вечному буржуа, было облито презрением. Традиционный диалог власти и мудреца превратился в два монолога не слышащих друг друга собеседников. Именно в XIX веке сочинители, сколь бы ни были противоположны их убеждения, странным образом сошлись в своем презрении к нуворишам, буржуа и предприимчивым лакеям, кишащим на ярмарке тщеславия, к благоразумному сыну Францу Моору, к аптекарю Оме, столь добродетельно верующему в прогресс, к банкиру Домби, заподозренному в окаменении сердца. Именно в XIX веке Люсьен де Рюбампре стал милее Растиньяка, безвольный Фредерик Моро — лучше проходимца Дюрюа, Обломов вышел симпатичнее Штольца, а Акакий Акакиевич — симпатичнее Чичикова; словом, писатель стал сочувствовать персонажу именно оттого, что он не может победить в таком мире, и героями литературы, от Жюльена Сореля до Пети Трофимова, стали принципиальные неудачники. Ну согласитесь, к примеру: если бы Андрей Болконский добился исполнения своих мечтаний и стал бы новым Наполеоном — сколь много он потерял бы в глазах Толстого!

Власти и войны требовали от поэта хвалебных песен. Буржуазия стала первым в истории классом, который согласился терпеть собственное осмеяние.

Поэты не мешали банкирам, как не мешают Библии кривляющиеся рожницы чертей на полях; растиньки прекрасно знали, что экономика — это тоже сфера человеческого творчества и деньги — самая изысканная из придуманных человеком знаковых систем.

Писатели же, со своей стороны, бежали от денег, как черт от ладана, и даже гениальному Флоберу, чтобы воспеть священную власть золота, понадобилось вернуться на два тысячелетия вспять и описать вместо торгового Парижа торговый Карфаген.

Сочинители XX века подхватили и усугубили это стремление утвердить свою личность не через причастность вещному или божественному бытию, но через противостояние всякому бытию. В XIX веке это отрицание общепринятого распространялось лишь на мир, окружающий писателя извне; в XX веке стихия отрицания пронизала не только дух, но и форму литературы. Возникли тексты, не адресованные ни читателю, ни Богу, тексты, демонстрирующие воображение, никому не подчиненное, и «необъяснимое искушение разума покончить с собой при помощи этого же самого разума» (Х. Кортасар). Пуговицы, пришитые по всем правилам портных Бонд-стрит, были выдраны с мясом, и с такой же легкостью были сорваны с петель двери в иные миры. Но, к величайшему разочарованию публики, оказалось, что если пришивать пуговицы по правилам, может быть, и небольшое искусство, то для того, чтобы пришивать пуговицы на чем угодно и как угодно, вообще никакого искусства не требуется...

Литература и искусство перестают пользоваться влиянием и приносить пользу, потому что каждому воздается по слову его: если литература объявит себя бесполезной, она таковой и станет.

Свидетели кризиса заволновались: культура погибает! В истории человечества, правда, еще не было precedентов гибели культуры на ровном месте, без вторжения варваров и потрясений. Наш век, однако, любит беспрецедентное. Поэзия и культура жили в течение тысячелетий на рынках и в храмах, в хижинах и во дворцах — везде, где был возможен диалог поэта и его аудитории. Но они страшно истоцились и в условиях тоталитарной диктатуры, где стал невозможен диалог поэта и властителя, и в условиях диктатуры элитарной, где стал невозможен диалог поэта и толпы.

Даже кризис социалистической системы с ее псевдоморфозой культуры сверг наше общество в состояние сравнительного хаоса. Трудно представить себе, во что может вылиться окончательный кризис тех ценностей, которыми живет до сих пор бывшая христианская цивилизация и которые столь усиленно разрушаются бунтарями всех образцов.

С радикальной точки зрения, привычной XX веку, кажется, будто традиционное представление о песне, что пленяет даже богов и демонов, приводит в трепет сердца суровых воинов и служит наставлением живущим и назиданием потомкам, не соответствует истине. Между тем это идеология обещает превратить человека в бога — и превращает его в зверя. Традиционная же культура обещала совсем другое: удержать человека от превращения в зверя, — и она выполняла свое обещание. Искусство действительно не может перевернуть мир с ног на голову: XX век это и назвал бесполезностью искусства. Но в том-то и состоит скорее его величайшая польза.

Культура устроена подобно Зазеркалью, куда некогда попала Алиса и где надо бежать со всех ног, только чтобы остаться на месте. Человек есть действительно нечто, что надо превзойти, как сказал Ницше, ибо, только пытаясь превзойти себя, человек остается тем, чем велел ему быть Бог.

Красота не спасет мир (как полагал Достоевский), это утопический и нехристианский лозунг, ибо мир был спасен совсем другим образом. Но красота с п а с а е т мир — в настоящем, а не в будущем времени, — кропотливо, ежеминутно закладывая в повседневные отношения людей тот этический фундамент, который действительно нельзя измерить статистическими методами и который есть то, что делает статистику возможной.

Когда культура ставит себе задачу оправдать неудачников, когда она устами собственных же утонченнейших представителей утверждает абсурдность мира и свою бесполезность, тогда обыватель говорит ей: мерси, вы для меня действительно бесполезны, не объясняйте мне так подробно, как стать зверем, — я и сам это знаю. Возлагать на «темную массу» вину за кризис культуры — это то же, что возлагать на «темную массу» вину за кризис социализма. XX век во всех отношениях оказался временем материализации гениальных идей, ведущих тем не менее в никуда.

Мы только что видели, как рухнула одна из грандиозных химер XX века — советская тоталитарная система. Она рухнула потому, что народ отказался воплощать

в жизнь постановления о скорейшем пришествии золотого века вне зависимости от того, был в руках правителей кнут или пряник. Быть может, минет еще десяток лет — и рухнет другая химера, химера того самого вечного авангарда, который, по характеристике М. Хоркхаймера и Т. Адорно, одиноко продолжает в западном индустриальном мире задушенную буржуазией революцию.

Это и будет та самая гибель культуры, точнее, гибель элитарной культуры, которую столь усердно предсказывают ее представители.

Особые надежды при этом возлагаются на молодое поколение: оно должно еще раз сломать сломанное, развеять пепел сожженного и застыть в полунасмешливом постмодернистском поклоне перед обломками оконченной истории и утраченной цели существования. Но может быть, молодое поколение, окруженное всеми разновидностями бунта, выберет самое прекрасное из восстаний — восстание в честь здравого смысла? Может быть, молодому поколению надоест считать себя Улиссами только на том бесспорном основании, что их загнали в пещеру Полифема, и называть себя гениями оттого только, что в современной культуре, как утверждает Б. Гройс, отсутствие успеха является его показателем?

«Гений не делает ошибок,— писал Джойс.— Его заблуждения намеренны, они — преддверия открытий».

Так ли это? Увы, XX век показал нам, что заблуждения гениев не столько преддверия открытий, сколько предвестники катастроф; и распад единого поля культуры на культуру массовую и элитарную — вероятно, одна из крупнейших катастроф XX века.

Удастся ли новому поколению художников загладить вину своих учителей и поступить вновь в рабство сюжету, анекдоту и традиционной развязке? Удастся ли вновь пришить пуговицы по правилам портных с Бонд-стрит? Надо надеяться, ибо история человечества — это история игр, в которые играют культуры, и горе культуре, если это игра неудачников и бунтарей.



---

ВИКТОР КАМЯНОВ

\*

## ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

*О репутации «старого искусства»*

**Д** оказывать величие великого — занятие неблагодарное. Русская классика, которую сегодня обстреливают с разных литературных площадок, отлично устоит и без нашей защиты. Но ведь стрельба ведется с опорой на некую методологию, в запасе у сокрушителей авторитетов есть свой теоретический арсенал, куда открыт доступ желающим. И отчего бы слабо вооруженной публике не разжиться чем-нибудь в арсенале? Предостереечь публику от такого соблазна — задача совсем не праздная.

Многим, конечно, теоретическая база без надобности, вполне достаточно разудавшейся руки да одержимости холопской страстью принизить высокое. Но для охотников глумливо уязвлять авторитеты поощритель и хор вполне благопристойных голосов, упрекающих классику в менторстве, избытке эпической невозмутимости либо даже в узости духовного горизонта.

Последнее трудно воспринять всерьез, но вот питерский критик Сергей Носов ничуть не шутит, представляя литературу «золотого» века чадолюбивой «мамой», существовавшей «в по-своему домашнем мире — мире, похожем на детскую комнату», и ухитрившейся не заметить, «что кроме воспитания потомства есть в жизни и иные головокружительные горизонты».

«Свобода и сила» — названа статья, откуда взято это укоризненное суждение («Звезда», 1992, № 4). В заглавие вынесена сцепка двух ценностных категорий, с которыми, считает автор, родная российская культура обошлась как неродная. Отчего так? Среди прочего, отвечает критик, оттого, что привыкла потакать слабости («развивалась под знаком жалости к слабым», «увлекаясь „маленькими людьми“»). Иначе говоря, для малых сих, приниженных и забытых, была доброй «мамой», для сильных — мачехой. А теперь, пожалуйста, потомок, расхлебывай результаты ее «размягченной» женственности и потачек «маленькому человеку». Кому же именно? Ну хотя бы Башмачкину или шенграбенскому артиллеристу Тушину, конкретизирует С. Носов, объявляя Льва Толстого вождем литературы, грешившей «идеализацией слабости».

Если у С. Носова термин «маленькие люди» нейтрально закавычен, то Петр Вайль при обозначении той же категории персонажей-скромняк пользуется заглавными буквами (графический контраст к духовной невзрачности и неразличимости башмачкиных, девишкиных...): «Маленький Человек был вознесен не столько сам по себе, сколько как часть страдающего человечества. Инструментом тут служил не микроскоп, а телескоп... Маленький Человек из великой русской литературы настолько мал, что дальнейшему уменьшению не подлежит» («Смерть героя». — «Знамя», 1992, № 11). П. Вайлю требуется напрягать зрение, дабы разглядеть крохотулю на страницах великих книг, и он с тонким сарказмом подчеркивает, насколько же значителен разрыв между репутацией наших литературных корифеев и мизерностью их персонажа-фаворита, чью фигуру, по неоднократным заявлениям критика, они норовили вознести вровень с Цезарем.

Постойте. И такая-то словесность, перепутавшая микроскоп с телескопом, удостоилась всяких звучных эпитетов! Чем же она к себе приворожила современников с потомками — слезными речами в защиту «страдающего человечества»? Тогда и впрямь пора исправлять ошибку, поставив «Шинель», «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных» в ряд с «Хижиной дяди Тома» и честно объявив, что при строгой проверке на вершине российского Парнаса обнаружен сиротский приют, а насчет великих образчиков искусства — это, простите, душеспасительная легенда...

Ну вот, про что пелось за здравие, про то же теперь — за упокой. Вместо осанны милосердию отечественной культуры — моральный иск за бабью чувствительность и попечение о слабых. Но ведь как аукнется, так и откликнется. Нынешние разносы

или попреки — резкий отскок от вчерашних здравниц. При равном с ними отдалении от предмета оценки.

«Маленький человек» был взят словесностью под защиту? Верно. Одобрительные о том заявления штатных ценителей сообщали миру, насколько они высоко литературу-защитницу ставят и за что ставят высоко. Новейшим попрекам соответствует тот же укороченный аршин, что и знакомой хвале. Аршин социально-педагогической пользы либо вреда, прилагаемый к духовному объему классики.

А среди какого, интересно, простора мал опекаемый классикой «маленький человек», хотя бы капитан Тушин? Под небесным пологом, нависшим над полем сражения, он, напротив, велик, как позднее другое дитя человеческое, Петя Ростов, слушатель-распорядитель «стройного хора музыки» в свою последнюю ночь. Особая реальность, где щупленький Тушин преобразился в могучего мужчину, «который обеими руками швыряет французам ядра», а младший Ростов приобщен к тайне мировой гармонии, фантастична? Верно. Обоим персонажам дано слышать неслышимое, проникать за грань обыденности, угадывая оркестровое звучание бескрайнего мира. Оба, и Тушин и Петя, — в зоне кутузовского притяжения. Они абсолютно натуральны, исполнены доверчивой «детскости» и оттого принадлежат у Толстого к с и л е, о которую разбилась вал нашествия.

Кутузов, если пользоваться расхожей меркой, рыл, сонлив, «слаб». Но могуществен проникновением в скрываемые токи, колебания народного моря. Тушин точно угадывал, когда и какую команду подать оружейной прислуге, Петя Ростов — как чередовать голоса ночных «инструментов», Наташа — на каком такте дядюшкиной гитары выставить вперед ножку и взмахнуть платочком, Кутузов — на каком рубеже отступления прислушаться наконец к призывам двора и генералов, заждавшихся большой битвы.

Обозначая лишь участок толстовского «лабиринта сцеплений» ради уточнения места капитана Тушина в художественной системе, где истинный его рост и «силу» не узнать, миновав область поэтической метафизики. Тут-то и загвоздка, ибо сами ноги пронюхают читателя-позитивиста мимо всяких там «лабиринтов», раз уже на школьной скамье затвержен тезис о классике как ходатае о «маленьком человеке» перед неправой властью.

А разве, спросят нас, ничем похожим классики не занимались? Похожим — возможно. Только им не случилось мыслить синхронно с делягой интерпретатором, мусолящим каталог воспитательных тем и мотивов. Деляга обозревает и метит знаками художественную постройку со своей кочки, куда забрался с каталогом. А затем (продолжим наше сравнение) является сменщик, недовольный всей оставленной разметкой («воспитательной» классикой вообще), кроме одного, с чем вполне согласен — обозначения «верх», которое намалевано чуть выше фундамента...

Между великим искусством прошлого и нынешней аудиторией долго располагался фильтр зарегулированного аппаратного сознания, пропускающий лишь то, что этому вознианию доступно или близко. И массовое восприятие великого искусства превращалось в «жвачный цикл», перетирание кашицы прописей.

От этой принудительной кормежки на каком-то этапе начинается душевная изжога — хватит другого хотим! О том, что многие хотят другого, недавно рассказали известные социологи-публицисты Лев Гудков и Борис Дубин в статье «Без напряжения» «Новый мир», 1993 № 2). По их наблюдению, «„высокая” культура в целом» выглядит в глазах читателя «ориентированной на прошлое, на школьные шаблоны и имена ощущается, как чуждая для него, несвоевременная и неуместная», зато «догматически отвергаемое «тривиальное» искусство» пользуется повышенным спросом, ибо способно снимать избыточное напряжение, убаюкивать, снижать степень дискомфорта от «модернизационных воздействий».

А как же духовная элита? Авторы статьи делятся с нами выводами, не очень лестными для интеллигенции, которой, как им представляется, важна не сама высокая культура прошлого, а знаки своей приобщенности к ней, успехи в своем моральном (и житейском) благоустройстве с помощью классики, важно поднятие тонуса, эмоциональное самоподстегивание демонстрацией «шумной любви к классике». И в этом случае, говорят нам авторы, «классики должны быть мертвыми, воплощая в ритуалах их почитания нерационализируемые комплексы группы».

В очередной раз с интеллигенции сдернуты маскировочные покровы, и вроде бы все ясно — высокое искусство прошлого, по сути, осталось без работы.

Социология интеллигентских ритуалов, уловок, кокетливых заигрываний с авторитетами краем задевает и сами авторитеты, поневоле втянутые в суету лицедейства. А где же их духовное дальное действие?

Если с помощью культуры прошлого интеллигенция и впрямь пробует воплотить в ритуалах некие групповые «комплексы», она ошиблась в выборе подспорья и должна бы переключиться на что-нибудь попроще: Толстому или Шекспиру пред-

почесть авторов, с которыми легче столкнуться. У Роберта Музиля в его знаменитом романе «Человек без свойств» очень точно сказано о плееде великих писателей: «Тому, что их волновало, они придали такую твердую форму, что оно, вплоть до промежутков между строчками, похоже на спрессованный металл... Невозможно высвободить мысль книги из страницы, облекающей эту мысль».

Не в пример книгам великих страницы произведений среднедобротных позволяют вычленивать мысль-одиночку, не повредив соседнего текста. Текущей литературе особенно утаивать нечего: мысль вам приглянулась — владейте. И наш расторопный ум, от которого у автора секретов нет, берет эту мысль на вооружение. Не соприкоснувшись со «спрессованным металлом». А у великих писателей текст звонко-монологичен благодаря их сосредоточенности, нет, не на мыслях, — на думе, которая работает в застрочном пространстве, наращивая силу сцепления между мыслями, не давая им разбегаться. Собственно, многими умными мыслями великие как будто здесь, возле нас, думами — далеко.

Классика не свод образцовых текстов, скорее тип мышления. Его актуальность подвержена колебаниям сообразно температуре волны (под клич «даешь!», под грохот прикладов в соседнюю дверь не очень-то вняты голоса Гёте или Толстого), но никогда не приближается к нулевой отметке, ибо капитальные «почему?» и «зачем?» маячат у каждого из этих писателей — за ближним порядком мыслей.

Наша сосредоточенность на ближнем порядке — форма рассеянности: погрязая в сутолоке, отвлекаемся от неподъемных вопросов. Но не всю же дорогу нам глядеть лишь под ноги. Великое искусство, можно считать, делегировано рассеянному-хлопотливому человечеству в область вековых загадок и тайн, тогда как дюжинным авторам обычно хватает текущих вопросов.

Классика — особый тип мышления, ибо, отмеряя минуты, помнит о немеренном времени; частные обстоятельства сопрягает с универсальным «обстоятельством» — жизнью; моделируя ситуации, создает сверх того модель мироустройства или свой параллельный мир — аналог подлунного. Вообще величие большого искусства в чем-то сродни величю бытия, к которому каждый из нас и в рассеянии прикосновенен. Во владения великого искусства входят не как в костюмерную или на склад реквизита (хотя и такое случается), а повинувшись запросам своего внутреннего человека.

И советский интеллигент, жестко аттестованный Л. Гудковым и Б. Дубиним, не вовсе пропащая душа, пишу духовную не всякий раз хватает на бегу. Иначе говоря, у сюжета «классика и мы» есть и не столь явные повороты, как демонстрация «шумной любви»...

Г. Жаркой, выступивший на страницах «Посева» (1992, № 4) под рубрикой «Проблемы образования», замечает: «Деятельность литературоведов-марксистов, питающая школьное литературоведение, привела к чудовищному искажению русской классики, к беспрецедентному искажению ее духовного мира. Им удалось превратить русскую литературу XIX века, не имевшую ничего общего с революционными идеями, в аргумент к своим преступным философским, этическим и социальным взглядам». Марксисты-ленинцы, колдовавшие над классикой, доколдовались до такого искажения ее облика, что та и впрямь может показаться потомку чадолюбивой «мамой», от которой скрыты «головкружительные горизонты». Суждение о «горизонтах», однако, опрометчиво сверх всякой меры.

Как раз накануне года «икс» — 1917 — Н. А. Бердяев сблизил в рамках одного рассуждения Маркса, Достоевского и Ницше. Речь шла о «кризисе гуманистической антропологии», к которому были по-разному прикосновенны названные авторы («Смысл творчества», 1916). По Бердяеву, Марксов «обожествленный человек истребляется во имя чего-то призрачно сверхчеловеческого, во имя идеи социализма и пролетариата», а «после Ницше и Достоевского нет уже возврата к старому, ни к старой христианской антропологии, ни к старой гуманистической антропологии. Начинается новая эра, и выявляются пределы и концы».

Гражданская история очень впадет размечает памятными вехами движение капитальных идей. На пороге большевистского переворота Бердяеву потребовалось вернуться к моменту острейшего напряжения «проблемы о человеке» (великом и в своей «малости»), которая стягивала к себе линии духовных поисков Толстого, Достоевского, Чехова.

XIX век оставил на шахматной доске позицию, над которой еще долго ломать голову веку XX. Свой активный ход сделал Маркс, затеяв комбинацию с жертвой «обожествленного человека» — во имя «чего-то призрачно сверхчеловеческого». У русской культуры на Марксов «ход» был давно заготовлен ответ о вождениях бонапартов самого разного калибра, для которых «двуногих тварей миллионы» — лишь «орудие одно», об эпидемии вседозволенности, ее возбудителях («трихинах») массового безумия из сна Раскольникова.



Тревожные сигналы от Достоевского чутко уловил Ницше, но гуманистической окраской тревоги пренебрег, а вот пробную идею («трихинную» в своей основе) Раскольникова поймал на лету и подверг философской редакции, из которой та вышла под обратным нравственным знаком: для сильной личности обычные запреты недействительны, ибо она — обновительница людской природы и породы.

Во благо ли самим обновителям разрешение «падающего подтолкнуть»? Не посмеется ли практика над антропологическим фантазмом? Подобные сомнения посещали немецкого мыслителя вместе с воспоминаниями про то, «о какие ничтожные преграды обыкновенно разбивались в прошлом существа высшего ранга, надламывались, опускались, становились ничтожными!» («По ту сторону добра и зла»). Но велик был соблазн открыть новую антропологическую эру гордой поступью сверхчеловека. И Ницше перешагивал через сомнения, правда, издеваясь при этом над прорицаниями социалистов о человеке «свободного общества», который ему виделся стадным или «карликовым животным с равными правами и притязаниями».

Коллективизм социалистов и аристократический индивидуализм Ницше, конечно, сильно разнятся между собой. Но есть у них и точка встречи — мечта о появлении иной, более приглядной людской породе, свободной и сильной. Тут своего рода антропологический романтизм, у которого высока разгонная скорость, но слабы тормоза.

Для Н. Бердяева, однако, различны его типы и намного предпочтительней ницшеанский, где есть динамизм духа, упор на творческую его природу, тогда как для социалистов творческие ресурсы «обожествленного человека» малосущественны.

По Н. Бердяеву, роду людскому еще предстоит возвыситься до своего предназначения, последовав примеру-завету Верховного Творца и отдавая силы творчеству. Расслышав тот же примерно пафос у автора «Заратустры», русский философ высоко отзывается о немецком предшественнике: «„Заратустра“ — величайшая человеческая книга без благодати», «В Ницше гуманизм побеждается не сверху, благодатно, а снизу, собственными силами человека — и в этом великий подвиг Ницше». Горячо подхвачен, преломлен в духе «религиозной антропологии» персонализм Ницше. Сам же заочный диалог о человеке развертывался с опорой на русскую художественную традицию.

Между тем облегченный вариант ницшеанства бодрил российский дух и в 90-е, и на самом рубеже веков. К онтологическим высям, где с автором «Заратустры» встречался Н. Бердяев, влекло вовсе не каждого, зато к сказке о сверхчеловеке охотно поворачивались многие души, разомлевшие в климате безвременья; свежестью, брутальным напором веяло от этой философской прозы — в укор всякому кисляству.

И колоритный волжский люмпен Максим Горький подбавил свежести в литературную атмосферу, будоража русскую публику постницшеанскими афоризмами о свободном и сильном человеке, которому пора вышагнуть на арену под крики буревестников. А мода на Горького у нас настала следом за увлечением ницшеанством, и все это в канун исторических потрясений, впереди которых неслись бодрящие умственные веяния, сулившие новизну и почти позабытую молодцеватость внутренней выправки.

Подобные обещания-ожидания способны склонить мысль и к активистским афоризмам Заратустры, и к горьковскому «безумству храбрых». Притом обычной культурной практике, конечно, ближе был «Заратустра» не в бердяевском, а в горьковском прочтении, то есть сниженный, обращенный в допинг для расслабленного сознания.

Горький как посредник между Ницше и социалистами, которых тот открыто презирал, шел на разрыв с русской классикой, в свой срок развернувшей анатомию индивидуального и группового бесовства. Уже в сочинениях дореволюционного Горького проходила предварительную обкатку позднейшая прагматическая эстетика, для которой человек никакой не микрокосм, а рекрут, поощряемый к самозакланию «во имя», и которая станет раздраженно отмахиваться от классических постулатов о самоценной и неисчерпаемой личности, числа «маленьких» башмачкиных лишь по разряду социально обездоленных. (Примечательно, что рекрут, которому впереди светит жертвенный алтарь, должен, согласно этике Горького, растить в себе силу — козырное свойство мобилизованных и призванных, поощряемое в назидание социальным «слабакам».)

Попробуйте по тону отзывов Ницше о Достоевском или Бердяева о Ницше уловить бескомпромиссную, по сути, полемику. Вряд ли уловите. Тон исполнен не просто уважения — горячей благодарности. За подказанный уровень диалога. Достоевский, Толстой, Чехов, Ницше, философы «серебряного века» в одном хотя бы отношении единомышленники: для них тайна человека сродни тайне вселенной; снизить онтологическую точку наблюдения значит профанировать тему (поклонник

Толстого и Ницше, Горький, перейдя на пафосную декламацию о человеке, как раз занизит точку наблюдения, занизит в угоду крутым преобразователям, поклонникам силы, озабоченным не истиной, а выигрышем).

И снова — к вопросу о «горизонтах» классики. Идея своеволия сильной личности для нее заведомо провокационна, ибо ей, классике, с в е р х у видно, что ч у в с т в у ж и з н и, полученному каждым вместе с жизнью, нужен простор. На каком же поле оно развернется? Допустим, на охотничьем, как в главах об охоте у «маленьких» перед громадой мира Ростовых в Отрадном.

Песня жаворонка в солнечном мареве над полем — идеальный образ радости божьей твари: живу! Или пение дочери человеческой, но тоже жаворонка — Наташи Ростовской. Это один бытийственный ряд. Из другого — Долохов. Красавец, храбрец, любящий брат, образцовый сын (вот к кому удобно отнести горьковский активистский афоризм «в жизни всегда есть место подвигам!»), но — «остальных передаю», холодный, прицеливающийся взгляд на пленных французов.

Наташа — Долохов (ее мгновенная интуиция при знакомстве: дурной человек!) — контраст, подобный вынесенному в заголовок эпопеи: мир — война. Долохова подманивают к себе строй и фронт: ему проще, вольнее быть легальным бойцом на войне, чем воином-нелегалом в миру. Какая вседозволенность ближе сердцу — оглядчивая или с ожиданием законных наград? Ответ ясен.

В случае с Долоховым Толстой исследует правду души, минуя умственные прикровения или вывески. Идея вседозволенности у Долохова не в голове (как у Раскольникова) — в крови. Театру войны понадобились исполнители, у которых все выходит без натуги или наигрыша, ибо война для них то поле, где чувству жизни такой же примерно простор, как Ростовым на поле псовой охоты. В ряду таких исполнителей — Долохов, а из мужицкой массы — другой профессионал охоты на себе подобных, Тихон Щербатый, всей статью напоминающий волка.

Через десятилетие после ухода Толстого уже гражданской войне понадобится выразить себя в лицах тех, кому «война — что мать родна». Не просто война — гражданская с ее особым смрадом и гноем. И миру явятся Котовский, Махно, Петлюра, Сорокин, Буденный, поймавшие свой звездный час посреди великой смуты. Но к тому сроку качеством портретирования героев заинтересует госконтроль, у которого свои «горизонты», и высокий аналитизм классики будет законсервирован. А вместе — «пределы и концы» гуманистической антропологии средствами искусства.

Покуда литературную мысль не догадывались поставить под ружье, ее занимал вопрос: кто придет? Или — кто обычно приходит, когда людям в тягость моральные запреты и законы войны тихой сапой проникают в обиход? Перед Достоевским, когда вопрос его озадачил, сначала возникла фигура полунищего гордеца, которому важно установить, к какому из людских «разрядов» он принадлежит; потом задержались в бесовской пляске лихие обновители мира, «наши» из «Бесов», а следом зловеющий ублюдок Смердяков — заключительное предостережение писателя.

Там, где стерегут свой час ничтожества и ублюдки, у Достоевского важен принцип патронажа. Некому проблемисту и умнику назначена роль патрона-поощрителя, который обронит пробную идею, а та закатится в персональное подполье подонка и прорастет.

XIX век, наблюдая прорастание заразительных идей, нащупывал их истоки в душевной подпочве. Идея оказывалась псевдонимом скрытых претензий личности к неуютному миру, где она безгласна и затерта толпой. Сами же высоколобые «теоретики» обычно дальше от прямого размашистого действия, чем плебеи, среди которых затеян идейный «посев», не только потому, что оглядчивее (вдруг да в составе идеи «опечатка»?). Важнее другое: на них уже печать избранности, а круг их идей отчасти игровой и пробный; для Смердякова же или «наших» внезапный шанс протолкаться из людского муравейника на простор, переломив фатальность своей безвестности и безгласности, — редкий подарок. Ставрогина («красавца», «Ивана-Царевича») или умницу Ивана Карамазова они пропустят вперед себя как пристойных господ, не похожих на «тварь дрожащую». Сами же, на свой счет не слишком заблуждаясь, жаждут «содрогнуться» в экстазе раскрепощения: какие они ни есть, а могут судьбу переупрямить!

Только не ставрогины, не иваны карамазовы окажутся на коне в случае торжества «наших», а смердяковы. Их испарениями пропитается общий дом от подвала до чердака — таково очень внятное, почти нажимное предостережение классики. Уже на стадии своего эпилога, слегка заступив за календарные границы века, она негромко произнесет: «Заметьте, кто пришел!» Кто же? Рядовой смердяковец, только ему уже без надобности наводящие «идеи». Имя пришедшего — Яша. Как и Смердяков, он лакей. Но с господами ему проще разобратся, чем старшему. Он знает про них одну тонкость: они не от мира сего и протянут недолго.

«Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет» — своеобразная рекомендация нового лица, вступившего под свет ramпы, — слуги Раневской. Курица, ресторанные блюда, стаканчики с шампанским, наполненные для проводов, горничная-«огурчик» — предметы Яшиного потребительского интереса. А для души? Уморительные повадки господ, над которыми грех не потешиться вволю. По всякому поводу у них пережевывания и чувствительные слова. Насмеешься, глядячи.

Яшин смех (который слегка озадачивает окружающих) и Яшины напевы — диссонансирующая нота в мелодическом строе пьесы. Мотивы прощания с садом, обманчивого торжества «нового помещика», под конец ликующий Анин клич: «В дорогу!» — образуют фугу, непрерывное, с переходом от голоса к голосу движение сквозной музыкальной темы. А против ее движения и тональности — дребезг Яшиного смеха. По-настоящему он, Яша, а не Лопухин — порубщик вчерашних и завтрашних садов, ибо для него чистейший вздор все, что сверх запросов плоти.

Персонажи чеховской комедии, чуткие к циклам Большого времени, расположились вдоль его хода: одни неотделимы от прошлого, другим близок настоящий день, третьих манит будущее. Однако и самый земной в этом ряду, Ермолай Лопухин, не силен, скорее полувоздушен: то шагнет по твердому, то подпрыгнет, принаравливаясь к изящному порханию господ. А уж будущее тут вообще бесхозно: не Трофимов же со своей восторженной слушательницей отряжены в лучшее завтра!

Тему напрягшегося времени формируют лирические голоса, но само время круто сворачивает прочь от их обладателей: не по новым меркам тонкокожи, чудаковаты, воздушны. И над всей тонкой вязью переживаний чужестранником больших перемен звучит смех подонка, которому будто наперед ясно, что ждет «слабых» гаевых впереди, как перевернется соотношение «слуги — господ».

Чехову известно, что возле скопления трепетных ланей непременно объявится хищник, котгами, клыками нацеленный на охоту и трапезу (возле сестер Прозоровых в свой срок объявилась Наташа, «шаршавое животное», как позднее оценит ее Андрей Прозоров). Для хищников у Чехова даже сохраняется отдельная микрозона, дабы они выдыхали свои же выделения.

Теперь-то нам известно, что поясные портреты Яши и других удачливых «слуг народа» будут семь десятилетий украшать фасады зданий и реять над праздничными колоннами. Но откуда у классиков такая острота социальной прогностики? Рискнем допустить: социологическая дальнзоркость тут производна от зоркости антропологической.

Художественный навык постижения внутреннего человека — а через него брожений, шараханий в людской толще — шлифовался веками. На стадии русской классики этому навыку досталась работа диагностики болезненных поветрий, психических сломов и сдвигов, эпидемических вспышек, способных завтра потрясти мир.

При еще отдаленном гуле всепланетных потрясений классика и впрямь брала под защиту «маленького» подданного жизни, сознавая хрупкость обоих — ее и его. Такой защитительный жест можно толковать как бабий и суматошный, если нет догадки о широте обзора, раздвинутом «горизонте» классики.

Когда сознание читателя-потомка по-советски планиметрично, он с классикой как бы вровень и судит о ней по-своиски. Ее этический или гражданский пафос? Что же тут непонятного! Проходили. Вконец скиснув от понятности пройденного, он ловит Гоголя или Толстого на моральной дидактике и, определив им место в «детской комнате», сам порывается вперед и выше. Но в таком случае нечего открещиваться от корифеев соцреализма, с которыми у нынешнего позитивиста при всех идейных разногласиях общий тип ментальности.

Кто, собственно, насаждал культ проволочных нервов, динамизма, негибимой воли? Как раз правофланговые самого передового искусства, ведомые партией, куда ей надо. Интересный все-таки парадокс: голос во славу с илы возвышали подголоски из сомкнутого строя. А независимые, сильные голоса классиков мировой литературы ничего такого не славили. В фавориты большого искусства скорее выходил неприметный Тушин или Петя Ростов, чем Фортинбрас, Лаэрт или тот же бесстрашный Долохов. Так ведь наши строевики, отринув всяческую метафизику либо бытийственность, вперялись взорами в заманчивую цель, а целевому искусству мил тот из смертных, кто о-силит дорогу (или умостит ее своими костями). Иначе говоря, специскусство культивировало спецсилу. По мандату долга.

Н. А. Бердяеву очень рано бросились в глаза непривычно «сильные» черты функционеров большевистского призыва. «...появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе, — писал он в книге «Самопознание». — Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц... Новый

антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашистский».

Для отечественной классики был притягателен, даже по-особому философски значим тип россиянина с чертами «доброты, расплывчатости», а для его волевых антиподов вроде Долохова или фон Корена из «Дуэли» Чехова льгот в художественной системе не предусматривают.

Пусть Долохов глядит на мир соколом, но автору ближе «соколики» (любимое слово Платона Каратаева). А разве Сокол, да еще в стремительном полете, или, скажем, парящий Буревестник для нас не загляденье! Отчего же «золотой» век пренебрег соколиной эмблематикой? Так ведь на то он и «золотой», чтобы не поддаваться обаянию активизма.

Конечно, по среднежитейскому счету бодрый крепыш, нацеленный на свершение, предпочтительней размазни и тихони: мужчина! Но аналитическому искусству этот житейский счет не указ. Прежде чем одобрить крепыша, оно поинтересуется длиной его разбега и точностью ориентиров: не собрался ли он тешить беса гордыни, покуда душа горит? Все же казовая, «соколиная» сторона активизма не резон для отмены жизнеохранных забот искусства.

Именно жизнеохранными его заботами объясняется примечательная черта художественных систем: у сострадания и апологетики разный эстетический вес. Если первое движению мысли не помеха, то вторая подобна стоп-сигналу. Слава смелого Сокола или иных птиц того же полета, автор выводит систему «на упор». В главном он открылся. Вперед пути нет. Если для вас досадна остановка, взбирайтесь по зову автора на гребень пафоса: «О, смелый Сокол...»

Когда искусство романтизирует силу, мир для него расслаивается на тех же соколов с буревестниками — и ужей, глупых пингвинов, гагар, с которыми церемониться нечего. И раз во главе системы — сила, то вопрос о праве сильного как бы неуместен. Да и вообще увязать в проблемах незначит. А старую классику особенно занимало, через какие запреты сила станет переступать и за чей счет богатырствовать. За счет «мелкоты», которая путается в ногах? Раз так, есть резон осадить богатырство.

Повторяйтесь! — тут же подловят нас. Главные доводы вы берете из кодекса нормативной морали, а тот — из «детской комнаты», откуда не видать горизонтов...

Но дело как раз в том, что нравственная аксиоматика при всем ее весе — не самый высший резон для классиков. Их творческая и нравственная позиция в основе своей жизнеохранна. И «маленький человек» не застит им белый свет.

...Поэзия века XX станет все чаще выходить в открытый космос, «В бассейне вселенной, стан свой любящий / Обдать и оглушить мирами» (Б. Пастернак). Выходить она примется следом за Тютчевым, но резче, нервозней обозначая хрупкость и малость планеты посреди неоглядного «бассейна». У Пастернака, к примеру, земная и космическая жизнь то персонафицируется как сестра, то сжимается до размера «жемчужной шутки Ватто», которую кто-то может повертеть в руках. Кто? Громада небытия, наседающая на землян XX века? Да, от ее давления нашему катастрофическому веку отвлечься трудно. Но, если хотите, жизнь была сестрой высокой классики задолго до метафоры Пастернака о «сестре-жизни». Только классика в этом случае намного молчаливей и скрытней преемников. Самые заветные мысли о мире-космосе, о вселенском поприще души привыкла доверять междустрочью.

Что же до ее пресловутых «учительства» и «дидактизма», то эти ярлыки — наша невольная самохарактеристика, сигнал о последней черте в диалоге с классиком, где нас застигла зевота: опять «смирись, гордый человек»? Знакомо!.. Каково же с покоренных нами высот съезжать к проповеди смирения.

Но классике сквозь будничную разноголосицу слышен спор мирообразующих стихий, открыта, если вспомнить строчку Тютчева, «гармония в стихийных спорах». И классическое «смирись» раньше всего онтологично, стянуто к корню «мир» (в двояком толстовском значении: мир — покой, и Мир — пристанище рода людского). Смириться — внять Миру. Таков бытийственный и поэтический завет, мало похожий на занудные повторы моралиста.

Мораль у классиков — лишь начальный курс обучения души трудному искусству быть заодно с миропорядком. По их логике, культ вседозволенности, экспансия силы — да, антигуманны. Но «анти» здесь надо понимать шире — в масштабах планетарных, видимого и умопостигаемого космоса. Культ активизма чреват властью хаоса, космическим дисбалансом. Это снова к вопросу о «горизонтах» классики.

Вообще чем сильнее художественная мысль, тем дальше она от поэтизации силы. Активную волю готова приветствовать, если та залог не самоуправства, а самоорганизации, способности выдвигать, выстоять и когда тяготы непомерны. Отсюда и у сдержанного в акцентах Чехова замечен упор на «уменьше терпеть... нести свой крест»

(«Чайка») и на отдаленную награду за терпенье — мотив, невыносимый для идеократии с ее культом фрунтовой бравости и активизма.

Кстати, и лежебока Обломов — на свой манер покладистый обитатель вселенной, ибо послушен не одной лишь лени, а голосу осторожности: как бы посреди суеты не въехать локтем в чужую судьбу. Об Обломове недавно вспомнила поэтесса Елена Скульская («И их поделщик Дант». — «Литературная газета», 25.II.92). Вспомнила с плохо скрытой досадой: впустую ведь мы транжирим время, забывая себе голову надуманностями про Обломова, когда с тех же страниц на нас глядит простой и ясный Штольц! С точки зрения поэтессы, литературные корифеи прежних веков внесли в мир много глубокомысленных ненужностей. А раз так, вот ее итоговый совет: «Поместить старое искусство в какие-нибудь резервации, чтобы не мешало. И создать новое — полезное». Что ж, спасибо за путеводный девиз. Но Е. Скульская вряд ли рискнула бы бросить его в массы, не видя поблизости группу столь же крутых браковщиков культурного багажа, ревнителей осязаемой силы и пользы (вспомним реплику пушкинского Поэта в споре с Толпой: «... тебе бы пользы все...»).

А ведь они давно парой ходят — сила и польза, как двойная звезда на эстетическом горизонте, приманка для писательской воли (первую надо славить, о второй печься). Проку от такого хождения не видно. Ущерб заметен: чехарда критериев (прагматических и художественных), падение уровня творчества. Но власть этих категорий над радикальными умами, ревизирующими «старое искусство», что-то не слабеет...



## В 1993 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АЛЛА ЛАТЫНИНА

На льдинах лавр не расцветет

Наш взгляд на русскую историю сегодня окрашен чертами ретроспективного утопизма. Отвергнув социалистическое настоящее ради вождя будущего демократического будущего, мы разглядели ростки его в прошлом, возложив вину за октябрьский переворот не только на большевиков, не только на всю оппозиционную интеллигенцию, но и на литературу, в течение века атаковавшую все устои общества. Не отсюда ли радикальный вывод: литература либо должна отказаться от нравственного учительства и сделать игрой, либо стать описанием мира, приняв действительный порядок как данность и сменив гнев на милость в отношении к капиталу, богатству, предпринимательству и предпринимателю.

Сетованиями на то, что русская литература оболгала купца, промышленника, богатого мужика, предпринимателя, полна современная пресса; автор статьи и сама внесла сюда некую лепту. Почему, однако, всматриваясь в историю, современный писатель (Солженицын) хочет разглядеть в фигуре энергичного разбогатевшего мужика не «кровопийцу» и «мироеда», а выражение национальной энергии, направленной на созидание, в то время как для Достоевского и Толстого, Успенского и Гаршина, Чехова и Бунина приобретение богатства всегда сопряжено с моральными потерями? Не в том ли дело, что они видели перед собой «реальную натуру» и их взгляд был лишен черт ретроспективного утопизма, который заставляет нас искать в прошлом альтернативные варианты развития?

Современный художник, глядя в окружающий его мир, пришедший на смену коммунистическому, вряд ли сделает шаг навстречу новым хозяевам мира. Литература по самой своей природе меняет местами иерархию житейских ценностей. Героем здесь оказывается не преуспевший, а неудачник, не победитель, а побежденный.

Можно ли ожидать появления романов, «воспевающих» богача и предпринимателя в настоящем, подобно тому как воспела его современная передовая публицистика? Это, думаю, исключено. Полной гармонии художника и общества не предвидится; на наших российских льдинах не расцветет лавр, которым художник увенчал бы «победителя жизни».

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» ИСТОРИИ

**И**сход второго тысячелетия нашей эры все чаще осознается как конец истории. Вспомним, что и завершение первого тысячелетия настойчиво отождествлялось с концом света. Сильна власть круглых чисел над обыденным сознанием...

Но теперь нам, по крайней мере, представляют самые разные доказательства всемогущества человека, способного обернуться действительной катастрофой — экологической, ядерной, демографической... Очевидно чувство назревающего конца чего-то, что определяло собой все предшествовавшее бытие.

Конец истории?.. Вряд ли. Однако следовало бы, наверное, дать определение самому этому понятию «мировая история» и, конечно же, установить объективные критерии исторического прогресса.

XIX век завершался самыми большими упованиями. «Франко-прусская война отмечает собой поворотный пункт, имеющий совершенно иное значение, чем все предыдущие... оружие теперь так усовершенствовано, что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо переворота, больше невозможен. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья, из которых с таким же успехом в пределах видимости можно целить и попадать в отдельного человека... то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена». В этом звучащем ныне предельно наивно самоуверенном предсказании Ф. Энгельса тем не менее проявился оптимизм XIX столетия, непосредственно наследовавшего эпохе Просвещения. Расцвет европейской культуры. Невиданный прежде технический прогресс, перешагивающий через государственные рубежи, интернационализирующий не только производство, но и сам быт разных народов. Свободная конкуренция не только в промышленной сфере, но и в духовной. Можно сказать, «рынок идей». Рост уровня жизни в передовых странах. Развитие небывалых доселе средств коммуникации и связи, распространяющих повсюду не только материальные товары, но и духовную «продукцию». Рост международного демократического движения, уже отчасти смиряющего межгосударственные распри, активно протестующего против войн и насилия. Самые благие социальные утопии, как бы ждущие своего немедленного воплощения в реальность. Всякое мракобесие, где бы оно ни проявилось, тут же подвергается дружному натиску лучших умов планеты... Чем не повод для исторического оптимизма!.. Начало нового, уже нашего с вами века еще озарялось его лучами. Двудеянная духовная природа человека (древнее, с истоком в первобытном коммунизме, коллективистское начало с распределением ответственности на всех и, напротив, самосознание развитой личности с ее индивидуальным выбором и ответственностью) вот-вот, казалось бы, должна была воплотиться в гармоническом единстве...

Кому бы пришло в голову, что вслед за XIX столетием наступит т а к о е ХХI!..

Массовый всплеск шовинизма. Войны, не только по масштабам, но и по ярости, по иррациональному изуверству не знающие равных. Невероятные прежде технические средства, пущенные на распыл «живой силы» противника. Гибель и вырождение самой живой природы под натиском уродливого «прогресса». Определенный распад культуры, господство в искусстве всякого рода холодных «измов», чаще всего вырождающихся в откровенное шукарство. Социальные утопии, реализовавшиеся в бесчеловечных режимах-монстрах с их абсолютным пренебрежением к личности и человеческой жизни. Отсюда — кризис доверия не только к социальным идеям, но и к элементарной логике. Почти внезапное оживление суеверий, казавшихся уже едва ли не бездыханными, разгул мистических представлений, извращающих до неузнаваемости реальную картину мира. Торжествующие бездуховность и цинизм в жутком сочетании с властью над сознанием почти первобытных фантомов...

Век надежд сменился, увы, веком разочарований (мягко говоря), здравый смысл, этот (словами Гёте) «высший гений человечества», потерпел очевидный крах. Вместо гармонического единения духовных начал в человеке их демонстративное, подчас

насильственное противопоставление (коллективистское — личностному), противопоставление суверенного индивида власти «общества», государства.

Какой шаг назад — даже при сравнении двух соприкасающихся столетий! Так может ли вообще идти речь об историческом прогрессе, каком бы то ни было? С недавних пор наши историки решительно отвернулись от знаменитой ортодоксальной «пятичленки» — последовательной смены общественно-экономических формаций: первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, социалистической... И возникает вопрос: действительно ли социализм, будь он даже идеально реализован, как об этом тоскуют бывшие принципалы (в переводе с латинского — хозяева жизни, донныне «не поступающиеся принципами»), прогрессивнее предшествовавшего ему строя? И где законное место такого «реального социализма» в мировой истории?

Кибернетика ввела в обиход понятие «черный ящик». Мы отвлекаемся от процесса, изобилующего сложностями, путанными ходами, непостижимым соотношением причин и следствий; мы наблюдаем лишь то, что на входе «ящика», и то, что на выходе, и можем уже как-то судить об общей тенденции, о прогрессе или регрессе.

Так что же на «входе» и «выходе» мировой истории, если всю ее, не копаясь в смущающих нас подробностях, рассматривать как «черный ящик»? Прежде всего — каким вошел в нее человек?..

Сколько поколений образованных европейцев зачитывались романами о «благородных дикарях»! Перед ними вставал иной мир — в контрасте с дряхлеющей, как казалось, цивилизацией. Он манил, расписанный в самые радужные тона, как невозвратное детство. О, где оно теперь — естественное благородство, мужество, чистота, безыскусность, полнота жизни, столь красочно обрисованные классиком американской литературы Фенимором Купером, да только ли им! В XVIII веке Руссо проповедовал «возврат к природе» как возвращение к истокам, в XIX Генри Торо учил, как одному прожить в лесу всего лишь «на несколько долларов», пользуясь дарами природы. Суть была, разумеется, не в элементарной экономии, но опять же в нравственном принципе. Уже в наше время Леви-Стросс приобрел мировую известность теорией, согласно которой развитие человечества от первобытности к современной цивилизации не стоит считать прогрессом, ибо в отличие от нас туземцам Амазонии и по сей час важна не истина, но согласие. При решении какого бы то ни было вопроса не должно быть недовольных, все приводится к единому мнению. Это и есть благо, тогда как объективная истина, о которой так печется цивилизованный человек, вполне может оказаться злом. Не отсюда ли исключительная стабильность первобытного сознания, дошедшего (при отсутствии контактов с внешним миром) непо потревоженным до наших дней? Леви-Стросс умилен такой «стойкостью».

Соратник Хейердала Бенгт Даниельссон свою книгу о девственной Полинезии озаглавил «Счастливые острова». Островитяне, по его описаниям, почти так же наги, неискушенны, естественны в своих жизненных отправлениях, как библейские Адам и Ева...

Название книги шведского этнографа Эрика Лундквиста и вовсе категорично — «Дикари живут на Западе» (в той же Швеции)...

Спустимся на более низкий интеллектуальный уровень. Многочисленное общество последователей Торо по сей день исповедуют опрощение как религию. Для всевозможных хиппи у нас и на Западе опрощение (в одежде, привычках, нравах) — самодовлеющий фантом. То и дело входят в моду всякого рода добровольные коммуны, демонстративно отворачивающиеся от соблазнов цивилизации...

Не от этой ли тоски по «утраченной гармонии», потерянному «душевному раю», когда сознание еще не было загромождено сомнениями, прижилось и название «первобытный коммунизм», разумеется, пока само понятие «коммунизм» было в фаворе? Поневоле вспомнишь легенды о «золотом веке», бытующие едва ли не у всех народов. Да нет ли в них зерна истины? Не слишком ли велики наши потери «на пути прогресса»? Что приобретено взамен? И не был ли счастливее наш первобытный пращур, еще не отличавший добра от зла да и не осознавший собственного индивидуального бытия? Общинные установления регламентировали весь ход его жизни, заступая на место всевластных животных инстинктов, но, в сущности, не слишком от них отличаясь...

Этнограф Л. Штернберг, заставший гиляков (нынешних нивхов) в начале нашего века еще в первобытном состоянии, наблюдал душевную трагедию одного из них. Что-то было украдено на стойбище. Шаман, даже не выясняя, кто украл, объявил, что вор умрет еще до захода солнца. Штернберг описывает ужасное состояние этого

человека, еще никем не уличенного. Заклятие так подействовало на него, что он ушел в лес и сам наложил на себя руки...

Такова абсолютная психическая общность племени, власть коммунального инстинкта при абсолютном же неосознанном рабстве индивидов и господстве коллектива. Власть коммунального инстинкта довлеет до такой степени, что возможно даже излечение некоторых болезней единственно силой внушения. Такова оборотная сторона «вуду-смерти», результат самогипноза. Целитель (колдун, шаман) ощущал свою сверхъестественную власть, которая на самом деле являлась подлинной духовной властью всей общины. Колдун или вождь лишь олицетворял ее. (Не в этом ли до сих пор секрет воздействия нынешних «телепатов» от телевизора?)

Итак, на входе «черного ящика» мировой истории мы видим лишь человеческую особь, чья социальная роль сравнима с ролями пчел в улье или муравьев в муравейнике.

Всеохватывающий коммунальный инстинкт, духовная тирания традиций, намертво закрепленных обрядов сковывали любое проявление индивидуальности, обрекали нашего предка (а многих и по сей день) на умственную апатию. Из поколения в поколение, из века в век бытие обращалось по предопределенным кругам. Естественно, такое общество было исключительно стабильным. Общинный коммунизм длился несравненно дольше всей последующей истории человечества.

Сменялись поколения, века, эпохи, пока в людях созревало сознание, что они — мыслят. И вот они уже не просто знают (знает и животное), но — знают о том, что знают. Следовательно, осознают собственное существование.

Где же этот решающий толчок, придавший психике новое качество? «Существует признак, который указывает на воистину революционный переворот в мировосприятии. Это — могила, захоронение». Такую догадку высказал когда-то писатель Владимир Тендряков в беседе со знаменитым специалистом по проблеме психологии личности академиком А. Леонтьевым. Для того чтобы наш далекий предок не бросил умершего родича, а совершил над его телом примитивный обряд, он должен был прежде всего выделить самого себя из своего окружения. Если мир до того воспринимался им просто как источник пищи и опасности, то теперь уже он противопоставляет себя миру, осознает свое «я». А это может означать, что наш предок перестал быть коммунальной особью.

Осознав себя, нельзя не осознавать и своих родичей, не признавать их столь же значительными и обособленными в этом мире, как и ты сам. Это осознание наиболее остро должно проявляться со смертью родича, переноситься на его останки. Появление захоронений — признак возникновения нового, никому из животных не свойственного мировосприятия, где все сущее делится на «я» и на то, что меня окружает, на субъект и объект. Такое мировосприятие стало основой жизнедеятельности человека — реализации субъективных нужд за счет объективно существующего окружения.

Осознание того, что мы смертны, — страшное открытие. «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» (О. Манделштам). Человек видит себя в отражении другого человека. Мир приоткрылся ему вдруг во всей отчужденности, несоизмеримости с его собственным маленьким бытием. Что испытывает человек, «вдруг» обретший душу? Как видим, прежде всего — страх. Вот и ребенок начинает бояться темноты, не раньше чем овладевает местоимением «я»...

Пробуждающийся разум, еще не окрепнув, не осознав своих возможностей, открывает вокруг лишь безмерную космическую пустоту и одиночество. Пугающе усложняются и общественные отношения, ибо возникает такое неведомое прежде обстоятельство — частный интерес как решающая сила в истории...

Появляется частная собственность с ее проблемами личной ответственности и необходимостью всякий раз проявлять инициативу, искать выгоду. Поневоле подумает: ах, как просто жилось когда-то!..

«Мое» началось не только с присвоения части общественного производства, как утверждается в марксизме, но прежде всего с выделения в нем личной доли труда. Коллектив вынужден был согласиться на такое нарушение «священной» уравниловки. Лучше доедать за умелым охотником, чем голодать...

Мой дом, мой скот, моя земля — вот из чего проистекает собственное «я». Перед нами уже не муравьи или пчелы в человеческом облике, а индивиды. У каждого так или иначе не только свои способности и возможности, но и «свой интерес», который ведет к предпочтению именно данного партнера — в частности, сексуального. Иначе говоря, к любви. (Не говоря уж о том, что «мое» имущество должно остаться «моему» потомку.)



В жизнедеятельности любого организма мы видим две стороны, неразрывно связанные одна с другой: приспособление к обстоятельствам и их преодоление. Чем эволюционно выше биологический вид, тем отчетливее выступает вторая сторона. Человек зачастую и вовсе не приспособляется к условиям среды, создавая для себя так называемую вторую природу: жилище, транспорт, одежду, пищу...

Преодолением — и природных и социальных обстоятельств — характеризуется вся человеческая история. Приспособление — это всегда зависимость от обстоятельств, путь к рабству, тогда как преодоление — путь к свободе. По Гегелю, это и есть магистральная дорога истории. Отвлекаясь от частных и конкретных перипетий, он писал: «В восточном мире свободен один (фараон, царь, деспот. — *М. Т.*), в греко-римском мире — некоторые (свободные граждане. — *М. Т.*), в современном мире — все...» И как вывод: «Применение принципа свободы к мирским делам, внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения является длительным процессом, который составляет самую историю».

В самом деле, развитие производственных отношений ведет к неуклонному освобождению труженика: крепостное состояние предпочтительнее рабства, наемный рабочий юридически вполне свободен... С другой стороны, чем свободнее труд, тем он производительнее. Почему? Да потому что человек, осознавая свое индивидуальное бытие, трудится исключительно на самого себя. Он уже не просто особь, он — л и ч н о с т ь, индивидуум, преследующий «свой интерес».

Конечно, приняв такое определение личности, мы испытываем некоторое разочарование: нам покажется, что этим как бы принижается сама человеческая природа. Шотландский экономист Адам Смит писал, что, желая видеть на своем столе всегда свежие хлеб, масло и колбасу, мы обращаемся не к совести мясника или булочника, но к их карману.

Но учтем, что «я» личности способно вмещать в себя не только собственное бытие, но и бытие семьи, близких; и в конце концов, как самоотверженное служение народу, так, увы, и низкое властолюбие имеют в основании все то же личностное, осмысленное «я».

Феномен личности в том, что она как бы перерастает свою биологическую сущность; более того, она способна вторгаться в эту сущность, направлять свое собственное развитие. Личность вырабатывает те или иные, но собственные установки на основе индивидуального опыта. В этом залог творчества — любого, отнюдь не только художественного и далеко не всегда гуманного. Личность — тем более в безличностном окружении — взрывает прежний уклад жизни.

Вот и случилось в мировой истории, что родовой строй сменялся следующим почти сразу, на протяжении жизни одного поколения. Кочевали по забайкальской степи разрозненные монгольские орды — явился Чингисхан, поначалу просто атаман разбойничьей шайки, объединил их — и умер уже властелином полумира...

Сходные события, только меньшего масштаба, обычны в моменты ослабления родовых связей. Появляется человек, способный преодолеть племенную ограниченность, преступить табу и оказаться тем самым в совершенно исключительном положении — зрячим среди слепых, тех, кто, иначе говоря, по-прежнему скован инстинктом или обычаем...

Забегая далеко вперед и помня, разумеется, о том, что всякое сравнение хромает, спросим себя: не такой ли была (поначалу, во всяком случае) власть Сталина над прочими сподвижниками — тоже, заметим, «вождями» почти в первобытном значении этого слова, загипнотизированными идеологическими табу? Индивид на государственном олимпе, первым понявший всю тщету идеи мировой революции и вообще потуг осчастливить человечество, цинично, наперекор тогдашним догмам объявивший «построение социализма в одной отдельно взятой стране», построение, вполне потравившее древнему коммунальному инстинкту, всегда глеющему в массах, и наплевавший на какую бы то ни было мораль (тоже в некотором роде табу), мешавшую ему, закономерно обрел почти мистическую власть.

Власть Сталина несоизмерима не только с властью Муссолини или Франко (безотносительно к размерам страны), но и Гитлера. Последний мог себе позволить под мистическими предлогами убивать евреев, — попробовал бы он сделать то же со «своими», с немцами!.. А ведь Сталин как личность зауряднее, вероятно, если не Гитлера (с очевидной психопатологией), то, во всяком случае, и Муссолини, пылкого оратора, постоянно обуреваемого идеями, и боевого генерала Франко. Но аналогию сталинскому режиму следует искать не в XX веке, а гораздо раньше — еще в дорабском состоянии человека, начисто лишённого собственности и потому всецело покорного государству. Коллективизация в стране, уже нравственно расшатанной гражданской войной и проповедью классовой ненависти, должна была лишить человека последней надежды на самостоянье. Тогда как даже у раба есть надежда откупиться, стать вольноотпущенником, то есть так или иначе собственником...

Такой строй был естественным, пока сознание «человеческой особи» было еще, в сущности, родовым. Маркс и Энгельс называли его азиатским способом производства. Здесь все равны, а именно — равны нулю. Возможности индивида зависят только от близости к самому владыке. Тут еще очень много от табуистической власти племенного вождя, и это архаическое понятие — вождь! — не случайно обрело в нашей стране такое грозное мистическое значение. Конечно, в России в нашем веке, да и во всем цивилизованном мире возвращение из капитализма прямиком в формацию, следовавшую некогда непосредственно за первобытным коммунизмом, было возможно лишь насильственным путем, ценой невероятных жертв. И не только у нас, но и в Китае, и в Юго-Восточной Азии, и в Черной Африке. У человека отняли право быть самим собой — личностью.

Когда анализируешь сравнительно недавнее «построение социализма в одной отдельно взятой стране» (только так и можно было построить столь кошмарное общество, и изоляция страны была предметом особых забот Сталина), невольно приходят на ум целые пласты истории древнего Египта, средневекового Китая, некоторых современных стран так называемого третьего мира и соцлагеря. Сейчас вровень с Западом, поначалу опередившим остальных на общем историческом пути, уже вышла не только Япония, но и Южная Корея, тогда как огромный Китай, застоявшийся на «особом пути», попросту несравним по уровню жизни не только с Тайванем, но и с Гонконгом и Сингапуром, где те же китайцы, ютясь на крохотном пространстве, кажется, по головам друг у дружки ходят и где нет не только каких бы то ни было полезных ископаемых, но подчас и пресная вода дороже бензина — привозная...

Вот он, эффект свободной инициативы, «буржуазной предприимчивости», которой посвящены самые эмоциональные страницы «Манифеста...» Маркса и Энгельса! Впрочем, никакой новости в этом нет; это знал еще Геродот, размышлявший в своей «Истории» над причинами возвышения Афин: «Могущество Афин росло, и в этом мы усматриваем свидетельство — а доказательства тому имеются повсюду, — что свобода есть благо. Пока Афины находились под деспотическим управлением, они никого из своих соседей не превосходили в военном отношении, но как только афиняне избавились от деспота, они оставили своих соседей далеко позади. Это показывает, что, пока они были в порабощенном состоянии, они не очень старались, так как трудились для своего повелителя, но когда они стали свободными, каждый человек делал все, на что он был способен».

Черчилль в момент, когда его, первым объявившего войну Гитлеру в 1939 году, в 1945-м, на вершине успеха, вдруг прокатили на всеобщих выборах, предпочтя бесцветного либерала Эттли, меланхолически заметил: «Демократия — самая плохая форма государственного правления, за исключением всех остальных». Иначе говоря, при всех издержках свободы — а их много, куда больше, чем мы пока что предполагаем, — очевидны совершенно разные стереотипы поведения людей в обществе, где человек служит государству, и в другом, где государство так или иначе служит человеку. В первом случае индивид, сознавая, что от него лично ничего не зависит, стремится максимально приспособиться, притереться к системе, рассчитывая, что она вывезет, тогда как в свободном обществе человек и должен и может положиться на самого себя, рассчитывать на собственные силы; он уже нацелен не на приспособление к обстоятельствам, какими бы они ни были, а — с учетом собственных интересов — на их преодоление. Он уже, как мы называем такое новое качественное состояние, **личность**.

И если мы вернемся наконец к нашему гипотетическому «черному ящику» — мировой истории, рассматриваемой в целом, вне частностей, не в микроскоп, что присуще традиционным историкам, накапливающим факты, но как бы в телескоп, что присуще историософам (философам истории), — то если на входе «ящика» homo sapiens фигурирует как видовая особь, то на выходе он уже безусловно социально значимая личность. И значит, вся мировая история есть **развитие от особи к личности**.

Таким образом, мы получаем четкий критерий прогресса (пусть и в самом общем виде) и можем приложить его как объективное мерило к любому конкретному историческому явлению. И понимаем теперь, почему наши симпатии отданы Александру Македонскому, отнюдь не либералу, а не Тимуру или Чингисхану, тоже талантливым и храбрым воителям. Ведь первый — при всех жестокостях нашествия, при всей необузданности своей природы — разнес повсюду искры того пламени, которое угасало уже в самом очаге, в Элладе. Эллинизм — то есть восточная традиция, воспламененная греческим динамизмом, — пробудил к новой жизни народы и страны, все еще топтавшиеся на социалистическом, по сути, отрезке общего пути

человечества. То был порыв ветра, разнесшего семена жизни. Тогда как полторы тысячи лет спустя в тех же местах, где все еще дышало именем легендарного Искандера, ростки среднеазиатского Возрождения, предшествовавшего европейскому и вот-вот готового слиться с ним в многоцветное единство, были варварски втопты в пыль копытами конницы Чингиса, а вслед за ним Тимура... Человеческое в человеке, столь чудесно расцветшее, было обращено в прах. Можно ли сказать, что история пошла вспять? Можно, если иметь в виду конкретное место и время. Механизм внутри «черного ящика» чрезвычайно сложен и подвержен срывам. Но тенденция — от особи к личности — неустраима, так как коренится в самой человеческой природе. И опять же, почти интуитивно симпатии наши явно отданы своевольному и крутому Петру, «прорубившему окно в Европу» и сразу расширившему кругозор нации, а не отцу его, «тишайшему» Алексею Михайловичу, хотя люди в его царствование уж наверное жили комфортнее и безопаснее...

Впрочем, все мы нынче не без греха. Не легко ли мы купились на посулах «второго пришествия» коммунизма, в общем, если исключить технические достижения нашего века, обещавшего быть таким же, как и первобытнообщинный? Ведь и по сей день даже, как мы видели, и ученые мужи склонны думать, что, как ни тяжело было физическое существование нашего «коммунистического» пращура, душою он был в раю: ни самолюбия, ни тщеславия, ни зависти, ни угрызений совести, наконец. Никаких сомнений, столь отягчающих душу. Племя, род, государство освобождают тебя от «химеры совести». Живи, как все, подчиняясь общим табу. Вот оно, золотое состояние, прорыв в «зазеркалье», как бы уже по другую сторону собственного «я». Осознавать, еще краше — ощущать лишь физическую грань своего бытия, забыть о душевной боли, тревоге маете, — кого это не манило хотя бы однажды!..

И не на этой ли подспудной тяге человека к полной «социальной защищенности», не на древнем ли коммунальном инстинкте выросли все до единой утопии — от теоретического «Государства» Платона до реального государства Ленина?

Так как же вернуть человеку достоинство его личности? Как освободить труд, чтобы земля как бы сама «потекла молоком и медом»? Ответ предельно прост.

«Человек обычно рассматривается государственными деятелями и прожектерами как некий материал для политической механики. Прожектеры нарушают естественный ход человеческих дел, надо же предоставить природу самой себе и дать ей полную свободу в преследовании ее целей и осуществлении ее собственных проектов, — писал Адам Смит почти два с половиной века назад. — Для того чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении; все остальное делает естественный ход вещей. Все правительства, которые насильственно направляют события иным путем или пытаются приостановить развитие общества, противоестественны. Чтобы удержаться у власти, они вынуждены осуществлять угнетение и тиранию».

«Естественный ход» — это доверие к самой природе человека, к его инстинкту самосохранения, из которого неизбежно прорастает осознанный «свой интерес», важнейшее, как мы знаем, свойство личности и важнейший, если не единственный, двигатель хозяйственной инициативы. (Только непосредственная угроза такому ходу вещей — вражеское нашествие, стихийное бедствие — способна включить иные мотивы: энтузиазм, самоотвержение, то есть именно то, что прожектерами всегда рассматривается как нечто главное.)

Все здание экономики с его «отделами» и «подотделами», с его теориями, гипотезами и учениями, с его сложнейшими хозяйственными механизмами зиждется как на кончике иглы на одном этом — на личном интересе. И государству остается лишь ограждать его от внешних посягательств при помощи армии, от внутренних — законами, а также облагая доход разумным налогом, как-то заботиться о тех, кто попросту не способен себя прокормить. И все.

Когда Рональд Рейган в начале своего президентства, не сделав никакого открытия провозгласил этот принцип (так или иначе исповедуемый всей современной западной цивилизацией), наши тогдашние прожектеры (если только они заслуживают столь мягкого определения), полагая, что владеют высшей, надприродной истиной, тут же объявили, что слова президента свидетельствуют лишь о его теоретическом убожестве и что богатые в итоге станут еще богаче, а бедные еще беднее — и налицо окончательное загнивание системы. Так и вышло на первый взгляд. Богатые стали богаче, бедные — беднее, но лишь относительно. Потому что и последние есть стали лучше, одеваться добротнее, жить комфортабельнее.

Ну а социальные контрасты хоть и неудобны, но неизбежны, как полюса магнита: «свой интерес» — и, значит, трудовая отдача — только подстегивается сравнением себя с кем-то по соседству, конкуренцией, завистью, наконец. У нас же, как и во всех обществах подобного типа, подлинный «интерес» сосредоточился не на деловом соперничестве, а на своем месте в искусственной социальной иерархии (потому что

кто же сочтет аппаратную систему хотя бы в той же степени естественной, как столбовое дворянство), на близости к государственной кормушке — «кормилу власти»...

Пойти ли и нам «по западному пути»?.. Нет такого пути, как и «восточного» или какого-то особенного российского тоже. Есть общая историческая дорога человечества, следуя по которой можно забежать вперед, или отстать, или — свернуть прямо в кювет.

Вот мы теперь и выбираемся из такого кювета ценой огромных потерь. Не умножить бы нам их, окончательно утратив ориентиры...

М. ТАРТАКОВСКИЙ.

## ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

**З**а последние годы на наш книжный рынок хлынули репринтные издания. И эта работа<sup>1</sup> из их числа. То ли по оплошности, то ли умышленно на ней не указан год переиздания. Пожалуй, такое упущение оправдано: подобные работы не стареют; у них есть только дата рождения.

Мало сказать, что данная книга давно стала раритетом. Она практически исчезла из нашего обихода еще в начале 1942 года, когда автор был оклеветан и осужден. А ведь тремя годами раньше на Первом Международном биофизическом конгрессе в Нью-Йорке его избрали почетным председателем. Возможно, среди зарубежных ученых он был более известен, чем на родине. И понятно: двадцатисемилетний «непрофессионал» посмел предложить свою оригинальную концепцию движущих сил общественного развития. В подзаголовке он так раскрыл содержание книги: «Влияние космических факторов на поведение организованных человеческих масс и на течение всемирно-исторического процесса начиная с V века до Р. Хр. и по сие время».

Тема влияния природных сил на ход истории волновала людей издавна: достаточно вспомнить легенды о Всемиром потопе, Фаэтоне, Атлантиде. Однако четко выявить и доказать подобные влияния научным методом оказалось не так-то просто. Были попытки связывать исторические события с изменениями климата. В свою очередь климатическую цикличность пробовали сопоставлять с динамикой солнечных пятен. Тщетно! Механический ритм космических процессов практически не находил отражения в своеобразной жизни биосферы и человеческого общества. Не стыковались даже методы исследований: точные формулы небесной механики, метеорологическая статистика и гуманитарный подход историков.

А. Чижевский смело заявил: «В свете современного научного мировоззрения судьбы человечества, без сомнения, находятся в зависимости от судеб вселенной. И это есть не только поэтическая мысль, могущая вдохновлять художника к творчеству, но истина, признание которой настоятельно требуют итоги современной точной науки». Он исходил, в соответствии со взглядами своего учителя К. Э. Циолковского, из идеи единства и гармонии мироздания, регулирующего, подобно сверхорганизму, жизнь своих частей; они находятся в тонких взаимосвязях, чутко реагируя на внешние воздействия. Ссылался также на представления В. М. Бехтерева о «коллективной рефлексологии» и психологии масс и на труды некоторых исследователей, находивших зависимость различных социальных, экономических, биологических явлений от вариаций солнечной активности. Общий его вывод: «Силы внешней природы связывают или освобождают заложенную потенциально в человеке его духовную сущность и принуждают интеллект действовать или коснетъ».

Стиль этой работы заставляет вспомнить, что автор начинал как поэт. Перед нами, можно сказать, исповедь ученого, вводящего в свою творческую лабораторию, рассказывающего о ходе своих изысканий, о своем методе и о достигнутых результатах. И все это не отстраненно, с подчеркнутой объективностью (обычно мнимой), а образно и эмоционально. В результате получилось увлекательное и уникальное сочетание таблиц, графиков, научных обобщений, гипотез, философских рассуждений, афоризмов, художественных сравнений... Обработав сведения о важнейших исторических событиях на Земле с V по XIX век, автор книги сопоставил их с

<sup>1</sup> Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга. 1-я Гости-политография. 1924. 72 стр. Репринтное издание. Ассоциация «Калуга—Марс». Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. <1991.>

данными о динамике солнечных пятен. Наиболее обоснованные и детальные графики охватывали период с середины XVIII века по 1922 год и — подробнейшим образом — «вспышки революционной деятельности народных масс России за период с 1 октября 1905 г. по 1 апреля 1906 г. (митинги и забастовки; бомбы и покушения; немедленные репрессии)». После соответствующей статистической обработки автор выделил гармоническую систему циклов активности человечества, вполне синхроничную, по его словам, с периодами максимальной деятельности Солнца. В подтверждение приводится ряд таблиц. Например, показывающая годы выдвижения вождей, реформаторов, полководцев, государственных деятелей (...441 — Аттила... 1605 — Лжедмитрий и В. Шуйский... 1839 — Шамиль... 1917 — Керенский, Ленин). Наконец, была математически формализована структура «историометрического цикла», разделенного на четыре периода.

Такой методологический подход автор назвал историометрией — новой отраслью знания. Основной ее закон: «Течение всемирно-исторического процесса составляет из непрерывного ряда циклов, занимающих промежутки времени, равный, в среднем арифметическом, 11 годам, и синхроничных в степени своей активности периодической пятнообразовательной активности солнца» (затем перечислены «историко-психологические особенности» каждого цикла). Следовательно, «исторические и общественные явления... подчиняются физическим законам», что возвышает историю «до степени точных дисциплин...»

Нетрудно заметить что последнее заключение заведомо должно было вызвать яростную реакцию сторонников «исторического материализма». Ведь они претендовали на знание неоспоримых законов развития человечества, открытых классиками марксизма-ленинизма. А у Чижевского определенно получался исторический материализм, но совершенно иного толка, признающий приоритет природы в человеческой психике, а не классовой борьбы и экономического базиса. Предлагалась модель человечества, живущего в ритме космоса и Солнца!

Автор книги рекомендовал во всех государствах мира создать научные институты, анализирующие общественные движения, социально-политические и военные конфликты, сопоставляя эти данные с астрономическими и метеорологическими показателями. А следующий этап — предсказание грядущих общественных бурь и предотвращение их вредных последствий путем управления «событиями своей социальной жизни». И тогда в человеке «выработаются те качества и побуждения, которые иногда и теперь светятся на его челе, но которые будут светиться все ярче и сильнее, и, наконец, вполне озарят светом, подобным свету солнца, пути совершенства и благополучия человеческого рода. И тогда будет оправдано и провозглашено: чем ближе к Солнцу, тем ближе к Истине».

...Надеюсь, краткий пересказ книги и цитаты уже дают ощущение незаурядного творения, пронизанного романтикой искания истины, верой в науку и природу, юношеским максимализмом, поэзией и рационально-космическим мировоззрением. Во всем этом замечаются отсветы эпохи Возрождения (вспомним, что Чижевский помимо всего прочего прекрасно рисовал и музицировал, писал стихи, вел тщательные лабораторные исследования). Подчас это проявляется даже в стиле: «Но у тех, кто во имя науки готов претерпеть все лишения и все беды, годами голодая и ходя в лохмотьях, есть одно великое утешение, одна великая радость, стоящая всех благ и всех удовольствий земли, делающая их независимыми от людской пошлости и людских суждений и возвышающая их: они ближе всего стоят к познанию сокровенных законов, управляющих могущественной жизнедеятельностью природы».

Такова твердыня веры этого человека. Она, судя по всему, помогла ему выстоять в тяжкие годы каторги и осуществить достойную, высвеченную творчеством жизнь, по сути своей, опровергающую провозглашенный им же закон историометрии и философию его теории общественных процессов.

Пример А. Л. Чижевского убедительно доказывает, что человек реализуется как творец не в приспособлении к внешним обстоятельствам и силам, а в преодолении их. Ни «тонкие властительные связи» с сиятельным Солнцем, ни жесткие ограничения свободы личности в условиях деспотического государства, ни страшная машина ГУЛАГа не смогли существенно повлиять на его интеллектуальную деятельность. Кстати, и данная книга была создана им в период малой солнечной активности и больших социальных потрясений.

Конечно, при статистическом подходе к общественным явлениям подобные частные случаи не играют роли. Они растворяются в некоей условной «математической массе», параметры которой определяют проявления «общественной механики». Но такой метод искажает саму суть истории человечества. Ибо общество состоит не из статистически безликих единиц, а из индивидуальностей. В отличие от скопища атомов газа или жидкости взаимодействие людей происходит не механически, а прежде всего в духовной сфере. Потому-то великолепные статистические законы, в

отличие от квантовой механики, тут не работают. Люди живут не как биологические машины, а как очень своеобразные и противоречивые существа, на которых — или в которых — бесплотная мысль действует подчас значительно сильнее, чем импульсы, идущие от Солнца, магнитные бури и т. п.

И еще. Историометрия предоставляет слишком большие возможности для произвола исследователя. В жизни разных народов, этносов, государств земного шара ежегодно происходит так много событий, что объективный выбор из них самых важных, основополагающих (так же как и выбор исторических личностей) совершенно невозможен. Получается интеллектуальная игра по собственным правилам, в которой при большом желании нетрудно выиграть.

Сомнителен и философский подтекст историометрии. Александр Леонидович исходил из несвободы воли человека — в решительном противоречии с личным опытом (правда, в ту пору небогатым). По его словам: «Вера в метафизический догмат о свободе воли являлась одною из главных причин, тормозящих объективное исследование истории». Действительно, на первый взгляд кажется, что человек находится в абсолютной зависимости от законов природы (хотя в философски разработанных религиозных системах предполагается, что Бог даровал человеку свободу выбора). Но в том-то и отличие жизни: она преодолевает механическое действие законов косной природы. Росток пробивает слой почвы и вопреки гравитации, великому закону всемирного тяготения, тянется к солнцу. Человек взбирается в гору, повинаясь своему желанию, тогда как камню суждено катиться под уклон...

Спору нет, в жизни организмов проявляются самые разнообразные законы природы, в том числе и статистические. И для человека это характерно. Однако смысл человеческой истории прежде всего в реализации духовного потенциала, в творческом самовыражении, в постоянном выборе между добром и злом, гармонией и хаосом, истиной и ложью. И вектор этого выбора вовсе не указывает направление к неизбежному прогрессу. Не случайно же во второй половине XX века человечество живет под знаменами термоядерного или экологического апокалипсиса.

А. Л. Чижевский решительно заявил: «В свете современного научного мировоззрения судьбы человечества, без сомнения, находятся в зависимости от судеб вселенной». Далеко не безусловный тезис! Ни природа, ни Бог (или, по Циолковскому, Разум, царящий в мироздании) не определяют это. Человек творит окружающий мир по своему образу и подобию. Его духовная суть определяет и внутренние общественные конфликты, и глобальный экологический кризис. Даже замечательные достижения науки и техники лишь контрастней выявляют это обстоятельство.

Трудно согласиться со многими методическими, научными, философскими основами этой работы А. Л. Чижевского. Означает ли это, что она не заслуживает внимания и безнадежно устарела? Вовсе нет! Книга сохраняет научно-художественную ценность как яркое проявление незаурядной, талантливейшей личности, как выражение оригинальной концепции, число сторонников которой за минувшие десятилетия, пожалуй, значительно возросло. Можно не соглашаться с идеями, высказанными в этой работе, но нельзя не воздать должное интеллектуальным дерзаниям автора, его способности ставить проблемы, вызывающие широкий интерес и незатухающие дискуссии. В конце концов наука — это не вещание бесспорных тезисов, а поиски истины!

Да и как знать, быть может, солнечно-космическим гипотезам А. Л. Чижевского еще суждено возродиться в обновленном виде на новом уровне знаний?

Р. БАЛАНДИН.

**В 1993 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);  
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички (маленький роман);  
о. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;  
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);  
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;  
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);  
ДАУР ЗАНТАРИЯ. Судьба Чу-Якуба (перевод с абхазского автора);  
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);  
ИГОРЬ КЛЯМКИН. Общество и реформа;  
АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;  
ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН. Приручение арлекинов (роман);  
АЛЛА ЛАТЫНИНА. На льдинах лавр не расцветет (о богатстве и бедности в русской литературе);  
В. НЕПОМНЯЩИЙ. Пушкин через двести лет (главы из книги);  
ЕВГЕНИЙ НОСОВ. Темная вода (рассказ);  
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (фрагменты эпоса);  
НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН). Рассказы (из литературного наследия);  
ВИКТОР ПЕЛЕВИН. Желтая стрела (повесть);  
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки;  
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Увлекая в дальнюю Америку...» (пьесы и другие неизвестные материалы);  
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ. Из частной переписки;  
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного суда;  
С. М. СОЛОВЬЕВ. Детство (воспоминания);  
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Переписка с М. К. Морозовой;  
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;  
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);  
С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;  
ДОРА ШТУРМАН. У края бездны (корниловский мятеж глазами историка и современников);

а также новые произведения Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, Г. ВЛАДИМОВА, А. ВОЛОСА, Р. ГАЛЬЦЕВОЙ, З. ГАРЕЕВА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, А. КРИВОНОСОВА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА, Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИНА, И. ТАРАСЕВИЧА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ  
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1993 ГОДА!**

---

---

# ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

\*

LITERATURE, CULTURE AND SOCIETY IN THE MODERN AGE. In Honor of Joseph Frank. Stanford Slavic Studies. Vol. 4:1, 4:2. Stanford. 1991—1992. 400+477 P.

Представляемое издание включает множество интересных и важных материалов по истории русской литературы, культуры и общественной мысли второй половины XIX—XX вв. и заслуживает обстоятельного и пространного отклика; мы же преследуем скромную цель — в рамках краткой аннотации предоставить отечественному читателю информацию об основных темах, поднимаемых авторами этого замечательного издания.

Первая книга открывается полной библиографией проф. И. Франка (сост. Андрей Устинов) с 1935 по январь 1991 г. (всего 207 позиций), в которой *rossika* присутствует с конца 50-х гг. Область научных интересов И. Франка — история русской литературы и общественных движений второй половины XIX в., главным образом творчество Ф. М. Достоевского. Творчество этого писателя продолжает оставаться центром притяжения интересов западных славистов, ему посвящено большинство работ первой книги. R. A. Pease рассматривает композицию «Записок из Мертвого дома»; это же произведение привлекло внимание R. L. Jackson'a: исследователь остановился на одном из эпизодов — «Сцене в бане»; R. L. Belknap анализирует роль эпилога в сюжете «Преступления и наказания»; Jacques Cateau развивает идеи И. Франка об особенностях присутствия авторского «я» в произведениях Достоевского, о соотношении в них биографического и творческого; W. M. Todd восстанавливает литературный контекст, в котором были прочитаны первые книги «Братьев Карамазовых» (1979), по весьма нетрадиционному для западной славистики источникам — русским газетам; Gary Emerson сопоставляет «полифоническую структуру» поздних произведений Достоевского и Мусоргского. Завершают первую часть издания работы Gary Morson'a и Joan Grossman, посвященные творчеству Тургенева.

Работы, составившие вторую часть, посвящены проблемам русской культуры XX в. и написаны учеными, многие из которых хорошо известны в России. John Malmstad представляет новые материалы к биографии А. Белого, проливающие дополнительный свет на переживания поэта в период любовной драмы с Л. Д. Блок (впервые публикуются письма к М. К. Морозовой, ОР РГБ). Две работы Г. Фрейдина, объединенные автором под заголовком «Вопрос возвращения», также основаны на неизвестных документах из российских архивохранилищ: в первой рассматривается обсуждавшаяся в переписке В. Шкловского и Р. Якобсона возможность возвращения последнего в СССР; во второй автор знакомит с неизвестными подробностями биографии И. Бабеля, связанными с его поездками в Европу и возвращениями оттуда (по материалам отдела рукописей ИМЛИ).

Однако из впервые вводимых в оборот документов наибольший интерес представляют опубликованные Ruth Rischin письма Довида Кнута (Давида Мироновича Фихмана) 1941—1946 гг. М. Алданову (1), А. Ф. Даманской (1) и Р. С. Чеквер (20), извлеченные из бахметьевского архива Колумбийского университета; сопровождаемая исключительно подробным, насыщенной массой уникальных документов комментарием, публикация впервые представляет образ практически неизвестного писателя и поэта. Небесполезна, особенно для специалиста, выполненная George Shegov'ом (к сожалению, прокомментированная менее обстоятельно) публикация 11 писем Иванова-Разумника Н. Берберовой (1943—1944).

Разнообразие исследовательских подходов к творчеству русских поэтов демонстрируют статьи Л. Флейшмана «Пастернак и Ленин», «Борис Пастернак и группа Transformation», М. Л. Гаспарова «Эволюция стиха Б. Пастернака»; Alex de Jonge отмечает влияние повести Н. А. Островского «Как закалялась сталь» на стихотворение О. Мандельштама «Как по улицам Киева-Вия...», а Henry Gifford посвящает свою работу мандельштамовской прозе («Разговор о Данте»); тема статьи Stephanie Sandler — «„Каменный гость“: Ахматова, Пушкин и Дон Жуан».

Продолжает вызывать повышенный интерес проза В. Набокова: Clarence Brown в статье «Oratio Nabokoviensa» выделяет особую форму дискурса, присущую прозе Набокова, Irina Raretto выступает с работой, дерзко озаглавленной «Как сделан «Дар» Набокова», а Edward Brown исследует проблему взаимоотношения литератур метрополии и эмиграции на материале «Дара» и «Зависти» Ю. Олеши. В издание также вошли статьи «Маски Михаила Зощенко» (Victor Erlich) и обширное эссе-исследование Витторико Страды «„Великолепное презрение“: проза Михаила Булгакова».

Несколько работ посвящены проблемам современной русской литературы: John Dunlop подробно проследивает перипетии недавней истории, предшествовавшей публикации произведений А. И. Солженицына в «Новом мире»; Andrew Wachtel сопоставляет организацию пространства и времени в русском эпико-историческом романе на материале «Войны и мира», «Жизни и судьбы» В. Гроссмана и «Красного Колеса» А. Солженицына. Ellen Chances исследует влияние Достоевского на творчество А. Битова. Geir Kjetsaa дает аналитический обзор современных отечественных концепций творчества Гоголя.

В числе участников издания — известный специалист по истории русского театра начала XX в. John Bowl: он представляет работу «От практики к теории: Владимир Татлин и Николай Пунин»

А. Н.



## SUMMARY

Poetry section of the issue presents poems by Bella Akhmadulina, Igor Guberman, Marina Tarasova, Natan Zlotnikov, Boris Sirotn, Anatoly Naiman.

Publication of «The Mirror of Montachka», a novel by Mikhail Kurayev (to be finished in No 6) begins in this issue; there are also two stories: «In Thy Gate» by Dina Rubina (Israel) and «Sashok» by Vladislav Leonovich.

The short story genre is represented by the works of Eduard Pustynin and Mikhail Butov, with a foreword by Sergey Zalygin.

The «Comments» section contains «personal opinion» of two of the magazin's contributors, who criticize rather sharply Vladimir Sharov's novel «Before and At the Time Of», published this year in the «Novy Mir» in No 3—4.

The cycle of publications titled «The Russia That We Find» is continued by Yuly Shreider's «Between Molokh and Mammon» and Vladimir Gurvich's «National Idea and Personality».

In the «Publications and Reports» section there begins a treatise by A. Makarov and S. Makarova, «In Search For the Sources of „The Quiet Don”». It is a textological analysis of the authorship of the famous novel (to be completed in No 6).

The «Literary Criticism» section includes essays by Yulia Latynina «Dedal and Hercules» and Victor Kamyanov «Bears on the Run» (dealing with the reputation of the «old art»).

In the «Editor's Mail» section there is an essay by M. Tartakovsky «The Black Bax of History» and R. Balandin's comment on a new edition of the works of the well-known scientist A. Chizhevsky.

In our constant section «Foreign Books About Russia» Alexander Nosov briefly annotates new books on the Russian theme published abroad.

**Читайте в следующем номере:**

**НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН)**

**Рассказы \***

*Вступительное слово и публикация Валентина Германа*

\* \* \*

Николай Георгиевич Никишин, умерший весной 1984 года в возрасте сорока восьми лет, успел написать всего двенадцать больших рассказов, ни один из которых не был напечатан при жизни автора. Два из них будут опубликованы

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

**Коммерческий директор А. О. Петров**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.  
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.02.93 г. Подписано к печати 25.03.93 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 75 000 экз. Зак. 1418. Цена 47 р. (по подписке); розничная цена договорная.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## *Уважаемые читатели!*

МП «Редакция журнала „Новый мир”» преобразуется в Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала „Новый мир”» и публикует список своих предполагаемых учредителей:

Редакция журнала «Новый мир» —  
*главный редактор С. Залыгин,*

А/О «Банк Санкт-Петербург» —  
*президент Ю. Львов,*

А/О «Гарант» —  
*председатель совета директоров И. Баскин,*

А/О «Биотехнология» —  
*генеральный директор совета Р. Василов,*

А/О финансовая корпорация «Арман» —  
*генеральный директор В. Яснопольский.*

Физическое лицо  
*Е. Жуковская.*